

ДРУЖБА НАРОДОВ



7'2017

- *Геннадий Русаков*
Страна работяг
Стихи
- *Мария Ануфриева*
Доктор X и его дети
Роман
- *Мария Маркова*
Кому, кому он белый свет?
Стихи
- *Алексей Малашенко*
О вреде традиции и пользе привычки
- *Марк Амусин*
Революция: флаги в пыли
Глазами современного писателя

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzha-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.rф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2017.
Подписано в печать 27.06.2017.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 5913. Цена свободная.

Дружба народов **7'2017**

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
Александр
ЭБАНОИДЗЕ
ЭЛЬЧИН
Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Геннадий РУСАКОВ. Страна работяг. Стихи	3
Мария АНУФРИЕВА. Доктор X и его дети. Роман	8
Мария МАРКОВА. Кому, кому он белый свет? Стихи	100
Алексей ИВАНОВ. Опыт № 1918. Роман. Окончание	104
Лариса МИЛЛЕР. Покуда брезжит там, вдали. Стихи	171
Давид МАРКИШ. Рассказы из сборника «Гранатовый лог»	173
Лауреаты «Кубка мира по русской поэзии—2016».	
Любовь КОЛЕСНИК; Ника БАТХЕН. Стихи	184
Олег КОРИОНОВ. Обстоятельства. Рассказ	189
Александр АМЧИСЛАВСКИЙ. До конца игры. Стихи	192
Марта АНТОНИЧЕВА. Ну же, Бог. Рассказ	194

Первые стихи

Даниил ЧКОНИЯ. «Ды здрыстыт Стылин!»	198
--	-----

Дружба на вырост

Ирина БАЗАЛЕЕВА. Дачные люди	200
Сергей МУХИН. Глупый медведь	202

Нация и мир

Алексей МАЛАШЕНКО. О вреде традиции и пользе привычки	212
---	-----

Публицистика

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О пошлости. Три письма на одну тему ..	223
---	-----

Критика

Марк АМУСИН. Революция: флаги в пыли	230
--	-----

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Потому и обжигает (А.Миллер. «Нация, или Могущество мифа») ...	240
---	-----

Книжный развал

Дмитрий ВОЛОДИХИН. «Мало избранных...» (А.Иванов. «Тобол»)	244
Александр КОТЮСОВ. Бог не простит (Д.Новиков. «Голомяное пламя»)	248
Владимир ШПАКОВ. Связь времен (Б.Бартфельд. «Возвращение на Голгофу»)	251

Эхо

Былое и дым. Читая Овчинникова. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ.....	254
--	-----

Summary	256
---------------	-----

Геннадий Русаков

Страна работяг

* * *

Убежать бы от сложностей мира,
от его непреложных страстей,
чтобы жить неумело и сиром,
и не ждать ни вестей, ни гостей...
Чтоб один, чтоб никто и не надо.
Чтобы ушел забытый карьер.
Чтобы щит на вратах Цареграда
с лейблом «Сделано в СССР».
Чтоб опять васнецовские сказки,
трое конных, «Медведи в лесу».
Чтобы драмам — другие развязки.
Чтобы дождь затихал на весу,
спотыкался в чахоточном лете.
Чтобы время с хорошим концом.
Чтобы женщина в синем берете
засмеялась счастливым лицом.

* * *

Дожди, дожди и воздух несвободы
от этих туч над самой головой...
По всей России пасмурные воды
и неустройство жизни бытовой.
Посмотришь вдаль — и не увидел дали:
одни дожди стоят со всех сторон.
Нам скоро станут раздавать медали
за понесённый нравственный урон —

Русаков Геннадий Александрович — поэт. Родился в 1938 году, воспитывался в Суворовском училище, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Работал переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН в Нью-Йорке и Женеве. Автор более 10 книг стихотворений. Лауреат национальной премии «Поэт» (2014), «Русской премии» (2017) и др. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве и Нью-Йорке.

за выживание в год депрессионный
с обилием сочащейся воды.
И за привычку примиряться с оной,
чтоб уцелеть хотя бы до среды.
А край земли, как прежде, за Окою —
за лозняком, совсем невдалеке:
там, где колодец с поднятой рукою
и с грузиком, зажатым в кулаке.

* * *

Александру Переверзину

Нам нельзя быть счастливой страной:
мы счастливыми быть не умеем.
Непривычные к жизни иной,
от счастливой мы быстро хамеем.
И откуда-то лезут из нас
панский гонор, бурлацкая воля.
То распутство калифа на час,
то воинственный зуд Гуляй-поля...
Лучше сразу все бабки отдать
и затырить рубли под подушку,
чтобы снова терпеть-голодать,
завести керогаз-крупорушку.
Чтоб фарцовка и пламенный стяг,
чтобы...
Господи, снова всё это!
Мы навеки страна работяг
и погоды мышинового цвета.
Возвращайтесь, мои времена,
на хрипатой тальянке играя!
...Непривычная к счастью страна
моего коммунального рая...

* * *

Герои занимались героизмом.
Злодеи тупо совершали зло.
Благодаря небесным механизмам
и тем, и этим поровну везло.
Я допускал возможность потрясений
на рынках сбыта и в кругу семьи,
обвал погод, пока ещё весенних,
но явно не комфортных в бытии.

И мальчики кровавых революций
опять не успевали повзрослеть
до возраста полуночных поллюций
и просто, чтобы дольше уцелеть,
поскольку длилось время повторений,
цикличности предписанного зла:
то галльских непрожёванных прозрений,
то всякостей невнятного числа.

* * *

...А в свой сезон полураспада
(он мне положен по годам)
я делал всё, что делать надо —
что делал некогда Адам:
терял очки, ворчал на Еву,
считал тогдашние гроши.
Пил водку просто для сугреву,
а не веселия души.
И то сказать: мы все похожи
на эту старость праотца:
доныне делаем всё то же
и будем делать до конца.
Ах, этой жизни постоянство
и лжепреемственность веков!
Вплоть до нерадостного пьянства
давно отпивших стариков.

* * *

Я думал весёлые мысли,
которым смеялся не вслух.
Но вдруг георгины провисли
и пасмурно сделалось вдруг.
И сверху захлюпало что-то,
как будто лилось со стола:
на небе, похоже, работа,
уборка какая-то шла:
громоздкую мебель таскали,
для танцев готовя полы,
по радио что-то искали,
посуду несли на столы.
Мне всё в этом было понятно,
я всё представлял в мелочах:
как ангелы, споря приятно,
втроём разжигают очаг.

Как горницей ходит Хозяин
и смотрит в меню-конduit.
А каждый подсвечник надраен.
И манна в кастрюле стоит.

* * *

Покой нам только снится.

А.Блок

То високосный год, то рыжие у власти.
Всегда чего-то есть, чтоб наперекосяк:
сезонный лесопал и прочие напасти...
А то уже совсем из прошлого висяк.
Пойди тут разберись... Не хочется, а надо.
Покоя бы, да он и сниться перестал:
всё снится абы что: то якобы Канада,
то Гоголь и его сидячий пьедестал...
Но однобокость дней порядком надоела.
В них мало тишины, лишь вечные дожди.
С громами или без, хотя не в этом дело:
я просто перспектив не вижу впереди —
то високосный год, то рыжие у власти.
Живёшь, как в проходной, без цели и корней,
предавшись, как теперь, стихобумажной страсти
и обретая утешенье в ней.

* * *

Стоять на заметённых полустанках,
в потёмках напрягая желваки.
Как пахнут шпроты в разорённых банках,
как расстоянья страшно велики!
В вагонах спят и тамбур проморожен.
Завыл и канул встречный товарняк.
Ночами мир для жизни невозможен,
но надо жить хотя бы даже так:
напиться кофе до сердцебиенья
и всё равно заснуть ненужным сном.
Проснуться для разбоя, разоренья...
Но что такое нынче за окном?
Там утро, стынь, стеклянные сугробы,
дымы, посадки, солнце, провода...
И нет на свете ни татыбы, ни злобы.
И никогда не будет, никогда!
И надо жить взахлёб, в разоре, гаме,
считать года и радоваться им.
Ходить, хрустя по насту сапогами.
И задышаться воздухом тугим.

* * *

Я дат не помню. Помню города.
В дорожном быте коммивояжёра
оно так проще (хоть и не всегда),
поскольку память — слабая опора.
Как я любил цыганский этот быт
отелей, конференций, семинаров!
(Вот так же вдруг нет-нет и засвербит
от старых фильмов — Кадочников, Жаров...)
Я вспоминаю, как июль был мал.
Как август краток, а январь беззлобен.
И мир нас с полуслова понимал,
испытанному корешу подобен.
Признаться, я в ту пору был блудлив —
вернее, влюбчив (очень даже просто!).
...На пойме, где ходил водополив,
стоял крапивник башенного роста.
Над головой срывались ястреба.
И молонья за Редькиным блистала.
Я дат не помню. Но была Судьба.
Она лишь позже просто бытом стала.

Мария Ануфриева

Доктор Х и его дети

Роман

Совсем маленьким, он думал, что умирает во сне, и всегда боялся засыпать. А потом понял, что сон — это только путешествие или провал в черную яму, но только на миг. Все обратимо, по возвращении ждут родная комната, шум воды и звон посуды на кухне, запах свежее испеченных шаников — пирожков с творогом или картошкой.

Когда просыпался, в полудреме привычно гладил подушку. Словно благодарил за ночное путешествие на далекую планету, название которой только что вертелось на языке, но вдруг исчезло из памяти, за прогулку с загадочными чудовищами гинтубубами и за то, что терпеливо ждала его возвращения здесь, в яви. Еще оставался в памяти побег от ведьмы по узким, извилистым коридорам подземелья: она ухала, лязгала зубами и вот-вот должна была схватить за рубашку, но в последний миг, в секунду, когда уже тянется и трещит ткань, он успевал проснуться.

Теперь он тоже боялся — не сна, похожего на смерть, а просто смерти. Во сне даже лучше, да разве ж так повезет? Впрочем, с чего это умирать? Не дождетесь!

Умереть он должен был пятьдесят два года назад от спинномозговой грыжи в возрасте шести часов. Такую напасть не брался оперировать ни один детский хирург в Камышине. Ни один из двух.

Младенец почему-то не умер в отведенный ему наукой срок. Словно ждал, что же решит его двадцатилетняя мать, которую три дня уговаривали отказаться от новорожденного, уверяя, что ребенок в лучшем случае не доживет и до года, в худшем — останется инвалидом детства до старости. Чтобы ей было понятнее — неподвижным дебилом.

Вместо отказа она ранним утром четвертого дня спешно, как вор, пересекла двор роддома с туго перевязанным свертком, легкомысленно отданным ей набожной и ничего не смыслящей в медицине нянечкой бабой Ниной, и отправилась с ним за сто восемьдесят километров в областную детскую больницу.

Нейрохирург Топоров, о котором ей рассказала соседка по палате в роддоме, в тот день задержался на службе из-за приезда начальства. Был он раздражен, чтобы не сказать зол, а потому, осмотрев непонятно как выжившего в дальней дороге младенца, только хмыкнул и, не бросив растерянной мамаше и двух слов, ушел в отделение.

Ануфриева Мария Борисовна родилась в 1977 г. в Петрозаводске. Окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Урал». Книги выходили в издательствах «Время», «Эксмо». Живет в Санкт-Петербурге. Последняя публикация в «ДН» — роман «Карниз», 2014, № 3.

Она опять свернула одеяло в тугой аккуратный конверт и уже вышла во двор, когда сообразила, что забыла на столе в смотровой единственный пока документ сына, не имевшего еще имени, а потому обозначенного как «мальчик, 50 см, 3600 г, грыжа в пояснично-крестцовом отделе позвоночника».

Документов в смотровой не оказалось, зато там оказалась медсестра, искавшая гражданку Христофорову и тут же отчитавшая ее за то, что она беспечно разгуливает со своим свертком туда-сюда, тогда как ей полагается занять чудом освободившееся место в хирургическом отделении Топорова.

В тот же день она подписала согласие на операцию, не гарантировавшую ее ребенку не то что здоровья, но и жизни.

Когда тшедушное тельце забрали у нее из рук, предупредив, что операция будет долгой, она поняла, что не может ждать в палате. Соседки все слышали и неловко молчали, желая угадать и боясь ошибиться: то ли еще обнадеживать, то ли уже сочувственно вздыхать. Она потопталась у застеленной кровати, хотела что-то сказать — не нашла слов, плакать — не плакалось.

Ходила по коридору из конца в конец, пока медсестра на посту неодобрительно не шикнула. Тогда она вышла из отделения и отправилась бродить вокруг больницы. Мимо проходили деревья, дома и люди, диковинные в своей обыденности. Казалось, что она движется в скафандре, который отделяет ее от мира, защищает мир от нее, ведь тот, кто выпадает из привычного течения жизни, становится ему угрозой. Пахнувший горем человек похож на прокаженного, порой даже знакомые боятся протянуть ему руку: вдруг это заразно, вдруг горе — это что-то вроде лепры?

Однако до горя или радости был еще час — и она шла по нему, как акробат по канату, держа равновесие в каждом шажке-минуте. Шла и просила у неизвестной силы: верни мне его живым, верни-верни-верни-верни. С ее-то фамилией просить надо было у образов, да где же их взять в большом незнакомом городе.

Она прошла еще немного и увидела скульптуру: мать, читающая ребенку книгу. Подойдя поближе, Христофорова встала напротив памятника ровно и строго, как на пионерской линейке, и пообещала гипсовой советской Мадонне: если выживет безымянный пока младенец с грыжей, будет он лечить и спасать людей.

То ли не зря называли нейрохирурга Топорова врачом от Бога, то ли памятник гражданке с книгой и впрямь умел исполнять желания, но безымянный младенец выжил, избавился от грыжи и даже не сделался дебилом вопреки науке и здравому смыслу. Напротив, с возрастом Иван Сергеевич Христофоров стал отличаться недюжинным умом и смекалкой.

Сам Иван Сергеевич понимал, что грыжа была, скорее всего, закрытая и, к счастью, вовремя замеченная опытной акушеркой по затянутому кожей пульсирующему пятну на спине, но как удалось прооперировать ее пятьдесят с лишним лет назад без описанных во всех учебниках последствий — не представлял.

Данное памятнику обещание мать с годами забыла, но когда сын сдал экзамены в медицинский институт того самого областного города, куда она привезла его на четвертый день после родов, что-то такое припомнила и подивилась ладности жизненной инженерии. Впрочем, женщина она была простая и такими мудреными категориями не мыслила. Она просто порадовалась, что все складывается правильно.

Был у Христофорова отец — Сергей Николаевич. Далекий, почти мифический, живший в столице отец, которому почти двадцать лет все не выписывали повторную командировку в Камышин. Зато первая и единственная командировка на берега Волги принесла свои плоды: через месяц увидел свет доклад о повышении эффективности местного текстильного производства, а через восемь с половиной месяцев родился младенец, который носил фамилию матери, а отчество — Сергеевич.

Рождение сына Сергею Николаевичу не то чтобы пришлось в тягость — тягот он испытывать не привык и всячески себя от них берег. Скорее это было просто странно.

Написанный по итогам командировки отчет убрали на полку и благополучно забыли. Жаль, нельзя было так же убрать и забыть мимолетную симпатию к работнице текстильной фабрики.

Вместе с тем, человеком он числился приличным, от содеянного не отказывался и родство с сыном под сомнение не ставил. С облегчением поняв, что никто не ждет от него мелодраматических и уж тем более героических поступков, вошел в роль отца удобным для себя способом: периодически посылал бандероль с машинкой на Новый год и денежный перевод на день рождения.

Интерес к этой случайной чужой родне он проявил один раз, когда напился, что вообще случалось с ним редко, позвонил в Камышин и, словно лишь вчера вышел за порог, поинтересовался, как там поживает его доченька.

Как и всем людям, пьющим редко, изрядная доза непривычной крепости ударила в голову настолько метко, что он забыл про покупаемые раз в год машинки и представилась ему отчего-то доченька с белыми кудряшками и голубыми глазами. Поднимая трубку, он даже решил, что завтра же поедет к ней и будет катать ее на плечах. Однако на второй день, как у всех людей, пьющих редко, намерение это улетучилось, превратилось в смазанное многоточие, похожее на короткие гудки в трубке после вопроса о доченьке. А он его и не помнил — и продолжил покупать машинки на Новый год, не задумываясь, сколько лет сыну. Последнюю машинку десятиклассник Христофоров передал соседскому мальчишке, тоже безотцовщине.

На втором году обучения Христофорова в мединституте, когда он вовсю интересовался обладательницами коротких белых халатиков и думал, какую специализацию выбрать, отец внезапно материализовался: сначала в виде телеграммы, а на каникулах — лично. Оказалось, жизнь не поберегла того, кто всю жизнь так берег себя сам.

Семьи он не имел и выглядел гораздо старше матери — тусклым, серым, обрюзгшим. Встреча получилась скомканной и вежливой. Пили чай, мать суежилась, Христофоров не знал, куда спрятать свои большие руки, мял салфетку, а давно не ожидаемый гость держал такие же большие руки под столом на коленях и скользил глазами по стенам, будто приехал к ним, а не к сыну.

В конце чаепития гость все же сумел сфокусировать взгляд на Христофорове и принялся говорить нечто фантастическое: мол человек он одинокий и больной, после смерти квартиры достанется государству, так почему бы сыну не переехать в столицу — и учиться на врача там лучше, а приличную работу найти гораздо проще.

Полгода прошли в хлопотах с переводом в Москву, казавшимся невозможным, но у отца обнаружились связи, и вот Христофоров уже ехал на боковой полке в плацкарте поезда «Астрахань—Москва». Он глядел в окно на снежный наст под ярким февральским солнцем и пил чай с испеченными в дорогу шаниками.

По приезде выяснилась причина отцовской щедрости: со здоровьем у родителя оказалось неважно, к тому же возникло подозрение на хроническую сердечную недостаточность, которое быстро превратилось в уверенность. Словом, требовался врач — пусть начинающий, зато бесплатный, под боком и, как ни крути, родной. То, что сын собирался стать детским врачом, было неважно — в конце концов, что стар, что млад...

Христофоров поначалу так обалдел от столичного всего, что принял роль сиделки безропотно и покорно, как неперемное условие свалившейся на него новой жизни. Вскоре он научился крутиться, уяснив со свойственной провинциалам быстротой, что суть столичного бытия и есть вечная круговерть.

Учеба, требовавшая отработки знаний в больнице, и отец, требовавший отработки сыновнего долга дома, не оставляли места для вольностей, украшающих студенческую пору. Отец, впрочем, болел сдержанно, переездом в столицу не попрекал и вообще вел себя так, будто прожили они в двухкомнатной квартирке бок о бок всю жизнь.

О том, чтобы выписать к ним и мать, речи не шло, да мать и не рвалась, за все время приехала один раз и ночевала у землячки, подавшей в столицу на заработки. Сыном — детским врачом — она гордилась, но выбранной им специальности не понимала. Хирург вырезает грыжи, окулист выписывает очки, ухо-горло-нос лечит самые «популярные» у детей болезни, а что делает психиатр? Этим непониманием она мало чем отличалась от большинства родительниц, с которыми ему предстояло общаться в будущем.

К коротким белым халатакам интерес у Христофорова прошел вдруг и сразу на пятом курсе, тридцать первого декабря махрового какого-то года, в «башне смерти» — так называли городскую больницу, где он подрабатывал.

Оправдывая свое название, из года в год больница лихо срывала план горздрава по увеличению числа выписанных трудоспособных граждан и с лихвой перевыполняла план Господа по числу граждан, ожидаемых на том свете. В одну из таких «урожайных» ночей он и дежурил.

Собственно, ночь эта отличалась от других подобных только календарно — Новый год как-никак. Хотя нет, еще было полнолуние. Больничное суеверие гласило, что на растущую Луну и покойников прибывает, а уж в полнолуние — туши фонарь, зажигай бестеневую лампу.

К лампам в операционной он никакого отношения не имел, потому что всего лишь санитарил. Ему с напарником и без ламп дел хватало. Вот и тогда, в канун Нового года, сломался грузовой лифт, в котором перевозили обычные для больницы грузы с четырнадцати этажей на первый — в морг.

Умирающим гражданам, как известно каждому работнику больницы, закон не писан, а потому плевать они хотели на здравый смысл, красные дни календаря и государственные праздники. Мрут, когда им вздумается, невзирая на ломающиеся лифты и неудобство, причиняемое персоналу.

Один такой только что прекративший свой земной путь гражданин, длинный и жилистый, и ждал их с напарником, немногословным узбеком Жоном, на четырнадцатом этаже «башни смерти». Христофоров с Жоном попытались, было, уговорить девчонку из неотложной хирургии отложить транспортировку тела до завтра: пусть в закутке на каталке до утра полежит, а там, глядишь, и лифт починят. Но те только руками замахали: где это видано, чтобы в государственной больнице лифт первого января чинили, да и встречать Новый год с покойником — уж увольте. Как и с кем встретишь, так и проведешь. А у них и без того самое «передовое» отделение по числу жмуриков. Так что будьте добры вынести упокоившегося гражданина до первого боя курантов.

Напрасно сточив мужское обаяние о железные аргументы, санитары переложили покойника с каталки, стоявшей возле бесполезного лифта, на носилки, взвалили их на плечи и засеменили к лестнице черного хода: Христофоров спереди, Жон позади.

Первые четыре этажа покойник вел себя прилично, а затем начал потихоньку съезжать с носилок, упираясь холодными пятками в горячий, взмокший затылок Христофорова. Последний, поворачивая голову, видел болтавшуюся у своего уха бирку на пальце покойника, из которой следовало, что того звали Василий.

— Ну и тяжел же ты, дружище Василий, — пыхтел Христофоров.

— Чего-чего? — переспрашивал Жон.

Василий молчал и щекотал пятками шею.

В это время снизу навстречу им поднималась Лидочка — небесное создание, милая молоденькая врачиха из приемного отделения, полгода назад окончившая институт. Лидочка была терапевтом и, конечно, знала, что пациенты имеют неприятное свойство умирать, но происходил сей печальный факт обычно без ее прямого участия, а потому с покойниками она была на «Вы», не то что разбитные девицы из хирургии.

Углядев в лестничный проем мелькнувшую Лидочкину макушку, сразу опознан-

ную по аккуратному пробору, Христофоров на секунду остановился на этаже, чтобы удобнее перехватить носилки и расправить плечи.

Лидочка нравилась всему мужскому населению больницы от главврача до пациентов урологического отделения, которым от деликатных и мучительных медицинских проклятий вообще-то было не до баб. Нравилась Лидочка и ему, Христофорову, — совершенно бесперспективно, конечно. Но он все же надеялся — и не желал предстать перед ней в новогоднюю ночь в виде больничного Деда Мороза, несущего за плечами не мешок с подарками, а носилки с покойником. И он решил остановиться, положить носилки на площадку между этажами и поприветствовать Лидочку.

Остановка оказалась неожиданной для Жона, и тот, продолжая спуск по лестнице, толкнул застопорившегося Христофорова. Василий, словно того и ждал, резво проехал вперед и оседлал своего носильщика.

В эту минуту на этаж выплыла Лидочка, подняла глаза — и заорала. Прямо перед ней возвышалась конструкция из тел, напоминающая бременских музыкантов, вставших друг другу на плечи, чтобы заглянуть в домик разбойников: взмокший и растерянный Христофоров, у него на плечах белый как полотно, навеки оскалившийся в предсмертной судороге голый Василий с биркой на ноге, а над ними повторяющий нараспев «вай-вай-вай» чернобрый узбек Жон.

Но это было не самым ужасным — у ног застывшей Лидочки растекалась лужа. Перестав орать и обнаружив лужу, она стремглав бросилась вниз. Санитары проводили ее взглядом, постояли, водрузили на место злополучного Василия и, ни слова не сказав друг другу, потащили носилки в морг.

В ту ночь Жон оправдал свое имя, означавшее на родном ему языке не что иное, как «душа». Он то и дело трогал за плечо Христофорова, прикладывал руки к своей груди и сокрушенно качал головой, выказывая поддержку и душевные переживания. Христофоров злился и отмахивался от напарника, как от настырно вьющейся над кучей дерьма мухи, ощущая себя той самой кучей, хотя виноват ни в чем не был.

* * *

Дверь на первом этаже хлопнула и наконец-то впустила удава. Шнырь узнал его по шороху, да и время появления всегда было одно и то же. За неимением часов время легко распознавалось по острому, выворачивающему наизнанку запаху хлорки в коридоре, который появлялся строго после завтрака, а вслед за ним можно было отсчитывать минуты до того, как хлопнет дверь.

Шнырь замер и сжал бедра: он волновался и в волнении за себя не отвечал. Удав пополз до первого лестничного пролета и остановился передохнуть. Не так-то просто забраться старому, страдающему одышкой удаву на третий этаж по высокой лестнице.

Выбежала лошадка. Похороводилась вокруг удава, поплясала на тонких ножках и отстала. Растворилось цоканье подковок в гулких коридорах под высокими сводами второго этажа.

Удав пополз выше. Шорох неспешно поднимавшегося тела превратился в шарканье: медленное, знакомое, за семьдесят дней ставшее привычным. Зазвенели ключи по ту сторону дверей. Вот он гремит тяжелой связкой, чтобы вставить в замок самый важный ключ — гладкий, без зазубрин.

Дверь распахнулась, Шнырь зажмурился, втянул голову и потек горячей струей к ногам вошедшего.

— Ты чего, Шнырьков, опять?! — строго спросил Христофоров, впрочем, не удивившись.

Лужи Шнырькова каждый раз заставляли вспомнить Лидочку, хотя та история затерлась в памяти за множеством других больничных переделок, в которых ему

довелось побывать за двадцать пять лет службы. Однако странное дело — загадочная игра психики: коллеги женского пола его с той поры всерьез не интересовали, какими бы короткими ни были их халатики и длинными — ноги.

— Извините, Иван Сергеевич, — выбежала женщина в белом халате. — Буянят там. В игровой. Не уследила... Опять он тут напрудил! Чего тебе, леший, от Ивана Сергеевича надо?

Она поспешно выковыряла заскорузлую ветошь из-за батареи и кинула ее к ногам вошедшего.

— Укоооольчик, — сморщился и загнул Шнырь, стараясь не смотреть на ручей, устремившийся в глубь коридора по руслам трещин в затертом, вздыбившемся линолеуме.

Как всегда при виде Христофорова, мысли его запутались в самих себе. Страшная тайна, которую он хотел сообщить первым, исчезла из памяти, словно вытекла вместе с горячей водицей и теперь удирала в сторону палаты, где и была подслушана или увидана, или придумана... Шнырь попытался догнать уплывавшую тайну, но запутался окончательно.

Его начинало потряхивать и заводить изнутри. Когда повернулся ключ в дверном замке, одновременно сработал и замок зажигания в самом Шныре, будто он и закрытая на ключ дверь были связаны. Мотор ускорял обороты. Шнырь знал: его надо привязать к кровати или сделать укол, иначе он за себя не ручается. Он уже достаточно взрослый, чтобы понимать это. Целых двенадцать лет.

— Аминазин, — громко сказал Христофоров в белокафельное пространство процедурной и кивнул медсестре на подпрыгивавшего на месте Шныря.

— Спасииибо, — вновь загнул Шнырь. Он окончательно упустил тайну, но не забыл, что так хотел урвать внимание Христофорова, и с надеждой, будто в первый раз, спросил: — Когда вы меня выпишете?

Медсестра уже прищуривалась, наполняла шприц прозрачной жидкостью и безлично приветливо улыбалась: то ли Шнырю, то ли Ивану Сергеевичу, то ли шприцу, то ли мелкой вороне, застывшей на ветке клена, упирившегося в окно парашютами пожелтевших с краев листьев.

— Как же тебя выписать? — в деланном изумлении развел руками Христофоров. — Ты каждый день бьешься головой о стену, катаешься по полу. И дома то же самое будешь делать, мама опять тебя сюда привезет. Который раз? Давай-ка вспомним, четвертый или пятый?

— Я вас умоляю, выпишите меня... — упрямо тянул Шнырь, не очень интересуясь ответом и не выпуская из вида медсестру. Она уже наполнила шприц и теперь со скучающим видом смотрела в окно на ворону, которой, видимо, все-таки и предназначалась ее улыбка. Улыбаться доктору бесполезно, это она поняла еще в первый год работы, а теперь шел пятый.

Ворона, наклонив голову, тоже смотрела в окно немигающим черным глазом — на медсестру, Шныря и Ивана Сергеевича. Когда Шнырь ухватил Христофорова за рукав, ворона все же моргнула, на мгновение затянув перепончатым третьим веком свой угольный цыганский глаз. Медсестра зевнула и опустила пыльный роллет, скрывший декорации ранней осени.

— Ну, значит так, Шнырьков, — Христофоров почесал бороду, выдерживая паузу. — Вместо укола ты сейчас пойдешь к воспитателю Анне Аркадьевне, попросишь книгу Пушкина «Руслан и Людмила», она у нас есть. Скажешь, доктор велел тебе вступление выучить. Придешь ко мне, расскажешь наизусть — выпишу.

Шнырь бросил взгляд на шприц в руках медсестры и застыл на пороге.

— В журнал запись еще не сделали? — осведомился Христофоров. — Отлично! Аминазин в четвертую палату, там новенький. Фамилии не помню — на посту уточните. Вонючий и волосатый, сразу узнаете. Утверждает, что он Существо,

а существу банные процедуры противопоказаны. Сегодня стричь будем, но не расстраивайте его раньше времени. После укола разберемся.

Шнырь поплелся переодеваться, повторяя про себя три незнакомых слова: «пушкин», «руслан», «илюдмила» — и радуясь простоте задания, открывавшего путь домой.

Христофоров вошел в свой кабинет, откинулся на спинку жалобно пискнувшего под его тяжестью стула, достал из стопки историю болезни Шныря. Пролистал и подумал, что поступил правильно. Знать Пушкина никогда не лишне, а пока Шнырьков выучит вступление, пройдет необходимый месяц, а то и полтора.

Месяц, который он на последнем родительском дне клятвенно обещал его несчастной молодой еще родительнице, мечтавшей выскочить замуж за кстати подвернувшуюся очередную жертву. Пока не обнаружилось отягчающее любовь обстоятельство в виде необратимо больного сына. Месяц, который и без того был необходим Шнырькову, чтобы подействовали новые лекарства. Христофоров так и сказал, что планы насчет ближайшего будущего ее сына у них совпадают, но она не слышала: плакала и благодарила, благодарила и плакала и все просила понять ее, ведь ей всего тридцать и шансы еще есть.

«Да никто и не сомневается, — устало думал он тогда, стараясь не слушать родительницу даже вполуха. — Пока человек жив, шансы у него всегда есть. Родить второго Шнырькова — уж точно». Но, конечно, и слушал, и успокаивал, и обещал.

Отказывать плачущим мамашам он так и не научился, чем они неизменно пользовались, сменяя друг друга, а подчас и возвращаясь вновь, что только подтверждало правильность выданных диагнозов, которые, словно ветви дерева, вели к общему стволу.

«От осинки не родятся апельсинки», — написал бы он на этом стволе. Вырезал бы перочинным ножиком объяснение для осин, удивляющихся, почему из смеси хламидиоза и авитаминоза, неуточненной генетики бритого паренька из соседнего подъезда, поздно обнаруженной ранней беременности и непонятного слова «гипоксия» не родились благородные сочные плоды. От осин пускали побеги такие же хилые осины с ветвями-заболеваниями, в ряде случаев начинающимися с буквы F, согласно международной классификации болезней.

В первый год службы, когда родительницы называли его «психиатор», он надеялся — шутят, но потом услышал «педиатор» и тогда уверовал, что не будь диагнозов взрослых — не было бы и многих детских.

С осинами все понятно, но попадались ему и другие родительницы — березы, сосны и даже баобабы. Природа — та еще стерва, и породистым родителям она порой с убийственной ухмылкой вылиwała целый ковш дегтя в бочку медовой личной жизни, приправляя выпестованное социальное благополучие совершенно невероятным букетом сложенных в их долгожданных чадах «неудачных» генов.

За двадцать пять лет материнские лица с распухшими от слез носами, подмокшей тушью, спускавшейся черными ручейками на замшевые от пудры щеки, превратились для него в одну личину, подобную лубочной маске расписной матрешки, и ее непропорционально большая голова неизменно отзывалась гулким деревянным стуком, когда от нее отскакивали мячики звучных латинских фраз, которыми он так любил жонглировать.

Он уже отложил пухлую карточку больничной летописи Шныря, когда раздался звонок местного телефона.

— Что вы там Шнырькову почитать выписали? — недовольно пробасила в трубку Анна Аркадьевна. — Пока шел, все забыл. Стоит тут и ревет, того и гляди опять обоссется.

* * *

«22.06.2041 год. Германская Нацистская Федеративная Республика — ГНФР.

План нападения на Россию.

1. Операция начинается в 4.00 утра.
2. Вначале должна лететь авиация для бомбежки русских городов. Потом танки и пехота.

3. Главный удар наносить на Санкт-Петербург. В операции участвуют 1, 10, 15, 26, 16 армейские корпуса.

4. Действовать четко по плану.

5. В русских городах устраивать растрелы гражданского русского населения.

6. Евреев растреливать на месте.

7. Все мужское население в концлагеря.

8. Довести приказ до войск.

Возможны изменения...»

— Отлично! — воскликнул Христофоров, потягиваясь и переворачивая страницу. — Логика не нарушена. Интересуется историей, ошибок почти нет. Ну, подумаешь, «феди», подумаешь, «растрелы»... Таааак, а вот это уже хуже...

«План теракта в детском доме №34.

1. Найти лафет, ствол и собрать пушку.

2. В день рождения купить торт, подсыпать отравы и отравить всю группу и директора.

3. Взять руководство детским домом на себя.

4. Поднять пушку наверх.

5. Бомбить соседние дома.

6. Трупы спрятать.

7. Действовать по плану.

Испытать пушку до 22 сентября 2014 года».

Христофоров взглянул на календарь с лупоглазой китайской собачкой, приклеенный скотчем к двери: 14 сентября.

— Ведите! — сказал он в трубку местного телефона и откинулся в кресле, уже окрестив про себя новичка Фашистом.

Щуплый подросток вошел в кабинет и, теребя край растянутой больничной футболки, остановился возле порога. Христофоров небрежно вскинул правую руку к виску и скомандовал, указав глазами на стул:

— Setzt dich¹.

Подросток сел напротив и нахохлился. Пшеничного цвета чуб взбит коком. Славянский Элвис Пресли.

— Wie ist dein Name?² — пролаял Христофоров и сам удивился, как меняет голос немецкая речь: ни дать, ни взять — душегуб-эсэсовец из фильмов про партизан.

— Денис, — пролепетал Фашист и съежился.

— Hast du «Mein Kampf» gelesen?³ — гнул свое Христофоров.

Пошевелив губами, подросток начал по-немецки, но, тут же запнувшись, перешел на русский:

— Я вот приехал... Они сказали, я все взорвать хочу...

— Hast du Mein Kampf gelesen? — рявкнул Христофоров.

— Я плохо знаю немецкий язык. Не понимаю, о чем вы меня спрашиваете...

А теперь у меня еще и самоучитель отобрали, когда сюда повезли.

¹ Садись.

² Как тебя зовут?

³ Ты читал «Майн Кампф»?

Христофоров вздохнул с облегчением: его запас немецкого тоже был исчерпан. Он перегнулся через стол, приблизил лицо к Фашисту и сказал сквозь зубы, щурясь и припуская характерный акцент:

— Ты есть предатель нации. Ты не читал книгу великого фюрера. Может, ты еврей?

— Я русский, — подросток почти плакал. — Русский я.

— Ну что же, посмотрим... — не поверил Христофоров.

Он медленно поднялся. Вышел из-за стола, взял в руки треугольник и принялся измерять уши Фашиста.

— Ты знаешь, что я делаю?

— Знаю, проверяете меня на расу.

— Молодец! Но ты все-таки не читал «Майн кампф», и у тебя уши как у еврея. Ты не человек.

— Мне папа говорил, что фашисты не такие! Они за людей.

— Папа был прав. Но ты не человек. А что с такими надо делать?

— Сжигать.

— Как ты писал в твоей тетрадке, которую у тебя нашли воспитатели в детдоме?

— Да.

— Отлично!

В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет заглянула Анна Аркадьевна с томиком Пушкина. Она уже открыла рот, чтобы сообщить Христофорову, что поэму «Руслан и Людмила» пустили на бумажные самолетики младшие пациенты отделения — тихие одиннадцатилетние шизофреники Толик и Валик. Узнав об этом, Шнырьков то ли обрадовался, то ли расстроился — не понять, но катается по полу и требует укол. Может быть, вступление к безвозвратно утерянной поэме можно заменить отрывком из «Евгения Онегина»? Начало там короткое, да шибко бессвязное — она уже посмотрела. А вот письмо Татьяны очень даже ничего. Не хуже, чем «У Лукоморья дуб зеленый...» Ну и Шнырьков успокоится.

Ничего этого, однако, она сказать не успела, потому что Христофоров сделал страшные глаза и обратился к ней незнакомым голосом, кивнув на понурого подростка:

— Группенфюрер! Вы вовремя. Допросить — и в крематорий.

Фашист побледнел и принялся раскачиваться вперед-назад. Анна Аркадьевна замерла с книгой в руках. Куда только не водила она своих подопечных: и в душевую, и на горшок, и в спецшколу, и на комиссию по делам несовершеннолетних... Но чтобы в крематорий...

Христофоров знал, что случайных совпадений не бывает и какой-то всеобъемлющий закон нанизывает события на шампур человеческой жизни в правильной последовательности, даже если правило это становится очевидным много позже. Но в следующий момент он едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по ляжкам, когда на излете немой сцены женский голос с металлическими нотками сообщил откуда-то сверху: «Внимание! Сработала пожарная сигнализация».

Фашист встрепенулся и посмотрел на доктора, собираясь что-то сказать, но Христофоров жестом остановил его и с интонацией гестаповца штурмбанфюрера Франца Маггиля из фильма «Вариант "Омега"» с сожалением произнес:

— Ну вот, наш крематорий опять сломался!

Конечно, у любимого актера Калягина получилось бы лучше, но и у него вышло ничего, судя по лицам Анны Аркадьевны и Фашиста.

— Группенфюрер, допросить — и в газовку! — скомандовал он, пока воспитатель не испортила произведенный эффект неуместными вопросами, и, обернувшись к подростку, по-немецки спросил: — Знаешь, что такое газенваген?

Фашист совершенно побелел:

— Я знаю, мне отец рассказывал. Я не больной, я нормальный. Нормальный!

— Ну, это мы непременно выясним, — обнадежил его Христофоров. — У нас с тобой будет много дней, чтобы во всем разобраться.

Дней впереди и правда было много — не меньше чем листов в толстой тетради с рисунками пушек, виселиц и подсчетов юного фашиста, сколько «русских свиней» ему придется истребить. Первый этап реализации нападения на Россию — план теракта в детдоме №34 — тянул на два месяца пребывания в детском психиатрическом стационаре.

Христофоров открыл тонкую пока историю болезни и улыбнулся. Ему тоже пришел в голову план — план лечения Фашиста. Но им можно будет заняться через пару дней, сейчас есть дела поважнее.

* * *

— Славыч, сильно занят делами государственными? Просьба есть. Не телефонная. Ты психическим здоровьем нации ведаешь, это по твоей части. Срочно? Думаю, да. Давай на днях после работы пива попьем?

Опустив трубку, Христофоров попытался вспомнить, когда он в последний раз обращался к однокурснику, ушедшему далеко вперед по административной линии, и не смог. Может быть, когда его поперли с заведования отделением из-за сбежавших по водосточной трубе двух детдомовцев? Нет, даже тогда не обращался. Но сейчас иной коленкор.

Каждый раз, когда он заходил в палату №4, в него упирались немигающий взгляд черных глаз и вежливая улыбка на неподвижном, как маска, лице миловидного мальчика, Ванечки.

Он разговаривал с юным пациентом в палате, вызывал к себе, приглашал на беседу с психологом. Пацана смотрели детские психиатры в провинции и разобраться не смогли, предоставив эту привилегию именитым столичным коллегам. Его смотрели все без исключения специалисты их больницы. Разводили руками и не знали, какой диагноз ставить, ежились под его прямым спокойным взглядом и неизменной улыбкой, качали головами, читая «послужной список» пациента, и хлопали Христофорова по плечу, словно говоря: это твой мальчик, Иван Сергеевич, тебе и разбираться.

Ванечка действительно был «его мальчиком» — одним из шестидесяти подростков, которые лежали в отделении и делились между двумя врачами. Скинуть Ванечку было не на кого, разве что обратно, на тихую его опекуншу, которая отвезет загадочного ребенка домой — к соседскому мальчику, так и не научившемуся прыгать с крыши вопреки уговорам, к сестренке, отказавшейся поиграть с оголенными проводами, и к опять народившимся во дворе котяткам, потому что не всех еще кошек в округе Ванечка поджег и сбросил с крыши девятиэтажки.

Словно чувствуя, что доктору не отвертеться, Ванечка спокойно сидел в его кабинете и безмятежно смотрел прямо в глаза. Неопытному человеку, вроде их пропащего практиканта, могло бы показаться, что Ванечка издевается. Но это было бы полбеды, Христофорова не проведешь: он знал, что мальчик действительно спокоен и безмятежен, в его глазах не отражалось эмоций и только этакая приятенькая улыбка поднимала уголки губ, хотя — можно биться об заклад — тот не испытывал никакой радости.

«Омен», — окрестил про себя мальчика Христофоров и с каждым днем все больше убеждался в уместности этого прозвища. Когда же Омен научил всех малолетних пациентов отделения ловить «собачий кайф», стало ясно, что справиться одному с ним ему не под силу.

Компания в палате №4 в результате подобралась отменная: новенькие — Фашист и Существо, старожилы — Омен и Шнырь. Самых проблемных пациентов отделения Христофоров поместил вместе неслучайно. Каждый из них по отдельности являл

больше разума, чем обитатели всех остальных палат. Что, как не разум, порождает проблемы человека? Тот, кто не в силах совладать со своими проблемами, сам становится проблемой для окружающих.

Исключением был только дебиличик Шнырьков — теперь его следовало бы отселить, но он очень привязался к «своему» месту, ведь занимал его не впервые и каждый раз просился именно в «четверку», к окну, на негласных правах всегда возвращающегося в заведение постояльца.

В двенадцать часов дня по коридору поплыл запах горохового супа, и Христофоров пошел в столовую снимать пробу — дегустация обеда входила в обязанности дежурного по отделению.

Разговор с новым обитателем «четверки» решил перенести на вечер: пусть Существо вздремнет после аминазина, оглядится по сторонам. Взяв заведенную в приемном отделении карточку нового пациента, Христофоров попытался вспомнить, были ли в его практике «существа». Существ инопланетных — хоть отбавляй, а вот иного рода, пожалуй, не встречались.

Опыт помог дорисовать картину, таившуюся за скуными строками карточки. Мать долго закрывала глаза на то, что мальчик прогуливал уроки, отказывался мыться, стричь волосы и ногти, а свою комнату с зашторенными окнами покидал только затем, чтобы взять еду на кухне и снова вернуться в полумрак к тускло мерцающему монитору. Компьютерной зависимостью кого сейчас удивишь, а отличником он никогда не был.

Полное затворничество пришло не вдруг, оно обволакивало коконом, росло вместе с его ногтями и волосами, длина которых поначалу казалась личным правом выбора. Когда спутанные волосы опустились ниже плеч, а ногтями можно было загребать еду из тарелки, стало казаться, что длинную бобину эволюции раскрутили назад и за *homo sapiens* проглянуло обезьяноподобное существо.

Терпение матери лопнуло, когда сын отказался получать паспорт, как положено в четырнадцать лет. Он прямо заявил ей, что уже не человек, а Существо паспорт не нужен. Тогда мать поняла, что без психиатров не обойтись, но еще две недели опасливо приглядывалась к Существо, плакала по вечерам, читала про карательную психиатрию и про то, как детские врачи ставят опыты над неокрепшими детскими мозгами.

Она до последнего боролась с собой и с необходимостью вызвать психиатрическую службу, но когда Существо перестал разговаривать голосом ее сына и, словно сказочный волк, перековавший у кузнеца голос, чтобы обмануть доверчивых козлят, сменил тембр, она поняла, что бой проигран.

— Я — Существо, — хрипел бледный, заросший волосами мальчик. — Люди не смеют соваться в мои дела и заходить в мое убежище.

Дождавшись, когда сын заснет, мать прокралась в его комнату и осмотрелась, пытаясь понять, чем он тут занимается.

По монитору плавала заставка с инопланетными монстрами, взгляд ее ухватил растрепанную общую тетрадь на тумбочке. Она, стараясь не шелестеть замусоленными листами, принялась читать. Потом тихо вышла, отправилась на кухню и стала искать бутылку водки, оставшуюся с Нового года. Выпив две стопки, от которых не полегчало, приставила стул к шкафу и достала с дальней полки альбом с детскими фотографиями. В восемь утра она набрала 03 и сказала, что ее сыну нужна срочная психиатрическая помощь.

* * *

— Ну что ж, давай знакомиться. Как тебя зовут, молодой человек? — спросил Христофоров у подростка, беспокойно оглядывавшего просторный кабинет.

— У меня нет имени. Я — Существо, — прохрипел тот, враждебно уставившись из-под длинной челки.

— Это твой обычный голос? Ты всегда так разговариваешь?

— Все Существа так говорят, — отрезал подросток. — Они не могут разговаривать как люди, это их нормальный голос.

— Хорошо, но вот в карточке твоей написано, что тебя Павлом Владимировичем величают. Павел, Павлик. Я могу тебя так называть?

— Нет, это уже не мое имя. Я — Существо.

— Когда же ты превратился в Существо?

— Не помню.

— А зачем на фельдшера с ножом накинута, помнишь?

— Они ворвались в мое личное пространство. Люди не имеют права входить туда, где живет Существо. Каждый человек имеет право заниматься тем, чем он хочет!

— Так ты же не человек, ты — Существо.

Помолчали.

— В школу почему не ходил?

— Существо там не место.

— Я в твоей тетрадке прочел — ты уж извини, мне ее вместе с тобой доставили: «Я не живу, а просто существую». Поэтому ты решил, что стал Существом?

Подросток устался в пол и замолчал. Не дождавшись ответа, Христофоров вздохнул:

— Голоса были? Кто-то в голове с тобой разговаривал, убеждал тебя, что ты — Существо?

— Не было! — энергично замотал головой подросток. — Меня все спрашивали. Врач, которого мама позвала, и врач, когда сюда привезли.

— Ты точно помнишь, что не было? — с большим удивлением спросил Христофоров.

— Не было.

— Ну, так я тебя поздравляю! — радостно воскликнул Христофоров. — Это значит, не все так плохо. Значит, к мысли о том, что ты — Существо, ты, дружок, пришел путем псевдологических заключений!

— Нет, я — настоящее Существо, — обеспокоенно заявил подросток.

— Ну, с такими волосами и немый целый месяц, как я могу судить по твоему запаху, это точно, — милостиво согласился Христофоров. — Кстати, ты находишься в стационаре, а тут так нельзя, поэтому сегодня у тебя по плану банный день и стрижка. Ногти сам подстрижешь или воспитателя просить будем?

— Вы не имеете права!

— Я не имею права оставить тебя в таком виде. У меня тут шестьдесят детей. Вдруг ты с такими когтями набросишься на кого-нибудь, как сделал это с санитарями? А если у тебя заведутся вши — мне придется обрить тебя наголо. Что ты выбираешь: аккуратную стрижку или бритую голову?

— Когда меня отпустят домой? — понурился подросток. — Что для этого надо сделать?

— О, вот это деловой разговор. Все очень просто. Тогда, когда ты перестанешь быть Существом и превратишься обратно в Павлика. А точнее в Павла Владимировича. И пойдешь получать паспорт.

— Но я — Существо! — упрямо повторил подросток.

«Острое полиморфное психотическое расстройство с признаками шизофрении», — прочитал Христофоров запись, сделанную в истории болезни при поступлении, задумался и поставил карандашом знак вопроса.

* * *

Еще утром он увидел на столе записку с просьбой зайти в женское отделение, но до сих пор делал вид, что запамятовал, не желая признаться самому себе, что идти туда ему не хочется.

Отделение для девочек он не любил. Возможно потому, что всегда втайне боялся быть туда сосланным. Такое назначение хуже ссылки в приемный покой.

С парнями все просто. Даже самые трудные детдомовские подростки принимали его стиль общения: мужской разговор по душам. Они-то и сдавались первыми, подтверждая, что многие душевные болезни в их возрасте являются болезнями духовными, объясняются обыкновенной педагогической запущенностью, отсутствием любви и лечатся добрым словом, которое доходит до источника духовной боли медленнее, чем лекарства, но, в отличие от лекарств, не выводится организмом.

С девочками дело обстояло сложнее. У них царили склоки, сплетни, истерики и драки из-за нижнего белья.

«Малолетние проститутки», — звал он их про себя, и на восемьдесят пять процентов эта оценка, скорее всего, соответствовала действительности, по крайней мере, со строго гинекологической точки зрения. Правда, природа раннего взросления была все той же, что и у его парней: сиротство или жизнь с пьющими родителями, детский дом и нежелание мириться с его дисциплиной. Драки, побеги, попытки суицида и — детский психиатрический стационар.

Однако если у мальчиков все это было еще по-детски, с романтической мечтой о приключениях, завоевании мира — пусть даже во главе фашистской армии, с убежденностью в своей инаковости — пусть даже за счет отказа от мытья и стрижки отросших волос, то у девочек — более взросло, остервенело, обреченно, до дна.

Если бы Христофорова посадили по другую сторону его рабочего стола и откинувшийся на спинку его стула психиатр докопался до истины, то Христофоров-пациент с удивлением узнал бы, что не любит женское отделение потому, что боится этих рано повзрослевших девочек, не знает, как себя вести, пасует перед ними.

Галантность пятидесятилетнего мужчины не позволяла ему гаркнуть на четырнадцатилетнюю особу женского пола, даже если она выла, строила рожи и показывала неприличные жесты. Он не мог положить девочке руку на плечо, чтобы успокоить, сесть на край кровати, чтобы поговорить по душам. Не мог побороться с девочкой, как иногда позволял себе с пацанами в игровой комнате: они висли на нем гроздьями, лишь бы помахать кулаками и получить настоящий мужской подзатыльник — такой, какой раздавали бы отцы, если бы они у них были.

В отделении девочек он мог только делать записи в истории болезни, выписывать лекарства и тоскливо надеяться, что очередная «обезьяна» не выкинет в его дежурство ничего, кроме обычных для психиатрической больницы женских шалостей: стриптиза на подоконнике перед редкими мужчинами, проходящими по глухой улице мимо больницы, и вспыхивающих, как спичка, ссор по пустякам. Надо отдать должное, побеги среди девочек случались крайне редко, что еще раз подтверждало практичность и дальновидность женского ума: бежать дальше детского дома, откуда тут же привезут обратно в стационар, многим было просто некуда.

* * *

У девочек дежурила Маргарита — «женщина с харизмой императрицы и четвертым размером бюста», как определял ее для себя Христофоров, сомневавшийся в таких же внушительных параметрах ее профессионализма. Чуть что, она сразу обращалась к Христофорову.

«Ну, как поживают ваши мандавошки?» — вертелось на языке приветствие, пока он спускался по лестнице на второй этаж.

— Что стряслось? — заменил он саркастическое приветствие на хмурый вопрос.

Маргарита сидела на этаж ниже, за столом, располагавшимся в кабинете строго под его столом, и если топнуть ногой посильнее, тщательно уложенные волосы статной Маргариты запорошит известкой. Хотя зачем же топать? На собраниях трудового коллектива она здоровается с ним кивком головы, а в день рождения от нее даже приходит сообщение с поздравлением на мобильный телефон. Конечно, поздравления с утра вывешивают на общей информационной доске в холле больницы, но ведь не всякий прочтает и поздравит. Вежливая дама, зачем же известку...

— Ничего страшного, Иван Сергеевич. Посоветоваться хотела. У вас опыт, у вас талант. У меня девочка четырнадцати лет, не детдомовская, из приличной семьи. Но вот темнит что-то... Вы же разговаривать умеете, не как психиатр — как психотерапевт.

— Суицид?

— Да.

— Вены или таблетки?

— Таблетки.

— Без фантазии...

— Говорит, сама не понимает, зачем сделала. Объяснить не может. Вы поговорите с ней у меня в кабинете, а я по отделению пройду. — Маргарита царственно кивнула на свое место за столом.

Христофоров хотел по привычке развалиться на стуле, но вспомнил, что он все-таки не у себя, с опаской оглядел тонкие алюминиевые ножки и уселся на диван — для беседы по душам так даже лучше.

Девочка имела вид бледный, но упрямый, а главное, была рыжей — плохая примета. Огненных пациентов, а тем паче пациенток в больницах опасаются не только анестезиологи, которым тонкокожий рыжик может выкинуть остановку сердца или другой сюрприз при наркозе. Психиатры нутром чувствуют бесовщину.

— Имя у тебя странное, — уставился Христофоров в карточку. — Элата! Древнегреческое?

— Злата, — девочка покосилась на карточку. — Вы букву перепутали. «З» надо, а не «Э».

— Надо же, — удивился Христофоров. — Жаль. Красиво было бы — Элата. Да и Злата красиво. Это тебя по цвету волос назвали?

— В честь певицы Златы Раздолиной, мама и папа на ее концерте в Ленинграде познакомились.

— Не тошнит тебя больше?

— Нет. Меня же из обычной больницы перевели. Там промыли.

— Живот не болит?

— Нет.

— А болело что-нибудь до этого?

— Сердце болело.

— Отчего это у молодых девушек с красивыми именами болит сердце? — сделал заход Христофоров, но по упертости в него взгляду понял, что постучался не в ту дверь.

— Не знаю, — серьезно ответила ему девочка. — Просто ныло. Я маме сказала, мы даже УЗИ делали и кардиограмму. Все хорошо. Эффект роста, говорят.

— Сколько таблеток выпила?

— Я не считала. Все, что в аптечке нашла.

— Видимо, у тебя мало болеющая семья. Ты в курсе, что таблетки разные бывают?

— Да.

— Ты хотела умереть?

— Тогда — да.

— А сейчас?

— Сейчас — нет.

— Почему тогда хотела?

Девочка вздохнула и уперла взгляд в его переносицу.

— Ну, ты же умненькая девочка. Что случилось? Зачем тебе понадобилось умирать?

— Ничего не случилось. Просто смысла нет.

— В жизни смысла нет?

— Да.

— В твоей или вообще?

— В моей, наверное. Я долго здесь буду?

— Не знаю, — честно признался Христофоров. — Может, месяц, а может, и три.

— А как же школа, я же отстану!

— Да зачем тебе школа? Ты же хочешь умереть.

— Я тогда хотела, а теперь — нет, — терпеливо повторила девочка. — Когда меня отпустят?

— Ну, голубушка, это не разговор. Мы тебя выпишем, а ты опять передумаешь. Женщины такие непредсказуемые! Рано пока о выписке говорить. Нам же гарантии надо иметь.

— Гарантии чего? — спросила девочка очень серьезно, закусив дрожащую губу, и Христофоров вдруг увидел, что разговаривает с ребенком.

— Гарантии того, что ты нашла смысл жизни, — вздохнул он. — Ну, или хотя бы попыталась. У меня тоже смысла жизни особо-то и нет, и таблеток под рукой море, и я знаю, какие пить. Смысла нет, а жить хочется. Понимаешь?

До двух ночи Христофоров писал истории болезни, затем полез в интернет и, стуча одним пальцем по клавиатуре, нашел то, что пригодится ему для лечения Фашиста: успех не гарантирован, но попытаться стоило.

Долго решал, куда класть новоиспеченного суицидничка. В отделении Христофорова все забито под завязку, и всем — от одиннадцати лет. Новенькому — десять, но поступок совершил почти взрослый.

Заплаканная мать, мнущийся и виноватый отец. Мелкий, уже промытый, похожий на невыспавшегося отличника бледный пацаненок тарасил глаза. Успел врачам рассказать, что травил себя потихоньку, подбирал дозу и вот подобрал-таки, но чуть ошибся. Куда класть?

В итоге постановил: Шнырькова — к шизофреникам, товарищам по несчастью, пусть не обижается, друг сердечный. А этого — в «четверку», вроде не буйный. Там как раз интеллектуалы.

* * *

Борис Вячеславович, а попросту Славыч, был в своем репертуаре. Функционер в Славыче проклеивался еще в студенческие годы, а теперь окончательно вылутился и оперился в костюм тонкой полоски и нежного сиреневого цвета рубашку с таким же сиреневым галстуком, только на тон темнее.

Христофоров решил не снимать куртку. Он пришел не со смены, а потому в свежей рубашке, но мятой настолько, что было неловко даже ему, считавшему, что число извилистых складок в мозгу компенсирует равное им число складок на одежде. Мать сдала в последнее время, и выстиранное белье слоеным пирогом нарастало на гладильной доске...

Однако в кафе было жарко, и сидеть в куртке оказалось еще более неприличным, чем снять ее. Славыч скользнул взглядом по брючному ремню Христофорова и широко улыбнулся.

— А я его помню!

— Кого?

— Да ремень твой! Мы же им двери в электричке перематывали, чтобы они не открывались? Помнишь? На последней электричке ехали с девчонками!

Христофоров выудил из памяти: свист теплого ветра в открытых форточках, портвейн пацанам и игристое барышням, всклокоченным после купания, почти доступным и волнующе чужим. Пировали в вагоне одни — двери из тамбура не открывались, стянутые его ремнем, и редкие в поздний час дачники, чертыхаясь, покорно шли в соседний, не желая связываться с шумной молодежью.

— Никогда не забуду! — не унимался Славыч. — Я ж ботаник такой был, с конспектами все, в профсоюзе, а вы мне показали, что такое студенческая жизнь! Да я и женился потом через полгода...

Разделив восторг однокурсника и изобразив на лице печаль по поводу его давно развалившегося брака, Христофоров краем глаза глянул, что же держит брюки Славыча. Темно-коричневая полоса кожи глянцевой выделки с аббревиатурой JF. Он подтянул свой ремень — очень даже еще ничего, кожаный, доставшийся в наследство от отца, с массивной металлической пряжкой и глубокими поперечными трещинами по всей длине.

Заказали по кружке чешского темного. После первого же глотка Христофоров начал отвечать на незаданный вопрос Славыча, ради чего он вытащил однокурсника на встречу. От Славыча ему нужна была либо административная поддержка, либо рекомендация плюнуть и не связываться. И Христофоров принялся рассказывать историю Ванечки, которого он не решился сходу назвать Оменом, чтобы не сложилось предвзятого мнения.

— Мальчонка ко мне поступил занятный. Издалека направили, как в последнюю инстанцию. Но в глаза ему смотрю и вижу: не по зубам он мне. Аж мурашки по коже...

Факты биографии Ванечки он излагал со слов опекуниши, видевшей в столичном докторе Христофорове спасителя. Родился мальчик в деревне Большие Березники в семье потомственных алкоголиков. Мать его любила мужиков и водку одновременно, но водку больше, поскольку мужиков своих она, напившись, резала ножом. Первое убийство в восемнадцать лет признали самозащитой при попытке изнасилования. Второму сожителю повезло больше: он успел выхватить нож из рук беременной двадцатичетырехлетней возлюбленной и отделался порезами. Заявлять не стал, у самого рыльце в пушку, просто свалил подобра-поздорову, ни разу впоследствии не поинтересовавшись родившимся от него ребенком.

У Ванечки меж тем был старший брат, отца которого не помнила, а может, и не знала сама мать.

После Ванечки, перед тем как загреметь надолго, она успела родить дочку, отец которой вскоре помер от пьянки, а также, как постановил суд, убить собственную мамашу. Во время ссоры схватила с печки чугунную сковороду и хлопнула старушку по голове, ничего плохого не имея в виду: просто хотела, чтобы та перестала попрекать ее водкой, мужиками, детьми от мужиков и тунеядством.

Старушка замолчала, но была еще жива, когда, дождавшись темноты, дочка выволокла ее за калитку стоявшего на сельской окраине дома и усадила в сугроб. Утром старушку нашли мертвой односельчане, но не удивились: от такой жизни она давно тронулась умом, заговаривалась, вполне могла выйти из дома ночью и забыть дорогу обратно. Сделанное для соблюдения формальностей вскрытие показало, что умерла она от переохлаждения, что было чистой правдой.

Обо всех фактах своей биографии мать Ванечки поведала по пьяной лавочке соседке. За язык ее никто не тянул, разве что черти, которых к тому времени она видела наяву так часто, что хоть здоровайся. Сказала куме, та — борову, боров — всем Большим и Малым Березнякам, а там и до следователей в городе дошло. Позже она отнекивалась, включала несознанку, уверяла, что спьяну оговорила сама себя, но Бог

любит троицу: на третий раз ее лишили свободы и того, что было ей нужно меньше всего, — родительских прав.

Родственников у детей не оказалось: отцы в бегах, бабка умерла, мать и ее родной брат — мотают сроки. Причем дядька тоже за убийство: в шестнадцать лет изнасиловал и задушил соседку, старушку шестидесяти пяти лет.

Детей уже оформляли в детский дом, когда в темное царство их жизни заглянул луч света. Родная тетя младшей сестренки Ванечки оказалась женщиной набожной, она и стала опекуницей.

Точнее, дело было так. Сперва душа ее болела за девочку — родную кровинушку, но органы опеки поставили ей почти мушкетерский ультиматум: одна за всех и все за одну. Трое или ни одного. Своих детей у нее не было, и Бог все-таки любит троицу... Она решилась — и увезла к себе в город двух молчаливых братьев и пугливую девочку, которая в три года говорила невнятными слогами, причем солировали не традиционные «ма-ма», а что-то похожее на «мя-бля».

Старший мальчик, хмурый, сутулый подросток, опекуницу слушался и, похоже, уважал. За год он подтянулся в учебе настолько, что сумел стать крепким середнячком в классе, да и физически окреп. Проблем с ним не было.

Девочка через год осмелела и уже командовала опекуницей на правах младшего члена семьи, что бывает только у благополучных родителей.

Не изменился лишь Ванечка. Он по-прежнему мало разговаривал, был тих, вежлив, но каждый день с ним сулил новые открытия. От старшего брата опекуница узнала, что Ванечка ни разу в жизни не плакал и мог посреди дня лечь в кровать и долго лежать, скрестив руки на груди и безотрывно глядя в потолок. О чем Ванечка думал, было загадкой.

Вскоре она смогла убедиться в том, что одной загадкой Ванечкина натура не исчерпывается. Гуляя во дворе, тихий Ванечка неожиданно залезал на дерево и оглашал округу отчаянным воплем: «Помогите, убивают!»

Внезапно проснувшаяся страсть к чтению была у Ванечки избирательной и носила конкретное имя: Агата Кристи. Любовью к детективам она объяснялась с трудом, поскольку никакие иные авторы и книжки мальчика не интересовали.

Подаренный соседом самодельный аквариум из оргстекла то и дело пустовал. Хомячки в нем почему-то не заживались: то ли сквозняки их губили, то ли присущая этим суетливым грызунам неизвестная смертельная болезнь. Когда хомячковый мор перекинулся на живой уголок школы и опекуницу вызвала классная руководительница Ванечки с целью поинтересоваться, как мальчик относится к домашним животным, она заподозрила неладное и решила хомячков больше не покупать.

Те странности в поведении мальчика, которые раньше списывались на тяжелое детство, стали приобретать иные, самостоятельные черты. Согласно медицинской карточке, Ванечка был здоров, насколько может быть здоров ребенок, забранный год назад у матери-алкоголички. Со школьным психологом мальчик был немногословен и вежлив. Внезапные выходки неизменно объяснял двумя словами: «Просто так». Потом, правда, изобрел более весомый и убедительный детский аргумент: «Побаловаться захотелось».

Пропажу бездомных кошек в округе не замечали. Когда стали исчезать хозяйские, на столбах в районе появились объявления.

Однажды на детской площадке к опекунице подошла соседка с семилетним сыном и сказала, что двенадцатилетний Ванечка позвал ее мальчика поиграть — на крышу девятиэтажки. Ванечка обещал мальчику, что научит его летать, и в доказательство сбросил вниз жившую в подъезде кошку, которую прикармливали жильцы с восьмого этажа. Услышав про «поиграть», разговорившаяся к тому времени сестренка Ванечки, сказала им, что играть с Ванечкой не интересно: он предлагал ей тыкать в стену палочки и держать их за кончики, но она лечила куклу и отказалась.

Опекунша заинтересовалась игрой в «палочки» и нашла под Ванечкиной кроватью тайник: задвинутый в самый угол ящик, в котором лежали оголенные провода и штепсель. Сам Ванечка додумался до этой игры или где услышал — Христофоров не смог добиться.

На ура освоил Ванечка и еще одну игру, играть в которую можно даже в одиночку, но на пару интереснее. Называется «собачий кайф», «на седьмом небе» или «космический ковбой».

— Не слышал? — уточнил Христофоров у Славыча. — Популярная игра у наших школьников. Уже несколько смертельных случаев было.

Славыч сделал большие глаза: помилуйте, он воспитывался в хорошей семье, был отличником медицинской и политической подготовки. По всему видать, у Славыча благополучные дети.

— «Собачий кайф» — известная еще с восемнадцатого века игра с асфиксией. Все, что требуется, — веревка, шарф, ремень или скрученное жгутом полотенце для затягивания на горле. И отсутствие мозгов.

— Да уж, детские шалости... — Славыч допил пиво и заказал еще. Христофоров последовал его примеру, хотя и знал, что не стоило бы.

— Почему же только детские? — невозмутимо сказал он. — Вот ты фильм «Убить Билла» видел? Актера этого знаешь?

Славыч попытался что-то такое припомнить и неуверенно кивнул.

— Ну вот. Поехал мужик фильм в Таиланд снимать. Нашли повешенным в гостиничном номере, в шкафу. Думали убийство — так в номер никто не входил. Думали самоубийство — да уж больно мудреное: одна веревка на шее завязана, а другая — на члене. Экспертиза показала: аутоасфиксиюфилический несчастный случай во время специфического самоудовлетворения. Это не совсем «собачий кайф», конечно. Мужик хотел не обморок словить, а банально кончить.

— Банально, — хмыкнул Славыч. — Лучше бы таечку снял. Их там пруд пруди на каждом углу. Зачем в шкаф-то лезть...

— Небанально, — согласился Христофоров. — Творческий человек не ищет легких путей. Неужели он за свои семь десятков таечек не видел?

Славыч подумал, что не смотрел «Убить Билла», и теперь уже не будет. Он против шкафов и веревок в мекке секс-туризма, это же тебе не глухая российская деревуха, да и в ней-то здоровый представитель нации вышел бы из положения...

— Значит, твой Ванечка тоже увлекся «собачьим кайфом»?

— Еще как, — Христофоров отправил в рот гренку с чесноком.

Друзей у Ванечки не было, тренироваться он стал сразу на себе. Однажды после очередного «сеанса» случился судорожный приступ, тогда его нашел брат и Ванечка впервые попал под наблюдение психиатров.

Выйдя из больницы, он не бросил своих увлечений. В нем как будто действовала заложенная программа: хладнокровно вершить судьбы. Творить зло его душе было так же естественно, как телу есть, пить, вдыхать кислород, выдыхать углекислый газ, испражняться.

Кошек в микрорайоне теперь выводили гулять на поводке, как собак. Одноклассники мальчика сторонились. Опекунша боялась оставлять девочку без присмотра после того, как та вырвалась от Ванечки, лишив его возможности установить рекорд — вогнать в «собачий кайф» четырехлетнего ребенка.

Время шло, а Ванечка не менялся. Ванечка не менялся, а время шло. И осталось его совсем мало — срок пребывания Ванечки в стационаре подходил к концу, Христофоров и так растянул его ожиданием действия подобранной терапии, хотя точно знал: нет лекарств, способных вылечить душу. Помог и ко времени объявленный карантин по ветрянке. Однако вечно держать мальчика в больничных стенах он не

мог, как не мог и заколоть его до состояния растения — грехи Ванечки были еще не настолько велики.

Стало быть, предстояло ничуть не изменившемуся, отдохнувшему Ванечке возвращаться домой. Ну а лет через семь, а то и раньше, можно было бы следить за криминальной хроникой в местных новостях, если хватит у опекуныши сил взрастить мальчика под боком, или в новостях любого другого города — если не хватит, и отправится он вместе с сестрой и братом в детский дом. Впрочем, Христофоров вспомнил спокойствие Ванечки и его ровный пульс: «характер нордический» — может, новостей о нем придется ждать и дольше.

— Фильм «Омен» про дьявольского ребенка смотрел? — спросил Христофоров. — Так вот мой Ванечка — один в один. В нем будто заложен неуловимый «ген преступности». Доказать это невозможно, пока мальчик не совершил серьезного преступления, но в том, что кошками и хомяками дело не ограничится, я уверен. Он людей резать начнет. А куда мне идти с этой своей уверенностью? И что можно сделать? Я никогда не встречал такого отчетливого проявления социопатии у ребенка, он уже сейчас опасен. Вот только социопатию убрали из перечня психиатрических диагнозов... Социопатию вы убрали, а куда девать социопатов?

Славыч еще не понимал, куда клонил Христофоров, но на всякий случай хмурился: что делать с социопатами, не знал и он, но то, что они не пропали вместе с диагнозом, конечно, непорядок.

— Спецшкола закрытого типа, — сказал Христофоров и значительно посмотрел на Славыча. — Ничего лучше я не могу предложить. Мальчик вернется в семью, но вместе с ним вернется диагноз «устойчивое расстройство поведения», больше я ему не могу поставить, интеллект у него сохранен, а уж свою устойчивость в поведении он подтверждает каждый день. Сам по себе этот диагноз — ничто, поэтому заключение должно быть на самом серьезном официальном бланке, — Христофоров возвел глаза к потолку.

Славыч с облегчением вздохнул: наконец-то цель встречи стала понятна.

— Ну, а что Омену твой диагноз и мой бланк? Будет котов с полным правом с крыши швырять, никто ему ничего не сделает, раз справка есть.

— Так, да не совсем так. Дальше все от опекуныши будет зависеть. Твой бланк в провинции дорогого стоит. Я уже объяснял ей, что если мальчик не изменится, ничего хорошего ее не ждет. Она может пропустить мои слова мимо ушей и оставить все как есть, но женщина она вроде неглупая... К тому же шанс избавиться от этого мальчика и сохранить в семье остальных детей есть. Омена надо изолировать до того, как он совершит что-то серьезное. Тут потребуется возбуждение уголовного дела, а дальше механизм заработает сам: комиссия по делам несовершеннолетних, суд, мой диагноз на твоём бланке, который подтвердит, что государство уже обратило внимание на мальчика. Вряд ли местные вершители судеб захотят опростоволоситься в случае дальнейших подвигов, они же не могут за него поручиться. Он должен по решению суда оказаться в спецшколе закрытого типа, из которой вряд ли выйдет.

— А что с ним будет?

— Гены возьмут свое. Он продолжит делать то, что привык, но там другие законы. Это же зона для несовершеннолетних. Либо он сам порешит кого-нибудь, либо порешат его.

— Вот бы в порядке исключения из закона Димы Яковлева отправить твоего пацана на усыновление в Америку. Там-то они к маньякам попривычнее будут. Одним больше, одним меньше...

— А что, как думаешь, — оживился Христофоров, — может, мне детского омбудсмена к Омену пригласить? Поспособствуешь? Наше отделение по телеку покажут, Омен домой героем вернется, я старым дураком окажусь — мне не привыкать, зато совесть чиста будет! В конце концов, я и правда старый дурак,

а Омен — ребенок, я могу ошибаться. Да, я всю жизнь в детской психиатрии проработал. И что? Ну вот глаз у меня замылился. Думаешь, очень хочется жизнь пацану ломать? Пусть он сам себе ее сломает — и опекунше, и другим. Я-то тут причем, он и так семьдесят дней у меня как в санатории... И вообще я, может, умру к тому времени, как Омен подрастет, и о подвигах его не узнаю...

— С омбудсменом ты брось. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, упаси тебя бог от таких визитов...

— Может, хоть ты ко мне в гости придешь? Посмотришь сам на мальчика.

— Не хочешь в одиночку грех на душу брать? — прищурился Славыч.

— Не хочу, — признался Христофоров. — Уж больно скоро отвечать придется.

— А помнишь, как на турбазу зимой ездили? — спросил вдруг Славыч. — Староста курса надрался и окно там высадил на веранде. Сторож у нас тогда паспорта забрал, утром выкупали за три бутылки водки. Еще сани финские угнали и девочнок до станции катили. А я правильный был, сани обратно потом повез и на последней электричке вернулся.

Христофоров попытался вспомнить — и не смог. Работал тогда, наверное.

— Ладно, приду. Заодно Маргариту повидать надо, — согласился Славыч, и Христофоров сочувствующе кивнул, как будто давний развод однокурсника сильно его печалил.

* * *

Красивое имя — Элата, можно так теперь себя и называть. Второе рождение — второе имя. Девочка под одеялом подтянула ноги к животу. В палате было душно, но раскрываться не хотелось. Она упиралась головой в свод темной постельной пещеры и представляла себя сложившей крылья уставшей бабочкой, вокруг которой ничего нет.

Больница — то место, откуда легко представить, что мир исчез, растворился, сгинул. А тот его кусочек, что виден за окном, — забытая декорация.

Снаружи нет мира, в котором, как в гигантском шаре-зорбе, мчащемся по своей траектории, кувыркаются с ног на голову и обратно семь миллиардов человек. Этот зорб, сорвавшись с надоевшей за миллионы лет орбиты, мчится в никуда, подгоняемый космическим ветром, подпрыгивает на ухабах метеоритных потоков, чудом уворачивается от провалов черных дыр. Но девочка не в зорбе, она лежит в тихом, теплом ватном углу на краю Вселенной. Да, на краю, потому что невозможно представить, как эта Вселенная бесконечна, что бы там ни говорили ученые.

Снаружи нет старого здания больницы с высокими сводами и запахом страха, заполняющим все существо, как воздух — надуваемый шар. Страх все больше, шар все шире. И лопнул бы — так нет: страх плещется внутри тошнотой. Чувство страха в больницах вторично, первичен запах страха, эти больничные миазмы — губительные невидимые испарения. Одеяло все это приглушало, и девочка представляла, что снаружи нет кислого запаха процедурных и острой вони хлорки, сливающихся в общий для всех больниц дух неблагополучия.

Снаружи нет осени, которая зависла, как экранная заставка компьютера — серое небо, желтые листья, падающие картинно медленно, словно по кругу, в обход закона всемирного тяготения. Ранней осенью светло, а вот поздней будет тошно. Может быть, эту неминуемую позднюю осень она гнала от себя, когда пила таблетки? Да, и ее тоже.

Она лежала в белой пещере, устроенной за пределами времен года, где-то на краю жизни и времени. Было душно и тесно, как в чулане в детстве, но именно в чулан ей все время и хотелось забраться. Дома чулана не было, но была мамина гардеробная. Мама уже забыла про чулан, ей и невдомек, что Элата пряталась теперь под подолами платьев, среди туфель — как привыкла с детства. Прикрывала дверь и сидела под

ворохом одежды, представляя, что снаружи — не существует. И она сливалась с этим несуществованием и тоже пропадала, вылуплялась из женской оболочки и рождалась бесполом Голумом в своей скрытой ото всех и всего темноте. Если бы не надо было ходить в школу и быть правильной девочкой, она не покидала бы квартиру, не раззавешивала окна, вообще не подходила бы к ним.

Красивое имя — Элата, так она и будет теперь себя называть. Злата — для обычной жизни, Элата — в Зазеркалье. Похоже на Олю и Яло в старом детском фильме, который мама однажды нашла в Интернете, сказав, что это любимый фильм ее детства. Они смотрели его вместе. В первый и последний раз.

Перед тем как заснуть, она успела сочинить красивый ответ доктору о том, что захотела расстаться с детством, сделать следующий шаг на пути к смерти после первого — рождения. С подростковой горячностью решила пройти этот и все другие шаги сразу, разбежаться и перемахнуть через них, но споткнулась и растянулась на краю пропасти, не успев ни перелететь, ни свалиться. Ударилась о землю и превратилась в Элату, совсем как в сказке, только не доброй, а наоборот, как и положено в Зазеркалье.

Хорошее объяснение. Но утром оно забылось.

* * *

Удав опять полз вверх слишком медленно. Шнырь устал считать за ним ступеньки и вздохнул с облегчением, когда рядом с удавом загарцевала лошадка. Все шло по знакомому сценарию.

Неделю назад его перевели из любимой четвертой палаты, но он продолжал туда заглядывать. Манил его загадочно спокойный мальчик Ванечка, притягивал, как магнит. Может быть, потому, что не говорил много слов, как другие дети и взрослые. Он вообще почти ничего не говорил и смотрел на стеснительно заглядывавшего в палату Шныря как питон на кролика, уже запущенного в его, питона, клетку за полчаса до обеда. Прожив с ним в палате дольше прочих, Шнырь узнал маленькие и большие секреты Ванечки и даже хотел настучать о них Христофорову, но всё никак не мог этого сделать: когда помнил о своих намерениях — боялся Ванечки, когда забывал о страхе перед Ванечкой — забывал и о его секретах. А теперь еще новая забота у него появилась — стихи Пушкина.

Брякнул замок, дверь растворилась.

— Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня, — нараспев, как учила Анна Аркадьевна, произнес Шнырь.

Первые две строчки дались ему с трудом, все время вылетали из головы, но когда засели, то уж прочно — как гвоздь в стене, по самую шляпку. Дальше пошло проще, и вот — целых пять.

— Ты чего, Шнырьков? — попятился от него Христофоров и привычно посмотрел под ноги. Лужи не было. Выходит, терапия начала действовать, и Шнырь, как и должно быть в периоды ремиссии, вновь выстраивает причинно-следственные связи: не хочешь описаться — вовремя сходи в уборную.

— Руслан Илюдмила, — торжествующе улыбаясь, сказал ему Шнырь.

— «Евгений Онегин», — мягко поправил его Христофоров и потрепал по плечу. — Ты молодец.

Сегодня он заступал на суточное дежурство — это значит, что вечером будет очередной сеанс с Фашистом, что требовало уединения в кабинете, невозможного днем.

Пока он на ходу заглянул в «четверку».

Омен, как обычно, смотрел прямо, но не очень заинтересованно, не на него, а в него, как смотрят в «Черный квадрат» Малевича, сам по себе совсем не интересный,

но будто что-то внутри скрывающий. Суицидничек сидел на кровати и шевелил губами, проговаривая каждое слово, которое выводил в тетрадке. Существо — умытый и подстриженный — лежал на боку и изучал крашеную стену. Фашист при виде Христофорова встрепенулся и заулыбался: после нескольких вечеров, проведенных в кабинете, ему казалось, что он имеет больше, чем другие, прав на внимание доктора.

Христофоров кивнул, но поздоровался с одним только Существом.

— Доброе утро, Павел Владимирович! А вам идет ваша новая стрижка.

— Я не человек и никогда им не стану, — прохрипел подросток, не оборачиваясь.

— Никогда не говори никогда, — парировал Христофоров удачно пришедшей на ум фразой из телевизора (бывает польза и от сериалов, которые вечерами в соседней комнате смотрит мать). — Вы, Павел Владимирович, через час ко мне зайдите. Сейчас мне с карточками поработать надо, а потом с вами поговорить хочу.

— «Вы, Павел Владимирович», — передразнил его уязвленный Фашист, выждав безопасное время, за которое Христофоров удалится от палаты. — Что же нам говоришь, что ты — Существо? Врешь, значит?

— Не вру.

— Чем докажешь?

— Я живу не как человек.

— Так что ж тебя тогда не отвезли в ветлечебницу, где животных лечат?

Даже Омен оторвал взгляд от стены и улыбнулся.

— В «собачий кайф» играл? — спросил он у Существа и, получив отрицательный ответ, добавил: — Хорошая игра. Человекам в нее играть запрещается.

— Я и не человек... — заверил Существо.

* * *

Опять с утра медсестра на лестнице поймала, попросила поговорить со Златой.

— Как тут у вас? — буркнул Маргарите. Графики у них, что ли, совпадают? В один день дежурят.

— Мать девочки... — начала Маргарита, протягивая тонкую еще историю болезни. Но Христофоров остановил ее жестом. Он знать не хотел ни noblesse oblige родителей девчонки, ни их самих.

— Ну как? — буркнул рыжей, вошедшей и усевшейся перед ним, как ученица на первой парте: рука на руке ровно по краешку стола, в рот глядит, будто он ей сейчас лекцию на час закатит.

Та пожала плечами. Никак, стало быть.

— Я подумала — но это не точно, — зачем я это сделала. Я... как бы... не хотела быть как все... Оригинальной хотела быть.

— Оригинальной? — засмеялся Христофоров и хлопнул себя по ляжкам. — Так я тебя расстрою, девочка. Я вот только что статью читал с медицинской статистикой. В нашей стране за двадцать лет около миллиона человек успешно покончили жизнь самоубийством. Вот, например, в 2012 году почти тридцать тысяч. Чуешь, куда клоню? То есть миллиону удалось довести дело до конца, а сколько человек пытались, но были спасены? Умножь на три, а то и на четыре. Идем далее. В нашей прекрасной стране самый высокий в Европе уровень самоубийств среди подростков. В год кончают жизнь самоубийством полторы тысячи детей, и еще четыре тысячи совершают такую попытку. А как тебе такие данные: сорок пять процентов российских девочек и двадцать семь процентов мальчиков хотя бы раз в жизни серьезно обдумывали возможность самоубийства. И после этого ты мне говоришь об оригинальности?

— Никто из моих знакомых не хочет умереть.

— Ну так у них все впереди. И вообще, почему ты так уверена, что никто? А про тебя кто-нибудь мог сказать, что ты хочешь умереть? Если бы мог, ты давно была бы нашим завсегдатаем. Но это тоже впереди.

— Я не сумасшедшая и долго здесь не задержусь, — сказала девочка.

— Мама с папой вытащат? — сузил глаза Христофоров. — Не сомневаюсь! Но пока что тебя тут держат с их согласия, они твои законные представители, собственноручно подписавшие бумаги. Ты их здорово напугала, голубушка. Им нужны от нас гарантии, что такое не повторится. От меня им гарантии нужны. Понимаешь, да? А мне от тебя. Что я, дурак, что ли, свою задницу из-за взбалмошной девицы подставлять? Мы с тобой один на один, оригинальная ты моя.

— Вы не имеете права так со мной разговаривать.

— Я не только права, но и желания не имею, — признался Христофоров, добавив голосу сколь мог задушевности.

Девчонка встала. Тяжело поднялся со стула и он.

— Вот волосы у тебя рыжие — это оригинально, а ведешь ты себя не оригинально. Хотя, знаешь, взрослые женщины совершают самоубийства в шесть раз реже мужчин. Научный факт! — Христофоров поднял палец. — Ну, это потому что пьют меньше и о жизни меньше думают. Чем меньше женщина думает, тем она счастливее.

— Тоже научный факт? — спросила девочка, и Христофоров уловил насмешку.

Ну, предположим, не факт, а его личное убеждение. Разве личные убеждения не являются для нас наипервейшими фактами?

Христофоров вышел в коридор, раздраженный, но вполне довольный завязкой сценария «плохой следователь — хороший следователь». Сообщить о нем Маргарите? Не надо, она и так хороший следователь, особенно после звонков родителей.

— Можете сделать мне укол? Я не сдержусь, сейчас психовать начну! — кинулся к Христофорову один из мальчиков в игровой комнате. — А когда психую, я всех бью. А побью, вы меня домой не отпустите!

— Хорошо, что ты меня предупредил, — Христофоров сжал его плечо. — Я научу тебя сдерживаться без уколов. Сто минус три будет девяносто семь. Девяносто семь минус три будет девяносто четыре. Девяносто четыре минус три будет девяносто один... Всегда, когда начинаешь психовать и хочешь подраться, начинай со ста и вычитай по три, пока не дойдешь до единицы. Считаешь от ста до единицы в обратном порядке и успокаиваешься. Так же, как от укола, и даже быстрее. Укол пока подействует, ты вмазать кому-нибудь успеешь.

Он потянулся. У себя в отделении хорошо. Просто и понятно.

— Кому сегодня драть уши, бандерлоги? — спросил у тридцати затылков в игровой. Тут же увидел тридцать обращенных к нему лиц:

— Мнеее!..

— На том же месте в известный вам час.

— Хорошооо!..

Человек пять запомнит и придет.

* * *

— Сколько тебе лет? — спросил Христофоров у Суицидничка из четвертой палаты.

— Десять.

— Почему ты хотел умереть?

— Потому что нет смысла жить.

— Когда ты понял, что нет смысла жить?

— Я вообще никогда не понимал смысла и хотел умереть, только не решался.

— Некоторые люди всю жизнь ищут смысл, для этого и живут.

Суицидничек сидел, ссутулившись, положив руки на колени, и напоминал Христофорову сухонького старичка — Петю Зубова из «Сказки о потерянном времени».

— Ладно. В тот день, когда ты выпил таблетки, что-то случилось? Со мной можно поделиться. Я никому не скажу.

- Нет, я просто решил.
- Ты знаешь, какой основной инстинкт у любого живого существа?
- Самосохранение. Но когда киты или дельфины на берег выбрасываются, почему он не срабатывает?
- При чем тут киты? Ты же не кит. Признался, что дозу долго подбирал. У китов сбой спонтанно происходит, а ты медленно травил себя. Со скольких таблеток начал?
- С четырех.
- В тот день сколько выпил?
- Тридцать.
- А теперь как жить будешь?
- Я понял смысл жизни. Буду жить из-за родителей.
- Это не смысл, а уступка, одолжение. Хотя им без тебя, и правда, кранты. Представляешь, ребенок умер... Мама тебя любит, она сама за тебя жизнь отдаст, не раздумывая. Ты маме песню сочинил?
- А вы откуда знаете? Письмо мое читали?
- Ну, краем глаза, — признался Христофоров. — Когда передавал. Работа такая: все про вас знать для вашего же блага.
- Я еще стихи сочинил.
- Бумагу, ручку дать тебе?
- У меня есть. Когда меня выпишут?
- Это ты погоди. Ты таблетки долго подбирал? Долго. Теперь я должен тебе таблетки подобрать, чтобы со спокойной совестью домой отпустить. А ты не только сам пиши, но и читай — у нас тут библиотека имеется. В книгах нет-нет да и проскользнет смысл жизни. Обсудить захочешь — ко мне приходи. Без смысла я тебя домой не отпущу.
- А у вас есть смысл жизни?
- Христофоров хотел соврать, но по глазам мальчика-старичка понял, что тот задаст и второй вопрос, на который тоже придется ответить.
- Нет, — признался он. — Но это не значит, что я не хочу жить.

* * *

- Прочитал я вашу статью, — Христофоров пошелестел разложенными на столе бумагами.
- Существо упорно смотрел в стену.
- Это та статья, что вы написали тут, у нас в отделении, на второй день пребывания, — пояснил Христофоров. — Помните, вы доказывали, что сами зарабатываете себе на жизнь, создавая статьи в интернете, а вас держат в больнице и мешают заниматься бизнесом? Тогда я попросил вас написать статью в доказательство.
- Существо кивнул.
- Так вот она. Узнаете? Тут в разных вариациях повторяются три предложения со словосочетанием «элементарные частицы». Я ничего не понял. Вам за такие статьи платят?
- Существо взял протянутый лист, прочитал написанное и перевел взгляд на Христофорова.
- Это не я писал.
- Ну как же не вы? — поразился Христофоров. — Вот в этом самом кабинете сидели и писали, потом отдали мне лично в руки, а я в ваши документы положил. Я уже почти старик, но на память пока не жалуюсь. И порядок в бумагах люблю. Ошибки быть не может. Это писали вы. А вот что написано в учебнике по психиатрии. Открываем на букву «Б»... Так-с... «Бред — расстройство мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убежден...»

— Когда меня выпишут? — перебил Существо.

— Умный вы человек, Павел Владимирович, — начал Христофоров. — Ну, хорошо, пока еще не человек. Знаете, в определенном смысле вы правы. Зваться человеком — это еще заслужить надо: человеческое существо, хомо сапиенс. Умный, а туда же, заладили как все: когда выпишут... Покуда вы существо, разве место вам среди людей, дома? Сами же понимаете: на улицу не выходили, школу не посещали, в собственной квартире — и то сидели запершись. Что вам там делать? Выпишут вас тогда, когда человеком стать захотите. Но у меня есть для вас и приятная новость: насовсем отпустить не могу, а вот в домашний отпуск на выходные через две недели — может быть. Маман ваша очень за вас просит. Только, чур, уговор: с людьми без надобности в контакт не вступать. И вам это ни к чему, и их только напугаете, как захрипите в общественном транспорте.

— А две недели мне что делать? — жалобно спросил Существо.

— Ну что, отдыхайте, общайтесь, — Христофоров выставил пятерню и начал зажимать пальцы. — В первую палату еще не заглядывали? Там у нас злобная птичка Ангри Бёрдс живет, с компьютерными играми перебравшая, — раз. С вами в столовой за одним столом кушает мальчик, который ложкой отказывается есть и вылизывает тарелки, он — собака, оборотень — два. Пока всё... Но ваши коллеги прибывают довольно часто.

— Я не сумасшедший!

— Обижаете, Павел Владимирович. Самого себя обижаете. Анекдоты любите? Я расскажу один, он мне особенно нравится. Мужик проезжает возле сумасшедшего дома, вдруг колесо у машины прокололось. Стал он менять колесо на запаску, и вдруг все четыре винта упали у него в люк. Что делать? Тут высовывается из окна сумасшедший и говорит: «Возьми по винту с каждого колеса икрепи запаску на трех винтах, и на остальных колесах останется по три винта». «Ну конечно, буду я слушать сумасшедшего», — говорит мужик. Но делать нечего, самому ничего в голову не пришло, попробовал — правда получилось. И он тому в окно кричит: «Что же тебя там держат, коли ты такой умный?» А тот отвечает: «Я сумасшедший, а не дурак!» Мораль сей басни какова? Чтобы сойти с ума, его надо иметь. У вас же есть ум?

— Есть, — кивнул Существо.

— Значит — чисто теоретически, — вы могли с него сойти и представить себя Существом. Так?

— Так...

— Ну, на этом пока и остановимся. Таблеточки, что вам дают, пейте, в тайники не прячьте. А то бывает у нас такое: кладов понаоставляют, а потом сами к этим складам через месячишко после выписки и возвращаются. И опять на семьдесят дней — ждать пока терапия подействует.

* * *

— Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда Вы не узнали б никогда, — талдычил Шнырь в игровой.

Христофоров, засучив рукава, замер в стойке. За каждым его движением следило четыре пары глаз. Никто не решается накинуться первым, а скоординировать действия им в голову не приходит.

— Ну, — Христофоров выжидающе поманил к себе пальцем. — Смелей! Кто на толстенького?

«Кто на толстенького? Кто на толстенького?» — запел он, пытаясь подражать Андрею Миронову, но вышло не очень. Вдруг на миг показалось, что пол уходит из-под ног, спина покрылась испариной. Он сжал зубы и тряхнул головой, получилось как приглашение.

— Иииииии!.. — закричал Шнырь, отбросил книжку и, склонив голову, как

бычок, ринулся на Христофорова. Тот выставил ногу, сделал подсечку и одной рукой подхватив падающего Шныря, другой ухватил его за ухо.

— Одно есть! Тянем, потянем — вытянуть не можем!

— Иииии!.. — верещал Шнырь, пока остальные нетерпеливо притопывали, боясь пропустить свой черед «драть за уши».

Из-за затворенной двери игровой доносились смех и визг, и сквозь всю эту кутерьму прорывались возгласы:

— Тянем!.. Потянем!..

* * *

Осень в этом году разворачивалась медленно, степенно, надолго задерживая каждый свой кадр, как в авторском кино, словно давая возможность разглядеть на фоне плавно сменяющихся друг друга почти одинаковых дней что-то неброское, но важное для понимания общего замысла.

До больницы почти не доходил гул города. Клены за окном желтели равномерно, и лишь один из них делал вид, что не замечает наступившей осени и своих товарищей, — так и стоял независимо зеленый, но потом, в одну ночь, словно пристыженный, пожелтел и он. Вся улица стала золотой — казалось, выглядит солнце и засверкает, заискрится, полыхнет огненными искрами на голубом небе. Но солнце не выглядывало, и по утрам вокруг стоял туман, истончавшийся лишь к полудню.

Кленовые листья расстилали под ногами желтый ковер, который становился все толще, — убирали в этом году под стать ритму осени: медленно, не спеша, не слишком усердствуя, будто во сне, а больницу и вовсе обходили стороной. Может, дворник с участка уволился или впал в сезонную хандру.

Христофоров любил ходить, иногда вылезал из автобуса за несколько остановок до дома и шел пешком. Дома ждала мать, которую он перевез в Москву сразу после смерти отца, но она так и не стала по-настоящему столичной жительницей, перенеся в оставшуюся от отца квартиру привычный уклад жизни. Иногда Христофорову казалось, что это не мать переехала в Москву, а Москва переместилась за окна его родного дома в маленьком городке.

Он не замечал вязаных крючком белых салфеточек, закрывавших от пыли все горизонтальные плоскости в квартире. Привык к громоздившимся до невысокого потолка полочкам со всякой всячинкой и цветами в горшочках и даже не сопротивлялся, когда очередная деревянная перекладина расположилась поперек форточки в его комнате, не давая толком ее проветрить. На перекладине лежал и смотрел в закрытую форточку на сидевших на дереве птиц похожий на рыжую меховую подушку кастрированный кот Тимофей.

Свой уютный и простой дом Христофоров любил, но идти туда не спешил. Долгая дорога домой с годами стала для него ритуалом, изменять которому не было надобности: даже после суток дежурства открывалось второе дыхание, достаточное и для хинкальной, и для пешей прогулки.

Этой осенью он заметил еще одну странность — мертвых птиц. Они были повсюду. То ли раньше он не был так зорек, и сонная, картинная осень пробудила в нем особую наблюдательность, то ли птичий грипп или иная какая напасть губила городских пернатых.

На газонах и обочинах вдоль дорог он то и дело ловил краем глаза их силуэты с безвольными крыльями, всегда почему-то без голов. «Фрагменты тел» — как у пассажиров упавших самолетов. Поначалу он не обращал на них внимания, потом стал считать, сбился со счета, попытался начать сначала, опять сбился и решил снова не обращать внимания.

Осень — жизни увядание. Он дал себе слово не думать о птицах.

* * *

— Но, говорят, вы нелюдим... В глуши, в деревне все вам скучно. А мы... ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно, — твердил Шнырь изо дня в день, часто зависая, как компьютер с недостаточной оперативной памятью, подтверждая пушкинскими строками неумолимый свой диагноз.

Первые семнадцать строк дались ему относительно легко, но, казалось, их объем заполнил все отведенное под память свободное пространство в его голове, раздвинуть которое можно было лишь ценой титанических усилий, по шажку.

Христофоров уже жалел, что дал Шнырю это заведомо невыполнимое задание: вступление к «Руслану и Людмиле» было короче, но кто же знал, что его уничтожат Валик и Толик.

В больнице объявили очередной карантин, весьма кстати. Бумагу с гербовой печатью Славыч задерживал, а Омен по-прежнему был невозмутим, односложно отвечал на вопросы и улыбался. Из-за карантина задерживалась выписка и других детей.

Иногда Христофоров заходил в женское отделение и разговаривал со Златой, которая просила теперь звать себя Элтой. Христофоров в шутку называл себя ее крестным отцом: именно он дал ей это второе имя — как при крещении.

Когда он перестал спрашивать о причинах приведшего ее в больницу поступка, она стала разговорчивее.

— Осенью у меня всегда депрессия. Я ее чувствую еще с конца лета.

— Из-за школы?

— Из-за осени.

— Так ты и сейчас в депрессии?

— Нет. Когда оказываешься в месте, где лечат депрессию, она пугается и уходит.

— У меня тоже осенью депрессия, — признался Христофоров. — Есть рецепт. Надо оставлять на осень самые интересные дела. Копить их весь год и приниматься за них осенью.

— Какие это дела?

— У всех разные.

— А у вас?

Христофоров задумался. Этот совет он вычитал утром по дороге на работу в газете «Метро» и не собирался применять на практике, хотя звучало заманчиво.

— Нууу, книжки интересные, — неуверенно ответил он.

Девочка засмеялась. Иногда ему казалось, что она над ним издевается.

— Скоро отец Варсонофий к вам придет, — сменил он тему. — Вот он хорошо перед детьми выступает: и про смысл жизни, и про дела интересные вам расскажет. Ты веришь в Бога?

— Не знаю. Мне нравится, как сказал Тинто Брасс: «Я не верю в Бога, но искренне надеюсь, что когда-нибудь он мне это простит».

— Это кто, режиссер такой, что снял? — заинтересовался Христофоров. — Не слышал.

— Известный, итальянский. У него фильмы эротические.

Христофоров глянул на девочку: точно, издевается. Вроде умненькая, а туда же, все одно на уме — как у всех. Тут никакой отец Варсонофий не поможет. Они такими уже рождаются, с Тинто Брассом в голове...

Суицидничек все писал в тетрадке стихи и, похоже, находил в этом занятии смысл если не жизни, то своего пребывания здесь. Прочитав все имевшиеся в отделении книги, кроме поэм Пушкина, с которыми не расставался Шнырь, он вновь затосковал, но Христофоров вовремя распознал причину хандры и попросил мать мальчика

записаться в библиотеку. Отец Суицидничка порывался купить новые книги, но Христофоров его огородил:

— Вы не понимаете, он их не просто читает. Еще он их нюхает. Ему нужны старые, пахнувшие библиотечной пылью книги, с загнутыми пожелтевшими страницами. Чем больше людей их прочитало — тем лучше. Страницы такие замусоленные становятся, темные сбоку, если на обрез посмотреть.

Отец Суицидничка вопросительно уставился на Христофорова.

— А иногда прямо хрустят от заскорузлости, — невозмутимо пояснил тот, и отцу пришлось понимающе кивнуть головой.

Суицидничек в самом деле, читая, нюхал книги. Подносил к носу, прикрывал глаза и шелестел страницами, втягивая в себя книжный дух, как зюскиндовский Парфюмер — аромат юных красавиц.

— Доктор, а это нормально? — спросила Христофорова мать мальчика на следующем родительском дне. — Ну, то, что он книги нюхает?

— Аб-со-лют-но! — заверил Христофоров. — Я сам всю жизнь нюхаю книги. Они все пахнут примерно одинаково, но ни одна не пахнет так, как «Джура» Георгия Тушкана, издательство «Детгиз», тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Я бы ему принес, но не могу расстаться с «Джурой». Смотрю новости по телевизору и «Джуру» нюхаю — успокаивает.

Существо все больше отдалялся от звероподобной своей сути, рычание давалось ему уже с трудом, что вызывало неизменные его сожаления:

— Оно было лучше, умнее, это в больнице я скопытился.

— Павел Владимирович, вы говорите о Существе в третьем лице. Оно уже не вы?

— Нет.

— А вы уже стали человеком?

— Еще нет. Почти.

— Я верю вам, — мягко говорил Христофоров. — Если бы не верил, домой не отпускал бы. А то вот вы возьмете своего котенка и вместо того чтобы играть с ним, сожжете. Откуда мне знать, чем Существа питаются?

— Пусть не смеются надо мной...

— Кто над вами смеется?

— В палате. Этот, который детский дом взорвать хотел. Психбольница, говорит, место, где умирают воображаемые друзья.

— Отчасти он прав. У одних тут друзья умирают — ненужные им, воображаемые; у других появляются — реальные. Вот вы приглядитесь к этому, который детский дом взорвать хотел, не такой уж он плохой парень. С фантазией, как и вы. А Существо не друг, оно враг вам.

— Когда я был Существом, я был сильнее!

— Вам так казалось. Вы очень хотели этого. На Земле, по разным подсчетам, живет от восьмисот до двух с половиной тысяч народов. Среди них нет ни одного, кто считал бы и называл себя существом. Пигмеи считают себя людьми. А знаете, как называют себя чукчи? Луораветланы — «настоящие люди»!

По вечерам в свое дежурство он старался быстрее расквитаться с дневниками и историями болезни. Когда шум в отделении затихал и в коридоре оставляли одну лампу, тускло светившую под высоким сводом потолка, в кабинет проскальзывал Фашист.

Однажды Христофоров указал ему на стул за соседним столом, где стоял компьютер с застывшим на экране кадром: перемазанная в грязи девчонка с растрепанными волосами, на голых ногах — стекавшая струями запекающаяся кровь, во рту — железная гармошка.

— Что это? — отшатнулся подросток.

— Это-то? — небрежно переспросил Христофоров. — Это иллюстрация к твоему

дневнику. Вот: «Женщин и детей истреблять или угонять в рабство». Сейчас мы в начало перемотаем, все в подробностях увидишь.

Рабочий с крестьянкой, «Мосфильм», «Беларусьфильм», 1985 год, Элем Климов...

Работать с бумагами Христофоров любил в тишине. Он попробовал написать еще один эпикриз, но звуки фильма отвлекали. Откинувшись на спинку стула, он прикрыл глаза, слушая знакомые диалоги, воспроизводя в памяти запомнившиеся сцены.

Вот ушедший к партизанам Флёра вернулся в материнский дом. Звонящая тишина, дым из трубы, теплая печь, в ней — горшок сваренных матерью шей. Только мух много в горнице. На полу разбросаны тряпичные куклы младших сестер Флёры — и по ним ползают мухи. За стенкой сарая в кучу свалены тела расстрелянных жителей деревни, там — мать и младшие сестры Флёры. Он их пока не видит, ест теплые щи.

Вот лежит на болотном мху старик — вытащенный из огня, покрытый черной коркой лопающейся кожи, недогоревший, живой, ждущий смерти. Рядом сидит старуха, хвойной веткой отгоняя мух от начавшей загнивать плоти.

Воют горящие заживо бабы с детьми на руках. Сопит Фашист и вспоминает своего отчима, который пил водку, собирал модели немецких танков и каждый день рассказывал пасынку о превосходстве арийской расы.

Каких кровей был сам отчим? Русский чуб и широкое, сплюснутое лицо указывали на принадлежность к титульной нации, существование которой, по мысли автора «Майн Кампф», давно должно было прекратиться, по крайней мере в том ареале обитания, где впадал в регулярные запои доморощенный нацист, то есть в районе Южное Бутово города-героя Москвы. Однако оставшийся на его попечении пасынок об этом не думал. Отчим был для него хорошим — уж точно лучше матери, пропадавшей сутками в дебрях того же Бутово, предпочитавшей во время ссор спиваться отдельно от мужа.

Органы опеки до поры до времени дремали, но враз проснулись по сигналу из полиции, куда позвонила одна из соседок, пожаловавшаяся, что хронический алкоголик обозвал ее жидовкой и пообещал устроить газовую камеру в отдельно взятой квартире. А ведь этот гад еще и ребенка «воспитывает», притом чужого.

Как бывает со всеми, пробужденными от сна и уличенными в бездействии, органы опеки кинулись с места в карьер, а точнее — в двери «плохой квартиры», не имеющей входного звонка. Бастион этот пал с третьего раза — и отнюдь не в силу привязанности отчима к пасынку. В предыдущие два раза отчим не потрудился поинтересоваться, кто там, ибо думал, что это, как обычно, скребутся местные наркоманы, вытаскивающие вату из дыр в обшивке двери. Ваты ему было не жалко, он так и сказал им: берите, сколько надо, только тихо. На третий раз органы опеки, опасаясь административного взыскания за нерасторопность, поскреблись громче наркоманов и были услышаны. Очень скоро мальчика увезли в детский дом, где он не забыл, а напротив, взлелеял нацистские идеи отчима как единственное, что осталось ему от родного дома.

Ни отчим, ни мать не пришли к нему ни разу, старые друзья забыли, новые не появились. Но человек не может быть совсем один, и завелась у него тетрадь, которой доверялись сокровенные мысли в детской вере в свою избранность. Та самая найденная воспитателями тетрадь с планом теракта, лежавшая сейчас на столе у Христофорова.

Стреляет превратившийся в старичка мальчик Флёра в портрет Гитлера, но не может выстрелить в зерно зародившегося зла — Гитлера-ребенка. Прикрыв глаза, мысленно стреляет Христофоров в отчима своего пациента, перезаряжает винтовку и стреляет еще и еще — в отцов, бросивших своих сыновей, забывших об их существовании. В своего отца, которого так и не простил. Не потому что держал на него зло, а потому что за последние годы, что они прожили вместе, отец так и не стал сыну родным — тем, кого можно было бы простить.

* * *

— О, какой бабенец! — сказал кто-то в зале и захихикал.

Отделение для мальчиков пришло в полном сборе, его представители уже минут десять нетерпеливо ерзали на деревянных стульях в актовом зале. Когда в дверном проеме показалась первая обительница женского отделения, все замерли. Вслед за девочками в зал вплыла Маргарита. Пересчитав подопечных, как насадка цыплят, она взяла стул, поставила его возле дверей и села с тронной грацией.

Каждый раз во время визитов отца Варсонофия душевность проповедей служила лишь лирическим фоном для накала страстей, свойственных пубертату.

«Чем слабее верхний этаж, тем больше внимания нижнему», — говорили еще наставники Христофорова в институте. Тогда он не осознавал всей справедливости этих слов, но минувшие десятилетия подтвердили сермяжную правду. Как известно, сатириазис не такая уж редкая форма проявления органических заболеваний — в частности, патологии центральной нервной системы. Не случайно гиперсексуальность заняла свое место и в МКБ.

Его «сатиры» на лекциях отца Варсонофия воодушевлялись по полной, но отнюдь не от религиозных откровений. Один раз Христофорову даже пришлось выводить из зала завсегдатая больницы — пятнадцатилетнего микроцефала, который увлекся своим нехитрым делом прямо под вдохновенные речи отца Варсонофия, с поразительной для олигофрена предусмотрительностью прикрывши чресла загодя снятым свитером.

Впрочем, и девицы отчебучивали номера. Одна ни с того ни с сего бросилась на Варсонофия и принялась грызть его нателный крест — насилу оттащили от батюшки. Другая накатала любовную записочку весьма делового содержания, предлагая после выписки стать его любовницей за весьма скромную ежемесячную плату и обещая полную тайну взносов.

К чести отца Варсонофия, в миру Игоря Петровича Кизило, он ничему не удивлялся и на провокации не поддавался, как и положено отставному военному.

Христофоров поискал глазами рыжую шевелюру Эллаты. Сидит в центре зала.

Отец Варсонофий пошелестел конспектом и откашлялся.

— Что такое первая любовь? — возгласил он с невысокой сцены.

Мужское отделение с готовностью хохотнуло.

Варсонофий и бровью не повел. Он приблизился к разделу «Беседы со старшеклассниками о браке, семье, детях». Отступать было некуда. Не пропускать же параграф. Набрав в легкие побольше воздуха, отец Варсонофий ринулся на «Беседы», как в рукопашный бой.

— Первая любовь — это еще не любовь, а только первая серьезная влюбленность, первое чувство рождающейся любви. Первая любовь — именно чувство любви, а не сама любовь, ибо сама любовь — это не чувство, а состояние двух душ, — отец Варсонофий сделал паузу и перевел дух.

«Эк загнул прапор Кизило, — подумал Христофоров. — Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я».

Он оглянулся на Маргариту: та сидела, изящно положив ногу на ногу, и теребила цепочку красивой рукой с идеально ровными длинными розовыми ногтями. Висевший на цепочке крупный кулон елозил по ее кофточке как маятник, под расстегнутым белым халатом мерно вздымалась грудь. Богиня невозмутимости. Конечно, ее-то девки рукоблудием грешить не станут, разве что батюшку за крест опять цапнут или за ляжку.

Христофоров почесал бороду и тоже закинул ногу на ногу.

— Мы привыкли к мысли о том, что «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — продолжал отец Варсонофий. — На самом деле надо уметь хранить свои

чувства, то есть охранять их от случайного волнения, которое может замутить чистый источник нашей души, — оратор прижал руки к груди, словно защищая от посягательств собственный чистый источник.

«Сейчас крылами махать начнет», — подумал Христофоров. Он давно отметил склонность отца Варсонофия воодушевленно размахивать руками. В общем-то и диагноз он ему давно поставил вследствие дурной врачебной привычки мыслить диагнозами. Но поскольку доктор он был детский, предпочел держать диагноз Варсонофия при себе.

Обычно в экстатическое состояние от собственных речей Варсонофий впадал между восьмой и десятой минутами лекции, но сегодня побил собственный рекорд уже на шестой.

— Большинство людей влюбляются бездумно, легко теряя дар, который нам дан, — чистое и светлое чувство первой любви, — простер он руки к шмыгающей носами пастве.

Уничтожившие «Руслана и Людмилу» шизофреники Толик и Валик кивнули.

Отец Варсонофий принял кивок за полное согласие и воодушевился:

— Предупреждаю вас! Управлять своими чувствами сложно, но возможно. И легко предаться первому случайному увлечению крайне опасно! Для тех, кому удастся сохранить незамутненным родник души, первая любовь — это очень глубокое и серьезное чувство, которое может перерасти в истинную любовь в браке. Брак, где первая любовь осталась на всю жизнь единственной, будет самым счастливым. Что может быть лучше для брака, когда прошлое супругов не осквернено никакими случайными связями, увлечениями или влюбленностями?

— Вспомним, как Татьяна влюбилась в Онегина! — призвал отец Варсонофий. — Ее знаменитое письмо читали?

«Этого еще только не хватало!» — чуть не воскликнул Христофоров. Поискал среди стриженных голов плоский затылок Шныря. Но того уже и искать не надо было. Услышав сочетание знакомых слов, тот вскочил и завел:

— Я к вам пишу — чего же боле?..

— Мальчик, сядь, — махнул ему рукой отец Варсонофий.

— Что я могу еще сказать, — не унимался Шнырь, одной рукой судорожно хватая себя за лицо, пытаясь то ли погладить его, то ли стянуть кожу, а другой отмахиваясь от Суицидничка, который дергал его, пытаясь усадить на место.

— Ничего, ничего не надо говорить, — ласково и убедительно попросил отец Варсонофий. — Молодец, что стихи знаешь, но речь сейчас о другом...

— Теперь я ззнаю в вааашей вволе... — голос Шныря превращался в вой.

Христофоров вскочил, уже предвидя, как через несколько секунд лицо Шныря поедет на бок, и он забьется в эпилептическом припадке. Приступы были редки, но по странной закономерности чаще случались в минуты радости, веселья, душевного подъема. Эмоции поднимались в нем как тесто и, не упираясь в предусмотренные здоровой психикой механизмы торможения, болезненно переливались через край.

Сложно было бы предположить, что невинное упоминание стихотворных строк может вызвать восторг, а затем припадок у Шнырькова. Христофоров угадал его приближение шестым чувством, взращенным за многие годы практики.

— Но ввыы... — Шнырь завалился на Суицидничка и, корчась, поехал с его колен на пол.

Дети вскочили, загудели. Отец Варсонофий ринулся в зал и сдерживал любопытных, пока Христофоров пробирался по узкому проходу к Шнырю, уже закатившему зрачки и обмякшему, как кукла.

— Идите, идите с ним, — спокойно сказала Маргарита. — Я тут за всеми присмотрю.

Ее кулон болтался теперь почти у самого носа склонившегося Христофорова, как маятник гипнотизера. Для самообороны она его что ли носит?

Шнырь уже приходил в себя и озирался по сторонам. Уводя его из зала, Христофоров оглянулся. Маргарита колыбалась между рядами, рассаживая детей.

Христофорову увиделось что-то особое в битком набитом детьми маленьком зале, подкошенном припадком Шныре, растерянном отце Варсонофии, величественной и невозмутимой Маргарите с ее янтарным кулоном, словно обладавшим своим, отдельным от хозяйки характером. Хорошо знакомые каждый по отдельности, все фрагменты ухваченной взглядом сцены произвели вдруг на него впечатление, обратное эффекту дежавю: из затасканных, порядком выцветших и вроде уже не раз сложенных вместе пазлов сложилась новая незнакомая картина. Было в ней что-то помимо основных действующих персонажей — чувство или ощущение, которое Христофоров не мог определить. Даже будучи неопределенным, оно оказалось волнующим. Может быть, все дело было в аромате духов Маргариты? Или в этом ее гипнотическом кулоне?..

* * *

Христофоров лежал на своем диване и разглядывал узор на покрывавшем стену ковре. Если сощурить глаза и посмотреть вбок, но не внимательно, а как бы отстраненно, краем глаза, рисунок начнет двоиться, преображаться и слагать новые узоры. Уже не абстрактные завитушки и ромбы, а вполне конкретные части людских тел и лиц удивительным образом складывались в портрет кого-то хорошо знакомого: надо же, кто на ковре-то изображен, а раньше и не замечал. Но стоит перестать косить глазом — завитушки и ромбики возвращаются, а знакомое лицо исчезает, как не бывало.

В этот раз Христофоров неожиданно увидел округлый узор, напомнивший ему грудь Маргариты. Мириться с тем, что любимый ковер ни с того ни с сего стал показывать ему сиськи, он не мог и с досадой повернулся спиной к ковра.

На другом боку он решил думать о чем-то приятном, но, как часто бывает, когда хочется думать о приятном, в голове обнаружились лишь мысли о работе.

Свет фонаря за окном резко очерчивал силуэт кота, занявшего свое привычное место. Христофоров вновь прикрыл глаза: выхватываемая фонарем из темноты рыжина Тимофея пробралась к нему под веки огненным отливом волос Элаты.

Бабы окружали его с двух сторон, и непонятно, кто тому был виной. Может, отец Варсонофий с его проповедями?

Христофоров вздохнул, лег на спину и сложил руки на груди. «Первая любовь — любовь последняя...» — убивался за стенкой телевизор в бывшей отцовской, а теперь материнской комнате. Мать плохо слышала и включала погромче, благодаря чему Христофоров мог теперь блистать в отделении точными цитатами из сериалов и популярных песен на радость младшему медицинскому персоналу.

А была ли у него первая любовь? Так и не скажешь. Его бывшая жена? Христофоров вряд ли смог бы ответить на вопрос, зачем они поженились и почему развелись, если бы хоть кому-нибудь пришло в голову этим поинтересоваться. Нет, она тянула скорее на любовь последнюю.

«Нежная и пошлая, а теперь лишь прошлое!.. — подвывал телевизор. — Хочешь — пойми... Сможешь — прости...» Понимать нечего, прощать тоже.

С женой он учился на одном курсе. Крепче, чем что бы то ни было, их объединяли сессии: чем больше работаешь, тем больше списываешь. Постепенно работать начинают все друзья, и списывать становится не у кого. Но на каждом курсе есть своя отличница, которая ходит на все занятия, сидит на первой парте и плетет из слов преподавателя кружева конспектов. И между прочим, не смотрит Тинто Брасса. По крайней мере, раньше были такие.

У всех его однокурсников списывания закончились сданными сессиями, а у него — свадьбой. Как будто тоже не мог отделаться шоколадкой... Нет, она была умненькая и милая. Не настолько, впрочем, чтобы жениться. Как бы там ни было, самым внятным объяснением своей женитьбы он считал короткое признание Василия Кузякина из фильма «Любовь и голуби»: «По пьянке закрутилось, и не выберешься». Ну а у него — по учебе. Выбрался, как и Кузякин, через полгода. Набрался смелости и сообщил, что возвращается домой. Тот ушел не «к Горгоне, а к жене», а Христофоров — к матери, которую перевез в Москву через месяц после смерти отца.

Христофоров думал, что развелся с женой, потому что они не сошлись характерами. Но чтобы понять, что не сошлись, надо идти друг другу навстречу... Сейчас ему пришло в голову, что, возможно, характеры тут ни при чем. Просто закончились сессии.

Потом случилась Лидочка, а затем он защитил диплом и пошел работать в свою больницу, ставшую ему вторым домом. Все, что отвлекало от работы, воспринималось им как угроза любимому делу, а потому даже дамы, которым он благоволил от случая к случаю, между дежурствами, быстро исчезали из его жизни — неоцененные, непонятые, минутно близкие, но оставшиеся навсегда чужими. Каждая из них пыталась стать чем-то большим, но большее у него уже было — работа. Не желая обижать, он отшучивался, держал на расстоянии и тем обижал еще больше. Схожесть притязаний, а потом и претензий удручали его. Устав от одинаковых романов, вовсе махнул на них рукой.

«Отбивает польку шпилька-каблучок, милый мой, хороший, снял бы пиджачок...» — зацокало за стенкой. Он встал с дивана, открыл дверь своей комнаты и просунул голову в комнату матери. Вторую дверь они давно сняли, потому что обе открывались в узкий коридор, а две межкомнатные двери в одной маленькой квартире — блажь.

Мать спала, пульт от телевизора лежал на столике рядом. «Я танцую в блузочке, а могу и без!» — успела сообщить с экрана здоровая тетка в свитере и колготках, но почему-то без юбки.

«Наверное, уже сняла», — подумал Христофоров, нажимая кнопку на пульте. Изображение вздрогнуло, съезжилось в стремительно уменьшающийся квадрат, но перед тем как совсем исчезнуть, превратившаяся в лилипутку великанша успела лихо задрать ногу на стул.

Вспомнилась шутка старенького профессора, читавшего студентам лекции по психиатрии: «Когда мужчина раздевается на людях, ему дают за это срок, когда женщина — деньги».

Ночью Христофорову снились отец Варсонофий, Тинто Брасс и главврач. Они чистили снег во дворе больницы широкими деревянными лопатами и нашли в сугробе пушку на колесах, прикаченную как вещдок воспитателями детского дома, который собирался захватить его подопечный Фашист. Сколько она тут простояла и почему осталась незамеченной — не ясно, да и не важно, как во всяком посягающем на реальность сне. Пушку выкатили, главврач дал распоряжение сестре-хозяйке тащить ядра со склада.

Когда пушка гроыхнула, Христофоров открыл глаза и сел на диване. На полу лежал расколотый цветочный горшок, Тимофея и след простыл.

Христофоров хотел встать и прибраться, найти кота и устроить ему выволочку, выпить кофе и включить телевизор, но вместо этого улегся на бок, лицом к ковру, узор которого вновь показал ему холмы, округлости, перетекающие из коричневого в телесный, из яви — в сон.

Спал он долго, приятно, насильно возвращая себя в сон — как спят после нескольких дежурств подряд те, кто знает цену сну.

* * *

— Мы демократическая страна, а твой Омен — все-таки исключение, — Славыч мягко поигрывал пальцами по столу. — Конечно, он социопат, но раз сейчас все сведено в группу расстройств поведения — вот.

Христофоров пробежал глазами бумагу, боясь споткнуться на неверной формулировке, способной поставить под сомнение самую возможность порчи Ванечкиной судьбы. Все было в порядке: и гербовые печати, и не допускающее возражений на местах ведомство в заглавии, и стойкое расстройство поведения вместо официально не существующей социопатии.

— Неприятный пацан, вылутился на меня, как лягушонок, — Славыч покачал головой. — Да, генетика — великая вещь. Гены пальцем не сотрешь. Я бы на твоём месте быстрее от этого сокола избавился. Особенно после того, что ты мне про собачий восторг рассказал.

— Кайф, — поправил Христофоров.

— Вот именно. Как бы он своим кайфом тебе кайф не испортил. Кайф без проблем доработать до пенсии.

— Кофе будешь?

Две недели назад в кабинете появилась кофеварка, которой Христофоров немного стеснялся как чуждой для бюджетной больницы вещи. Управляться с ней он еще не научился и вздохнул с облегчением, когда Славыч вынырнул из задумчивости и ответил:

— Кофе вредно. Зеленого чая нет? Хорошо, я все равно еще к Маргарите загляну, раз уж у вас оказался. У нее попью. Сто лет не видел. Позвонил накануне...

Славыч встал, все так же поигрывая пальцами, что теперь, при высказанном намерении сходить к Маргарите, выглядело, пожалуй, фривольно. «До сих пор общаетесь?» — хотел спросить Христофоров, но промолчал. Какое ему дело до богатой фигурой — лучше бы знаниями — докторицы и ее отношений с бывшим мужем.

Славыч махнул на прощание портфелем, лупоглазая собачка на календаре ожила — всякий раз, как открывали и закрывали дверь, ее приплюснутая к стеклу мордочка словно собиралась высунуться из положенной плоскости.

Христофоров даже прозвал ее Жулькой и иногда, задумчиво замирая в кресле, искал в глянцевах Жулькиных глазах ответы на мучившие его вопросы. Вернее, на один вопрос: есть ли смысл в жизни. В его жизни.

Жулька — судя по отсутствию глубины мысли в глазах это была несомненно «она» — всякий раз оказывалась плохой советчицей. Христофоров находил множество вариантов ответов, перебирал их и отбрасывал, как шелуху, не находя того единственного, верность которого нельзя понять, можно только почувствовать.

Вот и сейчас, как только за Славычем закрылась дверь, Христофоров замер и уставился в бездумные глаза собачки. В голове навязчиво крутилась единственная мысль: как найти повод спуститься с третьего этажа на второй прямо сейчас.

— На макраме девочку возьмете? Да, с ее врачом согласовано. Мы считаем, полезно будет, — соврал он по телефону воспитателю, отвечавшему за трудотерапию.

«На-пле-вать», — повторял он про себя, спускаясь по лестнице и нарочно замедляя шаг, чтобы доказать самому себе, что не торопится. Прошло пятнадцать минут, чаепитие, должно быть, еще в разгаре. Неудобно, со Славычем уже попрощался... На-пле-вать — у него рабочая необходимость, безотлагательная. Шутка ли — макраме!

В коридоре женского отделения он ускорил шаг и, занеся руку, чтобы постучать в дверь кабинета Маргариты, замер. Пока коридор пустовал, со стуком можно было не спешить. Не подслушивать, а именно не спешить. В тихий час девочки должны быть в палатах, а медсестры пить чай в сестринской.

— Вы снова со мной разговаривать пришли?

«Черт побери!»

Элата помахала зажатым в руке мобильником.

— Выдали не по расписанию, потому что хорошо себя веду и не собираюсь минировать вокзалы, аэропорты, школы.

— Очень смешно, особенно если учесть, что желающие тут всегда найдутся. Я пришел насчет макраме твоего предупредить. Решительно занесенной для стука руке Христофорова не осталось ничего, как обрушиться на закрытую дверь тремя деликатными ударами.

Элата за его спиной переминалась с ноги на ногу, и Христофоров понял, что его затея разузнать что-либо о тет-а-тете, прежде чем его нарушить, провалилась.

— Подождите! — крикнула Маргарита.

Христофоров приоткрыл дверь. Чашек на столе не наблюдалось.

— Прошу прощения, на минуточку, — бодро сказал он.

Маргарита всем телом, как игрушка с заводным механизмом, ринулась вперед:

— Это что такое! Быстро марш к себе! Нечего тут болтаться.

Христофоров вытаращил глаза и попятился, толкнув стоявшую за ним девочку. Видать, сильно толкнул, испугал, потому что та дернулась всем телом — он отчетливо ощутил это плечом — и побежала прочь.

Славыч уже стоял возле дверей, в одной руке держа портфель, в другой — шапку из меха нерпы, и весь его вид мог бы послужить наглядной иллюстрацией к выражению «втянул голову в плечи». Он посмотрел таким затравленным взглядом, что Христофоров тут же встал на сторону этого незнакомого анти-Славыча, видимо, жестоко пострадавшего от чертовского бабьего начала.

«Солоха, чистая Солоха».

Словно услышав его мысли, Маргарита мгновенно сменила гнев на милость и улыбнулась обоим.

— Не понимают дети, пока не прикрикнешь. Старшие девочки совсем режим не соблюдают, а младшие на них смотрят — и туда же.

Уже не заводная игрушка, а прежняя Маргарита двинулась на них, лицом выражая радушие, а телом указывая на дверь. Славыч не сопротивлялся и первым исчез, наспех пожав руку Христофорову и надвинув козырек серой нерпы на глаза, словно она могла превратить его в человека-невидимку.

— Что-то не пойму я вашего отношения к девочке, — пробормотал Христофоров. — Я, собсно, затем только, чтобы поставить в известность насчет макраме. Если вы против...

— Пускай ходит, — бегло согласилась Маргарита. Так, что он понял: макраме — последнее, что ее сейчас интересует. — Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы... ну вы знаете. Пусть освоит перед выпиской.

Христофоров топтался на пороге, сам себе мучительно напоминая Винни-Пуха в гостях у Кролика, с той лишь разницей, что не знал точно, зачем пришел, и выход из гостей был ничем не затруднен, но он все стоял и откашливался, засунув руки в карманы халата, который давно следовало бы постирать.

— Чай будете? С утра собираюсь выпить, — Маргарита добрела на глазах.

Христофоров мотнул головой, степенно вышел, прикрыл дверь и ринулся к себе, перешагивая через две ступени. Уже в своем отделении, громыхая ключом в двери, понял, что во рту пересохло и ему очень, прямо нестерпимо хочется выпить. Не чая, конечно.

* * *

Истории болезни высились неровной стопкой на краю стола. Природа их сродни песочным часам: сколько ни перекладывай, через несколько дней все повторится сначала, и так до бесконечности. Часть истории болезни — дневник — полагается вести

раз в три дня до самой выписки, а при поступлении с экстренными показаниями по скорой — первые три дня ежедневно. По молодости, когда нагрузка в отделении была меньше, потому что врачей работало больше, они с напарником даже пытались писать дневники пациентов в стихах: сдал дежурство — принял дежурство — продолжил скорбную песнь. Десять лет назад напарник умер, и продолжать поэтическую эстафету стало некому.

Христофоров тягал одну карточку за другой, как пирожки с противня, и, стараясь думать только о том, что пишет, яростно множил свои же каракули: «Обслуживается частично медперсоналом. В режиме отделения удерживается под наблюдением. По записям дежурного: нуждается в сдерживании, часто кричит, пытается выбежать из палаты, хватается персонал за одежду. Учитывая сохраняющиеся поведенческие нарушения, доза галоперидола увеличена. Аппетит, сон, физиологические отправления без особенностей. Соматическое состояние спокойное».

«Состояние спо-кой-но-е», — повторил он сам себе. В дверь постучали. Христофоров посмотрел в выпученные глаза собачки и понял: что-то стряслось. Интуицию он не считал своей сильной стороной, но иногда предугадывал мелкие события за минуту-другую до их свершения. С крупными не срабатывало ни разу, да и были ли они в его жизни?

Анна Аркадьевна втокнула в кабинет Фашиста, Существо и Омена.

— «Собачий кайф», — сказала она и добавила: — Среди бела дня. Совсем совесть потеряли.

«Строго говоря, это лучше, чем ночью», — подумал Христофоров, а вслух обратился к Омену, наперед досадуя о напрасной потере времени:

— Опять?

— Опять, — ответила вместо него Анна Аркадьевна. — А отвечать за них, обалдуев, если на тот свет отправятся, кто будет? Я?

Омен улыбнулся. Конечно, ему был известен ответ.

Христофоров почувствовал, как «состояние спо-кой-но-е» перекувырнулось через голову и приземлилось на пятую точку.

— Я тебя просил? Предупреждал? Уговаривал? Объяснял? Хочешь, в «сухой конверт» закатаю? Чтобы вреда от тебя другим детям не было?

— Как это? — проявил интерес Омен.

— В простыню завяжу — и не пошевелишься, — отрезал Христофоров, прекрасно зная, что не сможет этого сделать, даже если очень захочет: «сухой конверт» — наследие карательной психиатрии, в детских лечебницах не применялся даже в советское время. С его помощью умиряли буйных больных, а Омен, напротив, был слишком тихим. Его оставалось только выписать и отправить домой вместе с эпикризом и справкой Славыча.

Сегодня же позвонит опекунше и сообщит, чтобы в конце декабря приезжала за мальчиком. Даже социопат имеет право встретить Новый год в кругу семьи.

Велел Анне Аркадьевне отвести Омена и Существо в палату.

— Садись, — кивнул на стул Фашисту, угрюмо рассматривавшему узор трещин на линолеуме. Дернул верхний ящик стола, шлепнул о стол растрепанным самоучителем немецкого: — Вот, Денис, держи.

— Я думал, не отдадите.

— Да на что он мне...

Христофоров взял еще одну историю из неокученной стопки: «По большей части бездеятелен. Время проводит в основном в кровати или бесцельно бродит по палате. Настроение меняется. Ярко выраженных эпизодов возбуждения не отмечалось. Состояние стабильное. Разрешен домашний отпуск. Лекарства выданы. С питания снят».

Писал на автомате, а сам думал, как наказать Фашиста. Лучше всего было бы

лишить отпуска. Запрет на побывку домой в выходные на домашних детей действует почти безотказно, но детдомовские к нему нечувствительны.

Еще лучше — выпороть. Но это прямая дорога на страницы желтой прессы. Представил заголовки и раздраженно придвинул последнюю карточку, в которой значилось, что пациент исправно посещает занятия по макраме.

«Эврика!»

— С завтрашнего дня будешь ходить на макраме. И не пропускать. Перед Новым годом сдашь мне салфетку, собственноручно сплетенную. Лучше в форме снежинки, я ей стол праздничный украшу. Все понял?

Фашист кивнул и отодвинул самоучитель:

— Мне он не нужен.

— Мне тоже, — Христофоров щелчком по корешку вернул книжицу подростку. — Язык не виноват. Иди.

Следующая карточка. Этому на макраме не скоро:

«В течение дня ходит по палате, периодически кричит, успокаивается, когда дают еду. В режиме отделения удерживается на замечаниях. По записям воспитателя: контакту недоступен, криклив, подвижен, неусидчив, навязчив, может забрать у детей передачу, резко хватать за руки персонал».

Снова постучали, но так и не вошли. Христофоров встал из-за стола и распахнул дверь. За нею оказался Существо, взглянувший на Христофорова робко и жалобно.

— А мне на макраме можно ходить? — спросил он тихо.

— Сделайте одолжение, Павел Владимирович, — милостиво согласился Христофоров. — Но учтите, что часами вязать узелки из ниток ради мешанских поделок способны только люди. После макраме вам останется только пойти в жилконтору и получить паспорт.

* * *

Третье платье из материнской передачи Элата решила подарить дурочке с кровати у двери. На дне пакета лежало еще что-то пестрое.

Как обычно, мать купила наряды не для нее, а для какой-то умозрительной Барби, какую, вероятно, мечтала видеть свою дочь. Она и сама была Барби: стройная, кудрявая, сумевшая выстроить легкую, гибкую, гуттаперчевую жизнь.

Была, однако, и другая жизнь, которую сама Элата помнила как во сне, хоть уже училась тогда в первом классе. Девятиэтажный дом с квартирами по обе стороны длинных, темных коридоров, в котором, как в улье, жило множество семей, словно для издевки названный «малосемейкой». Им с мамой хватало одной комнаты и тесной кухни, по крайней мере тогда, когда у мамы не было гостей. У Элаты был даже свой уголок — чулан слева от входа, в котором помещался узкий шкаф с откидной дверцей: закрыл ее — играешь, откинул — делаешь уроки за столом. Когда приходили гости, она всегда закрывала дверь к себе в чулан, а когда мама была одна — никогда. С закрытой дверью в чулане очень скоро становилось трудно дышать, как в застрявшем между этажей лифте: вроде и есть воздух, но кажется, что с каждой минутой его все меньше.

Всем был хорош чулан, только вот заснуть, сидя в нем, не удавалось. Она и не пыталась: все равно гости шумели, смеялись, а уходя и надевая обувь в тесном коридоре, все время елозили по закрытой двери непослушными ватными телами. Все ее игрушки хранились в чулане, так что, возможно, и не догадывались, что там сидит добровольно заточенная девочка, только изредка кто-то удивлялся, когда замечал в один прыжок метнувшуюся тень — ровно на таком расстоянии напротив от чулана находился совмещенный санузел. Впрочем, о гостях мать предупреждала, и, если перед их приходом не чаевничать, выбегать приходилось не часто.

Ее многочасовое затворничество в чулане казалось нормальным. Когда к родителям навещаются взрослые гости и занимаются взрослыми делами, ребенок

отправляется в детскую комнату. Она тоже уходила в свою комнату — кто же виноват, что ею был чулан...

Мать работала в смену, и время от времени вся квартира оказывалась в распоряжении Элэты до самой темноты. После школы она приглашала соседских девочек, вместе они примеряли мамины наряды, экспериментировали с найденной косметикой, смотрели журналы. В одном из них однажды нашли стопку, видимо, забытых фотографий, на которых обнаружили конструктор из голых мужчин и женщин, соединенных в замысловатых позах. Внимательно изучив картинки, они пришли к выводу, что любовь между мужчинами и женщинами похожа на гимнастику, прочитали друг дружке скабрзные стихи, которые в их «малосемейке» каждый знал с детского сада в ассортименте, и засунули фотографии обратно. Видимо, кто-то из девочек проболтался об этом эпизоде родителям, из чего те сделали какие-то свои выводы — потом к Элэте приходили уже не все подружки.

Она стала больше интересоваться делами, которыми занимались взрослые, приходя в гости, и сквозь звон бокалов и смех иногда слышала странные звуки, а может, просто выдумывала, что слышала.

Постепенно она осмелела и временами стала приоткрывать дверь чулана, подслушивать и подглядывать. Ничем, похожим на то, что было на фотографиях, взрослые не занимались, а увидев девочку, звали ее в комнату, угощали сладким и даже вести себя начинали потише. Но тогда с ними становилось скучно, и она снова уходила в чулан, где скучно не было, потому что там она оставалась одна. А наедине с собой разве заскучаешь?

Иногда она замирала и с удивлением прислушивалась к себе, мысленно озиралась, совершенно отчетливо ужасаясь немыслимости прозрения: она — это не она. Какая-то другая девочка сидит сейчас в чулане. Она может рассказать всю ее жизнь день за днем, но когда пытается понять, как случилось ей попасть в чужое тело, словно останавливается на краю пропасти.

Чувство отстраненности от своего телесного *Я* было выпуклым и безусловным, но скоротечным, за ним реальность возвращалась, сознание вновь сцеплялось с ней и уже не протестовало — до следующего прозрения.

Она придумывала несуществующую жизнь для повседневной себя, первоклассницы, живущей с мамой в «малосемейке»: то у нее появлялся приехавший из Америки отец, то бабушка-графиня, то выигрыш в конкурсе красоты переносил ее в новую реальность, а иногда именно в их школе седовласый именитый режиссер искал девочку для главной роли в своем новом фильме.

Весь набор сказочных штампов о современной Золушке пересыпался в ее мечтах, как изменчивые картинки калейдоскопа. В минуты прозрений на них сверху взглядывала она настоящая — и недоумевала, как может быть такой душой эта девочка, сидящая в чулане. Точнее, может и не она взглядывала, а он — разум. Ведь живущий внутри голос вряд ли может иметь пол.

Еще в такие минуты этот кто-то — настоящий, так редко в ней просыпавшийся — смотрел на нее с явным сочувствием. Это тоже было странное ощущение, от которого голова должна была бы расколоться на две половинки, как рассеченный надвое арбуз, ведь в ней — в голове — все и происходило. Один незнакомый человек жалел другого — знакомого, и при этом незнакомым была она сама, но и знакомым — тоже она.

* * *

Если уйти с работы вовремя, не позднее пяти часов вечера, можно успеть занять «свой» столик в хинкальной — в дальнем углу возле окна, а сбоку еще и вешалка стоит. Когда народ начинает заполнять зал, рогатый ствол вешалки обрастает куртками и шубами, удачно закрывающими его столик от большинства посетителей.

Христофоров заказал графинчик, бокал запивона, порцию хинкали со смешанной начинкой из говядины и свинины и достал из портфеля любимый журнал «Психиатрия и психофармакотерапия». Номер четыре за две тысячи двенадцатый год. Просто так пить как-то неловко, а вот читать и выпивать — совсем другое дело.

Знакомый официант принес графин и пару тонких бутербродов с колбасой, считавшихся в заведении «комплиментом» для постоянных посетителей, терпеливо ждущих обстоятельно приготовляемое горячее, когда на столе уже нагревается охлажденное горячительное.

Выпил первую стопку, наугад открыл журнал на восьмой странице и углубился в статью о соотношении терминов «суицидальные мысли» и «суицидальные фантазии».

— Вы один, Иван Сергеевич? Вот спрятались! Я вас в окно с улицы увидела.

Христофоров вздрогнул и оглянулся. Под сенью вешалки за его спиной стояла Маргарита в белом — это в декабре-то! — пальто с игриво-кучерявым меховым воротником.

Припертому к стенке вешалкой и Маргаритой, ему не оставалось ничего, как признаться, что он и впрямь один — бухает после работы в компании любимого журнала, номер четыре за две тысячи двенадцатый год. Признался он лаконичным кивком, ничуть не сомневаясь, что Маргарита и так все поняла.

— Меня бокал смутил, — она показала на запивку. — Хорошо, что вы один.

Христофоров придвинул к себе бокал на тонкой ножке с благородной рубиновой жидкостью.

— Это не сок! Вы что, водку вином запиваете? — Маргарита села за столик.

— Поразительная наблюдательность! Но это для вас. Я чувствовал, что вы зайдете.

— Извините, что вмешиваюсь не в свое дело, но вам же нельзя.

— Мне? Нельзя? — Христофоров налил еще одну стопку, демонстративно вкусно выпил, закусил остатком «комплимента» от заведения и оперся руками о стол. — Не дождетесь!

Это «не дождетесь» за последние три года стало его девизом вроде «Делай что должен, и будь что будет». Только он никому ничего не должен, когда снимает халат и выходит со двора больницы, а что будет, то и так будет, два раза не умирать, а одного не миновать, Бог не выдаст — свинья не съест.

Свинья не съест, но выдаст: никто, кроме главврача, не знал о его инфаркте. По крайней мере, до этой минуты он думал, что никто. А о том, что, по мнению кардиологов, второго инфаркта он может не пережить, знал только Христофоров, да и то не верил.

— Я получаю терапию, состояние удовлетворительное и даже более того — хорошее, но так в карточках писать не принято.

— Кожные покровы чистые, живот мягкий, безболезненный, — продолжила в тон ему Маргарита.

— Стул нормальный, со слов мамы, явка тридцатого февраля, — закончил Христофоров. — Откуда вы знаете о моих болячках?

Маргарита пожала плечами.

— Я чувствую себя так, будто присутствую при медленном самоубийстве, — не удержалась она, когда принесли горячее и Христофоров еще раз опрокинул стопку. За здоровье, разумеется.

— Составите компанию? Давайте закажем вам горячее, раз уж вы зашли. У вас ко мне дело?

— Да. Только не удивляйтесь...

— Валяйте, я привычный, — хохотнул Христофоров. — Если вам удастся меня удивить, это будет последняя на сегодня стопка.

Он покачал зажатую в пальцах стопку и выжидающе уставился на Маргариту.

— Я с самого начала не случайно обратилась к вам за помощью. Не только потому, что у вас больше опыта, фантазии и таланта. С этой девочкой не все так просто. Меня назначили ее лечащим врачом, но я не могу объективно к ней относиться.

— Что за конспирологические игры, — насупился Христофоров. — Выкладывайте. Я и так на нее столько времени убил. Зад бы надрать, как откачали, и домой отправить, пусть предки с ней разбираются. Вырастят аленький цветочек, а мы потом — поливай. Я видел ее историю болезни: ну напилась таблеток, ну не знает почему. Бывает. Я вот тоже напьюсь и не могу себе объяснить, зачем это сделал, вроде не собирался...

— Мне неприятно признаваться вам в этом, но Злата — внебрачная дочь моего бывшего мужа.

— Бориса Вячеславовича? — переспросил Христофоров. — Нашего однокурсника?

— У меня один муж, — заверила Маргарита. — Был.

— Один ноль в вашу пользу. Я уже чувствую себя героем индийской мелодрамы.

— Вам все шуточки... Вы не представляете, как я была ошарашена. Я не знала о ее существовании. Он клялся мне, что тоже узнал о ней недавно. Оставим это на его совести. Как бы там ни было, Злата не приняла родного отца, хотя по его настоянию ее мать их познакомил.

— «Москва слезам не верит», часть два, — вставил Христофоров.

— Не вижу ничего смешного. Сюжет избитый. Теперь новоявленный отец жаждет принять участие в спасении дочери. Ему стыдно, что Злата очутилась в психиатрической лечебнице, и неловко, что именно меня назначили ее врачом. Но мир тесен...

— Сегодня он приходил к вам узнать о Злате?

— Разумеется. Просил дать возможность поговорить с ней, но она и раньше отказывалась с ним встречаться, а сейчас тем более не лучшее время. По крайней мере, я как ее лечащий врач не вижу такой необходимости. А вы?

— Я слишком ошарашен, чтобы вынести вердикт. Она никогда не говорила мне об отце.

— А вы спрашивали?

— Нет, но я и не знал. Почему вы сразу не сказали?

— Кто же давал мне такое право? Эта информация не отмечена в истории болезни, у нее есть мать и отчим. Рассказать — значит, проявить немотивированную осведомленность. К тому же девочка попала в больницу по другому поводу, который находится в нашей прямой компетенции. Вот мы ее и лечим. Как можем. Свои родственные дела пусть решают вне стационара.

— Чего же вы хотите от меня?

— Сегодня я призналась Борису Вячеславовичу в том, что просила вас заняться Златой, и даже вам не удалось пока выяснить причину ее поступка. Он был расстроен. Нес какую-то чушь о том, что она много времени проводит в интернете. Я ответила, что если и так, то мы имеем дело с последствиями — лечим конкретные расстройства психики, а следить за досугом детей — дело родителей. Понимаю, что это удар ниже пояса, но ничего не могу поделать. У нас с ним взрослый сын, семья — дело прошлое, но я все равно отношусь предвзято и к нему, и к девочке. Отказаться от своей пациентки не могу. Как и у вас в отделении, мне просто некому ее передать, но я прошу вашей помощи, чтобы поскорее довести ее до выписки.

Она немного помолчала.

— Так как насчет последней стопки? Я вас удивила?

— Да, — признался Христофоров. — Но у меня еще есть бокал. О нем речи не было.

Маргарита не спеша застегнула пуговицы пальто, кончиками пальцев тронула Христофорова за плечо. Потрепала или погладила — не разобрал: слишком легко, слишком быстро. Также легко и быстро вышла — это он уже представил, выглядывать из-за вешалки не стал.

Правой рукой Христофоров взял за крученную ножку хинкали и отправил в рот, а левой долил из графина в стопку — до краев.

Хинкали остыли: после ухода Маргариты он выжидал почти полчаса, но она, конечно, не вернулась, чтобы проверить, сдержал ли он данное ей слово. А оно не воробей — вылетело и упорхнуло, зато графинчик — остался. И анекдотец вспомнился кстати:

— Я затрудняюсь сейчас поставить диагноз. Вероятно, это алкоголизм, — говорит психиатр.

— Хорошо, доктор, я приду, когда вы будете трезвым, — отвечает пациент.

Обывательский юмор, не медицинский.

* * *

На цифры у него всегда была хорошая память, хотя с математикой — нелады. Семейный бюджет долгие годы рассчитывала мать, у нее даже образовывались излишки, которыми Христофоров охотно пользовался, когда посреди месяца обнаруживалось, что собственных денег не осталось, и куда они исчезли — пес знает.

Зато он, не заглядывая в документы, мог вывести в карточке вновь поступившего постоянного пациента год и даже дату рождения, а часто и номер школы, тем паче что он вряд ли мог измениться: это из обычных школ можно сигать туда-сюда, а его пациентам — только через комиссию.

Христофоров быстро извлек из памяти дату рождения Элаты. Если пациенты находят его в интернете, закинет и он сеть в Сеть. Может, выловит там свою — то есть Славычеву — золотую рыбешку. Раз уж компьютерные технологии поставляют психиатрам пациентов, почему бы психиатрам не воспользоваться компьютерными технологиями?

Из уютных «Одноклассников» перешел в бело-синий «Контакт», полюбовался вопросительным знаком на месте своей фотографии. Искать в «Фейсбуке» бессмысленно — там, сколь он успел заметить, обитают все больше постояльцы взрослых лечебниц и те, кого до лечебниц еще не успели довести. Его контингент тут, родимый, со всей своей свитой из котиков, смайликов, рецептиков, цитаток и мультиков.

Десять минут сёрфил по селфи малолеток и в конце своего заплыва, когда уже устал вглядываться в аватарки и реагировал только на яркие рыжие пятна (все не те — то пальто, то платок, то отвратительного цвета плюшевый медведь), выловил-таки свою рыбку.

Прокрутил страницу, с удовлетворением отметил стандартный набор глупостей, которыми девочкам пристало делиться с миром: веер фоточек с цветущими, наборец цитат о жизни с наглядными картинками. Котиков нет — это плохо... А, понятно, котики нравятся бедным девочкам, а богатым — коники. Вот Элата на ипподроме — от сердца отлегло. Шапочки с ушами Микки-Мауса — хорошо, рецептик песочного печенья в форме сердечек — отлично. Интеллекта — ноль, зато психического здоровья — хоть отбавляй.

Отправился на кухню и поставил на плиту чайник. В прихожей тихо жужжал забытый в кармане пальто телефон. Он хотел вытащить его, но поленился: не делай сегодня то, что можно отложить на завтра.

Пока заваривал чай, ждал звонка на домашний: если ЧП в отделении, достанут все равно, но телефон молчал. Он взял любимую с детства огромную кружку, до краев налил крепкого чая, почти чифиря, и долго пил его мелкими глотками, глядя на светившиеся в темноте оконные квадраты соседнего дома.

«Не дождетесь!» — обратился он именно к этим окнам в первый раз, когда стало плохо с сердцем. «Не дождетесь!» — пообещал он им, когда увозили в больницу в непривычном статусе пациента. Прощался со своей комнатой и с Тимофеем, и с

матерью, хотя она этого не поняла, а окнам напротив пригрозил: «Не дождетесь!» Как-то остро он вдруг осознал свою чужеродность этому двору, в котором прожил полжизни и считал своим. «Не дождетесь!» — сказал он двору и дому, хотя дворы и дома дожидаются исхода всегда и всех, даже самых живучих.

Когда вернулся на работу, его спросили:

— В больницу попали?

— Нет, по девкам ходил, — ответил он и посмотрел в зеркало: опал щеками и похудел, как Тимофей в свои лучшие загульные годы до визита к ветеринару, а что волосы поредели — так разве девки до добра доведут...

Теперь свое «не дождетесь» он говорил без вызова и запала, уже по инерции, запивая кипятком одну, вторую, третью таблетку, не признаваясь себе в том, что иногда и сам хочет дожидаться. Окопная война выматывает медленнее, но вернее, чем сражения на передовой. Его таблетки были уже окопами. Передовая отдалилась, но раскаты орудий все еще доносились до окопавшегося солдата: самочувствие не отличалось стабильностью, а значит, хоть линия фронта и сместилась, война не окончена.

Как всегда, на помощь пришла работа. И мысли не было оставить ее — наоборот, больница стала первым домом, он растворялся в детях, и они, не замечая фирменной грубости и подначек своего доктора, все увереннее считали его своим.

Он допил чай, вспомнил о звонившем мобильнике и вытащил его из кармана пальто. Пропущенный от Славыча. Заключение с гербовой печатью для Омена и откровения Маргариты, конечно, обязывали Христофорова хотя бы перезвонить. Но не настолько, чтобы делать это сегодня. Он сунул телефон обратно в карман и вернулся к компьютеру.

* * *

— Хочешь с нами? — Фашист подошел к кровати укрывшегося с головой Суицидничка и тронул его за плечо. — Потом такое опишешь, что никому не снилось.

— Он только мамочке послания писать может, — лениво сообщил Омен.

— Откуда ты знаешь? — Суицидничек скинул одеяло и сел на кровати.

— Тумбочка не закрывается. Я взял и прочитал.

Суицидничек пошарил в тумбочке.

— Отдай!

— Сыграешь с нами в «собачий кайф» — отдам. Или завтра вслух читать будем.

— Сыграй, — выступил Существо. — Я тоже боялся, а потом понравилось.

— А если воспитатель зайдет?

— Травиться не боялся, а воспиталки боишься. Спит она давно.

— Сначала отдай!

— На! — Омен вытащил из-под матраса тетрадь. — Правила объяснять или слышал?

— Слышал... Дай честное слово, что не возьмешь больше.

— Честное слово, — легко согласился Омен. — Объявляю соревнование, кто больше кайфов словит.

— А как счет вести? — спросил Существо. — Записывать нельзя, найдут.

— Зарубки на косяке ставить, — предложил Фашист. — Как Робинзон Крузо.

— Есть чем? — заинтересовался Омен.

— Будем фантиками от конфет считать, — постановил Омен. — Со всех передач конфеты оставляйте себе, а фантики мне сдавайте. Один кайф — один фантик. Я судьей буду.

— Может, тебе конфеты сразу отдавать? — спросил Существо. — И ты нам тоже обратно. Конфетами.

— Мне передач не приносят, — справедливо заметил Омен. — Решат, что я у вас отнимаю. Вы сами ешьте, а судье платите жвачками, их я больше люблю.

— Конфеты «Маска», — сообщил Существо. — Пятнадцать штук осталось. Кто хочет?

— Зарплата для судьи, — напомнил Омен.

— В долг можно?

— На первый раз — да. Кто впереди окажется, тот письмо рыжей пишет.

— Что же мы напишем? — спросил Существо.

— Книжку у Шныря отыщем. Оттудова и перепишем, про любовь, — решил Омен.

* * *

«Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь — она и есть только то, что кажется», — сообщала о сокровенном певица из радиоприемника.

Христофоров еще раз оглядел в шелку комнату трудотерапии: сидят, голуби. Омен, Фашист и Существо, искоса взглядывая на то, как проворно вяжет макраме Суицидничек, похоже, имели все шансы через пару занятий освоить древнюю технику узелкового плетения.

Элата тоже плела, от усердия даже язык высунула. Поначалу макраме числилось трудотерапией для девочек, но с появлением подаренного спонсорами швейного класса незаметно стало занятием и для парней. От скуки к моменту выписки из больницы некоторые владели им в совершенстве.

В отделении по коридору фланировал Шнырь, смотрел под ноги, бубнил под нос. Христофоров потрепал его по плечу.

Месяц уже прошел, он мог бы ему объяснить, что все выписки задерживались из-за карантина, но Шнырь не интересовался числами. Его мать уже несколько раз не пришла на родительский день — видать, наладилась личная жизнь, а значит, в больничке ему пока лучше. Тут и макраме, и рисование, и поэзия Пушкина. Детская больница — рай по сравнению со взрослым психоневрологическим интернатом, где Шнырьков неминуемо окажется — раньше или позже. Нельзя отнимать у ребенка детство.

В игровой складывали пазлы под присмотром Анны Аркадьевны.

— Хорошо, что вы всю «четверку» на макраме определили, — сказала она. — Я бы их еще работой на весь день загрузила. Пусть полы и горшки моют.

— Согласен, физическая активность гаврикам не повредит. Но где ее взять? Отпустить их на улицу я могу только в сопровождении родителей или опекунов — у кого они есть, да и то не всех. Физкультура по расписанию.

«А любовь — она и есть только то, что кажется», — напевал он себе под нос слова прицепившейся песенки, пока шел в кабинет и потом, когда тасовал по стопкам карточки пациентов и когда заполнял их убористым почерком: «В режиме отделения удерживается без нарушений...»

Фашист обещал ему по возвращении в детский дом извиниться перед классом и воспитателями. Искренность его слов Христофоров ставил под сомнение, но делал вид, что верил. Суицидничек уже несколько раз уходил в домашний отпуск на выходные. Существо на консультации у психолога обнаружил при тестировании интеллекта по шкале Векслера «ножницы», показавшие крепкий фундамент и хилую крышу, что гораздо лучше хилого фундамента, который ни одну крышу не выдержит.

Спустился в женское отделение. Маргариты не было — вот и сбился их общий график дежурств. Просить другого врача освободить кабинет для разговора с Элатой не решился. Заглянул в ее палату.

Уставились на него, заулыбались, чучундры. Элата открыла тумбочку.

— Я вам подарок на макраме сплела.

— Что это? — опешил Христофоров.

Плетенка из белых ниток: два кругляша, глаза-пуговицы. Похоже на сову, если бы не усы-антенны.

— Кот, только без хвоста. Это на стену повесить надо, поэтому хвост не нужен, только мешать будет.

Девыцы прыснули со смеху.

От замешательства спас мобильник, запиликавший в кармане халата. Вызывал незнакомый номер, голос тоже был чужой.

— Что?.. — округлил глаза Христофоров и просипел: — Когда?.. Буду.

* * *

У траурного зала выстроилась очередь. Накануне Христофоров предупредил в больнице, что не придет, поэтому решил не торопиться. Поискал глазами знакомых в толпе, но разве по затылкам узнаешь тех, кого не видел тридцать лет. Тот вчерашний незнакомый голос оказался голосом приятеля студенческой поры.

Выходившие из зала кучковались возле автобусов. Сдержанно шептались. По обрывкам разговоров стало понятно, что известно как, но неизвестно почему.

Переминаясь с ноги на ногу у входа в зал, он испытывал неловкость, в которой стыдно было признаться самому себе. Неловкость от необходимости изображать скорбь на похоронах знакомого чужого человека.

Славыч был тщательно припудрен и неприятно одутловат, словно оплывшая восковая кукла. Сквозь плотный слой пудры проступали черные тени в углах глаз. Христофорова толкнули в спину. Он перекрестился и увенчал белыми гвоздиками пестрый цветочный развал возле гроба. Почтительно склонил голову перед стоявшей рядом с гробом Маргаритой и вышел.

Домой ехал на метро, радуясь возможности прикрыть глаза, отгородиться от внешнего и думать.

Думать не о смерти, не о Славыче и его дочке, не о пропущенном звонке, еще не успевшем исчезнуть из телефонного списка и потому зудевшем, как расчесанная болячка. Хотелось нажать на кнопку и снова посмотреть, чтобы удостовериться: вот же он, на месте. Был, не привиделся. И Славыч тоже был. Совсем недавно.

Лучше думать о чем угодно, только не об этом. Хоть про Новый год. Из всех праздников больше всего он теперь не любил именно этот. Ровно с той силой, с какой любил и ждал в детстве.

Главное в Новый год — ожидание. В сумерках синеватый снег празднично хрустит под ногами. В окошко расписной фанерной избушки на новогоднем утреннике получаешь целлофановый кулек, полный конфет. Потрясешь его, не разворачивая, рассмотришь со всех сторон, а там еще и мандарин — заморское зимнее лакомство. Бананы под кроватью на расстеленной газете созревают — их трогать нельзя, если не хочешь быть выпоротым. Мать варит холодец и расставляет до краев залитые плошки на подоконнике: щели в рамах хоть и проконопачены ватой, а все одно — сквозит, и застывает там холодец не хуже, чем в холодильнике, который больше ничего не может вместить в себя, ибо только раз в году бывает забит дефицитным мясом и колбасой, «выкинутыми» под Новый год в Камышинском гастрономе. И впереди — ночь, когда можно не спать, волшебным мостиком перекидывающаяся из школьных будней в бесконечные каникулы.

Теперь ожидание ушло, осталось переживание. Имитация праздника, от которой рад бы отказаться, но на отказ от общепринятых радостей тоже надо решиться. Конечно, есть смелые люди, кто ложится спать, не дождавшись боя курантов, не закусив оливье, не пригубив игристого — не утруждая себя игрой по общим правилам. Но он не мог выбыть из игры, хоть и чувствовал, что давно в ней не участвует, а только наблюдает, и уже незаинтересованно. Новый год — лакмусовая бумажка, проявляю-

щая одиночество, выбросить ее из своей жизни — значит, окончательно признаться самому себе в том, что одинок.

Вышел остановкой раньше, на Филевском парке, и пошел дворами к Пионерской, петляя, растягивая время, глядя под ноги. На дороге лежал распотрошенный голубь. Христофоров словно споткнулся о него и повернул к пешеходному мосту над путями метро. Остановился на середине моста. Когда внизу едет состав, мост вибрирует, и тряска эта поднимается от ног до самой макушки.

Дождался одного поезда, потом другого — в обратную сторону. Запах гари мешался с сырым воздухом и духами Маргариты, хотя откуда бы им тут взяться.

Выкурил сигарету, поозирался по сторонам: куда бы пристроить окурочек. Кинул вниз, на пути. Понял, что зря отпросился с работы: что ему дома делать? Развернулся и пошел обратно к метро, убеждая себя в том, что тщательное заполнение историй болезни — лучшее, чем он может занять себя сегодня вечером.

* * *

— Вы зачем книгу у Шнырькова отобрали, архаровцы? — спросил Христофоров у всей «четверки».

— Мы не отняли, а почитать взяли, — сказал за всех Фашист. — На время. Вот, возвращаем.

Шнырь схватил протянутую книгу и спрятался за спиной Христофорова.

— Поняли у Пушкина что-нибудь?

— Поняли, что Шнырь домой никогда не попадет, — ответил за всех Существо.

— Неверно поняли, — Христофоров потрепал Шныря по голове. — Одни стихи учат, другие макраме плетут. Будут у меня на память о вас салфетки к Новому году? Вот одна пациентка уже сделала мне подарок — замечательный плетеный кот. Очень на моего похож.

В кабинете повертел на пальце тяжелую связку ключей. Вспомнил шутку студенческой поры: «Что отличает психиатра от пациента? — Наличие особого предмета». Выбрав из связки, погладил пальцем особый предмет: гладкий трехгранник — психиатрический ключ. Кто-то из коллег рассказывал ему, что открывал таким двери в поездах. Психиатры похожи на вагоновожатых: и те, и другие движутся в строго ограниченном тесном пространстве по кругу с давно известными остановками в привычных пунктах. Пора выписывать Шнырькова — это значит, они с ним в очередной раз приближаются к пункту Б. Пройдет не так много времени, и Шнырь вновь объявится в пункте А.

— Доктор, можно к вам? — В дверь заглянула молодая женщина. Христофоров напряг память: мать Суицидничка из «четверки».

— Как вас пропустили? Разве сегодня родительский день?

— Охрану упростила, а тут мне воспитатель открыла, она мне телефон давала, вот я и воспользовалась. В приемный день к вам обычно очередь, а мне надо без спешки поговорить.

«Всем надо», — хотел буркнуть Христофоров, но сделал вежливое лицо.

— Вам повезло застать меня, я сегодня выходной. Проходите, раз уж пришли.

— Меня беспокоит мой сын, — начала она, сев около стола.

— Поздравляю, не все матери в наше время могут этим похвастаться.

— Не смейтесь, пожалуйста.

— Я не смеюсь, у меня манера общения такая.

— Мне кажется, это я виновата в том, что он сделал.

— В чем именно? Что он не захотел жить?

— Во всем.

Сцепила руки на коленях и замолчала. Христофоров приготовился к долгой беседе.

— Он у вас единственный ребенок? — осторожно начал он.

— Единственный, долгожданный, любимый. Понимаете, я слишком сильно его хотела и слишком долго ждала.

— Но ведь дождались. Что же вас беспокоит?

— Когда у меня не было ребенка, а беременности каждый раз прерывались — это был ад. Когда он родился, я думала, ад закончился, но ад никуда не делся. Он просто стал другим.

— Это значит, что потеря или рождение ребенка имеет лишь косвенное отношение к тому, что вы описываете. Выходит, ад — в вас. И потом: что вы называете адом и, главное, как это влияет на вашего сына?

— Я знаю, что такое терять. Просыпаться каждое утро и понимать, что у тебя нет того, кто был в тебе, с тобой еще вчера. Так было не год и не два, я уж не считала, сколько лет.

— Помилуйте, да вам всего-то лет двадцать пять, — всплеснул руками Христофоров.

— Мне скоро сорок. Я хорошо сохранилась.

— Еще раз поздравляю: внутренний ад не влияет на вашу внешность.

Укоризненно взглянула, помолчала.

— Этот страх потери выел меня изнутри. Все девять месяцев я ждала не ребенка, а выкидыш. Каждый день я прислушивалась к себе и готовилась не к родам, а к тому утру, когда я проснусь без ребенка. Да он и не был для меня ребенком, он был плодом, потому что плод проще потерять. У него не было имени и не было будущего. Я запретила себе строить планы и представлять свою жизнь с ним. Я огородила себя от него, потому что он мог предать меня, бросить, оставить одну. Я слишком хорошо знала, как это больно, и не хотела этой боли, не хотела, чтобы плод превратился в ребенка и убил меня.

Христофоров понимающе кивнул.

— Меня положили на сохранение, ставили капельницы, делали уколы, а я кайфовала от физической боли, потому что надеялась так откупиться от боли душевной. И даже к родовым болям готовилась, как... ну, как на амбразуру бросаются, понимаете? Я хотела, чтобы меня сразу разорвало в клочья. Это лучше, чем медленно умирать от боли потери.

Христофоров ловко вытащил из стопки нужную историю болезни, пробежал глазами.

— Преэклампсия. Восемь и восемь по Аппар... Вы легко проскочили вашу амбразуру.

— Я перелетела через нее. Лежала в палате и чувствовала себя легкоатлетом, побившим рекорд по прыжкам в высоту. Эйфория и опустошение. А что дальше?

Она взглянула прямо ему в глаза.

— Со мной случилось то, к чему я готовилась и чего не ожидала — родила ребенка. И тут должен был закончиться ад, начиналась другая жизнь. Но на следующий день, когда я взяла ребенка на руки в первый раз, я поняла, что он все так же может убить меня. Знаете, я похожа на Кашея Бессмертного. Помните? На море-океане остров, на острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла, на кончике иглы — смерть его...

— И ваш сын — та самая игла?

— Да, я все могу пережить, но если переломить иглу...

— Стоп! — Христофоров поднял руку и откинулся на спинку стула. — Это чувство присуще всем матерям. Не все могут так четко, как вы, определить его. У вас гипертрофирован материнский инстинкт, что вполне объясняется пережитым.

— Я не могу его контролировать. Не я его испытываю, а кажется, он испытывает меня. У моего ребенка не было детской кроватки. Вернее, она всегда пустовала. Ни одной ночи он не спал в ней — я клала его с собой и слушала, как он дышит.

— Как к этому отнесся ваш муж?

Вопрос поставил ее в тупик.

— Не думала. Муж спит отдельно. Ему надо выспаться, так удобнее. Однажды — ребенку тогда и полугода не было — мне приснился сон и до сих пор стоит перед глазами. Муж идет на прогулку с коляской, возвращается один и с порога что-то говорит мне, но очень тихо, не разобрать. Беззвучно, как рыба. Я ему кричу: «Что ты сказал? Повтори!» — и уже понимаю что, но не могу поверить. Он снова шевелит губами, снова, снова — пытается сказать одну и ту же фразу. А я кричу: громче, громче, не слышу, что ты сказал, повтори! И он говорит тихо-тихо: «Я потерял ребенка». Вдруг сон был вещий?

— К психологу не обращались?

— Я — нет, но мы ходили с сыном. Ему было тяжело найти общий язык с детьми в садике, не отпускал меня, истерики закатывал.

Христофоров пошелестел карточкой.

— Тут нет записи.

— Когда в приемном покое спрашивали, мне это не показалось важным. Все вылетело из головы... Психолог сказала, что его отношения с окружающим миром и со мной — проекция моих с ним отношений. Это как два сообщающихся сосуда. Чем больше я держусь за него, тем больше он держится за меня.

— Прописные истины...

— Мой сын до сих пор не умеет кататься на велосипеде, роликах, даже на самокате. Я никогда не разрешала — упадешь, разобьешься... Мне часто снится, что он умирает. Почти каждое утро я вижу следы собственных ногтей на своих ладонях. Это значит, снился кошмар, помню я его или нет. Чаще всего — помню.

Она смотрела невидящим взглядом в окно, мимо Христофорова. В глазах стояли слезы.

— Вчера ночью стояла возле пылающей печи в концлагере, как в Дахау. Я — в одной очереди, мой ребенок — в другой, совсем рядом; я его видела, но не могла приблизиться. Дети меньше взрослых, их очередь двигалась быстрее, но иногда ее останавливали, и тогда быстрее шли взрослые. Я поняла, что могла сгореть раньше него. Стала просить охрану сжечь нас вместе. Я бы закрыла его глаза ладонью и обняла. Пусть он сгорит раньше, я его догоню, и мы навсегда будем вместе... Чаще всего в снах я не вижу момента его гибели, но точно знаю, что смерть ходит вокруг. И никогда не угадаешь, что ждет на следующую ночь: он тонет, теряется, падает с высоты... Я как будто все время жду его смерти. Не потому ли он хотел умереть? Вдруг он чувствует мои мысли и стремится воплотить их?

Христофоров вздохнул, громыхнул связкой ключей в кармане халата. Некстати забренчал телефон, выключил его.

— Сказку про умную Эльзу помните? То, что вы говорите, — это классика жанра. С метафизической точки зрения выздоровление вашего сына больше зависит от вас, чем от меня. Но знаете что? Вы верите в судьбу? Что, как не судьба, эта ошибка с дозировкой? Он умрет, когда ему суждено, и вы, и я тоже. Нужно отпустить этот страх. У большинства матерей моих пациентов горе от отсутствия ума, у вас — наоборот.

Она улыбнулась, смахнула слезы. Христофоров развел руками.

— Ну, вы же не Эльза? Синим по белому написано: «Елена Сергеевна». Я верю своим глазам и вам предлагаю ограничиться тем же. Не спускайтесь в чулан своего сознания — там живут страхи. И не рыдайте над тем, что может свершиться в будущем. Хватит с вас того, что было в прошлом и есть в настоящем. А в нем есть проблема с вашим сыном, которую нам с вами под силу решить. То, что вы сказали, важно. Я учту при общении с ним. Ваш душевный настрой, ваш излом оказали влияние на ребенка — это факт. Попятного пути у человеческой жизни нет, будем разбираться с тем, что имеем.

— Спасибо, что выслушали. Я знаю, вы нам поможете. Можно я конфеты передам? Они все конфеты едят. У них диатеза не будет?

— Прыщи на попе — последние всполохи детства. Пусть лопают.

* * *

Допоздна он просидел в больнице и вот уже возвращался по темноте той же дорогой, которой шел днем. Приблизившись к месту, где увидел вывернутую наизнанку птицу, замедлил шаг — не вляпаться бы.

Спохватился, одернул себя: надо думать о матери, а не о мертвых голубях и уж тем более... не о Маргарите. Он знал историю своего рождения и младенчества по рассказам, но никогда не проецировал их на свою с матерью жизнь. Как долго она боялась потерять его, чудом спасенного, ведь за виртуозной операцией следовал долгий и непростой период восстановления? Была ли она, родившая его в двадцать лет, похожа на мамаш, одолевавших его последнюю четверть века, слишком беспечных или чрезмерно озабоченных? Как удалось ей дать ему хорошее детство — одинокой, молодой, по общепринятым уже тогда меркам глупой: без высшего образования? И почему нынешним — не таким уж глупым, зачастую небедным и часто искренне любящим — этого не удастся? В чем рецепт?

Он месил тяжелыми ботинками разбухшую жижу и пытался ответить на свои же вопросы ее словами: коряво, но от того правдиво, без прикрас. И не мог: выходил текст из учебника по педагогике, перемежаемый стенаниями вылившегося на суд общественности скандала, как в передаче «Пусть говорят», которая по вечерам гундела и взвизгивала за стенкой, в материнной комнате.

Вряд ли мать следила за сюжетом сценарных скандалов. В последнее время она существовала как бы в двух измерениях, и неизвестно, какое из них было реальнее: квартира, из которой она уже не выходила, или дебри сознания, в которые старики уходят необратимо, захлопнув дверь в настоящее, на встречу с пережитым, с детством и со своими родителями.

Христофоров шел домой, к матери, и знал, что она откроет ему дверь, но он ее там не застанет. Его мать уже ушла — к своей матери, вернулась в их прежний дом, а может, отправилась еще дальше.

Когда он звонил домой с работы, она не узнавала его голос по телефону, а потом жаловалась: незнакомый мужик проверяет, есть ли кто дома. По ее настороженному взгляду он понимал, что не всегда она узнает и его самого. Ругал себя за то, что прохлопал Альцгеймера, и тут же убеждал себя, что ошибся. С матерью он не мог быть психиатром. До тех пор, пока однажды из растянутого кармана ее фланелевого халата не выпал круглый сверток. Она не заметила, пошаркала дальше, а он поднял и развернул.

В затынутом на тугой узел белом головном платке были спрятаны куски сахара, круглое печенье «Мария» и паспорт. Он завязал кулек и аккуратно положил его на край кухонного стола. Ждать пришлось недолго. Мать засуетилась в своей комнате, перенесла поиски на кухню. Увидев кулек, схватила его и, шевеля губами, засеменила в комнату. Бесшумно двинувшись за ней, Христофоров обнаружил, что кулек хранится между двумя матрасами в изголовье кровати.

С той поры он стал присматриваться к матери и вскоре установил, что, выходя из комнаты, она перекладывает кулек в карман — боится оставлять без присмотра, будто в доме есть чужие, а возвращаясь в комнату — развязывает и перебирает содержимое. Дальше обманывать себя он не мог: ровно так собирают скарб в дорогу и готовят воображаемый побег тихие старушки в психоневрологических интернатах и тронувшиеся умом постояльцы домов престарелых.

Из ста замышляемых побегов осуществляется только один, и тот заканчивается плачевно, если отправившегося в путь прозевает медперсонал. Старики идут домой, но

даже если им везет и город, улица и дом совпадают, дорога все равно приводит в никуда, потому что память играет с жившими по этим адресам детьми злую шутку, маня их минувшим — невозвратным, несбыточным, недостижимым.

Каково это: стоять с протянутой в прошлое рукой и осознавать, что вызываешь к пустоте?

Наверное, это как во сне: возвращаться и возвращаться домой — пешком на самый верхний этаж из-за того, что лифт сломан, но посередине пути видеть: между пятым и шестым лестница обрывается, остались лишь стены. Хочется вернуться и начать путь сначала в надежде, что это ошибка. Хочется проснуться, чтобы убедиться, что это сон. И какое это счастье — обнаружить себя в постели, на своем девятом этаже, и еще минут пять, пока дурной сон не забудется, думать: ну надо же такому присниться...

У стариков этот кошмар становится явью, и, может, не так уж и плохо, что они ее не осознают.

Христофоров дошел до дома, поднялся на этаж и, нажимая кнопку звонка — он теперь всегда звонил, как посторонний, боясь напугать ее тихо открытой ключом дверь, — подумал: что он скажет ей, если вдруг однажды она спросит, как у него дела в школе? Он даже помнил интонацию, с которой она задавала этот вопрос в детстве, — в шутку и с гордостью, ведь учился он хорошо.

Мать открыла дверь, прищурилась в темноте коридора, на этот раз узнала и кивнула. Протянула записку со старательно выведенными цифрами и именем: Маргарита.

— У вас телефон полдня выключен, — Маргарита говорила бодро, будто не она сидела утром у гроба черным истуканом.

— Днем звук убавил, — сообщил он.

— Поговорить с вами хочу. И чем быстрее, тем лучше, — еще энергичнее сообщила она.

— Быстрее всего — сейчас.

— Не по телефону, — категорично заявила она.

— Завтра на работе, — предложил он.

— Не подходит. Еще не поздно. Пишите адрес.

* * *

Не доезжая до Калужской площади, такси свернуло с Ленинского проспекта направо, еще раз правый поворот, остановились у высокой арки дома.

— Кругаля дали, — пояснил водитель. — Одностороннее тут, напрямую не проедешь.

Христофоров вылез и огляделся. Дом и впрямь стоял прямо на проспекте, но вход в арку — с переулка.

Такси уехало, а он все топтался у ворот. Пока ехали, в дальнем углу дома заметил продуктовый магазин, хотел дойти до него, купить... конфеты, что ли... Вроде как в гости к dame пришел. Хотя лучше бы бутылку коньяка. Представил себя с коньяком и конфетами — и решительно двинулся в арку.

Набрал номер квартиры на домофоне: сорок три. Отметил, что это его любимые цифры: три и четыре — в них основа порядка в житейских делах и мироздании. Придумал еще в детстве и с тех пор жил по системе, состоящей из этих цифр и особого сочетания гласных и согласных — не всех, избранных.

Наверняка у многих нормальных людей есть свои системы, да еще позатейливей, но они их скрывают. Только пациенты психиатров вынуждены признаваться в своих тайнах. Как говаривал Андрей Ефимыч Рагин, между пациентом и психиатром большой разницы нет: «Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все». В том, что один доктор, а другой душевнобольной,

«нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность». Додумать не успел — лифт дернулся и остановился.

Маргарита осунулась, утратила величавость. Он даже забыл буркнуть заготовленное приветствие: «Чуть ночь, и я у ваших ног» и «Давно не виделись». Сунул ноги в приготовленные для него тапки — войлочные, с синим тканым узором и длинными загнутыми носами на восточный манер. На ее ногах были такие же тапки, только с зеленым узором и коричневыми помпонами на загнутых носках.

— Точно одной и поговорить не с кем... Я не отниму у вас много времени, — сказала Маргарита.

Он развел руками, что можно было трактовать и как разрешение тратить его время сколько заблагорассудится, и как констатацию того, что оно уже потрачено.

Квартира походила на музей: мебель из темного дерева с резьбой, на стенах картины — суровая маринистика, напольные вазы в китайском стиле, а может, и впрямь китайские. В открытые двери комнат виднелись диваны, на каждом из которых затейливо раскиданы разномастные подушечки — почти все, как и тапки, на восточный манер с кистями и вышивкой.

Маргарита провела его в большую комнату, посреди которой стоял круглый стол, застеленный светлой скатертью с меленькими цветочками. Он осторожно сел на резной стул и потрогал под столом край свисавшей почти до пола скатерти. Цветочки оказались выпуклыми и атласными, сплетенными из ленточек и вручную пришитыми к скатерти.

Христофоров уселся удобнее на массивном, не внушавшем опасений стуле: чаевничать так чаевничать.

— Давайте выпьем, — предложила Маргарита.

— Вы снова хотите присутствовать при медленном самоубийстве и даже решили поспособствовать? — припомнил он ей.

— Уже несколько дней хочу напиться, но не могу. Не умею. Вы меня поддержите?

— Завтра дежурство. Вы можете напиться без моего участия, но под моим руководством. Я для этого приехал?

— Нет, для того, чтобы завтра на дежурстве вам было интересно.

— Мне и так всегда интересно. Вот уже двадцать пять лет.

— Ну, так будет еще интереснее. Оставайтесь здесь на ночь, я постелю вам в соседней комнате. Только сразу найду постельное белье. После развода я ни разу не была в этой квартире, хотя у меня оставались от нее ключи.

* * *

— Психиатр — это еврейский мальчик, который до смерти боится крови, а в медицину пошел для того, чтобы не огорчать маму. Это про моего бывшего мужа. У него не было шансов стать хорошим врачом, поэтому он сделал хорошую карьеру в медицине, — Маргарита повертела в руках стопку, с сомнением посмотрела на нее, зажмурилась и выпила содержимое до дна.

— Пятая, — осторожно напомнил Христофоров. — Вы зря взяли граппу. Это все равно что поехать на Олимпиаду, имея трояк по физкультуре. В пьянство надо входить плавно.

Он покосился на бутылку: понижать градус поздно. О покойниках либо хорошо, либо ничего, но разве может женщина пить молча?

— Одни люди хранят себя, другие тратят попусту. А итог один: пус-то-та. Посмотрите на меня и на себя — один знаменатель. Мы уверяем себя в том, что помогаем другим, а на самом деле не можем помочь самим себе.

— Другим помогать легче. Вот вы зачем пошли в психиатрию? — спросил Христофоров и галантно отодвинул почти ополовиненную бутылку подальше от Маргариты.

— За кем, — Маргарита подвинула к нему свою стопку. — К профессии у меня самоприворот. Была влюблена в парня со своего курса. Все, что его окружало, было исполнено особым смыслом. Даже специальность ту же выбрала. А как узнала, что он женился, за одного из однокурсников тут же выскочила замуж, царствие ему небесное.

Христофоров вновь покосился на граппу и на свою чашку чая. Наливать виноградную водку в чай было бы совсем уж свинством, а завтра еще и дежурство.

— У влюбленности есть два универсальных состояния, по которым ее можно распознать. Кажется, что все песни о любви про тебя, — раз. Всё, чем занимается твой любимый, чего касается, даже номер автобуса, на котором он ездит, станция метро, на которой выходит, всё кажется сакральным — два. У вас было такое?

Христофоров попытался втянуть живот и подумал, что больше, чем выпить, он хочет похудеть — здесь и сейчас. Но здесь и сейчас можно было только выпить.

— У меня не было. Ваши откровения будят во мне змия, — признался он во всем сразу.

Маргарита рассмеялась. Он спохватился собственной двусмысленности, и будь он в более нежном возрасте, наверное, покраснел бы.

— Добавьте в чай рижский бальзам — этот компромисс вы можете себе позволить без зазрения совести даже накануне дежурства. Я видела его в баре.

Открывшееся взору Христофорова изобилие выдавало в бывшем хозяине бара не выпивоху, но коллекционера. Представил, что Славыч смотрит с небес на то, как он опустошает хозяйские закрома. Стало тошно настолько, что невозможно было не опустошить.

— А правда то, что я слышал на прощании? — вернул он разговор в менее опасное русло и долил до края чашки тягучую темную жидкость.

— Да, успешный пятидесятилетний мужик ввел себе лиственон дозой, превышающей допустимую норму приема миорелаксанта.

Христофоров уставился на черную жижу в волнистых берегах белого фарфора. У него в запасе был такой же сценарий. Вены, веревки, вынос мозга — удел дилетантов и истериков. Хочешь действовать — действуй наверняка.

Славыч воспользовался самым разумным способом: уснул и не проснулся. Правильно подобранная доза курареподобных препаратов в сочетании с наркозом действуют безотказно: дыхание останавливается во сне.

— Сегодня, в день похорон, статья вышла, до завтра подождать не могли: рейтинг причин самоубийств среди чиновников. Мой бывший супруг и тут оказался в лидерах. Первое место — боязнь неотвратимого судебного преследования и сурового наказания. Конечно, это пока предположение.

— За что наказания? — не понял Христофоров.

— Там виднее, за что, — Маргарита подняла глаза к потолку. — Коррупция. Наверное, это как ветрянка среди детей. Посидел рядом и заразился. На одном несколько пятнышек вылезло, другой весь ими покрылся, с головы до пяток. Разберутся...

— В этой квартире? — осторожно уточнил он.

— Что вы! — она махнула рукой, словно отгоняя от себя само предположение, и чуть не задела его чашку. — За городом, на даче.

— О встрече с дочкой он больше не просил?

— Мы давно миновали стадию задушевных разговоров. Он прекрасно знает... То есть знал: если я сказала «нет» — это окончательно.

— Компромиссы — это не ваше?

— Вся моя жизнь — один сплошной компромисс. Но он исчерпал себя до донца, а донце это было очень глубоким. Глубже, чем я могла себе представить молодой дурехой... Кто-нибудь говорил вам, что вы самовлюбленный, эгоистичный, бездушный сукин сын?

Христофоров запрокинул голову и вылил в рот остатки чая с бальзамом.

— Конечно. Я сам себе говорю это каждый день. Спасибо, что сегодня вы сделали это за меня.

Он нарочито потряс своей кружкой и выразительно глянул на недопитую бутылку граппы с виноградной лозой на этикетке:

— Думаю, сегодня вы уже взяли свою высоту, да и мне пора ехать.

— Никуда вы не поедете, мы же договорились, в вашем распоряжении — гостиная, я постелю на диване.

— Боюсь, что в моем случае ваше окончательное «нет» вряд ли будет иметь ту же безусловную силу.

— Я вас прошу. Утром будут блинчики в знак признательности, что выслушали пьяную женщину.

Христофоров плеснул бальзам в свою пустую чашку, выпил чистоганом и проникновенно сказал:

— Именно поэтому блинчиков не будет. Поверьте моему опыту, с утра на похмельную голову тяжелее всего исполнять обещания, которые накануне нам нашептывал алкоголь. Часы бьют восемь или девять утра, прекрасная Золушка превращается в чумазую дурнушку с размазанной косметикой, а самые легкие и остроумные замыслы оборачиваются стыдливым воспоминанием и обузой. После настоящей пьянки наутро всегда немного стыдно, даже если вы не припомните за собой особых излишеств. Лучшей и менее обременительной признательностью будет ваше снисходительное отношение к моему храпу.

— При всем желании я вряд ли его услышу. В этом доме толстые стены, — улыбнулась Маргарита. — И жаль — давно я не слышала мужского храпа.

— Тогда вам придется прислушиваться или не закрывать двери. Будьте покойны, не подведу.

Во дворе было тихо. Даже не верилось, что по ту сторону дома шумит Ленинский проспект. Христофоров ворочался, простыня неудобно елозила по кожаной поверхности дивана, так же не предназначенной для сна, как вся эта с вычурным вкусом обставленная квартира — для нормальной жизни. Думал о том, что самые невероятные события случаются обыкновенно и обыденно.

Он пытался и не мог вспомнить студентку Маргариту, равно как и других студенток: до них ли ему было? Что говорить, если свою жену он помнил с трудом, да и не хотел помнить. Напряг память: вот, вроде промелькнула какая-то, но она ли это была?

Спать оставалось часа четыре. Христофоров перестал мучить безответную на студенток память, подтянул простыню, прижал ее спиной, чтобы не сползла, и захрапел.

Маргарита дождалась обещанного храпа и улыбнулась. Она лежала без сна и тоже вспоминала студента Христофорова. Придя на новую работу в детскую больницу, она столкнулась с ним нос к носу спустя много лет после студенческой поры.

Раньше у нее не было поводов подойти к нему, теперь она сама могла их создавать. Осваиваясь в женском отделении, Маргарита не стеснялась спрашивать совета и просить его о помощи, манкируя прочих коллег. Намеренно не замечала, как он ворчал и едко юморил, подтверждая репутацию хмурого, но безотказного доктора. Поначалу она еще пыталась найти в бирюке обаятельного увальня из прошлого, но потом бирюк взял верх, и она окончательно уверилась в пророческом даре знакомой астрологини, которая, страшно сказать сколько лет назад, предупредила ее:

— Он созреет и обратит внимание, когда вам это будет уже не нужно.

Все же начала поздравлять его с днем рождения. Информационная доска в холле больницы давала на это полное право и подтверждала незыблемый факт мироздания: человек всегда получает желаемое, но чаще всего тогда, когда уже забыл, о чем просил.

Она вспомнила, как хотела быть первой, кто говорит студенту Христофорову «С днем рождения», и говорила теперь. Пусть не первая и не на ушко, но говорила.

Стандартные сообщения сочинялись долго, иногда несколько дней, чтобы были еще стандартнее, еще безличнее и слегка с юмором, как он любит. Он не ответил ни на одно, ни разу. «Но ведь поздравления и не требуют ответа», — утешала она себя и на будущий год снова поздравляла, уже зная, что он не ответит, и заранее уговаривая себя не обижаться. А еще через год уже не обижаясь: ни на отсутствие ответа, ни на то, что ее день рождения — в то же число через месяц — проходил им незамеченным. Она позволила себе поздравлять его, не стыдясь полного равнодушия в ответ. Только каждый год в свой день все равно почему-то ждала до последнего, до двенадцати ночи — ведь информационную доску в холле видел и он...

Теперь она смотрела в потолок, слушала мерно накатывающий рык, который чудесным образом не раздражал, и спрашивала себя: нужно или нет, если даже звезды давным-давно высказались не в ее пользу? Но отвечали ей не звезды, а пришедшая на память подруга, ибо лучшие советчики одиноких женщин — еще более одинокие подруги. Одно одиночество притягивает другое, как магнит, но от этого не уменьшается ни у той, ни у другой. Зато получает теоретическое обоснование, под него подводится серьезная база, разрабатывается изрядная методология. Из случайного, житейского, преодолимого одиночество становится судьбоносным, оправданным, удобным и даже желанным. А если не становится, то кажется таковым.

Подруга говорила ей:

— В нашем возрасте единственное, чего хочется, это покоя и уважения.

Маргарита шутила:

— Так это на кладбище надо: там и покой, и уважение.

Храп и граппа качали ее на волнах, которые двигались по кругу, закручивались в воронку, но не затягивали внутрь, где все было бы кончено, а крутили и крутили по окружности, как космонавта в центрифуге. Чтобы выбраться из нее, достаточно встать с постели, но сил не было, да и не хотелось собирать их остатки, хотелось только покоя и уважения — золотые слова. Покой и уважение самодостаточны, и они у нее были.

* * *

— Повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, — Фашист перевел дух и сверился с листом бумаги. — Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

— А зачем ей это подсовывать? — подал голос со своей кровати Существо. — Это же глупо и некрасиво... И... подло!

— Что может знать Существо о любви? — Фашист закинул ногу на ногу и принялся складывать записочку. — Может, она твоей девчонкой будет, когда выпишут. Может, моей. Я уже исправился. Я теперь не в Гитлера, а в Одина буду верить. Мне Христофоров про него рассказывал: я, говорит, нового кумира тебе нашел, раз ты без них не можешь, хоть немецкий не забудешь.

— Нас скоро выпишут? — встрепнулся Суицидничек.

— Тебя не скоро, — сказал Омен. — Я твою мать видел. Ее Христофоров вызывал не в родительский день. Она плакала, когда уходила. Наверное, анализы у тебя плохие.

В палате было темно, душно и уютно, как в любой больничной палате, стоит только смириться и привыкнуть к ней. Лежали на кроватях, смотрели в потолок, и каждый представлял, что именно он покинет эту палату первым. Омен это знал почти наверняка: до спланированного побега оставалось не так много времени. Но зима не баловала снегом, а значит, торопиться не стоило.

— По кайфу? — предложил Омен.

— Сегодня как раз Христофорова нет, — напомнил Существо.

— Можно я пропущу? — попросил Суицидничек. — У меня ничего увидеть не получается. Темнота одна перед глазами и голова потом болит.

— Плохо стараешься, — возмутился Фашист.

— «Собачий кайф» даже смысл жизни показать может, — тихо сказал Омен. — Ты же хочешь найти смысл своей жизни, чтобы выписали?

* * *

«Сон алкоголика краток и тревожен», — подумал Христофоров и принялся. В квартире убедительно пахло блинчиками. Он сунул ноги в турецкие тапочки и заскользил войлоком по паркету в сторону ванной комнаты с зеркальным потолком и неоновой подсветкой душевой кабины, которую успел оценить ироничным «хм» накануне.

В стакане стояла одна зубная щетка. Христофоров представил Славыча, чистящего ею зубы перед тем, как выпить свой смертельно расслабляющий коктейль, и к горлу подкатила муть. Он выдавил пасту прямо в рот, махнул туда же пригоршню теплой воды и надул щеки. Когда вышел из ванной, во рту ощущалась легкая кислинка, обычная для похмельного утра.

Маргарита выглядела тускло, но действовала уверенно. Посреди стола стояло блюдо, на котором возвышалась стопка блинов с идеально правильной лунной поверхностью, изобилующей круглыми пятнами кратеров.

— Удивительно, у него была мука, — сообщила она.

— Возможно, у него была и та, которая из этой муки пекла, — заметил Христофоров. — Что вы знали о его жизни? Если ключи от квартиры есть у вас, это не значит, что их нет у кого-то еще. Не бойтесь, что дверь откроется...

— Не боюсь, — отрезала Маргарита.

Христофоров сделал вид, что поперхнулся блином, и посмотрел на часы. Вспомнил, что метро в пяти минутах ходьбы — и сразу кольцевая. Оценив глянцую Маргариту.

— Раз уж вы пожелали сделать меня причастным к вашему падению, позвольте житейский совет опытного бытового алкоголика.

— Мое падение — на вашей совести.

— Тем более! Итак, совет: алкоголь лучше всего выпить. Если с вечера вам довелось много выпить, утром плюньте на дела и выпите все, что выпили. Чем больше пили, тем дольше спите. Организм может разбудить вас спозаранку. Помните: ему надо лишь попить и пописать, в исключительных случаях — поплевать, но никак не поработать. Если совесть, чувство долга или предчувствие гнева начальства гонят вас на работу, постарайтесь решить этот вопрос полюбовно, лучше с вечера, в крайнем случае — с утра, но ни в коем случае не ходите на работу.

— Но ведь вы же ходите!

— Я — продвинутый бытовой алкоголик, это другой уровень. Мои советы для начинающих, вроде вас. После того как вы официально оформили свой прогул под любым благовидным предлогом, приоткройте форточку, уложите тело в постель, вытяните ноги, пошевелите пальчиками, скажите себе: «Я свинья, прогульщик и горький пьяница. Сейчас, когда все честные люди и мои коллеги собираются на работу, толкаются в метро, клюют носом в автобусе, а скоро будут зевать на летучке, гордо именуемой в нашей больничке конференцией, я буду спать. Буду перекатываться в прохладной постельке с боку на бок, представляя, что я — тюлень. Буду ложиться на бочок и подгибать под себя ножки, представляя, что я — чудесно полосатый енот-полоскун в тесной уютной норке, укрывающий себя пушистым хвостом. Снаружи зима и экономический кризис. Но за лето я накопил столько жира, что хватит на долгие три месяца зимнего сна. Мне тепло и лень двигаться: жир отложился даже в хвосте, а на спине его слой достиг толщины в половину человеческого пальца. Я готов выйти из

норки, только если наступит оттепель, в крайнем случае — когда протрезвею. Что случится раньше, не знаю...»

— Не хочу быть ни тюленем, ни енотом.

— И не надо, главное — спите. Спите до вечера, в крайнем случае — до обеда. Если вам хочется проснуться и кажется, что пора вставать, переворачивайтесь на другой бок — и снова спите. Спите до тех пор, пока не приснится кошмар, потому что если вы будете спать «через не хочу», он вам непременно приснится. Вот тогда вставайте, умойтесь и хорошо покушайте. А после позвоните мне и скажите, что я был прав. Если все сделаете верно, рассчитываю, что вы застанете меня уже по пути домой, и я расскажу вам новости с работы, которую вы с полным правом прогуляли.

На прощание он неловко чмокнул ее в щеку: скорее дежурно, чем лично, и потом думал об этой неловкости, пока скользил по толстому, бугристому слою льда до метро — центр города, а не посыпано. Возле второго подземного перехода остановился покурить. За спиной зашелестело. Он обернулся: на краю мусорки сидел воробей и трепал пустой мятый пакет из-под чипсов — поддевал клювом, пытаясь просунуть внутрь голову, теребил из стороны в сторону, злился, что не получается. Наконец уронил пакет на землю и принялся таскать его по тротуару, пытаясь высыпать остатки крошек.

Христофоров пошарил в карманах, подошел к ларьку и купил такой же пакет. Смял его, пожаткал между ладонями и, когда внутри фольги перестало лопаться и хрустеть, разорвал верхушку. Воробей продолжал поединок с пустым пакетом. Не зная, как его подманить, Христофоров неловким движением сеятеля сыпанул часть крошева на тротуар и прислонил широко раскрытый пакет к урне.

— Лучше бы людям помогали, — бросила на ходу пожилая женщина в сиреновом берете.

* * *

Шнырь семенил за воспитательницей, подтягивая штаны, — те всё норовили сползти с плоского зада. Его болезненная худоба значилась отдельным пунктом в списке забот Христофорова, которому все никак не удавалось откормить Шныря на больничных харчах.

Высокие своды больницы, широкая лестница, морозный воздух, без спроса врывающийся из открываемых дверей в вестибюль, пугали Шныря. Он забыл, как пахнет улица, и осторожно принюхивался, словно зверек, привыкший к смраду родной норы. Хотел поскорее очутиться дома — в отделении. Боялся отстать, потеряться и потерять книжку с курчавой, похожей на баранью, головой на обложке. В книжке написано много слов, стоящих шаткой лесенкой друг над другом, и все ему надо выучить, а зачем — он забывал, вспоминал и снова забывал. А вот человека-барана запомнил хорошо: Пушкин Руслан, нет — Евгений.

У дверей в отделение догнали Христофорова — тот остановился на последней ступеньке, чтобы отдышаться. Шнырь восхитился своей удаче: в первый раз он встречает Христофорова не внутри, а снаружи, где все совсем в другом свете и нет никакого удава, а есть доктор, который, конечно же, скоро его выпишет.

Мысли Шныря пришли в движение. Свежий воздух — запах свободы — щекотал ноздри. Внешний мир звал к себе, улица презирала больницу и хотела вызволить затворников. Даже на лестнице, ведущей к входу, нет — к выходу, пахло свободой, которая не проникала в отделение сквозь наглухо запертые двери: дом был тюрьмой, но чтобы почувствовать это спустя несколько месяцев затворничества, надо было выйти наружу.

Как выйти, если не выпускают и слова в лесенке путаются, и в дверях замок, который открывается только не похожей на ключ гладкой железной палочкой. Шнырь не анализировал эти обстоятельства по отдельности, он осознал их разом, целиком —

так же, как вбирал в себя запах отделения: лекарства и пот, хлорка и стряпня, смрад уборной, которую как ни мой...

По собственному желанию из отделения можно было уйти только одним способом — не через дверь. Вот именно об этом Шнырь хотел, боялся, забывал рассказать Христофорову. Может, ему и вовсе просто померещилось, как самый спокойный мальчик их отделения Ванечка стащил со стола в игровой диковинный для больницы предмет — оконную ручку.

Раньше — Шнырь еще застал, но уже не помнил те времена — к старым деревянным рамам больничных окон были привинчены железные решетки. Впрочем, таковыми они только казались изнутри детям, не видевшим, как мастерил их сын старшей медсестры. Сложность задачи состояла в том, что решеток в отделении не полагалось.

По чертежу Христофорова из пластиковых реек был изготовлен опытный образец, доходивший до середины высокого окна игровой комнаты. Широкие ромбы ячеек выглядели вполне художественно и не очень оскорбляли взгляд. По крайней мере, снаружи.

— Железная? — мрачно спросил один из мальчиков, склонный, как следовало из карточки, к бродяжничеству.

— Будет и железная, — заверил Христофоров и потер руки, любуясь творением. — Лезь!

— Почему я? — насторожился бродяжка.

— У тебя опыт, — объяснил Христофоров. — И голова маленькая.

Эксперимент посрамил создателей новаторского оконного декора. Парень извернулся и открыл шпингалет окна.

— Все равно не выбраться, раз железная будет, — сказал он Христофорову.

Тот кивнул и дал задание умельцу уменьшить ромбы. Железными решетки быть никак не могли, если только он сам не хотел оказаться за решеткой по обвинению правозащитников в ограничении свободы детей, самоуправстве, изощренных пытках, испытаниях новых нейрорептиков по заказу мировых фармацевтических корпораций, опытах над неокрепшим детским сознанием, сионистском заговоре и прочих злодействах, к которым, разумеется, от природы склонны врачи-психиатры.

Вскоре помещенные между рамами пластиковые рейки украсили окна, и лишь взрослые знали о хлипкости и условности самодельной конструкции.

Когда больница получила деньги на ремонт, отделению перепала лишь замена окон. Деревянные рамы отнесли на помойку вместе с решетками, о которых пришлось окончательно забыть. Решетки на новых пластиковых окнах были чреваты еще одним обвинением — в порче казенного имущества, а оно опаснее прочих: одно дело, когда обвиняют оголтелые противники «карательной психиатрии», и совсем другое — рачительный и обстоятельный завхоз.

Окна палат, кабинетов, процедурной просто лишили ручек, но для проветривания все же хранили две: одной пользовались, вторую держали про запас в сейфе.

Решетки, даже бутафорские, тем и хороши, что стоят себе и стоят, несут службу, не требуя внимания. Открытое же окно следовало караулить, ручку после проветривания снимать и прятать в ящик стола в ординаторской, ящик не забывать закрыть ключом, висевшим на общей связке отмычек отделения.

И вот о том, что ручка пропала, знал только Шнырь, ставший невольным виновником пропажи, Анна Аркадьевна, в чью смену она произошла, и молчаливый Ванечка.

— Опять море разлитое, а эта сука так и не вышла, — крикнула медсестра из коридора.

Сообщение не требовало расшифровки: «морем» именовали лужи Шныря, забывавшего вовремя заглянуть в уборную, «этой сукой» звали всех прогулявших

работу уборщиц, которые сменялись гораздо чаще, чем пациенты отделения, а потому запоминать их по именам никто не пытался.

— Ирод! — скорее по инерции, чем со злости ругнулась Анна Аркадьевна и, чтобы затереть лужу, пока в нее не вляпались другие празднующие по коридору, ринулась из пустой игровой комнаты, в которой стерегла открытое для проветривания окно.

Про себя она кляла не Шныря — что с него возьмешь, а медсестру-белоручку, которая и не подумала взять в руки тряпку, хоть и не врача, а средний медицинский персонал, ровня воспитателю, возмнившая, что белый халат отбелит и ее кость.

Окно она закрыла, а вот ручку, кипя возмущением, швырнула на стол, рассчитывая через минуту вернуться.

На привычном месте за батареей тряпки не оказалось, пришлось идти за новой в хозяйственный блок. По пути привычно шикнула на Шныря, он так же привычно втянул голову в плечи, выражая раскаяние, и сел на корточки у стены — самая популярная поза у больничных слабоумных: то ли они перенимают ее друг от друга, как обезьяны, то ли и впрямь ноги не держат.

Хозяйственный блок, он же каморка уборщицы, располагался на другом конце отделения. Анна Аркадьевна ускорила шаг, но провозилась с ключами, отыскивая среди похожих единственно верный.

Когда она затерла лужу, заткнула тряпку за батарею и вернулась, оконной ручки на столе не оказалось, Шныря в коридоре напротив игровой — тоже. Вызванный на допрос, он не пролил света на пропажу и так истово тряс головой, что заставил поверить в свою непричастность.

За несколько же минут до этого он едва поверил своим глазам, когда вслед за убежавшей воспитательницей у игровой появился Омен, словно карауливший Шныря с его лужей. Футболка на нем топорщилась, снизу выглядывал угол грязно-желтой ветоши, обычно сушившейся на батарее и никому не нужной. Омен прошмыгнул в игровую, схватил лежавший на столе предмет, выбежал и, вплотную подойдя к застывшему на корточках Шнырю, улыбнулся как ни в чем не бывало и протянул ему руку.

Шнырь вложил свою вечно потную ладошку в его ладонь и поморщился, когда Омен с силой потянул его к себе. Пришлось подняться.

— Друг, — сказал Омен, до этого не удостоивший Шныря ни единым словом, и быстро скрылся в палате. Шнырь метнулся в уборную и сидел там минут пять, пока за ним не прибежала Анна Аркадьевна.

Перевернутое лицо воспитательницы говорило о том, что совершено страшное преступление. По ее вопросам Шнырь даже понял, какое именно, но не выдал первого и единственного в своей жизни друга.

В палате он старался не глядеть на Омена, чтобы не обнаружить возникшую между ними тайну, но тотчас забывался и суетливо ловил его взгляд. Омен привычно не замечал Шныря и, казалось, совсем не интересовался расследованием.

Анна Аркадьевна прошла по палатам: проверила тумбочки, заставила вывернуть карманы, поднять матрасы. Ванечка лениво поднялся с кровати и равнодушно исполнил все указания. Оконной ручки у него не оказалось.

Воспитатель не могла знать, что чуть не наступила на пропажу, спрятанную в тапке — широком, теплом, на несколько размеров больше. Когда порвались резиновые шлепки Ванечки, она сама выбрала для него эти тапки в ворохе оставленных в больнице и перешедших в казенное пользование вещей.

После тщетных поисков Анна Аркадьевна не написала объяснительную, как требовали больничные правила, а успокоила себя тем, что не каждый расторопный дебил, сумевший утащить оконную ручку, сможет ею воспользоваться и вообще

поймет назначение этого предмета. Достала запасную из сейфа, заперла в ящике стола и на следующий день сумела найти дублера в магазине оконной фурнитуры.

Подмена прошла незамеченной, а заветная — третья — ручка составила единое целое с кроватью Омена, ловко приклеенная на жевательные резинки к металлическому днищу. Опасаясь за надежность крепления, Омен, поразмыслив, обеспечил бесперебойные поставки свежего строительного материала с помощью судейства в собачьем кайфе. Пока соседи по палате пыхтели у стенки, занятые соревнованием, Ванечка неспешно цементировал в темноте оконную ручку тщательно разжеванными ароматными резинками.

Заспав происшествие, на следующий день Шнырь уже сомневался, было ли оно наяву. Он никогда не решился бы спросить Омена, но продолжал взглядывать на него с благоговением и порой тоже ловил на себе его взгляд: по-прежнему безмятежный и пустой, но опасно долгий. Лишенный дара остро мыслить, Шнырь все же чувствовал, что друг приглядывает за ним, не доверяет, и обижался — ведь он ничем не выдал Омена в той яви, которая не давала ему забыть себя окончательно и сделала его, Шныря, участником преступления.

По временам Шнырь вздрагивал, потирал потные ладони и боялся кары: что его не выпишут, а выписав, никогда не возьмут обратно. Эти два взаимоисключающих страха терзали его с одинаковой силой.

Он хотел рассказать все Христофорову и давно бы это сделал, но неизменно наткнулся на стену в лабиринте собственного сознания. Суть тайны ускользала от взволнованного Шныря так же, как смысл лесенкой идущих слов похожего на барана человека: «Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать?..» Дальше понятные по отдельности слова смешивались в тягучую кашу. Шнырь тоже думал написать и раз даже нарисовал окно и ручку, но вышло совсем сумбурно, лучше уж сказать...

И вот теперь, взбудораженный дуновением свободы, которая морозным уличным воздухом, не таясь, разгуливала по широкой центральной лестнице, он решился.

— Окно, — сообщил Шнырь и, боясь назвать Омена по имени, намекнул: — Может убежать.

Анна Аркадьевна перекрестилась.

— Куда окно может убежать? — ласково спросил Христофоров и положил холодную, пахнущую сигаретным дымом ладонь на лоб Шныря. — Ты, дружок, не переживай. Скоро мы тебя выпишем. Бог с ней, с поэмой этой.

— Через пять дней? — с надеждой спросил Шнырь.

— Почему именно через пять?

— У вас всегда пять пуговиц на халате.

— Через четырнадцать дней. Столько пуговиц на всей моей одежде, включая внутренние карманы. Можешь начинать отсчет.

В кабинете Христофоров первым делом подошел к книжному стеллажу и извлек пыльный томик учебника по психиатрии Анатолия Портнова. Сомнений не было: Шнырьков, сам того не зная, озвучил классика. С убегающим окном, конечно, придется разобраться, не хватало еще побочных галлюциногенных эффектов от вновь подобранных лекарств за две недели до выписки.

* * *

Все утро он думал, как разговорить Элату. Ничего не придумал и решил, что будет импровизировать. С женщинами всегда приходится действовать по обстоятельствам.

С Маргаритой они договорились, что о смерти отца — ни слова. Пусть мать сама поговорит с ней, когда сочтет нужным.

— Твоего кота я повесил на стену в прихожей, — сообщил он Элате. — Там у меня уже висит плюшевый Чебурашка с большими ушами и карманом на животе.

— Зачем Чебурашке карман? Он же не кенгуру.

— Ему он ни к чему, а мне — нужен. Карман для расчесок. Сейчас это не в моде, а вот когда тебя еще на свете не было, такие Чебурашки пользовались большой популярностью и висели во многих квартирах. Мой Чебурашка хорошо сохранился, только со временем у него обвисли уши и теперь скатываются в трубочку. Я расправляю, а они все равно свисают. Не Чебурашка, а грустный спаниель.

— Наверное, вы очень любите своего Чебурашку, если до сих пор его не выкинули.

— Люблю, — обрадовался Христофоров правильному повороту беседы и стал действовать по обстоятельствам. — Мне его девочка в школе подарила на день рождения. Она мне нравилась. Хорошая была девочка. Звали ее Ангелина. В моем детстве девочек называли Наташами, Зинами, Валями... И вот на тебе — Ангелина. Очень ей шло это имя. Тоненькая, беленькая, кудрявенькая, с косичками. В классе было три ряда, я сидел у окна, а она — на дальнем, у стены. Так бы я на нее и не обратил внимания, но однажды во время урока по стене поползла тараканиха...

— Откуда вы узнали, что именно тараканиха? — перебила Элата.

— Так она беременная была! Беременную тараканиху сразу видно: у нее живот не снизу, а сзади выпирает. Таракан и так длинный, а тут еще сзади такой прицеп. И ползет медленнее: потомство боится растрясти — на заднем сиденье всегда сильнее укачивает. Вот увидела ее Ангелина — и как заверещит!..

Христофоров помолчал, вспоминая.

— Просто нечеловеческий раздается визг. Поначалу никто даже не понял, что визжит Ангелина. Думали, опять учебную боевую тревогу объявили. Ангелина вскочила и будто перелетела через разделяющий нас ряд. Не знаю, как так вышло, но свалила она меня, и грохнулись мы вдвоем на пол. А когда разобрались в чем дело, уже не до урока было: парни хохочут, девочки Ангелину успокаивают, а тараканиха к стене прилипла. Видать, и ее оглушил этот визг. Учительница кричит: «Не давите, пятно на побелке останется!» Усадила всех кое-как, одна Ангелина к стенке с тараканами возвращаться не хочет и просится подальше от нее — в ряд у окна. Как будто у окна тараканов нет. Там же батарея, им раздолье, греться можно! Учительница любила Ангелину, ее все учителя любили, и усадила ее на место в нашем ряду — возле меня. Девочек в классе меньше, несколько парней по двое сидели, я в их числе. Ох, и гордились же мы своим холостяцким положением! И вдруг из-за какой-то тараканихи все кончается: моего соседа по парте отсаживают к стенке, а мне достается эта голосистая дюймовочка. Но горевал я зря, вскоре понял свое счастье. Она отличницей была, пару дней побрыкалась, подулась, а потом взяла надо мной шефство, чтобы наша парта в отстающих не числилась. Собственно, благодаря ей я и учиться лучше начал. Поначалу списывал, потом вник, выбился в хорошисты, понравилось, а там и до отличника недалеко. Вот так, можно сказать, тараканихе обязан я тем, что сижу сейчас здесь перед тобой.

— А дальше что было?

— Так вроде и все. На дни рождения друг к другу ходили. Чебурашку вот мне подарила. Потом в старших классах парни и девчонки быстро вымахали: кто в рост, а кто и вширь, — Христофоров похлопал себя по бокам. — Одна Ангелина подросла совсем немного. Все такой же была худенькой, будто прозрачной. Родители часто отправляли ее подлечиться в санаторий, но она не отставала в учебе, брала с собой задания и оставалась отличницей. Мы тогда не знали, что санаторий на самом деле был больницей, где она проходила курсы химиотерапии: еще в начальной школе ей поставили лейкемию. Она не хотела, чтобы ребята ее жалели, а учителя делали поблажки, хотя они, конечно, знали... Мы окончили школу, поступили кто куда, многие разъехались. Она тоже куда-то поступила на заочное. Однажды приехал на каникулы и узнал, что Ангелина умерла. Я только потом понял: есть люди, как будто несовместимые с жизнью, это сразу чувствуется, хотя и не осознается. Это была первая

смерть в нашем классе, а теперь их уже много, хотя иногда кажется, будто вчера только последний звонок отзвенел. Понимаешь ты, как жизнь ценить надо? Тот, кто болеет, за каждый день жизни борется...

— За жизнь борется тот, кто спасает тело. Борется с болезнью, которая мешает телу, — быстро сказала Элата. — А если болит душа? Тогда человек борется с тем, что мешает душе: с телом.

— Ты слишком умна. От ума, как известно, только горе. А у маленьких девочек еще и логические ошибки, которые приводят их к глупым поступкам. Которые, в свою очередь, приводят их в неподходящие для умных девочек места, вроде этого. Что-то я расчувствовался, понарасказал о себе... Теперь твоя очередь. Расскажи мне тоже о своем детстве. Вот у тебя был мальчик, который тебе нравился?

Она мотнула головой и сменила тему.

— Про тараканиху вы правильно сказали. Есть джипы, похожие на беременных тараканих. Крытые пикапы. Видели? С удлинённым задом. У моей мамы такой. Все время думала, кого он мне напоминает... Точно — тараканиху!

— А ты видела настоящих тараканов?

— Видела. Они противные, но безобидные. Клопы хуже. Их не видно, а утром все тело чешется. Если они живут под обоями, можно поставить ножки кровати в кастрюльки с водой и отодвинуть ее от стены. Тогда им не забраться, они плавать не умеют. А если уж они в кровати под матрасом поселились, то ничего не поможет. Хуже всего, если это диван. Его уже только выбросить, потому что они гнезда под обивкой устраивают.

— Откуда у тебя такие познания? — удивился Христофоров.

— Из квартиры старой, где мы жили, когда я маленькой была.

— Клопы в моем детстве дома терроризировали. Но чтобы до сих пор — такого я не слышал, — признался он.

— К нам они от соседки пришли, ей диван старый кто-то отдал с клопами. Мама травила их, но они не умирали. Дядя Толя очень ругался и даже давил их на стене. Мама ругалась на него, когда утром видела пятна на обоях. Когда мы переезжали, все вещи оставили, а мои учебники мама перетряхивала.

— Дядя Толя — это кто?

— Мамин друг.

— Понятно. Клопов он справедливо не любил. А к тебе как относился?

— Хорошо. Но на новую квартиру мы его все равно с собой не взяли.

— Оставили на растерзание клопам?

— Об этом я не думала, — хихикнула она. — Очень может быть, потому что больше я его не видела, хотя, кажется, он любил маму, но у мамы уже появился Игорь, мой отчим.

— А Игорь как к тебе относится, не обижает?

— Никак не относится, он все время работает.

— Мама тоже работает?

— Да вы что? — удивилась она. — Мама по магазинам ходит.

— Со своим родным отцом общаешься?

— Нет, — Элата отвела глаза.

— Ну а с парнями в школе дружишь? Кто-то нравится? Мне сказать можно, врач — друг человека. Мои архаровцы без ума от тебя. Даже стихи сочинили.

— Откуда вы знаете?

— Мне по должности положено все обо всех тут знать, работа такая. А если честно — наступали.

— Они не сочинили, а списали. Вот... — она вытащила из кармана свернутую записку и положила на стол. — Детский сад.

Христофоров расправил записку и пробежал ее глазами.

— Лучше солнца русской поэзии все равно не скажешь. Вон как пацаны трудились, даже книгу у Шнырькова выманили...

* * *

Телефон зазвонил, когда Христофоров вышел из метро и заскользил в сторону дома, стараясь не отрывать ног от земли и сохранять равновесие, как конькобежец.

— Две новости: плохая и хорошая, — сообщила Маргарита. — Хорошая — все именно так, как вы сказали: дневной сон заканчивается кошмаром. Плохая — тут шаром покати, блины съедены, второй пункт рекомендаций невыполним, подкрепиться нечем.

— Предлагаю совершить ответный визит, заодно и подкрепиться, — радостно сказал Христофоров, потому что, признаться, последние два часа его мучила мысль, что она не позвонит.

Мать вышла из своей комнаты заспанная. В последнее время она все чаще кемарила днем, а ночью бодрствовала: ходила по квартире до рассвета, гремела посудой на кухне. Колобродила, как перепутавший день с ночью младенец.

В холодильнике стояли борщ, рыба по-польски и картофельное пюре. С тех пор как мать сдала, по вечерам, когда не было дежурств, он готовил сам и, надо сказать, изрядно поднаторел. Делал для матери пюре на молоке и котлеты на пару, как когда-то готовила для него она.

Христофоров налил воду в кастрюлю и разом утопил в ней десяток яиц: из пяти штук вынет желток, половинки нафарширует грибной икрой, остальное, включая желтки, покрошит в салат с зеленым горошком и приправит майонезом.

— Гости сейчас придут, — сообщил матери. — Чаю хочешь?

Ничего не ответила. Все-таки принес ей в комнату чай, поставил на тумбочку. Сел на край кровати. Мать опасливо отодвинулась и поджала ноги. Он поймал себя на мучительном дежавю: точно так отодвигались и поджимали ноги его пациенты, чаще новенькие, не вполне ему доверявшие.

Время для матери теперь измерялось как-то иначе. Ночью, когда она бодрствовала, он спал. Днем, когда она спала, он работал. Отсутствие сына растянулось в вечность: она знала, что он у нее есть, но уже не помнила, что есть он у нее сейчас, что он где-то рядом и скоро вернется домой. Когда на пороге появлялся толстый бородастый мужик и вел себя в квартире по-хозяйски, как ее сын, она, конечно, присматривалась: не обман ли это. Ведь сын в ее вечности был маленьким: подростком, дошколенком, а то и вовсе свертком, которому угрожала смертельная опасность.

Помня сына ребенком, она и готовила ему детское: то пюре на молоке, то котлетки на пару — они всегда стояли наготове в холодильнике, только разогрей, когда придет из школы. Потом проверяла в узелке свои документы, клала сухой паек в дорогу и собиралась ехать спасать сына, но не уезжала, потому что не могла вспомнить, куда ехать и от кого спасать.

К приходящему в дом мужику она тоже быстро привыкала, потому что был он вроде как знаком: голосом, глазами и вечным хлопаньем дверцей холодильника. Он говорил ей «мама» и предлагал пюре с котлетами, а она соглашалась: может, и правда мама, совсем уж старая стала, все запомнила. Наверное, вырос. Гляди, точно, похож.

Так повторялось каждый день, кроме тех, когда он уходил дежурить на сутки.

— Скоро Новый год отмечать будем, — сообщил Христофоров. — Завтра с антресолей елку вытащу. В твоей комнате поставим. Верхушка в прошлый раз отвалилась, я ее выкинул. Ничего, звезду как-нибудь приладим. Сама наряжать будешь или вместе?

Мать слушала и кивала, заново привыкая к новому облику своего маленького

сына. В своем мире она уже свыклась с такими метаморфозами и, наверное, не удивилась бы, узнав, что сына у нее два.

Только сейчас в полумраке комнаты Христофоров заметил на тумбочке кота, сплетенного Златой на занятиях по макраме.

— Понравился тебе котяра? — спросил мать. — На Тимофея нашего похож, правда? Если в прихожей мешается, оставь у себя. Найди ему подходящее место.

Она погладила кота и улыбнулась: повесит у сына над диваном. Небось, опять девчонка какая-нибудь из школы на день рождения притащила.

* * *

Маргарита пришла, когда закипал борщ.

«Точность — вежливость королей», — хотел поприветствовать Христофоров, но увидев ненакрашенное лицо гостьи, воздержался. Со вчерашнего дня от нее осталась словно половина величественной Маргариты, и, надо сказать, эта половина почему-то нравилась ему гораздо больше, чем Маргарита целиком.

Вот ведь даже в поздравлениях ее ежегодных он чувствовал подвох: не искренность, а шефскую женскую помощь отстающим. Знал он таких. Им только дай возможность опекать — не успеешь оглянуться, как допекут.

— Приветствую, — буркнул Христофоров и занялся долгими поисками тапок.

Отсутствие запасных тапок означает отсутствие гостей в доме. Наверное, Маргарита это поняла и оценила предоставленный ей уровень доступа. Нашел заскорузлые, отцовские, попытался всунуть в них ногу, а свои отдал ей. Она замахала руками, он — предложенными тапками: нет-нет, пол холодный. Так, отмахиваясь друг от друга, прошли на кухню.

— Горчицы или хрена к супу? У нас тут есть настоящий вырвиглаз, «Хреновина» называется. Вот сегодня узнал, что эти названия придумывают копирайтеры. У меня один такой лежит. Ох, хорошим специалистом, чувствую, будет.

Он достал стеклянную банку из холодильника и густо намазал хрен на черный хлеб.

— Ну?

Маргарита откусила и зажмурила глаза.

— Профилактика простудных заболеваний, — одобрил Христофоров и подвинул к ней банку. — Как вы думаете, почему киты выбрасываются на берег? Пишут, что каждый год около двух тысяч особей заканчивает жизнь на суше. Массовое явление.

— Не знаю, — пожала она плечами.

— Вот и ученые не знают, — вздохнул Христофоров. — Не могут прийти к единому мнению. Одни винят шумовое загрязнение океана: двигатели подводных лодок, гидролокаторы, военные испытания; дескать, от этих звуков киты теряют слух и движутся к берегу по ошибке. Вторые грешат на сбой магнитных полей Земли и вспышки на Солнце, искажающие магнитные линии, по которым следуют киты. Третьи уверены, что дело в изменении климата: холодное течение вынуждает китов плыть на мелководье, чтобы согреться. Ну а кто-то трактует самоубийства китов как психологическое явление. Киты и дельфины — социальные млекопитающие, то есть подвержены сильному влиянию вожака. Если вожак теряет ориентацию в пространстве и выводит стаю на мелководье, то животные, несмотря на смертельную опасность, все равно продолжают следовать за ним. В отношении китов даже была выдвинута теория социальной сплоченности: если один кит попадает в обстоятельства, вынуждающие его выброситься на берег, то остальные якобы следуют за ним и тоже выбрасываются.

— Откуда такие знания? Вы решили стать зоологом?

— Нет, работаю над повышением квалификации. Оказалось не лишним.

— Но при чем тут киты?

— Вот именно... Киты ни при чем. Просто связующее звено. Про китов я впервые

услышал от своего пациента, неудавшегося суицидника. Потом увидел картинку с китами в интернете на странице Златы. Выписал имена всех поступавших ко мне в отделение после попыток покончить с собой за последний год. Нашел их страницы в социальной сети. Больше половины состояли в одних и тех же компаниях по интересам. А интерес у них один: не преодолевать, а развивать и углублять подростковую депрессию. Мальчики сравнивают себя с китами, девочки — с бабочками. Подмену понятий не видят. Для них выбросившийся на берег кит — не большое животное, утратившее ориентацию в пространстве, не жертва природной аномалии, не ошибка природы, а сделавшее свободный выбор существо. Знаете, что я прочитал? Киты выбрасываются на берег от отчаяния, потому как никто в мире не понимает их, таких гордых и одиноких! Какие-то твари придумали этот бред и множат его в геометрической прогрессии. Пока я воюю с «собачьим кайфом», с тыла подошла другая угроза — и, похоже, гораздо более опасная.

— Вы хотите сказать, что в детских суицидах виноваты анонимы из интернета?

— Нет, — вздохнул Христофоров. — Нам ли с вами не знать: во всем, что происходит с детьми, чаще всего виноваты родители. Если ребенок готов последовать за воображаемым китом, значит, он нашел вожака в другом месте. В интернете, в подворотне, в дурной компании. Но своих детей я этим тварям не отдам.

* * *

Снегопад пришел внезапно и тихо, как и положено приходить тем, кого долго ждут. Первым его увидел кот Тимофей, сидевший по обыкновению на приколоченной к оконной раме узкой полке-жердочке. Тимофей не мигая смотрел на белых мух, которые медленно падали с неба, как будто живущие на нем тысячи котов прибили этих мух лапами и теперь, играясь, спускали их на ниточках. Он завидовал тем котам, но не покушался на их добычу, отлично соизмеряя стереоскопическим кошачьим зрением расстояние между наблюдательным пунктом и белыми мухами. А те все падали, падали и постепенно ублажали Тимофея так, что он прикрыл глаза и сам чуть не упал на пол. Все-таки полка стала для него катастрофически узка. Он спрыгнул и отправился на кухню, где ворковали два гостя. Один бывал в доме часто и даже, вероятно, проживал здесь, пользуясь добротой старушки-хозяйки. Завалившись на диван в комнате, где был устроен наблюдательный пункт Тимофея, гость храпел всю ночь, а утром исчезал на сутки, да еще, бывало, прихватывал с собой еду из большого белого ящика, где хранились рыба и молоко Тимофея. Вот ведь неблагодарная скотина — хорошо хоть на молоко и рыбу ни разу не покусился. Кстати, бывало, что этот подлец не гнушался поддать Тимофею под зад, когда тому доводилось немного пошуметь. Словом, распоряжался комнатой Тимофея как своей, пользуясь самоприсвоенным правом человечества командовать котами. Теперь к этому самоуправцу прибавилась еще одна гостя, которая очень плохо пахла: резко, отталкивающе, не по-человечьи, как не пахли ни старушка, ни ее квартирант. На кухне Тимофей важно проследовал к своему блюдцу и не спеша вылакал все молоко — шестой или седьмой раз за день. В последнее время старушка была щедра и все время подливала ему в пустое блюдо, как будто забывая, что только что оно было полным. Тимофей не хотел расстраивать хозяйку и не возражал, вылизывая блюдо снова и снова.

Снегопад принес с собой тишину. Она угадывалась даже через двойную раму больничного окна, у которого стояла Элата. Снег успокаивал и создавал то самое уединение, которого ей так не хватало. Он приходил извне и укрывал весь видимый глазу мир. И не такой уж маленький, этот мир превращался в нору. Со снегом могли тягаться только густой туман и проливной дождь, стоящий шумной стеной. В эту нору она не пустила бы никого, а особенно любовников матери и новоявленного отца, который пытался задобрить ее подарками. Свою мать Элата жалела, хоть и считала продажной леопардовой шкурой. Эта жалость для нее была мучительна и сладка

одновременно. Она восходила к самой первой остро испытанной жалости к джунгарскому хомячку, который когда-то жил у нее. Хомку принесла соседка по «малосемейке»: девочка не стала топить очередной приплод в унитазе, как это обычно делали родители. По вечерам Хомка вставал на задние лапы и исполнял ритуальный танец узника, беззвучно скребя лапами по скользким стенкам и без усталости наматывая круги по загаженному дну пятилитровой стеклянной банки. Ему было тесно, а клетку мать обещала, но не покупала. Чтобы разорванные на мелкие кусочки газеты дольше оставались чистыми, Злата (тогда еще Злата) научилась ускорять финальный этап пищеварения Хомки по своему усмотрению. Играя с юрким меховым тельцем, однажды нащупала еще не вышедшие кругляши и слегка надавила пальцем рядом с хвостом Хомки. Выдавливать сухие кругляши из хомяка оказалось почти так же приятно, как лопать воздушные пузырьки на полиэтиленовой упаковочной пленке. Хомка не мог возразить, только энергичнее дрыгал лапами. Жалея стесненного в жилплощади хомяка, она каждый день мыла банку, избавляла его кишечник от содержимого, как тубик, и иногда выпускала побегать по комнате, а потом часами сидела в засаде, пытаясь выманить из-за шкафа. Одно из таких путешествий оказалось для Хомки последним. Он застрял в трубе пылесоса и задохнулся. Хомку положили в коробку, перевязали ее бечевкой и выкинули в мусоропровод. Злата убивалась по Хомке как по человеку, даже больше — любимому человеку. Мучилась чувством вины, которое всегда преследует вслед за безвозвратной потерей близкого, когда разум осознает то, что душа не может принять: ты для него уже ничего не сделаешь, никогда. Не возьмешь назад сказанные слова, не исправишь свои поступки, не объяснишь, как он тебе дорог, и все нанесенные мелкие и большие обиды, без которых не обойтись в жизни, навсегда останутся на твоей совести. Перед лицом вечности всегда есть в чем себя упрекнуть, и не так уж важно, кто ушел в нее: человек или хомяк. Одна и та же дверь в небытие за всеми захлопывается одинаково. Через несколько дней соседская питомица понесла очередной приплод, и Злате с радостью отдали одного из малышей. Мать сразу купила ему клетку, и Злата занялась воспитанием нового питомца с учетом всех совершённых прежде педагогических и организационных просчетов. Томка прожил у нее долго и умер уже на новой квартире, у отчима, простудившись на сквозняке, тянувшем от неуютных панорамных окон. Так она потеряла своего единственного друга.

Снегопад пришел вовремя и превратил отрыжку осени — серый слякотный московский недозимок — в правильное время года, каким его рисуют в учебниках. В том, что настоящий снегопад придет, Омен не сомневался, но ждать пришлось дольше, чем он рассчитывал. У него дома, когда еще жили с мамкой, к этому времени снег во дворах разгребали лопатами. Правда, в их дворе никогда не чистили, мать с бабкой просто прокладывали две тропинки: до калитки и до нужника. Брат и он ходили по ним, как по коридорам, а однажды, в последнюю зиму, когда намело выше голов, даже выдолбили пещеру в слежавшейся белой тверди и прятались в ней, когда дома быстро разгорались и долго тлели скандалы. Однажды вечером мимо их пещеры проплелись бабкины валенки. Они с братом хихикали: наверное, бабка пошла к калитке искать их. Потом устали играть в прятки, замерзли и пошли в дом, рассудив, что раз бабка ушла — скандал закончился. Мать спала, завернувшись в тряпки, поперек общей кровати. Они хотели сдвинуть ее к стене, но знали, что если разбудят — несдобровать, поэтому улеглись на полу, стянув с кровати ненужное матери одеяло. Бабку они больше не видели, наверное, ее забрали в вытрезвитель или увезли в больницу. Затем увезли и мать — на машине с красивым синим фонарем. Пока машину заводили, пока разгоняли толпившихся соседей, Ванечка смотрел в маленькое окошко с решеткой. С утра мамка не успела выпить и значит, вполне могла вспомнить про него и помахать рукой, отправляясь в путешествие на край земли, который начинался где-то за их деревней. Она не выглянула, не помахала. Потом

приехала другая машина — за ними. Ванечка думал, что их везут к мамке, но их привезли в дом, где жили какие-то очень важные дети — у каждого была своя кровать.

По дороге Ванечка понял, как велик мир. Сколько в нем деревьев, домов и людей. Как разыскать среди них мать, он не знал, только все время вспоминал: вот она гладит его по голове, вот отвешивает подзатыльник, вот замирает и прижимает к себе. Дома он побаивался ее, сторонился, чтобы не попасть под горячую руку, старался быть незаметным: много не говорить, ничего не просить, вообще поменьше существовать. Мать исчезла из его жизни, когда он уже почти приноровился, почти научился правильно жить с ней, чтобы не доставлять хлопот и огорчений. По утрам, когда мамка еще спала, он садился рядом и любовался ею: она была красивая и добрая, просто сама об этом не догадывалась. Он даже сочинил историю о том, что на самом деле их мамка — принцесса, похищенная злой феей из своего королевства, лишенная памяти и коварно оставленная в Больших Березняках пить отравленное зелье и рожать детей. Ванечка внимательно присматривался к заходившим к матери мужикам: кто из них может оказаться принцем, который расколдует принцессу? Но, видимо, фея хорошо заметала следы или принц шел пешком издалека. Сочиненная история так ему понравилась, что он, прокручивая ее в уме так и этак, постепенно уверился в ее истинности, ведь ничто не могло ее опровергнуть. Мамка была еще молодая и еще красивая, особенно по утрам, пока не примет зелья. И бабка сверлила ее, как мачеха Золушку. История матери и выросла из растрепанной книжки про Золушку — единственной прочитанной ему сказки. В детском доме, лежа в собственной отдельной кровати, он тосковал даже по подзатыльникам. Его с братом тогда часто спрашивали о матери, задавали совсем непонятные вопросы о бабке и задерживавшихся в доме не-принцах. Ванечка чувствовал подвох и пускал в ход все свои навыки: замирал, глядел в пустоту, вежливо улыбался. Тетки и дядьки видели перед собой сидящего на стуле мальчика и пытались разговорить его, но ничего не получалось, потому что мальчик переставал существовать. Перед ними стоял пустой стул с мальчиком-невидимкой.

Повзрослев, уже живя у опекуны, Ванечка понял, что принцессу не похитили злые силы, а посадили в тюрьму правосудие — за особо тяжкое преступление. Догадался по обрывкам фраз, а окончательно уверился, когда нашел у опекуны конверт с обратным адресом женской колонии. Письма в конверте не оказалось, и о чем писала мать, он не узнал. Говорить о матери в новой семье было не принято: старший брат и опекунша старательно делали вид, что ее не существовало, сестра и вовсе не помнила. Ванечка тоже делал вид, будто мамки не существовало, чтобы отвести от себя подозрения в том, что давно задумал сбежать и найти ее. В школе на уроках географии он окончательно понял, как велик мир. Несмотря на слабый трояк по предмету он отыскал на карте город из адреса на конверте. Ничто не мешало ему сбежать из дома в любой день: он знал, где опекунша держала деньги, где находится железнодорожный вокзал и как называется станция назначения. Для начала надо пробраться в товарный вагон или просто сесть в пригородный поезд, затеряться в большом мире, чтобы попасть в пункт Б из пункта А. Но с исполнением замысла Ванечка не спешил, потому что не придумал, как вести себя в пункте Б, которого он непременно достигнет. Он знал, как обойтись со всем миром, но не знал, как вести себя с матерью. Пока туман над будущим в его голове не развеялся, он занялся исследованием разных граней зла, упражняясь в выдумке и совершенствуя хладнокровие, которого ему и так было не занимать. Хомячков, затем кошек было сладостно жаль, и это чувство будоражило, было родственно жалости к мамке, уходило корнями к чему-то полузабытому, детскому. Он и сестренку стал придушивать, чтобы острее почувствовать эту возбуждающую жалость, ставшую для него альтер эго любви.

* * *

До утра небесная мельница без устали молола муку и сыпала ею землю, а ветер буйствовал так, что вместо сугробов намело настоящие снежные барханы. Христофоров лежал на спине, заложив руку за голову, и размышлял, на какой бок ему повернуться: на левый — к коврику, показывавшему в последнее время исключительно округлые формы Маргариты, или на правый — непосредственно к самим формам.

Известные ему службы такси с вечера выдавали задержки. Маргарита тоже звонила по известным ей номерам, но и те будто сговорились. Она категорически отказывалась задерживаться и стесняться, он так же категорически не мог отпустить даму в медленный путь к центру. Так и не признавшись друг другу, что она не хочет уезжать, а он — отпускать, долго ругали весь столичный таксопарк, а заодно дорожные службы, президента и синоптиков.

Быть джентльменом оказалось приятно. Христофоров извлек из чулана старую раскладушку и предъявил ее Маргарите в подтверждение серьезности намерений и того, что он всегда рад приютить гостей, стесненных тяжелыми погодными условиями в виде аномально снегопада. Он постелил белую простыню, взбил подушку и приготовился быть джентльменом до утра, но получилось только до середины ночи.

Проснулся от взволнованного шепота Маргариты:

— Вы целы?

Еще не придя в себя спросонья, понял, что выглядит неподобающим образом: старушка-раскладушка предательски подломилась, и теперь на ней по-джентльменски возлежала лишь верхняя часть его туловища, ноги по-походному — на полу. На животе лежал Тимофей, не пожелавший разделить ложе с Маргаритой. Остаться до утра в таком плачевном виде она ему не позволила, а препираться посреди ночи было совсем уж смешно. Он беспрестанно перебрался со своим одеялом к стенке и замер на своей половине дивана.

Спать вдвоем оказалось очень сложно, потому что даже под разными одеялами невозможно было остаться наедине с собой. Например, если Маргарита повернется на левый бок, к нему лицом, а он уже лежит на правом, и что же, они будут лежать и смотреть друг на друга, как два укутанных пупсика в детской коляске? А сразу отвернуться от нее на левый бок тоже неудобно, получается, будто она ему неприятна и он видеть ее не хочет. Безопаснее всего было лежать на спине, но спину он уже отлежал. Затем отлежал левый бок, уткнувшись носом в ковер. Осторожно повернулся на правый и приоткрыл один глаз, чтобы оценить обстановку. Маргарита лежала на спине, а на голове у нее мерно вздымалась рыжая шапка.

— Сволочь, — пробормотал Христофоров и приподнялся на локте.

Покинув руины раскладушки, негодующий Тимофей восстановил помятые права и утвердился в роли хозяина комнаты и дивана безоговорочным способом — улегшись гостью на голову. Так в борьбе за парковочные места одни автолюбители демонстративно преграждают выезд другим, чтобы заявить всему миру о своем праве на захваченную чужаком территорию.

Тимофей спал или делал вид, что спит, но мириться с таким посягательством кота на свое гостеприимство Христофоров не собирался. Маргарита тоже спала или притворялась. Он придвинулся, изловчился и одним ловким тычком спихнул Тимофея с подушки.

Маргарита все-таки притворялась, потому что сразу открыла глаза и повернулась на левый бок, к Христофорову. Тимофей возмущенно зашипел под диваном.

— Я тебе покажу, скотина! — пообещал Христофоров коту и лег на спину, сцепив руки на животе.

Маргарита молчала — наверное, опять притворялась. Но теперь он знал, что она не спит, а она знала, что не спит он. Христофоров чувствовал себя гротескным

литературным персонажем, который никак не может решиться на то, чего ждут от него читатели, автор, а возможно, и сама Маргарита. С другой стороны, вполне вероятно, что они давно махнули на него рукой и уже ничего не ждут.

Мысли о литературе немного успокоили Христофорова. Он представил себя героем романа — конечно, не любовного, а скажем, производственного. Не то чтобы очень увлекательного, но и не совсем занудного. Немножко с юмором, как он любит.

И вот есть в этом романе Христофоров, и есть Маргарита, которые долго могут ходить друг к другу в гости, как в той сказке журавль и цапля, жившие на разных концах болота. Но представим, что однажды пошел дождь, и цапля осталась у журавля переночевать. Это же совсем не значит, что на утро они, наконец, поженятся. И вообще ничего не значит, ибо положено им так и ходить туда-сюда с неудачным сватовством. Вот так и он с Маргаритой оказался в одной постели по воле упертого автора, который во что бы то ни стало хочет устроить судьбу героев. Только ведь у них своя правда — не могут они кидаться друг другу в объятия для удовлетворения авторской воли и увеселения читателей. Не могут и не будут, потому что роман совсем про другое.

Про что именно «другое», Христофоров не додумал, потому что Маргарита перестала притворяться и засопела. Ему немедленно полегчало, и, с чистой совестью отвернувшись к стене, он еще некоторое время приглядывался к узорам на ковре, показывавшим ему безопасные Маргаритины формы, а потом все же провалился в сон без сновидений.

Когда сны не снятся, то как будто вовсе не спишь, и ночи как не бывало. Он открыл глаза и разом объял разумом последние реалии минувшего вечера: снегопад, сломанная раскладушка, общая постель. Хотел повернуться на спину, но понял, что подперт спящей Маргаритой. Представил, что сделал бы на его месте литературный герой любовного романа. Прислушался к себе: вроде, можно, но не гарантированно. Это в книге автор не будет позорить своего героя: стер буковки и переписал набело, будто ничего и не было, а в жизни мужчины за пятьдесят подобные пируэты — русская рулетка. А что бы сделал герой романа производственного?

Осторожно, но настойчиво Христофоров всем корпусом попытался подвинуть Маргариту. Она вздохнула и подалась. Только он лег на спину, потирая сильно затекшую бочину, как Маргарита еще раз вздохнула во сне, повернулась и положила голову ему на плечо.

Христофоров замер и стал вспоминать просмотренные порнушки, но они никак не вязались ни с любовным романом, ни тем паче с производственным. На героя порнографического романа он не тянул и в лучшие годы.

Маргарита была теплой и ароматной, отодвигаться — некуда. Почему порно-ролики так далеки от жизни? В них все просто, и само собой разумеется, что задуманное само собой получается.

По сути, порнуха ближе к производственному роману, нежели к любовному: двое, трое или четверо коллег по цеху неумоимо трудятся и даже охи-вздохи у них всегда по делу, а не ради сюсюканья. И если представить, что он ближе к герою производственного романа, а отнюдь не любовного, а коллега Маргарита по доброй воле оказалась рядом... И уж если вдруг русская рулетка, то ведь можно сделать вид, что джентльмен просто пошутил и вовсе не имел в виду...

Он еще полежал и принял единственно верное решение, достойное героя производственного романа: осторожно высвободив плечо, медленно, чтобы не разбудить гостью, двинулся к спасительному выходу. По утрам гостеприимные джентльмены готовят дамам завтрак — железный аргумент.

Грациозно и бесшумно спустившись с дивана, он уже протянул руку к двери — и наступил на торчавший хвост Тимофея, изгнанного с дивана и почивавшего под ним, на всякий случай поближе к выходу.

— Вввяуу! — возопил Тимофей, подпрыгнул и ударился головой о днище.

Христофоров бухнулся обратно на диван, ошалело глядя на клок шерсти у себя под ногой.

— Вы опять животное мучаете? — неожиданно несонным голосом спросила его Маргарита.

Она села рядом и посмотрела на внушительных размеров клок.

— Это он линяет у вас...

Тимофея не было видно, но из дальнего угла под диваном раздавалось яростное шипение.

— Завтракать? — преувеличенно бодро сказал Христофоров, постаравшись сгладить вопросительную нотку и превратить вопрос в утверждение.

— Конечно, — ответила Маргарита.

* * *

Любовь без взаимности — как поездка к морю в неудачную погоду. Смакуя будущий отдых, тщательно и придирчиво собираешь чемодан. Долго и нудно на поезде или быстро и волнительно самолетом приближаешься к заветному месту.

Наконец все изнывающие от жары попутчики и ты сам, мокрый и липкий, сладострастно прильнули к стеклу — вот оно, синее-синее море! Поезд мчится, не снижая хода. Все шире и ближе сверкающая водная гладь. Уже жмуришь глаза и с разбегу в ореоле брызг погружаешься в прохладную воду — мысленно. Однако позвольте, почему все стоят руки в боки и никто не купается?

«Позавчера штормило, холодное течение пришло, — обязательно скажет кто-нибудь знающий. — Ничего, в июне бывает, через пару дней наладится».

Море в иллюминаторе воспринимаешь со сдержанными чувствами. Но минут двадцать — и салон самолета взорвется аплодисментами, переполнит сердце гордость за пилотов, радость за себя и предвкушение грядущего погружения в ореоле брызг, потому что ждущие у моря погоды с неба не видны.

«Позавчера шторм холодное течение принес, — сообщит таксист по дороге. — Наладится...»

Ты ему еще не веришь, но уже через два часа, бодрой походкой подойдя к кромке воды, остановишься в раздумье, похлопывая себя по бокам.

Каждый день будешь ходить на пляж, расстилать полотенце, с робкой надеждой трогать кончиками пальцев воду. Вспомнив про моржей, может, и окунешься: наберешь в легкие побольше воздуха, как в прорубь на раз-два-три, и — бегом греться.

Через две недели погода наладится, но отпуск будет закончен и купаться уже не захочется. Привык любить море на расстоянии. Без разбега и ореола брызг. За то, как оно красиво и в непогоду. За то, что оно есть. Можно гулять по набережной и дышать воздухом. Можно вовсе не ездить к морю — не у всех получается. Репродукция Айвазовского на стене, морские дали на «рабочем столе» компьютера — и люби море на расстоянии, тем паче что большое только с него и видится. Да и фотографии не нужны: настоящая любовь живет в сердце.

Зоркое сердце знает, как горька безответная любовь, и поэтому, пока разум страдает, оно тихой сапой перенастраивает любовный перископ на свой лад. Какая бы преграда ни стояла между вами, хитрая оптика ее не замечает и держит объект в пределах видимости, не приближая, но и не отдаляя. Он всегда есть, правда, без разбега и ореола брызг, так ведь и не всем прибывшим на курорт везет с погодой. Он предсказуем в своем равнодушии и отстраненности и оттого безопасен: ничего не обещает — значит, не обманывает, ничего не дает — значит, ничего не лишает.

— Зачем такой нужен? — в сотый раз спросит подруга, а потом уж просто зевнет, не утруждаясь вопросом, на которые есть сто вариантов ответов, но на самом деле — один.

На фигу древние люди тесали каменных идолов, а потом всю жизнь плясали вокруг них, заискивали, благоговейно ползали вокруг на брюхе и тащили к подножию самые лакомые куски мяса, а то и соплеменников? Нет, ну вот зачем?

И вдруг однажды каменный истукан оживает — не всем так везет, не все дожидаются. Того, кому посчастливилось, ждут открытия.

Оказывается, в перископе давно надо было протереть линзы. За толстым слоем пыли и не разглядеть было все эти годы, что герой не твоего романа потерт, как любимые вельветовые штаны: каким бы добротным ни был материал, вон уж и плешь виднеется, и заломы глубоких морщин.

То, о чем с придыханием думалось в юности, оборачивается сущим мучением: теснотой и скрипом общей постели, неловкостью и надуманностью поз, недосыпом, досадным урчанием лежащих рядом животов — ешь на ночь или не ешь, все равно предательски запоют свою песню, и обязательно на разные лады. Закрываешь глаза и внутренним взором угадываешь тщательно хранимый в памяти нимб над его головой, а в нос шибает душный запах подмышечного пота. Становясь любовником, герой падает с пьедестала, ибо ипостась героя-любовника не предполагает «большого на расстоянии».

Так или примерно так думала Маргарита, пока Христофоров варил кофе и реанимировал вчерашний салат с яйцом, от которого она собиралась тактично отказаться. Она уже почти сложила в уме максимально необходимую фразу, но закончить ее помешал грохот.

Подумали они об одном и том же, потому что через секунду, не сговариваясь, заглядывали в комнату матери.

— Слава Богу, — выдохнула Маргарита и оглянулась, чтобы прикрыть дверь и не будить старушку. Двери на положенном месте не оказалось. Чтобы не жаловаться на тесноту, Христофоров пояснил:

— Снял, чтобы случайно не захлопнулась.

Источник шума обнаружился в его комнате. Остов раскладушки рухнул окончательно при попытке Тимофея использовать его как трамплин на пути к любимой перекладине. Кот притаился под занавеской возле батареи и шипел, будучи уверен, что западня была расставлена умышленно и для него персонально.

— Ваши? — Маргарита взвешивала на ладони прозрачный пакет с лекарствами и, поворачивая его в разные стороны, читала названия.

Христофоров мгновенно расвирепел: стоит бабе появиться в доме — как тот пасюк, залезет в каждую щель, везде сунет нос. Но в ответ только буркнул:

— Это матери, мои — вот, — и показал на пакет в два раза больше, притулившийся возле монитора.

Маргарита покосилась на большой пакет. По неловкому, поспешному извинению во взгляде он без слов понял, как и почему ей его жалко, и от этой жалости, огревшей, словно вожжа, разозлился еще больше.

— Мы с вами как два магнита, сближающиеся одинаковыми полюсами. Отталкиваемся, находясь рядом. Досадная игра природы, — вздохнула она.

«Сейчас или никогда», — понял Христофоров и обреченно сел на диван. Тимофей брезгливо сузил глаза в щелки, чтобы держать под контролем происходящее при полной к нему индифферентности.

— У меня давно не было женщины, — Христофоров собрался с духом и доверительно выдал Маргарите секрет, к которому она отнеслась с должным недоверием, всем своим видом показывая, что, наверное, он, как всегда, шутит: не может быть, никогда бы не подумала.

Признавшись ей, как признаются инструктору в утраченном навыке вождения, он почувствовал облегчение, потому что теперь можно было путать газ с тормозом, сшибать пластмассовые конусы при парковке задним ходом и даже постыдноглохнуть

при попытке тронуться с места. Словом, отпустить ситуацию, как любят советовать недоврачи-психологи, тогда как настоящие врачи-психиатры знают, что отпущенная ситуация грозит никогда не вернуться обратно, и предпочитают держать все под контролем.

Однако не бывает правил без исключений, и на этот раз психологи оказались правы. Ситуация разворачивалась сама по себе, а критическая мысль Христофорова блуждала сама по себе. В конце концов, крутить руль и глядеть в зеркало способен каждый, даже если не умеет водить.

Тело прислушивалось к забытым ощущениям. Маргарита оказалась приятной на ощупь, предсказуемо округлой и какой-то словно бархатной. Таким десять лет назад было голое, еще едва покрытое шерстью брюшко маленького Тимофея: хотелось гладить и гладить. «Все-таки инстинкт размножения — базовый, и чего я так боялся?..» — думала голова.

Он уже смаковал свой реванш над мешком с таблетками, когда голова попыталась помешать телу, задав вполне справедливый вопрос: вот сейчас, когда все кончится, как друг к другу обращаться: еще на «вы» или уже на «ты»?

От этого вопроса отвлек Тимофей, которому надоело наблюдать с насеста за бесчинствами распоясавшихся гостей. Пока старушка спит, они почувствовали себя хозяевами и, похоже, теперь собирались развалить его любимый диван, на котором так сладко спалось. Стрелой слетев вниз, он очутился на диване и принялся покусывать пятки Христофорова.

«Старый развратник», — промелькнуло в голове, а затем все стало безразлично. Словно добравшийся до ровной дороги автолюбитель, он плавно переходил с одной передачи на другую, пока не добрался до последней, а потом сбросил ее в нейтралку, без тормозов примчав к финишу.

* * *

Больничная палата — как плацкартное купе в поезде дальнего следования. Выйти можно на редких остановках по расписанию, только чтобы глотнуть свежего воздуха. Вернешься — лучше бы не выходил: так тошно снова сидеть взаперти, дышать чужим и своим потом, а впереди еще ночь...

Пройдет десять минут — да вроде и ничего, опять свыкся, опять тепло и уютно в этом грязном замкнутом мире.

Попутчики успеют заинтересовать, надоест, стать родными, снова надоест, и когда говорить уже больше не о чем, молчание становится ненатужным, обоюднорасмысленным, как у прожившей много лет вместе супружеской пары. Но в мире нет поезда, который шел бы семьдесят, восемьдесят, девяносто дней подряд.

Интересно, что делали бы люди спустя два месяца пути?

Молчуны разговорились бы, болтуны приняли аскезу молчания. Одни перестали бы выходить на долгожданных остановках вовсе, чтобы не травить себя мукой возвращения в вагонный смрад, другие растворились бы в близости полустанков, каждый раз назначая конечным пунктом ближайший, случайный, со стоянкой пять минут. Лучше обнулить счет и начать жизнь заново, чем каждый день сводить счета с жизнью. Исчезновением попутчиков интересовались бы вяло, успевая забыть, кто куда едет, да и какая разница, молчать одному или в компании. Так и чередовались бы, как безымянные перроны за окном, вспыхивающие по пустякам ссоры и неожиданно возникающее после ссор приятие...

Существо и Фашист подружились на почве приставки «экс». Не без сожалений расставшись с навязчивыми идеями, они начинали духовную жизнь с чистого листа и не вполне понимали, что должно прийти на смену нестриженным ногтям и взрыву в детском доме. Ведь что-то они должны были явить миру, в который их скоро выпустят?

Лучше хорошее, потому что Христофоров прямо сказал обоим, что не пощадит своего ремня и выпорот, если увидит у себя вновь, и плевать ему на последствия.

Пока из новых дел вырисовывалось только макраме, порядком, признаться, поднадоевшее. На макраме плели узелки и пялились на женское отделение, посещавшее занятия почти в полном составе. Верховодила боевая толстуха, распоряжавшаяся даже мотками веревок.

После провала затеи с запиской Элате (ноль внимания обоим) заинтересованности своей стеснялись вдвойне, прикрывая ее, как и во все времена, хихиканьем.

Плацкартный вагон все ехал и ехал, в выходные на побывку домой — по больничному, «в отпуск» — сходили Существо и Суицидничек. Омен с интересом слушал, как там, на воле, в чужом городе. Он проникся рассказами настолько, что попросил достать ему карту Москвы: а то ведь так и уедет к себе домой, не узнав хотя бы на бумаге, в каком огромном городе довелось побывать.

Карт оказалось две: Существо распечатал из интернета, а Суицидничек попросил маму купить подробный атлас для автолюбителей на семидесяти страницах. В предпоследний понедельник уходящего года обе карты были беспрепятственно внесены в отделение: бумажная карта — не колюще-режущий предмет, а инструмент познания мира.

Распечатку Омен вложил в атлас, который не стал прятать из соображений, что видное место — самая лучшая прятка. Прошло несколько дней, атлас так и лежал на тумбочке возле кровати, успел покрыться пылью и перестал привлекать к себе внимание.

— Хочешь после выписки по Москве прогуляться? — пошутил Христофоров, заметив атлас в первый раз.

Выданная Славичем бумага для определения дальнейшей судьбы Омена лежала в сейфе. Звонок опекунше сделан.

— Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна, — талдычил Шнырь, слоняясь по коридору.

— К выходным дома будешь, — сообщил Христофоров.

Шнырь радостно кивнул. Разве могло быть иначе? Добрый мальчик из палаты №4, который тоже любил писать в тетрадке, подсказал ему учить с конца, раз не может запомнить целиком. Первая часть выучена, рассказана и может быть забыта. Дело стало за второй. Значит, скоро его выпишут.

* * *

Последний в году родительский день начался, как обычно, нервически.

Сумасшедшие мамы просили выписать своих здоровых детей, брали грехи чад и огрехи воспитания на себя и зывали к совести Христофорова: раскаялся, осознал, больше так не будет, это я во всем виновата. Какое право имеете вы, доктор, портить нам праздник, где ваша совесть?

Дальновидные мамы просили не выписывать своих сумасшедших детей и тоже зывали к совести Христофорова: начнет биться головой об пол и испортит праздник, окажется дома в незнакомой обстановке и испортит праздник, без присмотра медицинского персонала испортит праздник. Какое имеете право вы, доктор, портить нам праздник, где ваша совесть?

Совесть Христофорова угрюмо считала коробки конфет и желала и тем и другим подавиться ими. К первым мамам он еще был снисходителен: Новый год — семейный праздник. Ко вторым — непреклонен.

Каждый год, немного импровизируя, он признавался в готовности — так уж и быть — взять всех праздничных отказников домой и водить с ними хороводы у елки, только если мамы составят ему компанию. Одна даже подала на него жалобу,

обвинив в сексуальных домогательствах, но увидев истицу, надзорные органы отстали от Христофорова неожиданно быстро.

На этот раз первой всплыла мамаша Шнырькова и поразила Христофорова широко распахнутыми глазами, в которых поигрывало искреннее удивление.

— Как? — возопила она с порога. — Уже выписываете?

— Он пробыл здесь на месяц дольше, чем вы просили, — опешил Христофоров.

— Но у него нет положительной динамики!

— Какая динамика при его диагнозе? — еще больше удивился он. — Мы занимаемся поддерживающей лекарственной терапией. Мальчика надо адаптировать к жизни в социуме на доступном ему уровне, но это уже задача родителей, а не больницы, пока он живет в семье. Если вам некогда им заниматься, оформляйте в интернат. Пособие по уходу не стоит того, чтобы вы тратили свою жизнь на инвалида, который вам не нужен.

— А если у меня в сумке диктофон? — прищурилась Шнырькова.

— Поздравляю, — ухмыльнулся Христофоров. — К вам уже приходил Дед Мороз?

Провалив блицкриг, мамаша Шнырькова предсказуемо перешла к осаде, решив взять противника измором.

— Иван Сергеевич, — просительно протянула она и предупреждающе шмыгнула носом. — Миленький... Ведь вы же все понимаете. На кого мне еще надеяться, как не на вас. Пусть полежит до конца каникул. Ему тут хорошо, он уже даже не жалуется и домой не просится, как раньше.

— Он уже забыл дом-то. Память короткая. Вот вас только не забыл. Ждет, а вы не приходите. Я уж звонил вам — трубку не берете.

Шнырькова заелозила глазами по полу и, не найдя там ответа, беспомощно ساختила умильную гримасу.

— Жаловаться к заведомлению, — напутствовал Христофоров. — Пусть следующие заходят.

Потянулась вереница знакомых лиц. Конфеты он каждый год деликатно складывал в загодя освобожденную от бумаг тумбочку, чтобы вновь вошедший не расстраивался от того, что оказался не более оригинален, чем предыдущие.

Интересно, ест ли конфеты Маргарита? У нее, правда, и своих, должно быть, хватает. Можно было бы обменяться или объединить свои шоколадные капиталы. Она уже вышла на работу и сейчас занималась тем же, чем и он, — родительский день един для всей больницы.

В разгар приема ожил телефон на столе.

— С вами... — Маргарита запнулась. — С тобой хочет поговорить мать Златы. Девочка сказала, что только ты ее понимаешь. Мамаша меня тоже ни во что не ставит, я для нее пустое место. Разберешься?

Он хотел привычно рыкнуть в трубку, но вовремя спохватился и ласково пропел:

— Пусть поднимается... — Однако в следующее мгновение овечья шкура сползла набок, и он все же рыкнул: — И не забудет занять очередь!

— Хорошо, дорогой, — примирительно пропела Маргарита.

«Дорогой», — сообщил он глазами доживающей свои дни календарной Жульке.

По раздавшемуся шуму за дверями понял, что мадам без труда нашла его кабинет и теперь пытается прорваться без очереди. Накося выкуси, милочка. За своих мамаш он был спокоен: у них без очереди мышь не проскользнет. Закаленные в баталиях районных поликлиник быстро укажут свое место.

Но мамаша сплеховали. На пороге возникла растрепанная фурия, одним своим видом доказывающая, кто был источником шума.

— Присаживайтесь, — ласково кивнул Христофоров, успевший пожалеть бедную девочку: теперь ясно, почему она домой не торопится.

— Хотя я и мало участвовала в воспитании своего ребенка, — заявила она,

водрузив цветастую сумку на колени, как в трамвае, — но, между прочим, как мать имею право знать!

— Безусловно, — кивнул Христофоров. — Мы со своей стороны тоже приложили все усилия, чтобы выяснить, что происходит с вашим ребенком и вызывает разрушительные эмоции.

— Это все папаша, — она попыталась наклониться к Христофорову через стол, но помешала сумка. — Отчим, то есть. От него дурное влияние, идеи завиральные. Но между прочим, теперь я возвращаюсь в семью.

— Вы из нее уходили? Я не знал, а это очень важно, поскольку чаще всего провоцирует психологическую травму, особенно у подростков.

— Между прочим, меня еще не успели лишить родительских прав, — гордо заявила посетительница и, поставив сумку на пол, все-таки перегнулась через стол, обдав Христофорова удушающим парфюмом.

Он опешил: судя по всему, Злата была тем яблоком, которое упало от яблони на другом континенте.

— А еще, между прочим, мой дед воевал. Сапером был, ногу ему оторвало. У нас, между прочим, и медали сохранились. Так что вы мне про немцев — ни-ни! — помахала пальцем перед носом Христофорова.

— Да кто ж про немцев?..

— А кто сына моего в фашисты записал? — взвыла она. — Мне, между прочим, в детдоме все рассказали. Ну подумаешь, взорвать хотел. Его отчим тоже много чего хотел. И что? Лежит на диване тихо-мирно, а дите в психушку упеклиии...

Христофоров вновь переглянулся с Жулькой: все-таки яблоко падает непосредственно под яблоней.

— Вот что, любезная моя, — строго начал он. — Жаль, что мы не могли познакомиться раньше. У меня появилось много идей за то время, пока вы... э-э-э... изволили отсутствовать в жизни вашего сына. Его интерес к истории надо направить в мирное познавательное русло, и я готов поговорить об этом, но не сегодня, ибо разговор долгий и обстоятельный, а я опасаюсь за ваше физическое благополучие, после того как вы покинете безопасные пределы моего кабинета. Понимаете, о чем я?

Мадам поставила сумку обратно на колени и оглянулась на дверь, за которой угрожающе молчала очередь, и только кто-то совсем нетерпеливый нервически постукивал кулаком о стену.

— Жду вас сразу после окончания каникул, поскольку то, что я напишу в выписном эпикризе, может сыграть роль при решении вопроса о возвращении ребенка в семью, если вы, конечно, не утратите решимость, с которой ворвались ко мне в кабинет, и сумеете убедить в серьезности своих намерений.

Сумка решительно взмыла с колен в воздух. Христофоров опасливо покосился на нее, прикидывая, не опустится ли она ему на голову, но сумка остановилась аккуратно посреди стола. Посетительница рывком вынула из нее бутылку коньяка и с видом, не допускающим возражений, протянула Христофорову.

— Как вы думаете, он захочет меня видеть?

— Не знаю, — пожал плечами Христофоров. — Парень упертый. У меня есть лучший вариант. Купите ему подарок на Новый год, а я пока побеседую с ним, подготовлю к встрече с вами. Когда поезд давно ушел, бежать за ним по шпалам, не жалея ног, бессмысленно. Лучше сесть и обдумать, каким образом вы еще можете, пусть и с опозданием, очутиться там, куда не успели.

Он еще больше часа принимал посетителей, но заходили родители лишь его подопечных. Только когда за дверью установилась тишина, означающая, что ручеек визитеров иссяк, дверь приоткрылась.

— Можно?

На пороге стояла худенькая женщина. Вспомнилось: маленькая собака до

старости шенок. Это была именно женщина-шенок. Издалека лет двадцать, приглядишься — от тридцати до пятидесяти. В руках черная лакированная сумочка, украшенная аппликацией из разноцветных полосок вперемешку с блестящими бусинками. Красные сапожки на высоком остром каблучке. Дымчатая шубка с рукавом в три четверти.

— Мама Златы? — спросил Христофоров на всякий случай.

* * *

Похожая на печального черного пингвина кофеварка поурчала и выплюнула из утробы вторую порцию. Себе делать не стал: научившись ею пользоваться, свой лимит кофе он выпивал еще с утра.

Христофоров был мрачнее тучи. Визави, знавшая его давнюю кличку от Славыча, осмелела. Скинув с себя тяжесть первых слов, расправила плечи, сняла шубку, под которой обнаружился главный женский аргумент — маленькое черное платье, с какой-то, впрочем, драпировкой сбоку, придававшей ему куртуазности.

— ...Поэтому он звонил вам, — продолжила она.

Христофоров поморщился, как от зубной боли. Не острой, а ноющей, когда уже почти привык и делаешь вид, что не замечаешь.

— Откуда вы знаете, что он мне звонил?

Неотвеченный вызов Славыча стерся в телефонном списке, но не исчез из памяти.

— Когда не дозвонился до вас, он набрал меня и сказал, что только вы можете помочь Злате. И еще попросить за него прощения. Вы же не откажете ему в этой просьбе?

Христофоров мотнул головой, не то соглашаясь, не то отгоняя от себя ее слова. Несказанные слова Славыча, которые должен был услышать лично.

— Для вас его смерть стала неожиданностью? — спросил он.

Женщина-шенок сморщилась и кивнула:

— Даже когда он сказал о смерти, я поняла ее как отсроченную смерть... Но зная причины, уважаешь выбор. Он понятен по-человечески. Вот вы не поступили бы так же?

Христофоров промолчал: не ее шенячье дело, сколько раз он прокручивал в голове этот сценарий, но откуда же знать, решишься на него или нет.

— Простите за бестактность, но раз уж ваши семейные вопросы меня коснулись... Как вышло, что Злата росла без отца?

— Он отказался от нее еще до рождения, я не стала настаивать. Конечно, он был женат, но говорил про себя: я — человек широких взглядов и твердого характера. На отношения с женщинами его взгляды были не просто широкие, а прямо-таки резиновые. Однажды признался, что гуляет не от жены, а из-за жены, которая к нему равнодушна. Он был несчастным человеком и делал все, чтобы казаться счастливым. На быть счастливым его не хватало, поэтому — казаться.

Она сделала маленький глоток кофе и поставила чашку обратно.

— Позвонил спустя много лет, когда отболело. До того ребенком не интересовался, а тут вдруг попросил познакомиться. Я не хотела, он настоял. С годами его одиночество только усилилось. Он всю жизнь уверял себя, что ему никто не нужен, прикрывая то, что в последнее время стало совершенно очевидным: никому не нужен он сам. Даже дочери. Такой реакции Златы я не ожидала. Чем больше он пытался расположить ее к себе, тем ниже она его ставила. Понимала, что он пытается искупить вину, откупиться: чем дороже подарки — тем больше вина. Тысячи детей живут без отцов, да и каждый имеет право на ошибку, когда признает ее. Но она ему этого права не оставила.

— Скажите, ваша дочь много времени проводила за компьютером?

— Как все современные дети.

— То есть все свободное?

— Она вообще домоседка. Да, в последнее время, когда я заглядывала к ней по утрам, компьютер был включен. Возможно, она засиживалась допоздна, но я не вмешивалась. К тому же мы с мужем часто в разъездах. Со Златой остается наша помощница по хозяйству, которая кормит ее, провожает в школу.

— Когда вы планируете сообщить Злате о смерти отца?

— Я не буду делать этого без вашего ведома. Думаю, он согласился бы со мной. Скажите ей сами, когда сочтете нужным. Как Злата не приняла его, так, наверное, и жизнь не засчитала раскаяние. Появившуюся слабость и недомогание он списывал на утомление, и рак выел его изнутри тихо, как будто не желая беспокоить, без боли, которая всегда становится сигналом бедствия, но еще, бывает, оставляет шансы на спасение. Выел и вылез на четвертой стадии. Когда он узнал результаты анализов и прогнозы, он даже не стал бороться.

Христофоров вздохнул. В голову лезли поучительные пошлости: что-то про жизнь и судьбу. В конце концов, это всего лишь очередная история жизни, вписанная в историю болезни. Мало ли прошло их мимо?

Женщина-щенок сказала на прощание:

— Знаете, что такое не просто хотеть ребенка, а желать его от одного-единственного человека? Понимать всю его гадость, мерзость, распушенность и изворотливость. Знать, что он смакует свои широкие взгляды при твердом характере, а на самом деле — безразличие к тем, кого пользуется. Хотеть держать на руках его частицу, которая будет смотреть его глазами, улыбаться его губами. Гладить по его мягким, чуть вьющимся волосам. А потом понять, что не рассчитала силы. Он все равно уйдет, не оглядываясь, даже не чмокнув дежурно в щеку, а ты останешься — вроде бы целая снаружи, но выжженная внутри. И ребенок с его глазами, волосами, губами будет тлеть вместе с тобой. Эта мертвая пустыня теперь ваша — одна на двоих. Каждое утро ты хочешь начать жить заново, выйти в цветущий сад, да хоть в заплыванный сквер, но не в пустыню. Выходишь из дома, а пустыня идет вместе с тобой. Кругом пустыня, даже маленький человек рядом с его глазами не спасает, не может указать выход. Потом везет — встречаешь нового мужчину, который берет за руку и уводит в другую жизнь. Душа не становится плодородной, но ты украшаешь пустыню множеством искусственных цветов, создаешь целый цветущий сад. Если бы вы знали, как я люблю свои цветы: магазины, салоны красоты, бассейны, пляжи и саму себя за то, что выжила в пустыне. Мы со Златой выжили. Я думала, что вместе, но выходит — поодиночке. Ее поступок заставил меня сомневаться. Ей, как и мне, протянули руку помощи, но она заблудилась, осталась там — в пустыне. У нее все могло бы быть хорошо — так же, как у меня. Но она выбрала пустыню и добровольную ненужность, как и ее отец. Вернуться за ней я не могу. Вы понимаете меня?

— Ребенок, ваша дочь, ни в чем не виновата.

— А в чем я виновата? Мы с мужем ждем ребенка, лечение Златы оплатим в полном объеме.

* * *

Праздновать Новый год — это в ноябре наткнуться на искусственную ель при входе в гипермаркет. Это снимать целлюлитную кожуру с мандаринов и раздвигать их пухлые, похожие на надутые губы дольки с выступающими прозрачными каплями сока. Разливать по мисочкам и ставить за окно будущий студень. Представлять долгое, обстоятельное застолье с просмотром концертных номеров, во время которого будешь осознанно трезв, даже если сознательно накидаешься. Ловить шмякающие отголоски детства в убранстве витрин, поздравительных открытках, принесенных радиоволнами песнях. Проехаться по раскатанной посреди тротуара ледовой полоске,

рискуя упасть, потому что мама уже не держит за руку. Мечтать о новогоднем утреннике, даже если вести на него некого, кроме одного-единственного внутреннего ребенка.

У Христофорова дети были: шестьдесят голов в дежурство по отделению и тридцать семь как у лечащего врача. В декабре нагрузка опять распределилась неравномерно и не в его пользу, но как опытный многодетный родитель, он давно знал: где больше двух — там и целый выводок.

Перед праздником постояльцы отделения ждали большой выписки, даже если по опыту знали, что отправятся всего лишь в очередной — пусть и чуть более долгий, чем обычно, — домашний отпуск.

Отгремел предновогодний натиск мамаш, вспомнивших о своем предназначении и пришедших требовать возвращения своих детей в лоно семьи. Истовее всех требовали те, кто обычно просил: «Доктор, пусть он еще немного посидит». За многие годы в психиатрии он так и не разгадал загадку этой метаморфозы, случавшейся с мамашами строго раз в год, и отнес ее к бессмысленной затейливости природы, изобретшей женскую логику.

Сам он зарекся идти на поводу у мамаш несколько лет назад, когда поддался на уговоры, слезы, проклятья, лесть, жалобу президенту и бутылку коньяка вместе взятые. Несмотря на свой норов и проявленную волю к победе, очередная кляузница встречала Новый год одна. Выписанный ее титаническими усилиями наследник за ночь успел угнать одну машину, разбить — три, отправить в больницу одного пешехода, а вскоре и сам был возвращен Христофорову полицией и мамашей, честно глядевшей ему в глаза, словно впервые видит.

В этом году мамаша проделывали только стандартные трюки и президенту не жаловались.

Чтобы не испортить праздник, детей вроде Шныря не приглашали. Но все равно от каждого отделения набиралось не менее двух дюжин делегатов, что говорило о несомненных успехах восстановительного лечения. Дети ждали праздника, как выпускного бала, и готовились к нему с особым тщанием: кавалеры будут приглашать дам, поэтому треники с лоснящимся от долго лежания на кровати задом были равносильны черной метке.

К счастью, в больничных закромах, если покопаться, всегда найдутся и черные брюки, и белые рубашки, оставшиеся от предыдущих празднований. Христофоров работал теперь и за кастеляншу: по крайней мере, Фашист уже выглядел на примерке как с иголочки. Даже Омен проявил интерес к переодеванию, правда, вместо белой выбрал рубашку неприметного мышиного цвета.

Тем же самым занималась и Маргарита, но ей приходилось сложнее. Девичьи наряды, в отличие от строгой черно-белой мужской пары, невыгодно отличались разнообразием. Свобода выбора и взрослым противопоказана, а уж в девичьем отделении психиатрического стационара она чревата драками, истериками и показательными припадками. Но Маргарита была не лыком шита. Щедро отвешивая комплименты, а детдомовским — вдвойне, она вела тонкую политику «модного приговора» и справлялась с втюхиванием подвернувшихся под руку нарядов не хуже известного законодателя мод.

Подготовка к Новому году кипела по всей больнице.

Не далее как вчера Христофоров сумел напроситься к Маргарите в гости. Ревниво обойдя пятьдесят квадратов брежневки, он уселся на кухне и виновато вздохнул.

Вины за собой он не чувствовал, зато чувствовал, что вздохнуть надо именно так: виновато, с раскаянием за все совершенное и особенно — не совершенное. Она оценила его душевную щедрость потеплевшим взглядом. Оставив без внимания дымящийся на столе суп, Христофоров отважился развить успех.

Маргарита, войдя в резонанс с его телом, отвечала преимущественно за фонети-

ку, не забывая, впрочем, и об уровне слышимости в доме. За это Христофоров был ей признателен отдельно: женским стонам он не доверял. Вот и тогда на ум некстати пришло: «Не так я вас любил, как вы стонали».

Прогнав от себя ехидного Вишневого, он постарался опровергнуть его. Кажется, получилось.

В этот вечер Маргарита про себя решила, что не будет верить давним астрологическим прогнозам, а Христофоров нашел в себе силы признаться, что не все женщины одинаковы, и, бывает, необыкновенная особа может даже работать рядом, и если кому-то удалось это разглядеть, то... Дальше он запутался и не смог закончить фразу, что было уже не столь важно. Главное, что сказал ее вслух.

* * *

С каждым днем, проведенным в больнице, Омен ненавидел маменькиных сынков все больше. Природа нарушила равновесие, дав одним все, другим — ничего, и послала ему еженедельное испытание родительским днем.

В этот день привычная и удобная вежливая улыбка застывала оскалом и сводила челюсть, как неудачно подобранный съемный протез. Он и так чувствовал себя волком в овечьей шкуре, но в этот день волк вынужден был присутствовать на празднике маленьких козлят и ловить себя на мысли, что больше всего на свете он тоже хочет стать маленьким маменькиным козленком. Но если судьба не дала ему такого шанса и он вынужден быть волком, что еще остается, как не следовать волчьей природе, которая в том и заключается, чтобы жрать козлят?

Сначала на роль помощника в осуществлении плана он мысленно назначил Фашиста, но не торопился раскрывать карты — и оказался прав. Тот дал слабинку: поверил Христофорову и отрекся от своей избранности, а недавно и вовсе оказался в стане других.

Кроме детдомовских, другим был весь мир, в котором у сыновей были матери, хотя бы такие, какая явилась в раскаянье и навеселе к Фашисту.

Когда Ванечку определили в больницу в первый раз, он еще не облачился в броню отстраненной невозмутимости, превратившей его в Омена, водил знакомство с детдомовскими и хорошо запомнил одного салагу-дошколенка лет пяти или шести. Тот ни с кем не разговаривал и, лишь проснувшись, садился на подоконник, на котором и сидел до вечера, почти не отзываясь на окрики и уговоры медсестер, врача, воспитателей. Просто сидел и смотрел на больничный двор: час за часом, день за днем, неделя за неделей.

— Зачем он сидит на окне? — спросил Омен старожилы из детдомовских ребят.

— Ждет маму, — ответил тот. — Уже два месяца ждет.

На другой день Омен заглянул в палату к салаге и сел на подоконник рядом. Тот ничего не сказал, но подвинулся. С тех пор они частенько сживали так и глядели в окно, только Омен никого не ждал. Вернее, ждал, но не для себя. К нему приходила опекунша, приносила печенье и конфеты, он делился ими с новым товарищем, тот брал, не нарушая молчания.

Мама так и не пришла. В один из дней салага исчез из палаты: выписали и увезли в детский дом. Омен не успел с ним попрощаться и не знал, как выглядит его мама, но до самой своей выписки нет-нет да и выглядывал в окно, загадывая, что в этот раз в больничном дворе будет стоять женщина и искать глазами палату сына. Но конечно, так ее и не увидел.

Потом он часто вспоминал этого салагу и даже назначил его своим единственным другом. То, что они не обмолвились и словом, ничуть не мешало. Напротив, разве настоящие друзья не понимают друг друга без слов? Только на него Омен мог бы положиться в нынешней затее.

Суицидничек напоминал ему того салагу: так же меланхолично и преданно ждал

маму. Но к нему мама приходила! Ненавистный родительский день, тектоническим разломом пролегающий между больничными детьми, не заканчивался с отбоем и словно дразнил, а дразнить Омена не стоило.

* * *

Суицидничек почувствовал легкое прикосновение к макушке, перестал часто дышать, как того требовал первый этап игры в «собачий кайф», и тряхнул головой.

— Ну, поехали — сказал Фашист в темноте и потянул за концы свернутых в жгут тренировочных штанов.

— Надо, чтобы его торкнуло, — сказал Омен. — Подержи удавочку чуть подольше.

— Вы что, офигели? — воскликнул шепотом Существо, ждавший своей очереди в игре.

— Не долго, а просто подольше, на чуть-чуть, — невозмутимо ответил Омен.

— Я же не хочу человека убить, — зашептал Фашист. — Все. Снимаю!

— Еще двадцать сек и норма, — приказал Омен. — Один, два, три, четыре...

Тьма истончилась, подернулась рябью, как ненастроенный экран телевизора, и вдруг уступила место нежному изумрудному свечению. Прохладные, асфальтово-серые киты плыли в морской глубине, разрезая водную толщу гладкими глянцевыми телами. Не будь плавников, киты походили бы на подводные лодки, уверенно движущиеся к своей цели, но разве может собраться столько подводных лодок в одном месте?

Он — мальчик — наверное, тоже стал китом, потому что двигался вместе с ними, ощущая себя частью общей могучей силы. Киты считали его за своего — он чувствовал это, и хотел следовать к их, а значит, и своей далекой цели.

— Восемь, девять, — считал голос, будто нумерующий китов.

А их было так много, что не сосчитать, и они увлекали его во вневременную даль.

— Десять, одиннадцать, — как метроном, отстукивал голос.

«Мне будет одиннадцать», — встрепенулся мальчик-кит, и тут же вспомнил маму и смешные фигурки сказочных персонажей из приторно-сладкой мастики, которые она каждый год снимала с праздничного торта и убирала в шкаф — на память. Интересно, кто украсит торт на его день рождения в следующем году? Смысла в этом вопросе уже не было, ведь киты вряд ли едят торты, но все равно хотелось узнать.

— Двенадцать, тринадцать...

Солнечные лучи прорезали глубину, и он отчетливо увидел себя, сидящего дома за кухонным столом. В окно ярко светит солнце, а он ест торт, верхушка которого уже срезана, и фигурка, наверное, убрана.

— Мама! — позвал он, чтобы попросить показать фигурку, интересно же.

Но толща воды глушила его голос, и тогда он поплыл вверх, чтобы мама услышала его. Внезапно стало темно. Как будто в море, как в комнате, можно выключить свет, и только поднявшиеся на поверхности волны, воя, толкали его в грудь. Киты уплыли, а он барахтался под поверхностью воды и никак не мог вынырнуть наружу. Ему очень хотелось попасть на кухню к маме и доесть торт, и увидеть фигурку.

— Не получится, — тихо ревел в это время Фашист, прервавший счет на пятнадцать.

За прошедшую минуту, которая выпала для него из категории времени и превратилась в полный ужаса нескончаемый полет в черную яму, он успел почувствовать на руках обмякшее тело Суицидничка и различить в темноте безвольно раскинутые руки. Успел разом даже не вспомнить, а увидеть, как на фотографии, все, чему их два дня учили волонтеры Красного Креста, проводившие в детском доме занятия по оказанию первой помощи.

В эту же бесконечную минуту он хлопал Суицидничка по щекам, щипал за мочку уха и, не получив ответа и уже подвывая от ужаса, опустил его голову на пол.

Теперь он стоял на коленях и, сложив ладони, как учили, методично давил на грудь Суицидничка. Где точно находится сердце, он не знал, а потому постоянно немного перемещал ладони в надежде, что хоть раз да попадет. Существо неуклюже примостился рядом и изо всех сил дул Суицидничку в рот.

— Не так, не так! — шептал в отчаянии Фашист. — Надо по очереди!

Существо кивал и все равно кидался дуть раньше. Ему казалось, что воздуха надо надуть побольше, и тогда все получится.

— Уййй! — вдруг взвизгнул Существо и откатился в сторону.

— Чтоооо?.. — простонал Фашист, сердце которого, казалось, тоже переместилось из груди и билось набатом в висках, грозя разорвать голову. Ему было жарко и холодно одновременно, и казалось, что все неправда, сон.

— Он кусается! За губу меня... Больно...

Фашист перестал давить Суицидничку на грудь и снова хлопнул его по щеке. Тот открыл глаза и уставился на Фашиста, не понимая, почему торт оказался таким упругим, солоноватым на вкус.

— Т-т-ты ж-ж-жив? — спросил Фашист. Озноб победил и теперь колотил его так, что зуб на зуб не попадал.

Суицидничек подумал и кивнул головой.

— Что-нибудь х-х-хочешь? — не веря своему счастью, спросил Фашист.

Суицидничек подумал и снова кивнул. Ему очень хотелось увидеть маму и съесть торт. Торты не было, но в тумбочке лежал целый кулек шоколадных конфет. Он представил, как их нежная вафельная начинка тает во рту, и зажмурился от удовольствия.

* * *

— Древние славяне верили, что, зная настоящее имя, можно воздействовать на человека магически, управлять им, поэтому существовал обычай давать одному человеку три имени. Первое — семейное, второе — общинное, третье — тайное. Семейное давали при рождении, общинное получали во время обряда совершеннолетия, который означал прохождение этапа взросления. Тайное человек давал себе самостоятельно. Это имя души, имя для себя. Прежде хозяевами человека были родители. После получения тайного имени он отвечал за себя сам.

Христофоров остановился и мельком сверился с компьютером.

— Вот и твое имя пусть станет тайным. Элата — латинское elate. Возвышенная, гордая. Другой вариант — от финикийского «дух моря». Тебе какой больше нравится?

Она пожала плечами:

— Пусть будет море, в нем киты плавают.

— Плавают, — кивнул Христофоров. — Нормальные киты именно плавают, а не на берег сигают. Так же, как и бабочки живут ровно столько, сколько им положено природой.

— Откуда вы знаете про китов и бабочек?

— Мне положено, — вздохнул он. — Как ты могла поверить в такую чушь? Этим мерзавцам, которые в Интернете суициды воспевают... Загнала себя в угол своей обидой. Только всегда, когда обижаешься на кого-то, обижаешь и себя. Обида — как тучка: если уж накрыла тенью и полила дождиком, то всех без разбора. Прости отца и мать. Не для них, для себя. Давай попытаемся сделать счастливой Элату — тебя, настоящую.

Христофоров не решился сказать о смерти Славыча. До сего дня он так и не нашел нужных слов, потому что искал слова не утешения, а понимания и прощения.

* * *

Говорят, кладбище надо посещать до обеда: утром умершие гостей принимают, а вечером к себе зовут.

Христофоров передернул плечами: утром не получается, он до вечера на работе. Ему больше нравилась версия, по которой ангелы отпускают с небес души умерших только до полудня. С душой отца он встречаться не планировал, а вот посидеть, подумать на его могиле казалось правильным.

У входа на кладбище за ним увязались три пса: два сивых, один огромный черный — главарь, голова как чайник.

— Нет у меня ничего, голубчики, извините, — развел он руками.

Сивые заплясали на месте, а черный угрожающе зарычал и ухватил за край пальто.

— Пшшшел прочь! — крикнул Христофоров и остановился, боясь сделать лишнее движение.

— Маша, отстань! Иди ко мне, Маша! — раздался старушечий окрик.

Он повертел головой, выискивая Машу на безлюдной кладбищенской аллее.

Черный пес нехотя выпустил из пасти пальто Христофорова и, поджав хвост, потрусил по тропинке к часовне, из которой вышла свечница.

Христофоров подумал и пошел за собакой.

— Хороша у вас Маша, — сказал он старушке у входа. — Такая и загрызть может.

— Маша умная, — нараспев ответила свечница и посмотрела сквозь него блаженным белесым взглядом. Псина недобро косилась на Христофорова, но больше не подходила.

Поставил свечи: три за здоровье, две за упокой. Потоптался у икон, не зная, что еще сделать.

Почему-то в церквях возвышенные мысли и экстатический настрой не посещали: рассматривал иконы как картины в музее, любовался резьбой иконостасов, задира голову и прикидывал высоту купола.

Вместо слов молитвы в голову лезла всякая ерунда: хорошо ли закреплена люстра на крюке и что будет, если грохнется, кем в миру работает поющая в хоре девица, что будет, если подать в записке на помин души имя самоубийцы, и почему такая несправедливость — отнявших чужие жизни поминают без зазрения совести, а взявшим смелость распорядиться своей собственной в поминальной молитве отказано.

Еще непременно, как маленькому, хотелось купить в церковной лавке что-то таинственно и призывно мерцающее в полутьме: золотое, позолоченное, серебряное, медное — ненужное, но кажущееся важным. Купишь — и жизнь изменится. Однажды он собрал волю в кулак и совершил рациональную покупку — товар для здоровья: морковное масло для приема внутрь по чайной ложке. Изучение этикетки при свете дня, а не в церковном полумраке показало, что масло льняное и просроченное на полгода.

В этой часовне соблазнов не было. Он вышел в сумерки и быстро зашагал по тропинке в знакомую часть кладбища, надеясь больше не повстречаться с Машей.

Вскоре тропинка уперлась в сугроб. Дальше было не расчищено. Христофоров задрал полы пальто и вошел в снег, как в воду, разрезая ногами нетронутый покров. Укрытая твердой снежной шапкой могила отца казалась гигантским куском торта, щедро припорошенным сахарной пудрой. Сходство усиливал край обелиска, торчавший вверх, как уголок шоколадной плитки.

Вокруг могилы вился тонкий затейливый узор крестиков, как будто под копирку выведенных на снегу легким пером художника, склонного к шизофренической методичности и однообразию.

Наверное, в городе птицы поддаются общему ритму жизни: суетливо снуют по

помойкам, стерегут свои гнезда и хлебные места, где сердобольные горожане потрошат высохшие буханки хлеба. Им некогда неспешно прогуливаться, оставляя каллиграфические письма и орнаменты на снежной глади. Христофоров только на кладбище впервые разглядел красоту птичьих следов.

Смахнул рукавом снег с памятника. Отец глянул пристально, с незнакомой улыбкой. Улыбающимся Христофоров его уже не застал.

Очистил скамейку, достал «маленькую» и больничный пирожок с капустой. Пил мелкими глотками, как горячий чай, заедал пирожком и пытался растормошить себя, нырнуть внутрь до донца, ведь где-то там наверняка дрыхла любовь к отцу. Пусть не любовь — приятие, прощение, понимание спали летаргическим сном. Он хотел его нарушить или хотя бы заглянуть в могилу сыновних чувств и убедиться, что они есть, просто спят.

Горячительное приятно жгло горло, пищевод и долгожданной лавой обволакивало желудок. Он хотел растрогаться пьяными слезами, обмануть себя, пристыдить, но просто глотал и заедал, вспоминая отца как близко знакомого чужого человека.

Не презирал его, не обижался, не ненавидел, не сочувствовал. Понимал, но не принимал. А главное — было на-пле-вать.

«Наплюй на него», — вот все, что он мог посоветовать Элате, исходя из своего опыта. И посоветовал бы, не стой он перед лицом вечности, в которую уходят все: любившие и предавшие, простившие и проклявшие. А в этой вечности, быть может, они еще и встречаются на неисповедимых путях-дорожках. Встретится вот скоро со Славычем, а тот ему «наплюй» и припомнит.

Не заметил, как пошел снег, который быстро перерос в метель, бросавшую колкие плевки прямо в лицо. Защелку на калитке заклинило. Христофоров несколько раз дернул, потом плюнул: все равно больше ходить некому. Просто прикрыл дверцу, оглянулся: весной починить надо.

У выхода, опустив голову на лапы, лежала Маша. Завидев Христофорова, она не шелохнулась, но провожала взглядом до самой автобусной остановки.

— В следующий раз костей тебе принесу, — крикнул собаке Христофоров, отойдя на безопасное расстояние.

К остановке почти бесшумно подплыл пустой рейсовый автобус, распахнул нутро для одного пассажира и покатил обратно. Христофоров оглянулся в заднее стекло.

Маша поднялась с земли и стояла, как сфинкс, охраняющий пристанище тех, кого ангелы отпускают на землю лишь до полудня.

* * *

— Перед самой выпиской!.. — Христофоров сокрушенно покачал головой. — Что ж ты, голубчик, ведь и на улицу не выходил...

Омен сдержанно вздохнул и прикрыл глаза.

— Ничего серьезного, — ободрил Христофоров. — Всего-то тридцать семь. Сегодня отлежишься, завтра как огурчик будешь!

Что будет завтра, Омен не знал, только в тысячный раз прокручивал в голове несложный алгоритм: пластиковая ручка вставляется в отверстие до упора и поворачивается в сторону. Рядом с окном — водосточная труба, обледенелая, но на вид крепкая. Под окном — сугроб.

Ручка — труба — сугроб.

Снег — мороз — темнота.

Где-то там, в темноте, у него тоже есть мама. Темнота поглощает расстояния: километр до его мамы или сотни — не так уж важно. Конечно, разумнее и проще дожидаться выписки и сбежать от опекуниши на вокзале, но не логика звала его в путь,

сам по себе далекий от рациональных объяснений, куда именно он едет, как найдет маму и чего именно от нее ждет.

Суицидничка он убедил бежать с собой, соврав, что подслушал разговор Христофорова с его матерью: к Новому году точно не выпишут.

Все шло как по маслу, даже першение в горле возникло вовремя и оказалось настоящим.

— Может, в бокс его? — заглянула в палату Анна Аркадьевна.

Христофоров пожал плечами:

— Только подхватит там чего не надо...

Омен равнодушно смотрел в стену, ведь заторможенному мальчику нет разницы, где лежать: в боксе или палате. Все это время он как бы парил над своим телом, и только когда Христофоров вышел, задышал полной грудью, потому что разница, откуда бежать, была огромна.

Суицидничка он намеревался бросить, как только вырвется на свободу, спустившись по трубе первым. Шмакодявка и нужен был исключительно для одолженного толстого свитера и стояния на стреме возле дверей в палату, чтобы никто не вошел, пока Омен орудует ручкой. Все это будет завтра, а сейчас он устал.

Сладкий дневной сон по капле втекал в его тело, и, не сопротивляясь, Омен уплывал на его волнах от белых палатных берегов в свою вожаделенную темноту. Перед тем как окончательно слиться с ней, он оглянулся через узкий проход между кроватями на удалявшийся белый берег: Фашист и Существо о чем-то шушукались, как будто плели заговор, о котором Омен не успел подумать, потому что пересек границу яви и поплыл к горизонту сна.

* * *

С утра в отделении было хлопотно, суетливо, тревожно. Накануне большого праздника и должно быть немного тревожно. Омен чувствовал эту тревогу и боялся заразиться ею, способной так некстати пробить брешь в его броне. Тревога, тревога, тревога — как будто пульсировало в каждой минуте.

Отчего тревога? Откуда тревога? Вот Анна Аркадьевна шпыняет Шныря в коридоре, вот мелькнул белый халат Христофорова, вот сочится в палату обычный утренний запах хлорки. Никто ничего не подозревает. Он сам смотрит на мир сквозь свою тревогу, вот и мнится неладное.

Уже выпался, отлежал бока, но не вставал с кровати, чтобы еще набраться сил — про запас. Где и когда доведется спать в следующий раз, неизвестно.

Надо встать и глянуть в окно: на трубу и сугроб. Улица маячила в окне куском безысходно серого неба. Он не вставал, чтобы не смотреть. Не смотрел, чтобы не отказаться от плана. «Струсил? Сдался?» — спрашивал сам себя. Лежал на спине с закрытыми глазами, сложив руки на животе. «Не отказался», — резко открыл он глаза.

Судья в красной мантии бесшумно встал с кровати и пошел по комнатам старинного особняка на высокой скале, с усмешкой повторяя про себя считалочку: «Десять негрятят решили пообедать, один вдруг поперхнулся, и их осталось девять...»

Этот фильм был единственным, внимательно досмотренным им до конца. Еще месяц он вздрагивал от шорохов по ночам и боялся ночных теней, проплывавших по стене, скрипа раскачиваемых ветром деревьев за окном, темноты в коридоре и того, что может в ней притаиться. Каждый тихий звук был шагом Судьи, который открывает дверь в комнату последнего повесившегося негритенка.

Он был то негритенком, то зрителем и неизменно боялся этих шагов, как и медленно приотворяемой двери. Но однажды вдруг понял, что Судья Уоргрейв — он сам, и тогда страх прошел. Он не сотворил себе кумира, а впустил его в себя. Кумир был хладнокровен, выдержан и хитер. Он умел ждать. Совсем как он сам.

Потом он даже записался в библиотеку и взял книжку, которая так и называлась:

«Десять негрятят». Читал ее и подчеркивал важное, все больше убеждая себя в том, что он — современное воплощение Судьи.

Ему есть за что судить мир, и он будет судить его по своему усмотрению. Книгу в библиотеку так и не вернул, спрятал на чердаке. Жаль, не удалось взять ее с собой в больницу. Хотя нет, все к лучшему: все равно отобрали бы, а Христофоров, изучив подчеркнутое карандашом, заподозрил бы неладное.

В красной атласной мантии и белых буклях Судья шел по больнице и одним прикосновением надушенной, сухой, никогда не потеющей ладони растворял закрытые на хитрые замки и железные засовы двери. Мантия развевалась, пигмеи в белых халатах в ужасе оглядывались и прижимались к стенам, давая ему дорогу.

Судья Уоргрейв уже расправился с девятью негрятями и шел к Вере Клейторн, которая уже встала на стул и надела на шею петлю. Одним махом он распахнул дверь в кабинет Христофорова и подошел к столу. С грохотом отлетел к стене стул.

В это время Омен уже стоял на подоконнике. Ручка в одно мгновение вскочила на свое место, будто только того и ждала. Морозный воздух лизнул горячее лицо. Все, что он мысленно проделывал много раз, свершилось в считанные секунды. Ледяная водосточная труба обожгла руки, а он сам словно превратился в кошку. В эти секунды он успел удивиться, как легко и прост побег. Ловко и бесшумно соскользнул на землю, поднял голову.

Карауливший вход в палату Суицидничек только встал на подоконник и неловко разворачивался, чтобы ступить ногой на опору трубы. Наконец оседлал трубу и начал спуск. Он походил на краба, медленно и осторожно ползущего вниз.

Пола мантии колыхнулись ветром. Не переставая ощущать себя кошкой, Судья дернул старую водосточную трубу и без труда оторвал целое жестяное звено — добрую четвертину водостока. Суицидничек мелко дергал ногами в воздухе, совсем как Вера Клейторн, но почему-то не издавал ни звука, хотя, в отличие от нее, был еще жив.

«Мамааа!» — подсказал ему про себя Омен, и Судья помог, подхватил: — Мамааа, мамааа!»

Суицидничек уже соскальзывал с трубы, но упрямо молчал, а Омен с Судьей, закутанные, как в кокон, в одну на двоих прохладную кроваво-алую мантию, упоенно были в унисон: «Мамаааа!..» — и заходились в сухом, лающем истеричном смехе.

Судья повернулся, чтобы обнять Омена, но неловко задел по щеке и вдруг принялся трясти за плечи. Омен отмахнулся от него, выскользнул из мантии и помчался босой по белому снегу, продолжая все так же повторять слово, помогающее бежать: «Ма-ма, ма-ма...» Два слога — как вдох и выдох, как правой и левой, как удары сердца, как стук колес. Он уже не смотрел под ноги, не боялся запнуться, потому что почти летел, не касаясь земли, а топливом стал все тот же непрерывный, слившийся в одно звук: мамамамамамамамамамам. Захлебываясь им, исторгая его из себя, он разрезал телом темноту и, даже если бы захотел, уже не мог остановиться и повернуть вспять, как выведенная на орбиту ракета не может свернуть с намеченного центром управления пути.

— Ну что ты, что ты?.. Что ты маму-то зовешь, глупый? — трясла его Анна Аркадьевна. — Заспал при свете, вот кошмар и приснился.

* * *

Утро долго не наступало, а потом, когда выпавшийся днем Омен уже отчаялся его дожидаться, вспотел и исчезался от бессонницы, резко вспыхнуло электрическим светом в коридоре, означавшим в отделении подъем. Но и тут утро не поспешило вступить в свои права и впервые не последовало за строгим больничным расписанием: в коридоре не звенела каталка с лекарствами, не хлопали двери, не стучали каблуки.

Утро словно раздумывало, начинаться или нет, сомневалось, ленилось. К концу года и утро устало, что говорить о заспанном персонале больницы, позволившем себе

не торопиться в этот праздничный день, почти выпускной. Омен поддался общему настроению и закемарил.

Утро не спешило заступать на пост, а ночь спешила его покинуть, уползти в темную нору под снегом и ненадолго сомкнуть веки: день зимой короток, темнеет рано, и работать ей приходится тоже на полторы ставки.

В норе дремал Омен, но ночь не стала церемониться: вытолкнула его из сна в явь да еще и двинула на прощание под зад, чтобы не вздумал пристраиваться под боком. Невыспавшийся и злой, с неприятно отлежанным задом, он свесил ноги с кровати и бездумно уставился перед собой.

Утро уже пришло, но не перестало лениться. Лень висела в воздухе невидимым шлейфом и, казалось, мешала даже разговаривать.

Фашист и Существо тоже проснулись и копались в своих тумбочках, не глядя на Омена.

Суицидничек водил пальцем по стене. Из невидимых глазу линий складывался кит, который плыл в сторону окна, но что-то в этой картинке показалось ему неправильным. Он смахнул ладонью готового кита и нарисовал другого. Новый кит плыл к двери.

Тусклое, белесое небо за окном укрывало мир ватным одеялом. Не верилось, что в этот лениво начатый блеклый день может свершиться хоть что-то значимое. В такой день оставалось только потянуть за краешек низкого неба и укрыться до подбородка, свернуться под ним калачиком, эмбрионом, морским коньком.

Омен попытался представить лицо мамы и прижаться к ее щеке мыслями. Раньше получалось, хотя оно давно расплзлось в его памяти, превратилось в месиво черт: то ли знакомых, то ли припомненных, то ли придуманных — уже и не разберешь.

Исчезнувшая из его жизни мать и правда словно умерла, но, как многие прежде времени ушедшие, вознеслась на пьедестал памяти, приобрела под внутренним взором заковавшего себя в железные латы детского сердца поистине иконописные черты. Прикасаясь мыслями к щеке матери, он будто прикладывался к иконе: не данной Богом, а Богом отобранной.

Сейчас икону тоже будто застила пелена. Он выскреб и без того пустые сусеки памяти и сложил лицо: вроде похожее, но не живое, иконописно плоское. Даже придуманная мать не хотела быть его помощницей: отодвигалась, отворачивалась, ускользала.

И тогда он разозлился. Злость — единственный верный друг, который никогда не подводил, был рядом, подставлял плечо. Злость как постамент, на него можно опереться, а можно взойти и сверху посмотреть на других, даже плюнуть с высоты.

Злость не надо скрести по сусекам, она всегда рядом, наготове. Только возьми и запусти, как волчок: запустишь — долго не остановится. Волчок крутился все быстрее, возвращая в эту палату, в это утро прежнего Омена. Мелькали лица одноклассников и их матерей, все тщательно не замечаемые и пристально рассмотренные истории послушания и непослушания, строгости и попустительства, контроля и доверия, составлявшие одну историю любви, в которой ему — накормленному, умытому, одетому не хуже других, не нелюбимому, озлобленному Омену — не было места. Чем выше оказывался постамент, тем отчетливее он видел всеобщую виновность и свою правоту — и тем более был несчастен.

В прежней больнице он слышал разные истории о побегах от детдомовских. Все они заканчивались возвращениями: раньше или позже, по своей воле или после облавы. Дети сбегали в одиночку и компанией, планировали побег заранее и просто пользовались случаем: отсутствием у входа охранника, переводом из корпуса в корпус, открытым по недосмотру окном.

Сбегали, хотя бежать было некуда. Потому и недалеко, потому и бестолково. У него есть цель, и он так просто не сдастся.

Утро тоже стало раскручиваться за волчком — уже дребезжала в коридоре каталка, шаркнули и хлопнули двери: одни, другие. Омен глянул на Суицидничка: тот, почувствовав на себе взгляд, посмотрел виновато, но твердо, и отрицательно покачал головой.

Что ж... Он им всем покажет. Судья снова открыл глаза и решительно, неотвратимо спустил ноги с кровати, готовый поставить последнюю точку в истории возмездия и кары. Судья, конечно, как всегда, закончит тем, что пустит себе пулю в висок, но учил же Христофоров — и правильно — отделять выдуманное *Я* от себя настоящего. Судья останется в закольцованной цепочке книжных реинкарнаций, а мальчик устремится вперед по дороге, расстилающейся прямо за больничным окном.

Омен скользнул рукой по дну кровати, где, как заветный золотой ключик, хранилась гладкая пластиковая ручка, которая откроет ему окно в мир, и мир вынужден будет подчиниться его правилам — за то, что однажды подчинил себе.

Рука привычно погладила бугристые наросты высохших «жевок» и провалилась в кратер. Омен не поверил руке и ощупал кратер еще раз. Слепленное из десятков застывших резинок гнездо оказалось пусто. Оконной ручки в нем не было.

* * *

Музыка из зала доносилась до третьего этажа. Христофоров представил, как отец Варсонофий, раз в год сменявший рясу на подбитый ватой красный халат Деда Мороза, мечется по залу в поисках мешка с подарками, украденного злыми гномами — медсестрами женского отделения. Гномов они играли каждый год, и с каждым разом все лучше и лучше.

Небольшая стопка историй болезни была придвинута к стене, карточки выписанных отправлены в архив — одни навсегда, другие совсем ненадолго.

История болезни Омена лежала открытой на столе, сам Омен сидел напротив. — Ты мне не нравишься, — сказал ему Христофоров.

Омен не шелохнулся, вежливо изучая стену за спиной Христофорова, словно тот был прозрачный.

— Однако в Новый год принято дарить подарки. Пересаживайся.

Он встал из-за стола, уступая место.

— Что такое телемост, знаешь?

Омен мотнул головой.

— Это когда люди на одном конце света с помощью телекамер общаются с людьми на другом конце. У нас с тобой все проще: и страна одна, и есть скайп — компьютерный телефон с видеокамерой. Начинаем сеанс видеосвязи. Прием, прием...

Компьютер закрывал отрывистыми гудками. Омен поморщился. Христофоров явно хотел над ним подшутить.

На экран всплыла лысая, размером с изрядный чайник, голова какого-то мужика.

— Прием, прием, алло, — загудела голова.

— Москва на связи, — торжественно возвестил Христофоров, будто посылавший сигнал в космос.

«На связи», — как эхо повторил про себя Омен, еще не понимавший, в чем дело, но зачарованный подготовкой к неизвестному. Он подался вперед: ведь если Христофоров позвал, голова скажет что-то, лишь ему адресованное.

Однако лысая голова исчезла, а ее место заняла другая — в белом платке. Эта голова вглядывалась, не мигая, словно хотела что-то прочитать по ту сторону экрана. Вернее, по эту, где сидел Омен.

Он даже не сразу понял, что голова — женская. Когда понял, зажмурился от догадки и на всякий случай уточнил:

— Мама?

— Мамка, — поправила голова знакомым голосом. — Мне сказали, что ты меня ищешь, а я уж думала, давно вы меня забыли.

Омен помотал головой и закусил губу. Он не помнил, когда плакал в последний раз и плакал ли вообще, а тут — в глазах защипало.

«Заяц написал», — так говорила бабка, когда дети терли под вечер глаза. Прискакал тот заяц через заснеженные километры, взял да и написал прямо в глаза Омену. Сделал свое мокрое дело — и подтаял Судья-ледышка, полился слезами, захлюпал носом так, что на Христофорова было страшно поднять глаза: он не узнавал Омена, совсем не узнавал, как будто перед ним сидел другой ребенок.

Омен оглянулся — нет Христофорова, он один в кабинете. Не зная, куда говорить, перегнулся через стол и прошептал прямо матери в ухо:

— Я к тебе ехать хотел, мамка.

— Не надо, плохая я, — ответила она откуда-то сбоку.

— Хорошая, — убежденно сказал Омен. — Только ты сама этого не знаешь.

«Хорошая, — с досадой повторил Христофоров, стоявший за неплотно прикрытой дверью, словно двоечник. — Хороший — это начальник колонии, который на мой запрос откликнулся и отыскал мамашу для родительского вечера. А вот я хорош: не раскусил Омена... Обвел меня мальчишка вокруг пальца».

Он не мог видеть и только догадывался по долгим паузам, как мать всматривалась в сына, впервые за несколько лет, а может, и вовсе впервые — трезвым взглядом. Сын глядел на мать, узнавая и не узнавая одновременно.

На Омена смотрела обычная женщина: немолодая, усталая и не очень красивая. Похожая на тех, что приходили в родительский день. Точно не принцесса.

Он рассчитывал подготовиться к встрече за много дней пути. Не зная, когда ее увидит и увидит ли, он до сего момента так и не решил, какие слова будут сказаны. И теперь не знал, что делать с этой невестой откуда пришедшей на экран мамкой. Слова пришли нечаянно, самые простые:

— Я люблю тебя, мамка, — пробасил Омен не своим голосом и разревелся.

* * *

Карман брюк оттопыривался. Существо опустил в него руку — так лучше. Ручка от окна с коротким металлическим штырем — подарок не хуже, чем черевички, добытые кузнецом Вакулой, о которых читали еще в пятом классе. Элата походила на Оксану: скажет — как отрежет. Правда, ему она еще ничего не говорила.

На макраме он старался сесть позади нее, чтобы не косить глаза и не оглядываться. Вязать безделицы из узелков было не по-мужски, даже обидно, но он представлял, что занимается настоящим делом: сидит на берегу моря и плетет рыбацкую сеть, чтобы прокормить всю деревню, а главная красавица у них — Элата.

Или нет, зачем ему кормить всю деревню? Лучше так: Элата — ведьма, которую выгнали из деревни, а он — одинокий охотник. Нашел ее в лесу, замерзшую и голодную, отчаявшуюся найти спасение, потому что на самом деле деревенские напутали, никакая она не ведьма, просто не повезло родиться с рыжими волосами. И вот он готовит сеть, чтобы наловить рыбы и накормить красавицу.

Рядом сопел Фашист, которому, к счастью, все равно, где сидеть. Может быть, он тоже представлял что-то героическое. Существо надеялся, что не петли виселиц. Дело ладилось, и даже кружевные салфетки, за которыми их отправил Христофоров, выходили не хуже девичьих.

Наверное, Элата и впрямь была ведьмой. Она как будто спиной чувала, что он то и дело вскидывает взгляд от плетения и смотрит на нее. Когда занятие заканчивалось, она оборачивалась единственный раз и взглядывала прямо ему в глаза. Так, будто знала о рыбацкой сети.

Он чувствовал, какими горячими становятся уши, и жалел об обрезанных патлах: за ними, как под шапкой, ушей не видать. Ночью ворочался в кровати. Сюжет с ведьмой раскрашивался новыми красками, обрастал деталями и обрывался на одном и том же кадре.

Он вытаскивает полную рыбы сеть на берег и зовет рыжеволосую ведьму. Она

оборачивается к нему, как на занятии по макраме, и смотрит: ровно, серьезно, чуть удивленно, будто видит впервые.

В этом удивлении — свое очарование. Словно надо знакомиться заново, начинать все с нуля. Не топтаться на месте, а идти и идти навстречу, каждый раз оказываясь на шаг ближе.

Занятие разделялось перерывом, но на школьную перемену он похож не был: из класса не выпускали. Девочки болтали. Парни пережидали молча.

На перерыве они и подслушали разговор о том, кто какой подарок на Новый год хочет. «Хочу то, не знаю что, — скала Элата. — И чтобы ни у кого такого подарка не было, чтобы я удивилась!»

— Есть такой подарок, — шепнул Фашист. — Я тебе его покажу, когда в палате одни останемся.

Через два дня Существо нырнул под кровать Омена, ощупал все неровности и взглянул на приятеля с удивлением.

— Как ты узнал?

— Давно заметил, когда еще в «собачий кайф» играли. Ты-то старался, кайфовал, а мне быстро надоело. Душил ты меня слабо, так что я только вид делал, что кайф ловил, и сочинял, что рыжую видел, чтобы тебя позлить. Уж очень ты смешно злишься. Раз глаза только чуть-чуть прикрыл, смотрю: он под кроватью копошится. Наблюдать начал. Потом сам залез: когда все на обед пошли, специально задержался. Вот и нашел то, из-за чего шухер был.

— И никому не рассказал?

Фашист задумался, будто припоминая, а потом хлопнул Существо по плечу.

— Нет. Начнут разбираться — всем влетит.

— А мне это зачем?

— Подарок хороший. Как раз то, что тебе надо.

— С чего ты взял?

— Так всё макраме знает, — хохотнул Фашист. — Тут же психи, а не слепые. Такого подарка в дурке ни у кого не будет! И на свободе тоже. Мне для друга ничего не жалко.

* * *

Коварство злых гномов уже раскрыли, отец Варсонофий красной рукавицей вытирал со лба пот и готовился развязать мешок с подарками от спонсоров больницы, туманно названных в сценарии двенадцатью месяцами.

Спектакль готовился один для всех отделений, менялось только содержимое мешка, с которым следовало быть начеку. Однажды в меценатах оказался американский фонд охраны психического здоровья, умудрившийся по простоте душевной или, напротив, по хитромыслию подпихнуть в подарки упаковки презервативов. Варсонофий придерживался первой версии, Христофоров — второй, но к выводу пришли общему: может, оно и неплохо, что фонды эти вскоре позакрывали, а ну как голландцы подарки слать начнут.

Резиновые изделия, летавшие тогда веселыми воздушными шариками по всей больнице, стали местной легендой. Она неизменно оказывалась известной всем новым пациентам, поэтому, когда отец Варсонофий справился с узлом на мешке, в зале раздались смешки.

«Как бы не так», — подумал Варсонофий. В мешке лежали калькуляторы, из которых накануне они с Христофоровым целый час вынимали батарейки. Потрошенный калькулятор — подарок безобидный, а батарейки проглотить можно.

Младшим отделениям дарить подарки просто. Избежать толкучки помогала игра «Закрой глазки»:

— Сядьте на стульчики, закройте глазки, вытяните ручки, — речитативом пел отец Варсонофий и ловко раскладывал в протянутые руки подарки.

Усадить старших было сложнее. Они не слушались, вертели головами, галдели,

боялись, что на всех не хватит, толкали друг друга. Сидевшие у стенки воспитатели вставали и, ринувшись в толпу наводить порядок, только добавляли сумятицы. После раздачи подарков в зале приглушали свет, включали гирлянды и объявляли дискотеку.

— Не толпимся, не пихаемся, — закричал отец Варсонофий как перед лекцией, забыв, что он — Дед Мороз, и вытащил первый калькулятор.

— Пошли, — шепнул Фашист.

Существо сжал в кармане оконную ручку и послушно двинулся следом.

— Куда? — спросила сидевшая у выхода Анна Аркадьевна.

— В туалет, — жалобно сказал Фашист и кивнул направо в сторону уборной.

— Терпят до последнего, а потом донести не могут, — сказала она, поглядев на Существо, с мученическим видом засунувшего руку глубоко в карман.

— Анна Аркадьевна, поднимитесь в отделение, Христофоров просил, — подошла к ней кастелянша.

Воспитатель еще раз неодобрительно смерила мальчиков взглядом, но пропустила вперед и направилась к лестнице.

— Быстрей, — скомандовал Фашист.

В два шага Существо очутился у окна. Руки оказались потными, ручка скользкой как змея. Мимо, мимо, мимо...

Все, вошла до упора. Поворот и — морозный воздух взрывной волной ударил, оглушил, обездвижил. Привыкшие к больничному духу легкие обожгло кислородом, и перед тем как расправиться и задышать в полную силу, они словно сдулись, выпуская из себя суррогат.

Закружилась голова, Существо чуть не упал с подоконника. Откуда-то изнутри, раздвигая ребра, навстречу настоящему воздуху и свободе рванулся небывалый восторг.

— Скорее, — торопил карауливший у дверей Фашист.

Существо пружинисто приземлился на снег и оглянулся. Распахнутое окно совсем невысоко, обратно можно залезть, подпрыгнув и подтянувшись на руках, — лишь бы не поймали.

Окна зала, задернутые плотными шторами, светились за выступом стены. Он не отказал себе в удовольствии раскинуть руки, как птица расправляет крылья, и описать полукруг, прежде чем принялся за дело.

Снег набился в ботинки, под носки, намокли ноги. Ладони горели, уши полыхали, воздух вылетал изо рта и носа горячим паром — казалось, что сам он превратился в вынесенный на мороз кипящий самовар.

Схватил валяющуюся у стены ледышку и покатил по кругу. Снег оказался союзником: не рассыпчатым, а липким, податливым, словно спешившим на помощь нетерпеливому скульптору.

Первый ком уже стоял перед освещенными окнами зала. Второй — поменьше — он катил к первому плавной дугой, как самолет, заходящий на посадку. Оставался третий, когда его осенило. Он метнулся к отворенному окну, подтянулся на руках и просипел:

— Ведро! Ведро давай!

— Какое ведро? — всполошился Фашист. — Лезь обратно!

— В углу ведро стоит, ки́нь мне его.

— С ума спятил, поймают!

Красное пластиковое ведро вылетело во двор, рядом шмякнулась выпавшая на лету половая тряпка.

Больше всего Существо боялся, что кто-нибудь распахнет шторы на большом окне, словно откроет без спросу театральный занавес, обнажив публике неготовые декорации и мечущегося между ними актера. Но окно мигало дискотечными огнями, значит, публика заняла себя сама и основное действие происходит там — внутри, а не здесь — снаружи.

Возле окна он наклонился и загреб окоченевшей пятерней снег, слепив из него

снежок. Опустил в карман и подпрыгнул, стараясь уцепиться за раму. Замершие руки не слушались и соскальзывали, а тело сделалось тяжелым, как бревно. На помощь пришел Фашист: подбежал к окну и втащил его за плечи на подоконник.

Щеколды на дверях, как и во всех больничных туалетах, не было, войти могли в любой момент. На счастье никто не вошел — спасибо затянувшейся раздаче калькуляторов и началу дискотеки: на первых песнях определялись фавориты вечера, никому не хотелось упустить шанс оказаться лучшим.

Впрочем, дискотека набирала обороты, и первые аутсайдеры уже заняли место вдоль стен рядом с воспитателями, кто-то отправился в уборную. Прежде чем дверь распахнулась, Существо успел закрыть окно, выдернуть ручку и метнуться в кабинку. Там он, стоя сначала на одной, потом на другой ноге, снял ботинки и вытряхнул из них снег. Оконную ручку приладил за унитаз так, что и не видать. Снежный комок в кармане охлаждал ляжку, но пока не таял.

При входе в зал уже сидела другая воспитательница — из женского отделения. В уютном полумраке топтались пары.

Самым сложным казалось сделать «то, не знаю что», но как только они вошли в зал, сразу поняли, что гораздо сложнее сообщить о сделанном, желательно — незаметно.

Встав у стены, Существо делал вид, что не чувствует, как в бок его толкает Фашист, распираемый гордостью за двоих. Медленный танец сменился быстрым, пары распались, каждый задергался в своем ритме. Воспитатели сфинксами сидели на стульях, но, если приглядеться, можно было заметить, что и они нет-нет да и отбивали ритм каблуками. К наглухо задрапированному окну никто и не думал подходить: тяжелые воланы посеревших от времени штор казались гипсовыми.

Существо еще долго стоял бы и собирался с духом, но снежок в кармане начал таять и потек струйкой по ноге, обещая предательски намочить брюки и излиться подозрительной лужей. Рыжие волосы мелькали совсем рядом, отливали мерцающим золотым блеском, и, казалось, еще немного — не только снег, но и он сам растает вблизи этого огня, как Снегурочка.

— Здравствуй, — промямлил он, подойдя вплотную. — Закрой глаза и протяни руку.

— Это еще один подарок? — уточнила Элата.

— То, не знаю что.

Скользкий, талый комок снега, похожий на большой оплывший пельмень, чуть не выскользнул из рук, когда опускался в ее ладонь.

— Лягушка?

— Вот еще, — фыркнул подоспевший на помощь Фашист. — Настоящий снег!

Элата ойкнула и открыла глаза.

— Откуда?

Существо мотнул головой в сторону окна и произнес что-то нечленораздельное. Она подошла к окну и приоткрыла штору ровно настолько, чтобы просунуть голову. Штора поглотила ее вместе с кудряшками, а Существо с Фашистом мялись позади, будто помощники невидимого факира. Спина ее вдруг затряслась, а острые лопатки, перетянутые паутиной бретелек открытого на спине платья, поднялись домиком.

Вынырнув обратно, Элата протянула:

— Нууу, дуракиии!

Фашист тоже выглянул в окно. В освещенном квадрате, как в лучах рамп, стоял снеговик с красным ведром на голове. Точнее не снеговик, а снежная баба: из-под ведра свисала тщательно расправленная на обе стороны желтая тряпка.

* * *

«Никогда не меняйся своим дежурством!» — конечно, он знал эту заповедь, непреложную, как и всё, о чем предупреждает Минздрав, но нарушаемую столько раз, что само ее неисполнение стало заповедью.

По негласному больничному суевию дежурить следовало по своему графику. Попросишь коллегу подмениться — и не присядешь в чужую смену ни на секунду, тогда как сговорчивый товарищ будет скучать в твое дежурство все сутки напролет.

Христофоров поменялся на этот день, а потому с грустью вспоминал о суевериях. Он сидел над подписанной Славычем бумагой, подперев щеку левой рукой. Правая не спеша водила по листу ручкой. Гербовая печать уже превратилась в колобка, готового дать сдачи обидчикам с помощью длинных ручек или убежать прочь на тоненьких ножках. Подумав, он пририсовал ножкам ботинки и уже хотел приступить к извилистой тропинке, чтобы указать колобку путь между стройных рядов печатных строчек.

— Чепе! — без стука ворвалась в кабинет Анна Аркадьевна. — Побег! Пока вы тут со своими ботинками меня гоняете!..

— Какой побег? — вскочил с кресла Христофоров.

— Массовый! — выдохнула она.

Ступеньки лестницы уплывали под ногами, как будто он бежал по эскалатору, чего никогда в жизни не делал, будучи принципиальным противником всякой спешки. Голова кружилась. Он знал, что это только кажется, каменные ступени не могут прийти в движение, но все же боялся упасть и хватался за перила, но и они уезжали вниз, как поручни в метро.

Стены качались и расплывались, а он старался удержаться на ногах и одновременно прогнать дежа вю: точно так же ехала под ним постель прошлой ночью.

Тогда он проснулся от совершенно реального ощущения присутствия чужого. Этот чужой стоял за его спиной молчаливой черной глыбой. Христофоров хотел оглянуться, но какая-то сила приковала его к дивану так, что он не смог и пальцем пошевелить.

«Не дождетесь», — хотел прохрипеть он привычное, но неожиданно стал легким, как мотылек, и слегка приподнялся над своим телом, по-прежнему боясь повернуть ставшей невесомой голову, хотя мешал теперь только страх.

Парить над собственным телом было приятно и как будто не внове: он вспомнил полузабытые детские сны, в которых запросто переходил с шага на взлет, стоило только поджать ноги. Правда, тогда он летал в своем теле, но так же непринужденно и невысоко, а когда просыпался, тосковал от невозможности повторить такой простой и естественный трюк в реальности.

На этот раз парение оказалось недолгим. Едва поднявшись и осознав свой новый физический статус, он тут же шмякнулся обратно — в себя, на вращающуюся постель, которая будто хотела уехать из-под него — невесомого, но не успела и была вынуждена уgomониться под ним — вернувшимся. Когда постель остановилась, чужой позади исчез. Христофоров почувствовал это спиной и даже не стал оборачиваться.

Чужой приходил его проведать — и ушел. Наверное, у него было много дел и адресов тех, кого стоит проведать.

На первом этаже Христофоров отстал от Анны Аркадьевны, но безошибочно повернул к залу.

Ему навстречу выбежал халат Деда Мороза с совершенно неновогодной, обыденной головой отца Варсонофия.

— Туда! — указующим перстом развернул он погоню к вестибюлю центрального входа.

Пробегая мимо будки охранника, Христофоров с ужасом ожидал увидеть привязанного к стулу старичка с кляпом во рту, хотя такие побеги видел только в кино. Но охранник вскочил со стула и, не понимая со сна, что происходит, ринулся за ними,

потом опомнился и бегом вернулся на пост: в случае ЧП ему надлежало охранять больницу и всех сумасшедших, а не бегать по улице за спятившими докторами.

— Через окно в мужской уборной ушли, — на ходу крикнул отец Варсонофий, по военному взявший на себя руководство операцией по поимке беглецов.

— Как? — жалобно пропыхтел Христофоров, уже задыхаясь, но стараясь не отставать.

— Не уследили! Они по одному выходили! И бабы тоже! — докладывал Варсонофий. — Смотрим, а их все меньше. Я в галюн — окно нараспашку!

— Мы в зале караулили! — рапортовала Анна Аркадьевна откуда-то сбоку.

— К воротам и по периметру территории! — скомандовал Варсонофий и немногочисленный отряд в развевающихся белых халатах распался на две неравные части: желающих бежать напрямик к воротам оказалось больше.

Христофоров совсем запыхался и оказался посередине, а когда две уравненные по численности отцом Варсонофием группы рванули в разные стороны, вовсе остановился и с оханьем подпер фонарный столб.

Мужская уборная на первом этаже выходила окнами во внутренний двор. Не в силах бежать, для очистки совести он поплелся в этот двор, силясь представить себе масштабы постигшего больницу бедствия.

Его ботинки оставляли на искрящемся белом насте глубокие следы, которые сразу насторожили, но он еще не мог понять — чем.

«Одиночеством», — дошло до него в следующую секунду.

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться: сбежавшие через окно во внутренний двор больницы не могли из него улететь. Убегали они врассыпную или гуртом, но должны были оставить следы именно здесь: выход из двора, образованного глухой высокой стеной забора, учебным корпусом и стеной больницы, — один.

Ведущая во двор арка была уже близко, он перешел на крадущийся шаг, поскользнулся, удержал равновесие и замер. Гигантское существо ритмично чавкало вязнувшими в снегу конечностями. Он еще не видел его, но представил, как огромная сороконожка исполняет «ламбаду» или другой требующий изящества танец, но ноги заплетаются, и она плюхается в снег.

Войдя наконец во двор, он увидел это существо. Десяток темных фигур бежали по снегу и кидали друг в друга снежки. Молча. Если комок поражал цель, мишень не издавала ни звука, лишь молотила руками воздух в знак поражения, поскорее лепила новый снежок и вновь с азартом врзалась в общее броуновское движение, посреди которого вопреки законам физики отдельной, руководящей частицей мелькала рыжая голова.

Христофоров остановился в проеме арки и закрыл глаза, пытаясь унять сердце, которое подпрыгивало, как на батуте, до самого затылка.

Земля, как и лестница, захотела уплыть из-под ног, но он удержал ее, привалившись спиной к стене, вбирая в себя холод, рождавший крупную дрожь во всем теле и хоть на время прогонявший дрожь мелкую, тошнотворную, которая чутко дремала внутри и вскидывалась после каждого маломальского напряжения.

Конечно, во всем был виноват только он. Надо было сразу забрать у Фашиста чертову оконную ручку, поблагодарить за предотвращение побега и не позволять помогать Существо. Но Христофоров и сам так увлекся идеей диковинного подарка, что почувствовал себя мальчишкой, способным вылезти в окно наперекор правилам и запретам. Пошел на риск ради этих двоих, которым нужен был настоящий поступок, чтобы скрепить дружбу. «Туда-обратно — мигом, — напутствовал он Фашиста. — Ты назначен руководителем операции. Анну Аркадьевну я беру на себя». Даже дежурством поменялся. И вот как его отблагодарили.

— Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное, — сообщил радостный голос рядом.

Христофоров открыл глаза.

— Ты в отделении должен быть, — сказал он Шнырю. — Тебя Анна Аркадьевна пожалела и на праздник с собой взяла?

Шнырь радостно закивал головой и запустил в Христофорова снежок.

— Ах, так?! Ну держись!

Получив ответный бросок, Шнырь тут же забыл о конспирации, сохранять которую обещал рыжей девочке, и радостно засмеялся на весь двор.

Смех спугнул детей, игра прекратилась, они сгрудились возле снеговика, снова став похожими на большое бесформенное существо — запыхавшееся, тревожно дышащее, еще радостное, но уже испуганное.

«Гинтубуб», — всплыло в памяти Христофорова странное, рожденное в детских снах слово, и он вдруг заново, как много лет назад, испугался его, перестав различать знакомые лица. Гинтубубы как раз и были страшны своей безликостью, молчаливым сплочением и враждебной отчужденностью. Стояли в стороне и смотрели на маленького Христофорова, нырнувшего из реальности в их мир.

Как боролся он с гинтубубами и как склонял на свою сторону, когда встречал их на бескрайних просторах сна? Христофоров постарался вспомнить — и вспомнил.

Он сделал два шага от стены, неловко нагнулся и зачерпнул еще одну пригоршню снега.

— Чего ждете, бандерлоги? — крикнул он изучавшему его существу и, размахнувшись, отправил в него снежный снаряд.

Существо приняло вызов. Всколыхнулось, распалось на десяток фигур и приступило к обороне. После пары бросков в медлительного Христофорова дети осознали свое преимущество и продолжили броуновское движение вокруг снеговика со съехавшим набекрень красным ведром.

— Простите меня, — отчаянно шепнул Фашист, оказавшись рядом. — Я не виноват! Она у нас ручку отобрала, чтобы со всеми подарком поделиться!

Христофоров махнул рукой. Ясно, что во всем виновата вновь сработавшая болезненная метафизика: чего еще мог он ждать от рыжей девицы в чужое дежурство?

Очередной снежок засветил ему прямо в нос, а вслед за ним перед глазами взметнулись огненные кудри. Заключение в объятия, Христофоров успел лишь замычать, когда Элата чмокнула его в щеку и понеслась дальше.

Никто не смотрел по сторонам и уж тем более не задира голову вверх, а потому не видел Омена, глядевшего на снежную пальбу во дворе из окна третьего этажа. Анна Аркадьевна уже принесла ему зимние ботинки в подарок от Христофорова, который так и не понял, как Омен собирался бежать зимой в больничных тапочках.

Сплюснув нос пятячком, Омен внимательно следил за расстановкой сил на поле битвы. Он досадовал, когда неуклюжий Христофоров вновь и вновь становился мишенью, радовался, когда тому удавался меткий бросок и не чувствовал улыбки, поднимавшей уголки его губ.

Земля плыла под ногами доктора Христофорова, когда дети, весело толкаясь, залезали обратно в окно. Он подсадил хохочущего Суицидничка, который никак не мог подтянуться на руках и вскарабкаться сам. Хотел последовать примеру детей, но понял, что ставшее ватным тело не позволит лихо влезть в окно и ему. Дождался, пока Существо с Фашистом закроют окно с той стороны, на всякий случай погрозил им кулаком и побежал через двор к центральному входу.

Вдруг словно кто-то дернул рычаг — и земля, до этого скользившая под его ногами, понеслась куда-то с бешеной скоростью. Христофоров ничком упал на снег, успев только увидеть перед собой все освещенные окна больницы — и то единственное, из которого на него смотрел тетка Ванечка.

Мария Маркова

Кому, кому он белый свет?

* * *

Детский опыт к горю не приложишь.
Подорожник — ласковый листок.
Всё — побег из дома. Если можешь,
выбирай не запад, а восток.
Там звезда не медлит, отвечая,
память сердца — пепел и роса,
розовые свечи иван-чая,
огненная лесополоса.
Потеряться — дело непростое,
но уже на подступах к огню
слышен трепет — сердце холостое
превратилось снова в западню.
Человек улавливает ветер,
птиц, воды движение, стрекоз.
Вещи незатейливые эти
состоят из робости и слёз,
из стыда и страха, из желанья
дать всему любимому названья —
ты, и ты, и ты ещё, и ты, —
тыкать пальцем, детская забава,
но какая нежность в этом, право
слово, сколько чистоты!..

Маркова Мария Александровна — поэт. Родилась в 1982 году в Магаданской области. Окончила филологический факультет Вологодского педагогического университета. Автор двух книг стихов. Лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры (2011), фестиваля «Киевские Лавры» (2013) и др. Живет в Вологде.

* * *

Дитя, сегодня ты — дитя. О милое дитя,
не думай больше ни о чём, и день пройдёт шутя.
Серьёзный свет, серьёзный слог — откуда пустота?
Я преподам тебе урок, что всё, чему подходит срок,
съедают травы и песок
и мучает вода.

Ты станешь чем-нибудь другим.
Что было сердцу дорогим, уже при жизни — дым.
Цветущей ивы жёлтый дым и разговора душный дым —
воспоминаний дым.

А «дым» совсем как слово «дом», но помню я с трудом,
что был и он. А вдруг не он, и повесть не о том.
О настоящем снеге речь ведут порой цветы,
что ничего не убережешь, не скрыть от темноты.
Кому, кому он белый свет? Холодная весна.
Прохожий, мой тебе совет, купи себе вина.
Оплакивать — не утолять ни боли, ни тоски.
Купи вина, ступай гулять по берегу реки.

* * *

По небрежной, по прибрежной,
по присыпанной снежком —
шла по набережной нашей —
хорошо ходить пешком.
Жизнь неспешная, смешная.
Снег растает по весне,
и во сне трава лесная
подойдёт легко ко мне.
Подойдёт, и прикоснётся,
и обступит, холодя,
а потом и сон прервётся
слабым постуком дождя.

* * *

Где спит прекрасный мир — под снегом,
на том, обратном берегу,
побеги заняты побегом
от смерти в смёрзшемся снегу.
Растительных объятий влага —
дикарки мята и герань.
Существование — отвага,
отвар от холода и ран.

Земля проводит, как в больнице,
сон в белизне и жизнь в плену,
к пылице горячей медуницы
примешивая глубину
небес вечерних. Свет мой, вера
в тепло глубокой синевы.
В пределах города и сквера —
слепые поиски травы.

...и снежные густые хлопья
летят на тоненькие копы,
а там ломается и наст.
Вот так и свет настигнет нас
у леса, на тропинке дачной,
у подступающей реки,
среди живой травы невзрачной,
всему на свете вопреки.

* * *

И воду закрыло в шкатулке,
как незамутнённый топаз,
и время в глухом закоулке
застыло, разлившись, и нас,
разбуженных в тёплой постели,
захваченных сроком врасплох,
пустили скитаться без цели
на белый игольчатый мох.
Холодные земли обширны,
и льдистые тропы чисты,

и воздуха лёгкие ширмы
скрывают обвал красоты.
Но что же ты, сердце, трепещешь
и бьёшься над сутью всего,
над вымыслом жизни и вещи,
над тем, почему волшебство
зимы равнодушно к смотрящим
в её голубое окно,
как будто живых в настоящем
и длящемся нету давно?

* * *

Достала плащ, нашла в плаще
забытые билеты.
Была ли осень вообще,
и что теперь? И где ты?
«Где... я?» — смотрю на зеркала
и в каждом повторяюсь.
Не знаю, но была, была.
А где сейчас... Стараюсь
ответить, слов не нахожу
и так мучительно гляжу,
что хочется смеяться,
бояться, плакать, танцевать,
кривляться, корчиться, зевать.
И плакать. И бояться.

* * *

Самой лучшей песенке на земле —
это сердце бабочкой на игле.
Повторяй, насвистывай — не теряй.
Не теряй, насвистывай — повторяй.

Это лето кончилось — не узнать.
Зеркало поморщилось — неба гладь
затянуло ситчиком — сизый цвет.
Дождик ходит с ситечком. Каждый след
полон слёз потерянных по пути —
иногда за дождиком не пройти.

Ласковая песенка, не спеши,
вдруг ты остановишься — ни души?
Кинешься, оглянешься — и одна.
Никому — любезная — не слышна.

* * *

Я пёрышко нашла у кресла на полу,
и стала жизнь моя похожа на стрелу.
Куда летит стрела, кому принадлежит?
И почему лесок осиновый дрожит?

Скрывается олень,
и отступает в тень
кислица. Почему?
Я приближаю тьму?
Не я ли смерть всему
на свете?

Ответьте!

Ветер
верхний мир
проходит, как за вышивкой игла,
а я неумолимая стрела,
о ветер, будь со мною мил.

Не слышит!

И ближе, ближе
елей синева,
я помнила, что есть ещё слова...
Но вдруг забыла.
Необычайный миг — зелёная трава
лицо своё прозрачное открыла,

и я не ощутила торжества.

Алексей Иванов

Опыт № 1918

Роман

Глава 37

Наконец Сеславинский решил оформить документы по переводу в Угро. С утра, не заходя к себе, он поднялся на второй этаж на Гороховой, 2 и двинулся было в канцелярию, когда один из знакомых чекистов, пробегая мимо, махнул ему:

— Скорее, все уже собрались! — и видя, что Сеславинский смотрит на него непонимающими глазами, прокричал, уже скрываясь за поворотом: — Бокий из Москвы привез обращение ЦК о «красном терроре». Вроде бы Зиновьева ждут!

Сеславинский все-таки ткнулся в канцелярию, убедился, что там никого нет («Все на митинг!» — усмехнулся он), и вошел в зал заседаний, оттянув тяжелую дверь. В задних рядах черкали что-то в срочных «делах» и шуршали газетами, несмотря на строгий запрет на курение, во время собраний кое-кто все же смолил под шумок. Возле стола президиума, за которым сидели Бокий и Козырев, расположился небольшой, в несколько инструментов, духовой оркестр.

Появился Зиновьев в сопровождении двух телохранителей и быстро прошел в президиум. Один из охранников окинул зорким взглядом чуть загудевший зал, второй озирался, косясь на дверь. Переговорив о чем-то с Бокием, Зиновьев поднялся.

— Товарищи чекисты! — Он сразу взял высокую ноту, словно выступал на тысячном митинге. — Коварная рука англо-французских наймитов и вырождаков из эсеровского гнезда вырвала из наших рядов пламенного революционера, трибуна революции, Моисея Урицкого! Тяжело, но, к счастью, не смертельно ранен вождь пролетариата Владимир Ленин. Наши сердца переполнены гневом, и справедливым гневом, который клокочет и ищет себе выхода, товарищи!

Руководитель оркестра встал и, беззвучно продувая свою трубу, искоса поглядывал на Зиновьева, ожидая команды. Но Зиновьев, как известно, коротких выступлений не любил. Спустя полчаса, когда в зале начали подремывать и уже в открытую курить, он вдруг отбежал от стола к передним рядам и крикнул, грозно потрясая пальцем:

— Еще в «Очередных задачах Советской власти» Владимиром Лениным была сформулирована доктрина борьбы, поставившая задачу революционного террора во главу угла! Ленин указал нам, что диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть — непомерно мягкая, больше похожая на кисель, чем на железо... Никакой пощады врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на

жизнь, а на смерть! — Зиновьев закашлялся. — Далее! — он отмахнулся от Козырева, потянувшегося к нему со стаканом воды. — Тринадцатого июня был принят декрет о восстановлении смертной казни. С этого момента расстрел мог применяться по приговорам революционных трибуналов. Кто видел работу этих трибуналов? — Зиновьев пошел вдоль первого ряда, тыча пальцем в сидящих там. — Вы? Вы? Вы видели? Я не видел! — Он, наконец, взял протянутый ему стакан. — За май-июнь восемнадцатого года Петроградская Чека зарегистрировала семьдесят инцидентов: забастовок, митингов, антибольшевистских манифестаций. Участвовали в этих инцидентах преимущественно рабочие. Мне скажут, что «Собрание рабочих уполномоченных», организация-provokator, которой руководили меньшевики, распущена. Было арестовано более восьмисот «зачинщиков». А я спрошу вас, чекистов, «карающий меч революции», как вас называет Дзержинский: а сколько этих самых зачинщиков расстреляно? Сколько взято заложников? — Зиновьев хлопнул стакан на стол, расплескав воду. — Ленин посылает телеграмму в Нижний, где положение не хуже нашего... — Он начал рыться в карманах, вытаскивая смятые бумажки. — Вот... — Пенсне слетело с носа, он привычно поймал его. — Вот... «Надо напроцать все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. Ни минуты промедления! Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена охраны при складах, поставить надежных!» — Зиновьев поднял глаза на сидящих в зале. — А знаете, как заканчивает телеграмму Ленин? «Прочтите это письмо друзьям, ответьте мне по телеграфу или по телефону». Скажите мне, дорогие товарищи, а я верю, что здесь только товарищи и единомышленники, что я должен ответить товарищу Ленину? О чем рассказать? Чем ответил революционный Питер на кровавый акт террора? Тем, что расстреляли убийцу нашего трибуна Урицкого? Только-то?

— Арестовано больше пятисот буржуев, офицеров... — загудел зал.

— А расстреляно?

— Все пятьсот!

— И в Кронштадте чуть не тысяча!

— Тысяча человек на революционный Питер — это не цифра! — Он вслушался в гул зала. — Я понимаю вас, знаю, что вы работаете круглые сутки, но где же взять надежных людей? Когда на заводах — волынют, Путиловский и Обуховский — стоят, на Арсенале — митинги! Я не говорю про Кронштадт, там чуть ли не с оружием собрались выставить представителей власти!

«Тысяча расстрелянных — не цифра!» — Сеславинский как бы впервые увидел Зиновьева. Мясистый, с круглой спиной, всклокоченный, со срывающимся на бабий голосом, Зиновьев мотался перед столом какими-то порывистыми побежками, будто пол жарил пятки и он не мог стоять на месте.

— Пожалуйста, — выкрикивал Зиновьев, — в Нижнем — тысячи! Тысячи, товарищи чекисты! В Орле, в каких-то Ливнах чекисты применили против демонстрации пулеметы, а мы до сих пор не можем решить вопрос с волынщиками! Что я должен сказать товарищу Ленину? Написать — «Питерский пролетариат, питерская Чека бессильны? С комприветом — питерские чекисты»?

Зал перестал гудеть, болтовня Зиновьева наскучила. Мы мотаемся в летучих отрядах, гоняемся за конторой за гроши, за вонючий спирт, а ты нам читаешь мораль? Поучаешь и погоняешь?

Сеславинскому показалось вдруг, что все это сборище — наваждение. Путти, глядящие с потолка, стали вместо улыбок — скалиться. Кто этот суетливый человек, призывающий стрелять и стрелять, чтобы отчитаться перед Москвой? Чью волю исполняет? Что это за пролетариат, который для отчета должен кого-то расстреливать? Кого? За что? Кто требует этот злоедающий отчет?

Знакомая медленно-холодная волна бессилия начала накатывать на него. Сеславинский до боли сжал кулаки, стараясь сосредоточиться на побелевших костяшках, чтобы не слышать Зиновьева.

— Революция требует крови! — Зиновьев вскинул руку вверх. — Кровь — горячее и цемент революции! Пролетариат поддержит наш революционный порыв, товарищи! На смерть одного нашего борца мы ответим тысячами и тысячами смертей врагов революции, буржуев и богатеев! Да здравствует красный террор, товарищи!

Сеславинский давно не бывал в Чека, тем более на общих собраниях. Работа в Угро не позволяла, не оставляла времени. Или не было желания заглянуть в эту банку с ядовитыми пауками? Он застыл, слушая Зиновьева, Бокия, гул зала, комментарии (в основном матерные) выступлений и такие же комментарии к комментариям. Его будто сковал паралич, как когда-то, летом шестнадцатого: странная глухота (он все слышал как сквозь вату), невозможность отвечать на вопросы — и при этом абсолютная ясность и четкость мысли, словно кто-то, как позицию противника через визир наводчика орудия, приближал и прояснял события.

Тогда, в шестнадцатом, они с поручиком Чиженко, ловким и оборотистым малым (ценнейшее на фронте качество), лежали в глубокой воронке, покуривали и смотрели в голубое небо, которое медленно расчерчивали несколько наших «фарманов» и немецких «фоккеров». Шел воздушный бой, и за ним наблюдали и наши, и немцы. Все устало от рукопашных и смертей, и наблюдение за воздушным боем, таким далеким и нестрашным, было маленьким развлечением.

— А знаете ли вы, Сеславинский, — Чиженко заслонял глаза от солнца ладонью, — что «фоккер» — единственный самолет, который стреляет сквозь лопасти винта?

— Нет, — лениво отвечал Сеславинский.

— Представьте, там стоит специальный синхронизатор. И пулемет стреляет ровно тогда, когда винт... Вы что, спите, Сеславинский?

— Дремлю... Под ваш рассказ так славно дремлется...

Даже когда с «фармана» вывалился маленький комочек и полетел вниз, Сеславинский и Чиженко не сразу поняли, что это летчик. «Фарман» продолжал еще какое-то время лететь, пока не полыхнул черным дымом — преследовавший его немец все-таки попал. Падающий черный комок на их глазах превращался в человека, размахивающего в воздухе руками, пока не грохнулся где-то неподалеку. «Надо бы сходить, глянуть, что с летчиком», — сказал Чиженко, не выпуская изо рта по-особому смятый мундштук папиросы и шурясь от дыма. При этом он смотрел на Сеславинского взглядом бывалого, лихого солдата, хотя и прибыл в полк позже, и ничем в боях себя не проявил. Это был какой-то особый взгляд-команда, взгляд с прищуром, будто подначивающий: «Ну что, пойдешь? Или мне идти, тебя прикрывая?» И Сеславинский, будто замороженный этим взглядом, выполз из уютной, обжитой воронки и пополз, а потом даже встал и, пригибаясь, побежал в ту сторону, где, как ему казалось, упал летчик. Взрыв сзади грохнул неожиданно, но Сеславинский привычно рухнул на землю, вжался, стараясь стать невидимым, и закрыл голову руками. Свистнули осколки, сыпануло землей, потянуло вонючим пороховым дымом. «Снаряд», — отметил Сеславинский, развернулся и по-пластунски, как вбили в голову в Корпусе, пополз обратно. Земля странно изменилась: несколько секунд назад здесь была веселенькая, цветущая полянка, ползти и бежать по которой было одно удовольствие. Сейчас земля была черно-желтой, с вывороченным брюхом, с опалинами огня и дымящимися, отвратительно смердящими комьями. Обжитая, «наша» воронка разрослась втрое. И на ее краю лежал засыпанный землей Чиженко. Сеславинский потянул его за сапог и вдруг, по его легкости, понял, что это не Чиженко, а отдельная нога его. В начищенном сапоге со шпорой (шпорами Чиженко, кавалерист, гордился). И Сеславинский, как сомнамбула, не слыша и не видя снарядов, встал и принялся

собирает Чиженко, прикладывая отдельные части тела, куски к ноге, к более крупной части туловища, будто хотел собрать и восстановить его. За этим занятием его и застали батарейцы, приползшие спасать своего командира. В блиндаже его отпаивали чаем и местной водкой, обсуждали, следует ли его направить в тыл, говорили что-то о контузии, о чем-то спрашивали и печально качали головами, не получая ответа и убеждаясь, что он их не слышит.

Может, это и вправду была контузия? Но Сеславинский, благодаря ей вдруг увидел и понял главное, чего не видел до сих пор: весь ужас и всю бессмыслицу войны. И гибели летчика, ватной куклой с болтающимися руками летящего вниз, и лихого Чиженко с папиросой и взглядом, посылающим вперед, и полянку, превратившуюся в горелое поле смерти, усыпанное ошметками человеческого тела, навечно отторгнутыми друг от друга какой-то неземной, дьявольской силой, торжествующе воняющей и дымящей на бывшем поле.

Столбняк, охвативший Сеславинского на том чужом, неродном поле, так никогда и не покинул его. Просто он время от времени отступал, прятался за дымовой завесой текучки, позволяя жить, дышать, делая вид, что ты такой же, каким был всегда. Такой же, как все.

— На белый террор ответим стократным красным террором! — снова вскинул руку Зиновьев.

Бокий, откинувшись на стуле, поверх головы «лавочника» рассматривал из президиума зал: «Лавочник, даже тут он все считает на папенькиных счетах!» А зал? Вот материал, с которым приходится работать. Обленившиеся, тупые исполнители. Разве что один-два человека способны проявить инициативу. Он вспомнил Микулича. Эти московские дураки и вельможи дали Микуличу удрать. Хорошо еще, Барановского с липовыми документами схватили. И уничтожили вовремя. Вообще следует признать, что операцию провалили. Непрофессионалы. Хотя у нас тоже не без сбоев: немцев-стрелков эвакуировали с места покушения толково, через выход на Мойку, а вот Каннегисера следовало бы шлепнуть сразу. Меньше было бы хлопот.

Бокий вскинул глаза, услышав Зиновьевское: «А вот что нам товарищ Бокий скажет?»

«Лавочник!» — опять хмыкнул он про себя и встал.

— Боевые, революционные товарищи! — Бокий придал голосу чуть хрипотцы. — Партия сегодня поднимает нас в атаку. На буржуев, на офицеров, на попов, жиреющих на народные деньги, на всех, кому в голову придет оказывать нам, революционерам, сопротивление. Мы и прежде не отсиживались в окопах, но сейчас прозвучал сигнал, который передал нам товарищ Зиновьев, и по звуку этой трубы мы как один поднимемся в атаку. Чего не хватает нам, товарищи? — Он послушал гул зала. — Нам не хватает революционной организованности и дисциплины. Мы не создали, как намечали, летучие отряды для арестов, мы либеральничаем с заложниками, — Бокий сделал паузу. — А они с нами миндальничать не будут! Они не только убили петроградского трибуна Урицкого, они сделали выстрел в сердце революции, в товарища Ленина! Чем мы ответим? — Бокий любил такие моменты вдохновения. В голове, пока он говорил, складывалась прекрасная, четкая картина действий Чека. — Аресты, задержания, взятие заложников, расстрелы — все это должно быть систематизировано: аресты — когда и сколько человек должно быть арестовано, заложники — надо отказаться от идиотской системы «брать богачей и уважаемых граждан», заложников надо не брать, а назначать. Заложники — наш гарант от контрреволюционных выступлений. Но надо знать, где их будем содержать, построить концентрационные лагеря. Пусть, кстати, сами их и строят. Расстрелы — отвратительно организовано дело. До сих пор сваливают трупы в ямы, выкопанные во внутреннем дворе Петропавловской крепости. Надо оборудовать специальные полигоны, предназначенные к расстрелам. Пусть сами копают рвы. Одежду расстрелянных следует учитывать, а не

давать расстрельным командам растаскивать то, что принадлежит государству! И последнее, если Григорий Евсеевич не захочет сказать вам что-то на прощание, — Бокий долго молча рассматривал зал. Пустые, уродливые, ничтожные лица. Не на ком остановить взгляд. Какие-то брейгелевские уроды. — Товарищи, боевые товарищи! — Он взял паузу. — Революция доверила нам, дала нам в руки оружие, более того, сделала нас — своим оружием. Чем мы ответим партии? Сплотим свои ряды, сомкнем их, ответим железной дисциплиной и беспощадным гневом к врагам!

Зиновьев, конечно же, взял слово после Бокия. Это правильно, точку должен ставить вождь. Слушали его плохо, зал гудел, в последних рядах, чувствуя, что дело к концу, снова закурили. Зиновьев пообещал прибавить жалованье (чего, собственно, от него и ждали) и сообщил, что хлебную норму в Петрограде удалось уже повысить со 120—180 граммов в сутки до 240, а в ближайшем будущем норма эта увеличится еще на 50 граммов.

— Хлеб есть, товарищи! — закончил он. — Но буржуи, кулаки и контрреволюционеры всех мастей придерживают его, прячут, не дают везти в Питер и Москву! Ответим им беспощадным красным террором, товарищи, как призывает нас партия большевиков! Нужно уподобиться военному лагерю, из которого могут быть брошены отряды в деревню. Если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет буржуазия. Ведь у них второго пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать!

Люди, собравшиеся в зале, каждый из них в отдельности, а Сеславинский знал многих, были совершенно похожи на обычных, нормальных людей. Они умели смеяться, петь, заводили семьи и ласкали детей. И только сейчас, когда они собрались в старинном зале с пилястрами, лепниной, беззаботными путти под потолком, взирающими на них, Сеславинский увидел, что все они, от истерически дергающегося Зиновьева до последнего моряка, смолившего в кулак, поражены страшным недугом. Что-то отличало их от обычных людей. Как что-то неуловимое отличает домашнее животное от хищного: то ли повадка, то ли посадка головы, то ли особый, быстрый, наглый, уверенный и в то же время осторожный, опасливый взгляд. Но это внешнее отличие их было лишь отражением той ужасной, заразной и поражающей навечно болезни, которая угнездилась в их головах. Мешая видеть, чувствовать, ощущать мир, как все люди, как был он задуман Всевышним. И Сеславинский вдруг спросил себя: «А ты что здесь делаешь? Почему ты здесь? Почему ты свой для них»? Что сказал бы поручик Чиженко, если бы удалось собрать его? Как он смотрел бы на этих людей, призывающих к расстрелам, своим выбитым и висящим на кровавых ниточках глазом?

— А теперь, — Зиновьев махнул рукой в сторону оркестра, — теперь, товарищи, я предлагаю спеть «Интернационал»! — Он кивнул трубачу, тот скомандовал музыкантам, и Зиновьев запел почему-то по-французски. — *Debout! Les damnés de la terre! Debout! Les forcats de la faim!*

Оркестр чуть поперхнулся, но тут же взревел, перекрывая трибуну.

Тот спохватился и продолжил под нестройную поддержку рядов: «...кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Ве-есь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»

Сеславинский тихо выскользнул из зала и снова заглянул в канцелярию. Там в гордом одиночестве (по случаю собрания) сидела только пишбарышня Клара, которую он в шутку именовал Клариссой. Кларисса была прелестной дурочкой с одной очаровательной слабостью. Пользовались этой ее слабостью многие и многие, пока несчастная (так ли?) Кларисса не подхватила дурную болезнь. В чем неожиданно как-то по-детски непосредственно призналась, размазывая тушь, Сеславинскому, когда они сидели в столовой: «Не смертельно, но крайне неприятно!» Сеславинский

слабостью Клариссы не пользовался, но обещал помочь. И помог: всемогущий, как уже выяснилось к тому времени, Петя Иванов отвез бедную Клариссу к доктору. Кстати, тоже боевому офицеру.

Чувствуя спиной спокойный холод столбняка, Сеславинский небрежно устроился на стуле возле Клариссы, закинув ногу за ногу, и как бы случайно взял в руки листок из тех, что она печатала. Это был список назначенных в заложники.

— Над чем трудимся? — Сеславинский, косясь в список, попробовал завести светский разговор.

— Понятия не имею! — Кларисса сидела за сверкающим никелем «Ундервудом» с громадной кареткой. — Я никогда не вчитываюсь. Мне это неинтересно! — Кларисса игриво посматривала на Сеславинского. — А что это вас не видно? Болеете или манкируете? У нас тут все в последнее время прямо с ума посходили! Какие-то летучие отряды, куда-то ездят, носятся, злые, как черти! А пьют! — Она закатила глазки к потолку.

На первом листочке было набрано крупно, как заголовок: ДВОРЯНЕ. И дальше шел список — плотно, фамилия к фамилии, без пробелов... Сеславинский успел рассмотреть: в списке 59 человек — князя Сергей, Федор и Николай Урусовы, князь Леонид и Владимир Шаховские, князь Туманов, граф Капнист, граф Бобринский, министры С.В.Рухлов и Добровольский... На другом листке: ГЕНЕРАЛЫ, ПОЛКОВНИКИ и ЛИЦА ИНЫХ ВЫСОКИХ ЧИНОВ... Мелькнули несколько знакомых фамилий... Третий лист: СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА. Список показался бесконечным — он переходил на следующие листки. Мелькнула знакомая фамилия Орнатский и кто-то (он не разобрал), еще через несколько строк бросилось в глаза: «настоятель Исаакиевского собора»... Возле двери уже слышались голоса, Сеславинский положил листки на место. Теперь надо сыграть местного ловеласа. Он улыбнулся Клариссе:

— Вы, я надеюсь, свободны сегодня вечером?

— Александр Николаич, вы прямо меня фраппируете! — Кларисса окончила частный пансион и никогда не забывала об этом. — Я для вас готова любые предложения отменить!

На этой фразе в канцелярию ввалились служащие во главе с ее начальником Инваром Лайценсом, братом личного охранника Ленина.

— Клар, почему в канцелярии посторонние? — как бы не замечая Сеславинского, проговорил Лайценс, проходя в дальнюю комнату, свой кабинет.

Кларисса очаровательно пожала плечиками, мол, что возьмешь с солдафона. Сеславинский кивнул ей и пошел вслед за Лайценсом.

Документы и полный расчет получить в этот раз не удалось. Но Сеславинский особо и не нажимал на начальника канцелярии: важно было удержать в памяти выхваченные из списков имена.

Пётр Иванов примчался на своем спортивном «Рено» мигом. И так же мигом сообразил все, о чем говорил Сеславинский. Они остановились на Конногвардейском бульваре, Пётр переписал все запомнившиеся Сеславинскому имена и попросил час «на раздумья» — необходимо было выяснить адреса перечисленных в списке.

Вечер и ночь прошли в непрерывных разъездах по городу и в непрерывных объяснениях с десятками самых разных людей. Большинство из них не верили ни Петру, ни Сеславинскому. Списки заложников — это невероятно! Да, слышали, в какой-то не то Курской, не то Орловской губерниях было такое, но чтобы в Петрограде... увольте, голубчик! Расстрелы отменены законом, это какая-то провокация...

На Казанской, 1, у Орнатских, дверь отворила заспанная прислуга-монашка. Появилась взволнованная матушка, выслушала Сеславинского и тут же распорядилась разбудить младшего сына, пусть предупредит настоятеля Исаакиевского собора.

— Я имени не разобрал, — смутился Сеславинский.

— Протоиерей отец Николай. Смирягин его фамилия. Не беспокойтесь, предупредим.

— Елена Николавна, я знаю, что отец Философ арестован, но фамилию «Орнатский» я видел точно!

— Это значит брат батюшки, Иван Николаевич. Он на Графской, в храме Серафима Саровского служит. И домик летний у него там. Не беспокойтесь! Я сейчас же, мигом детей пошлю. Горе-то какое! — она по-бабьи, по-старинному пригорюнилась, опершись подбородком на руку. — Про батюшку нашего что слышно? Народ все собирается крестным ходом идти на Гороховую, батюшку отбивать, да я отговариваю. Нету вины за ним такой, чтобы в тюрьме держать. Да и Николай с Борисом — всю войну отвоевали, с наградами вернулись... — Она опустила сверкнувшие слезой глаза и почти сразу подняла их. Уже чистые, промытые. — Я вас благословляю, — она перекрестила отдельно Петра и Сеславинского. — Благословляю вас и кланяюсь! Святое дело делаете! — и низко, в пол, поклонилась.

По некоторым адресам Пётр и Сеславинский опоздали, чекисты уже успели там побывать. После одной из таких разгромленных квартир Пётр вдруг сказал:

— Хочу отпроситься, Саша. Надо съездить к папе. Что-то душа болит у меня за него. На Гороховую уже вызывали и с обыском приходили, боюсь, как бы в третий раз в одну и ту же воронку снаряд не угодил!

Приехали на Смоленскую улицу вовремя. Остановился Пётр на заднем дворе, а парадные ворота запер на всякий случай на замок. И когда после получасовой битвы с отцом («Я не заяц, чтобы в своем городе от каких-то башибузуков бегать!») они вышли во двор, у ворот уже стоял чекистский «Форд», светя фарами в подворотню. Проходными дворами Пётр выехал на Смоленскую, пролетел ее лётom, свернул налево и, не жалея своего «Рено», погнал по страшному булыжнику Лубенской к Обводному каналу и дальше, дальше по набережной в сторону Лиговки.

На стук в двери к Ивановым вышел их сосед Милош. Громадный, двухметровый чех, бывший ординарец Иванова-старшего. Его и взяли, за отсутствием списочной персоны. Команда была — добрать до нужного числа. Так получилось, что преданный чех-ординарец дважды прикрыл своего командира. Первый раз — в бою, второй — во время ночного нападения чекистов. Еще одной, страшной и крепкой нитью навсегда связав эти петербургские семьи.

— Саша, — улыбаясь по обыкновению, поинтересовался Пётр, когда они, высадив Иванова-старшего, свернули с узкой, вонючей набережной Обводного и, перемахнув через мост, помчались по Лиговке, — как думаешь, оторвут нам голову за наши сегодняшние подвиги?

— Скорее всего, Петя, — он посмотрел на проплывающие мимо розово-желтые в рассветных солнечных лучах стены Крестовоздвиженской церкви и перекрестился. — Если кто-то из тех, к кому мы заезжали, донесет. Но, как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. Не жалеешь?

— Голову? — засмеялся Петя. — Голову — нет, но если честно, пожить еще хочется.

— Не голову, — серьезно сказал Сеславинский, — а то, что со мной мотался?

— Так ты бы без меня не управился! — Он вдруг резко свернул в переулок сразу за оградой церкви. — Тут местечко одно есть, — он подмигнул, — не первого класса, конечно, но рюмку водки с рыбным пирогом дадут.

— Какая водка? — удивился Сеславинский. — Солнце еще толком не поднялось!

— Водка — плохая, а вот пирог — что надо! Хозяин — рыбак, каждый день рыба свежая, — он свернул в темный, захламленный двор. — Я тебя потом к твоим ребятам в Угро завезу, покажешься им пьяненьким — и спать. Чтобы лишних разговоров не было, кто да куда ночью ездил. Выпивши был — и все. Спал, ничего не помню! — Он распахнул незаметную дверь, ведущую в подвал. — У русских пьяные всегда в почете! Прошу!

Из двери пахло дымным теплом, перегаром и свежеспеченным хлебом.

— Петро! — навстречу им двинулся курчавый, заросший бородой мужик в извозничьей поддевке. — Какими судьбами до нас?

— Да вот едем мимо, думаю, дай Василя навещу, а то давненько рыбника не пробовал.

— Вот и хорошо! — Мужик оглянулся, и мальчик-половой тут же пролетел мимо, кивая кудрявой головой. — Проходите, гости дорогие. Усади гостя, Петро, будь ласка.

Район Лиговки — Обводного канала был один из самых темных в Петрограде. И в лучшие-то времена чужие полицейские и даже жандармы предпочитали лишний раз туда не ездить. Вот и Сеславинский без Петра, даже если бы и нашел это «заведение», не рискнул бы зайти. И словно подтверждая мысли Сеславинского, к их столу почти сразу приблизился воровского вида паренек. В прохорях в гармошку, на выпуск косоворотка из-под клифта (пиджака) и лихой чуб на сторону.

— Откуда фраерочки, Василь?

— То, Слюсарь, не фраерочки, то гости мои дорогие! — Василь крепкой рукой с толстым обручальным кольцом на пальце взял подошедшего за запястье. — Иди, отдыхай, я за своих гостей мазу держу!

— Так его же прочитали, — чубатый кивнул на Сеславинского, — он с Гороховой нарисовался. И машина нам в масть будет.

— Иди, отдыхай, Слюсарь, и скажи кому надо, что то мои гости, — Василь чуть оттолкнул чубатого и обернулся к Сеславинскому. — Волнуются хлопцы, признали вас.

Позже, когда они рулили по проснувшейся Лиговке в сторону Николаевского вокзала, Пётр как-то мотнул головой назад, к расплавленной в солнце колокольне Крестовоздвиженской церкви.

— Василь — сотник казачий. С Дона. Я в первый призыв к ним в часть попал. К Василю под начало... А теперь, видишь, как жизнь повернулась. Казачий сотник — и малину держит!

Никто из тех, кого Пётр с Сеславинским старались спасти в ту ночь, на них не донес. До самого тридцать четвертого года, до «Кировского дела». Когда один из родственников князя Кочубея, не выдержав допросов в недавно выстроенном Большом доме, стал вспоминать что было и чего не было. И припомнил, как однажды приходил к ним в старую квартиру на Конногвардейском бульваре кто-то и предупреждал об арестах. Надо отдать должное НКВД, Сеславинского они вычислили. Но тому уже было все равно: он второй год ковырял кайлом золотоносную жилу в тысяче километров от Магадана. А вытащить оттуда человека на допрос даже в столичный Магадан — это «существенно улучшить его содержание в местах заключения». Что было не под силу и не прощалось даже очень могущественным людям.

Глава 38

Автомобиль, проехав пост охраны Смольного, покрутился на площади, свернул на Тверскую, Сергиевскую и остановился возле углового дома с башней.

— За разгром и нищету не обессудьте, — извинялся Иван Иванович Манухин, известнейший до революции доктор перед Владимиром Михайловичем Бехтеревым, пешком поднимаясь на пятый этаж. — Машина (лифт) само собою — не работает. Приходится все таскать на руках. В том числе и дрова! — Манухин шел впереди, тяжело ступая и держась за перила.

— Полно, — Бехтерев сзади разглядывал старенькое пальто Манухина, — ради удовольствия увидеть Татьяну Ивановну я готов не то что на пятый, на двадцать пятый этаж ползти!

Они вошли в громадную, пустую, выстуженную квартиру.

— Танюша, — Манухин приоткрыл одну из дверей, — к нам Владимир Михалыч Бехтерев нагрязнул, ты выйдешь? — И кивнул Бехтереву: — Сейчас выйдет, приведет себя в порядок слегка. Милости прошу в библиотеку, там солнце, хоть и сентябрьское, но все же греет. Страшная, знаете ли, холодина в квартире образуется, если ее не топить!

Сквозь стеклянные, кое-где приоткрытые дверцы книжных шкафов с бронзовыми египетскими фигурками виднелись почти пустые книжные полки. Бехтерев удивленно поднял брови.

— А, — махнул рукой Иван Иванович, — распродаю к чертовой бабушке! Хорошо еще, находятся люди, которые покупают книги. Мне ведь приходится консультировать и даже лечить кое-кого в Доме литераторов на Бассейной. Причем исключительно бесплатно... — Он смахнул пыль с кресла какой-то тряпкой. — Извините, Владимир Михалыч, живем без прислуги, как-то подзапустилось все... Татьяна Иванна одна не управляется... — Он сел напротив Бехтерева. — И литераторов лечу за немислимо жалкий обед! Щи из протухшей капусты, котлета из пшенки и еще черт знает из чего, а если малую прибавку для Татьяны Ивановны — приходится отдельно просить!

— Ванечка, вы здесь? — постучала Татьяна Ивановна в дверь и вошла, улыбаясь Бехтереву. — Владимир Михайлович, как я рада! — Они пошли навстречу друг другу. Плотный, живой Бехтерев — и Татьяна Ивановна, похудевшая, немного бледная, стройно поводя плечами с накинута на них шалью.

— Вам малые, как сказал Иван Иванович, литераторские добавки к лицу! — Бехтерев с удовольствием поцеловал ей руку. — Ничего, что мы здесь расположились и накурили уже?

— Да я бы и сама с удовольствием папироску выкурила, но Ванечка вот не разрешает! — Она любовно взглянула на мужа. — Все о моих легких печется. Я иногда к Зинаиде Николаевне (речь шла о Зинаиде Гиппиус, жившей с Манухиными в одном подъезде) прячусь, и там мы вдвоем покуриваем.

Бехтерев оглядывался вокруг, не узнавая кабинет недавно еще преуспевающего петроградского частного врача Манухина и отмечая следы разгрома: исчезли старинная золоченая люстра и канделябры со стола Манухина, исчез и роскошный ковер, подарок какого-то знаменитого иранца доктору за излечение сына от туберкулеза. Стены, прежде украшенные акварелями Бенуа, картинами Серова, Коровина, пейзажами Клевера, теперь были пусты и неопрятны, в углу висела на гвозде пустая золоченая рама. Татьяна Ивановна, извинившись, вышла из комнаты, и Бехтерев, чуть снизив гудящий бас, сказал Манухину:

— А ведь на писательские обеды, Иван Иванович, вы не проживете. — Он поднялся и начал прохаживаться по кабинету. — Простите, дорогой, не стал бы говорить, но Татьяну-то Иванну пожалуйть надобно!

— Я сам мучаюсь, Владимир Михайлович, — Манухин встал и чуть прикрыл окно, оттуда повеяло вечерним холодком. — Но не хочу я, хоть убейте, с этой властью сотрудничать! Мне, знаете ли, предлагают стать тюремным врачом в Петропавловке, в Трубецком бастионе, где они арестованных держат.

— Они же предлагают под эгидой Политического Красного креста работать, — Татьяна Ивановна вошла в кабинет и остановилась возле дверей почти напротив своего портрета едва ли не в рост, написанного Коровиным. Вечернее солнце, отразившись несколько раз в зеркальных стеклах, высветило портрет, словно на него был направлен электрический фонарь.

— Я работал от этого самого Креста, Танюша, — судя по некоторым ноткам, Бехтерев понял, что это старый спор, — пока в заключении находились члены Временного правительства, министры... А сейчас... Я все-таки должность тюремного врача перерос, моя дорогая.

— Но ты же все равно каждый день в этом Трубецком бастионе...

— Да, — кивнул Манухин Бехтереву, — это правда. Я поставил себе за правило начинать день с посещения Петропавловки. А потом уж — по частным вызовам!

— И в результате, — засмеялась Татьяна Ивановна, — в Трубецком работаешь бесплатно, благотворительно, а с частников деньги не берешь, видя, как они бедствуют!

— Ну, что делать! — Высокий, худой Манухин беспомощно развел руками. — Так получается, Танюша. Я же не могу обирать людей. Были бы у них деньги... или хоть какая-нибудь еда, разве они меня без гонорара отпустили бы?

— Ой ли? — по-деревенски протяжно сказала вдруг Татьяна Ивановна.

— Ты Горького имеешь в виду, дорогая? — И в ответ на ее кивок повернулся к Бехтереву. — История неприятная... как бы это сказать...

— Да так и скажи, Ванюша, — Татьяна Ивановна поплотнее укуталась в шаль. — Иван Иванович к Горькому несколько раз приходил — то прописи, то лекарства готовые приносил... А тут — попал к обеду. Все за столом сидят, соус мясной роскошный, овощи...

— Так огурцами свежими кто-то хрупал, у меня аж слюнки потекли, — засмеялся Манухин.

— Конечно, потекут, — перебила его Татьяна Ивановна, — мы перед этим чуть не сутки впроголодь сидели.

— Да я бы все равно не сел с ними за стол! — обиделся вдруг Манухин.

— Сел бы — не сел, а не пригласили — вот и весь разговор.

— Не пригласили, это верно, — что-то совсем детское было в этом высоком, сухом, широкоплечем человеке. — Но и пригласили бы — не сел!

— Так больше того, — Татьяна Ивановна прошла к столу и села возле Бехтерева, — я уж сплетничаю! Через день-другой приезжает Горький. На консультацию к Иван Ивановичу.

— И консультация была, и сеанс облучения, — поправил ее Манухин.

— Закончилась консультация, Горький и говорит: «Нельзя ли Гржебина позвать, он ведь с вами в одном подъезде живет»? Позвали этого жулика Гржебина.

— Танюша, Зиновий Исаич вовсе не жулик. Он делец...

— Ванечка, не мешай сплетничать! — улыбнулась мужу Татьяна Ивановна. — Приходит этот Гржебин, притаскивает Горькому каких-то японских божков, драконов, чудовищ из нефрита резаных, начинают они обсуждать, торговаться...

— Еще какой-то альбом с акварелями был! — вставил Манухин.

— Словом, сговорились на десяти тысячах, Горький бумажник вытащил, расплатился, Гржебин ушел. Горький как-то пригорюнился и говорит: «Денег жаль, конечно, но сделка уж больно удачная получилась!» Откланялся — и в дверь. И гонораром не стал обижать Иван Ивановича! Так и хотелось напомнить радетелю народному, что масло на рынке, из-под полы, под страхом, что поймают да на Гороховую, — тысяча рублей за фунт!

— А я в этот день как раз Зинаиде Николавне Гиппиус свое старье оттащил! — засмеялся Манухин. — Башмаки, галстуки, пиджаки... К ней какая-то тетка из деревни приходит, меняет вещи на еду...

— Так твоя-то коммерция не состоялась, Ванечка! Тетка твои вещи не взяла!

— Да, — грустно казал Манухин, — видно из Зинаиды Николавны фактор хуже, чем из Гржебина получился.

— А ты еще ему в издательство брошюры писать подрядился. И тоже — за грошики.

— Матушка, — виновато сказал Манухин, — меня ведь не переделаешь!

Бехтерев вынул часы, щелкнул крышкой и бодро произнес:

— Предложение-приглашение! Прошу вас ко мне, гарантирую неплохой ужин с кроликом и тушеной картошкой. Обещаю чистейший лабораторный спирт, разведенный клюквенным настоем, камин и для дамы — сюрприз.

— Владимир Михайлович, мы не готовы, — Татьяна Ивановна растерянно взглянула на мужа.

— А заодно я покажу вам кой-какие результаты нашей работы. Промежуточные, конечно, но любопытные...

— Неожиданно! — Манухин тоже оглянулся на жену.

— У меня сейчас никого нет! — Бехтерев со щелчком закрыл часы и подхватил свое пальто. — Полагаю, только доктор Мокиевский еще трудится. Остальные — поди все по домам. И справедливо. За те деньги, что мы им платим, я бы только приходил на службу — и тут же домой.

На улице стало уже темнеть. Бехтерев достал рукоять стартера, картинно и шутливо поплевал на ладони и дважды крутанул ручку. Мотор черно-лакового «Рено» чихнул, рыкнул и принялся урчать, как сытый большущий зверь.

— Прощу! — Бехтерев распахнул дверцу и посадил Татьяну Ивановну. Подождав, пока устроится длинноногий Манухин, Бехтерев сел на водительское сиденье и зажег фары, выхватившие застывшую в сумерках улицу, сделав тени возле Таврического сада почти черными.

Войдя в вестибюль своего дворца, Бехтерев отдал распоряжения относительно ужина и пригласил гостей наверх.

— Вы ведь у меня не были?

— Пресмешная история со мной приключилась, — Манухин пропустил перед собою жену и вошел в огромный, захламленный, заставленный разнокалиберными столами кабинет Бехтерева. Столы были завалены книгами, ледериновыми папками, амбарными книгами, рукописями... — Меня Горький решил как-то облагодетельствовать, — он взял под руку жену, помогая ей пробираться между столов и разнокалиберных стульев (тоже заваленных научным хламом) поближе к камину, возле которого стоял доктор Мокиевский, — и предложил расположиться с лабораторией в Павловском дворце! Представляете? Я ему объяснил, что я на такой вандализм не пойду, совесть не позволяет!

— А я вот пошел! Чем ночлежку большевистскую во дворце великого князя устраивать, так пусть лучше ученые поживут по-царски! — Бехтерев засмеялся, довольный собой. — Вы же знакомы? С доктором? С Мокиевским?

— Конечно! — Мужчины одинаково кивнули и пожали руки.

— Александр Иванович большой ваш поклонник, — Бехтерев кивнул на Мокиевского. — Он у нас, помимо научной части, еще и практикует помаленьку! И пользуется вашей методой, слабым рентгеном облучает селезенку. Говорит, поразительные результаты!

— Да, результаты могут быть удивительные! — Манухин придвинул кресло поближе к камину и усадил в него жену. — Мы с Танюшей поехали из Парижа в Италию...

— Мне надо было легкие подлечить! — подхватила разговор Татьяна Ивановна. — А Илья Ильич Мечников и порекомендовал ехать к Горькому на Капри.

— Вручил нам письмо! Капри, вилла Серафино! — пояснил Манухин.

— Надо сказать, — заблестела глазками, согреваясь, Татьяна Ивановна, — Горький выглядел ужасно! Больной, исхудавший, какой-то посеревший лицом, злой, одинокий...

— Какие-то у него семейные дразги были, мы не вдавались особенно, — Манухин тоже протянул к камину руки.

— В бабах погряз, запутался, — съехидничала Татьяна Ивановна.

— А в письме Мечников невероятно расхвалил мою методу... — Манухин сделал вид, что не расслышал ехидной реплики. — Это при том, что французские власти так и не дали разрешения опробовать метод. Конечно, мы с коллегой и помощником моим Гольдфарбом на себе испытания провели, но как лечебный метод — в зачатке.

— И тем не менее результат был поразительный! — Татьяна Ивановна повернулась к мужу. — Ты согласен?

— Ну, еще бы! — засмеялся Манухин. — Так хотелось тебя вылечить, что, кажется мне, любой препарат мог бы помочь!

— Но ведь и Горький вылечился! — поддержал Мокиевский.

— Да! — Манухин даже с некоторым удивлением посмотрел на Мокиевского. — Мы почти два месяца прожили на Капри, в Неаполе, каждый день процедуры, режим, питание: я специальный рацион для Татьяны Ивановны с Алексеем Максимычем разработал...

— А вот и наш рацион на подходе! — Бехтерев внимательно следил за тем, как Мокиевский помогает служителю подкатить столик поближе к собравшимся. — Александр Иванович, не осталось ли у нас нашей любимой?

— Непременно осталось! — Мокиевский отворил дверцы роскошного, наборного с бронзой и фарфоровыми вставками буля, из мебели великого князя, и вытащил оттуда здоровенную колбу с темно-красной жидкостью.

— Александр Иванович, — Бехтерев указал глазами на Мокиевского, колдовавшего с колбой, — методу вашу усовершенствовал...

— Я посылал Иван Ивановичу статью, — повернулся Мокиевский.

— Да-да, я помню прекрасно, — Манухин с интересом поглядывал на манипуляции с колбой. — Я тогда же вам ответил! И добавил относительно параллельного облучения легких...

— Александр Иванович расскажет после, — Бехтерев привычно достал из громадного рабочего стола рюмки, служитель помог извлечь из буля тарелки, ножи и переставил со столика-каталки пышущие жаром латки-утятницы. — Методу вашу он усовершенствовал. Какие-то дыры в свинцовой защите просверлил...

— А облучение увеличили? — Манухин тут же оторвался от созерцания колбы. — Сильно? У меня-то идея была, что, помимо запуска лейкоцитолита, хорошо бы и саму каверну расстрелять рентгеновскими лучами. Только вот как их направленными сделать? И как точно в нее попасть, чтобы здоровую ткань не спалить?

— А нам Абрам Федорович Иоффе целый агрегат изготовил, чтобы концентрировать лучи! — Бехтерев устроился поудобнее за столом и даже заткнул салфетку за галстук, демонстрируя полную готовность.

— Запах... — Татьяна Ивановна закрыла глаза. — Такой запах был только в детстве, когда готовили папенькиных зайцев. Они их с охоты привозили целыми возами.

— Ты говорила, что никогда этих зайцев не ела? — удивился Манухин.

— Да, о чем сейчас вспоминаю с сожалением, — улыбнулась Татьяна Ивановна, ласково поглядывая на Манухина. — Не ела никогда! Мне их было очень жалко!

— Как бы и мне не начать плакать, — улыбнулся Бехтерев, — пожирал лабораторных кроликов. Какие линии уже погибли! Восстанавливать придется годами! — Он сокрушенно покачал головой. — А теперь — гвоздь программы! Только у нас! Дамы и господа, прошу обратить внимание! — Бехтерев залез рукой в глубины стола и извлек оттуда бутылку красного вина. — Боже, это настоящее французское, Бордо урожая 1898 года! Вино, полагаю я, из царских подвалов! Это мне непосредственно в Смольном вручили за мои исключительные медицинские достижения! — пояснил он, отвечая на удивленный взгляд Татьяны Ивановны.

— Не обязательно из царских подвалов, — Мокиевский взял бутылку, изучил наклейки и ловко открыл, выдернув пробку с коротким, тугим звуком. — В Петербурге случались, говорят, винные подвалы и почище царских. Говорят, Валентин Платоныч Зубов большой знаток был по этой части.

— Почему был? — отозвался Бехтерев. — Мы с ним на днях виделись. Сидит в своей Гатчине, охраняет сокровища! — Он опять засмеялся. — Это, знаете, не при

дамах будь сказано, как бы сидеть на куче зерна и прутиком голодных крыс отгонять. Эффект — тот же. Крысы со временем жиреют и наглеют.

— На днях мы с Зинаидой Николаевной говорили на эту тему, — на лице Татьяна Ивановны играли блики от огня, разгоревшегося в камине, делая его моложавым, — она считает, что русская культура если и не умерла еще, то во всяком случае агонизирует.

— Агония, Татьяна Ивановна, — Бехтерев старинным мудреным штопором открыл вторую бутылку, — термин вполне и, я бы даже сказал, исключительно медицинский. Не вдаваясь в подробности его, я бы к культуре не стал применять сей термин. Культура, полагаю, — он внимательно рассматривал и даже нюхал пробку, — такая субстанция, которая умрет вместе с человечеством. А с первым воскресшим человеком — воскреснет.

— У нас из всей культуры скоро один Горький останется, — не без яду заметила Татьяна Ивановна. — Если его Зинаида Николаевна не проглотит.

— Нет, Горького проглотить трудно, — Бехтерев, полюбывавшись вином на свет, принялся разливать его, — мужчина он хоть не корпулентный, но крупный. А вот укусить ядовитым зубом — в этом удовольствии Зинаида Николаевна отказать себе не может!

— Они все про какую-то новую культуру талдычат, — Манухин внимательно наблюдал все манипуляции Бехтерева с вином. — А что такое ихняя культура, ума не приложу! Вся чепуха Маяковского да Кудрейки какого-нибудь теперь р-революционной стала! — Манухин раскатил «р-р-р».

— Или Хлебников, помните, Иван Иванович, он у нас читал?

— А как же! — Манухин кивнул жене. — Читал-читал у нас, мы всё понять не могли, заумь какая-то. Но честно слушали, аплодировали даже из вежливости. А после он вышел в прихожую, лег на диванчик, там и заснул!

— Так нализался? — Мокиевский принес, наконец, на стол свою сверкающую алмазной гранью и рубином напитка пирамиду.

— Абсолютно трезв был! — живо отозвался Манухин. — Абсолютно! Я его в гостевую спальню проводил, так он возмущался. Не привык, говорит, в роскоши спать!

— Поэты — наши с господином Мокиевским пациенты. Согласны, Александр Николаич? — Бехтерев, прикрыв глаза, смаковал аромат вина.

— Были наши, — усмехнулся Мокиевский. — Нынче — другой пациент пошел.

— Да-да, — закивал Бехтерев, — у Александра Николаича отбоя нет от новой знати. Прослышали, что он своим гипнозом от любимой русской болезни, от пьянства то есть, лечит, так чуть не в очередь!

— Ну, в очередь — это к вам!

— На имя клюют! — Бехтерев жестом пригласил гостей к столу. — Клюют, как плотва во время жора!

— Да, — согласился Манухин, — невероятно озадачены своим здоровьем!

— Даже оправдание придумали — мол, растеряли в царских тюрьмах и на каторге!

— И не так здоровьем, как именно-то долголетием! Хотят жить вечно! — Бехтерев с удовольствием выпил и принялся за кролика. — Но что больше всего их занимает, это всякие тайны. Особенно те, что с чертовщинкой, верно, Александр Иванович? Александр Иванович им сеанс гипноза продемонстрировал, так едва выставили отсюда — все требовали продолжения и повторения!

— Создали в Москве, при ВЧК, целый отдел, — Мокиевский, ухаживая за гостями, наполнял их тарелки. — Требуют туда нашего сотрудника, Барченко. Он им опыты по телепатии, телекинезу, передаче сигналов мозга на расстоянии продемонстрировал...

— Я полагаю, — перебил его Бехтерев, — самый-то интерес вызвали его рассказы про Шамбалу, про Гиперборею... Он огромный знаток Севера нашего, Сегозера, Кузовских островов. Там и верно, тайн множество хранится... — Бехтерев призадумал-

ся. — Вот бы выбраться туда, посмотреть своими глазами на каменные лабиринты, сейды — громадные камни, которые, говорят, перемещаются. Барченко шамана привозил с Сегозера, — поразительными способностями человек обладает! Видит за тысячу километров, и мысли читает, и в меряченье может погрузить людей...

— Меряченье — это что? — заинтересовался Манухин.

— Род гипноза, — отозвался Мокиевский. — Массовый гипноз!

— Не совсем, — Бехтерев повернулся к нему, — воздействие на мозг несколько иное... скорее, своеобразный полярный психоз...

— Я упростил, — согласился Мокиевский.

— Как я не люблю эту чертовщину! — Татьяна Ивановна покраснела от вина, еды, камина. — Им-то, властям, это зачем?

— Так они же миром повелевать хотят, голубушка! — засмеялся Бехтерев. — Сидеть хотят в своем Кремле, за высокой стеной, а чтобы города, веси и народы по их воле маршировали!

— Какой бред!

— А вот и не такой уж бред! — оживился Бехтерев. — Я, размышляя тут на днях об одном эксперименте, понял, что то, над чем я работаю, открыли уже наши большевики!

— Это каким же образом? — поинтересовался Манухин.

— Понял, как все великое, — по ошибке! — Бехтерев повернулся к Татьяне Ивановне. — Вы позволите?

— Я так и предполагала, что начнутся медицинские разговоры!

— Я попроще, попонятнее! — Он кивнул Манухину. — Представьте, вживляю электроды крысам, как всегда, — легкий поворот в сторону Татьяны Ивановны, — в центр удовольствия, наслаждения. И крыса перестает есть и пить, бежит в угол, нажимает педаль и блаженствует. Подключаю к полу электрический ток, и эта крыса...

— Фу, Владимир Михалыч! — Татьяна Ивановна сморщила носик.

— Простите, голубчик, — Бехтерев поднялся из-за стола. — Не буду больше! — Он кивнул Манухину: — Пойдемте, там у меня все записано! — и показал на лабораторный стол, стоявший в углу огромного кабинета. — А в этот раз, — он взял Манухина под руку, — я чуток промахнулся с электродом! Чуть-чуть, не сразу и заметил, а результаты — поразительные! Александр Иванович, — крикнул он уже через всю комнату, — вы Татьяну Ивановну не оставляйте без внимания, развлеките!

Манухин и Бехтерев уселись возле рабочего стола и принялись смотреть записи профессора. Он писал по-старомодному четко, красиво и подробно.

— Вот, обратите внимание, Иван Иванович...

— Да-да, я все вижу! — Манухин внимательно читал лабораторный журнал.

Бехтерев сидел, раскуривая сигару, с удовольствием посматривая вокруг. Он любил и умел получать удовольствие от жизни. Главным образом, от работы. Он давно уже приучил себя работать всегда и везде. Тренированный мозг легко переключался с одной темы на другую, послушно извлекая из памяти соображения, пришедшие в голову ночью. И до поры не востребованные. Сейчас он получал удовольствие от того, что привел в кабинет хорошего человека и прекрасного специалиста — Манухина, показал ему результаты эксперимента, пусть еще не законченного, привез и его красавицу-жену, накормил их чудным кроликом, согрел у камина... Камин создавал какое-то особое ощущение удавшейся жизни, которое Бехтерев любил.

Манухин оторвался от журнала.

— Чрезвычайно интересно, Владимир Михалыч, — он снял очки и потер глаза, — но, честно говоря, я не понял, где тут гениальность... Простите, но...

— Фокус вот в чем, — перебил Бехтерев. — Смотрите! Вот мы вживляем электрод, крыса бежит в угол, получает наслаждение — и все. Включаем электроток в полу клетки — она перестает бегать. Удар электричества сильнее чувства наслаждения, —

он пролистал несколько страниц в журнале. — Это пропустим, это пропустим... Вот. Вживляем электрод рядом с центром удовольствия. И она носится, нажимает педаль — все, как прежде. Но! — Он поднял палец. — Теперь включаем электроток, и что видим? Она носится от угла, где тока нет, к педали, что под током, и нажимает на нее бесконечно! Пока лапки не обгорают и не стираются в кровь! В чем дело? — Он строго посмотрел на Манухина поверх очков.

— Так в чем же?

— А в том, что место, в которое я вживил электрод, не дает крысе наслаждения! — он сделал паузу и победно посмотрел на Манухина. — Не дает! А только обещает его! Чувствуете разницу? Не дает наслаждения, но обещает его!

— Допустим...

— И наша красавица-крыса носится по подключенному к электротоку полу, жмет на педальку и ждет — жаждет обещанного наслаждения. До изнеможения, обдирая лапки, сжигая их, если увеличить напряжение, до самой смерти она бежит в ожидании обещанного наслаждения!

— И вы точно нашли тот участок мозга, который отвечает...

— Конечно! — Бехтерев торжествующе пыхтел сигарой.

— Гениально!

— Гениально, конечно, — Бехтерев был в восторге от самого себя. — Жаль только, что открытие это до меня сделали большевики!

— Как это? — не понял Манухин.

— Пойдемте-ка к столу, — Бехтерев поднялся. — За это открытие надо выпить. И кроме того, — он помахал рукой Татьяне Ивановне, — я бы на вашем месте не стал на долгое время оставлять жену с доктором Мокиевским. Это человек опасный!

Они устроились за столом, Мокиевский налил вина даме и взялся за графин, похожий на пирамиду.

— Наше изобретение, Иван Иванович, — сказал он. — Клюквенный экстракт. Точнее, спирт на клюквенном экстракте!

— Это отсюда словечко «наклюкаться»? — пошутила Татьяна Ивановна.

— Браво, браво, — даже прихлопнул в ладоши Бехтерев. — Мне это не приходило в голову. Так вот, господа, — продолжил он, выпив спирту и внимательно посмотрев, как пьет Манухин. — Как?

— Удивительно! — сказал тот. — Но крепковато для меня. Так я, знаете, могу не только наклюкаться, но и скапуться!

— Так вот, господа, пока не случилось ни того ни другого, — усмехнулся чуть подвыпивший Бехтерев, — растолкую вам всю гениальность большевиков. Вы, голубушка, смеялись, когда я сказал, что они хотят управлять миром на расстоянии, то есть внедряя свои идеи? А напрасно! Они нашли гениальный, заложенный природой и открытый мною, — он скромно потупил взор, — природный код. Сколько бы ты ни дал человеку или подопытной крысе, это безразлично, код один, тут Господь Бог особенно себя не утруждал, применял стандартные решения: сколько бы ты ни дал человеку — тире — крысе еды или наслаждения, ему всегда будет мало. Он будет недоволен. Неудовлетворен. Что делают большевики? Они, — он поднял палец, словно грозя кому-то, — они никому ничего не дают! Вот принцип! Но при этом обещают. И обещают — все! Земля — крестьянам! Жизнь — во дворцах! Еды — от пуза! Женщины — общие, не имеют права отказывать никому! Заботу о детях возьмет на себя государство! И люди, в точном соответствии с кодом, бегут за обещаниями, бегут, убивая тех, кто им мешает подобраться к обещанному, бегут, забывая дом, забывая дружбу и родство! А им кидают все новые и новые обещания, отделяя от них все новыми препятствиями. А? Гениально?

Над столом повисла тишина, лишь потрескивали поленья в камине.

— И уже рождается второе поколение крыс, которым не нужна реальность, они

живут во второй производной от реальности, их реальность — в стремлении к будущему, в дикой скачке...

— Владимир Михайлович, — в глазах Татьяны Ивановны стояли слезы. — Неужели мы все — не более чем подопытные крысы?

— Для них, — посерьезнел Бехтерев, — конечно! И даже — меньше. Потому что крыс надо хотя бы кормить, чтобы они выжили. А нас необязательно.

Этот вечер и этот разговор определили решение Манухиных — уезжать. Особенно, когда Бехтерев, доставивший их обратно на Сергиевскую на машине, прощаясь, наклонился к Татьяне Ивановне и прошептал: — Уезжайте немедленно! Немедленно! Иван Иваныча увозите, он здесь погибнет!

— Я даже не представляю, как это можно сделать?

— Через Горького! У него все налажено! — Бехтерев приложил к ее руке. — Не получится — звоните мне. Не зря же я их пользую. Вместо того чтобы крыс изучать!

Глава 39

Допрос патриарха длился уже несколько часов. И мальчишка-следователь, и унылый, сосредоточенный Евгений Александрович Тучков, представившийся как председатель комиссии по работе с церковью, уже подустали. Патриарх отвечал ровно, спокойно, иногда чуть улыбаясь, без иронии и снисходительности. Неожиданно, после телефонного звонка, чекисты взволновались, принялись поправлять форму и тревожно поглядывать на дверь. Дверь вскоре распахнулась, вошел сопровождаемый несколькими людьми в форме некрупный, суховатый человек и быстрыми шагами прошел к столу следователей, заняв место напротив патриарха.

— Узнаете меня? — спросил он, опершись обеими руками на стол.

Патриарх, чуть прищурившись, смотрел на него.

— Да, узнаю, видел на портретах.

— Вот и хорошо! — Вошедший кивком отпустил сопровождающих и следователей. Подождал, пока все выйдут. — Представлюсь на всякий случай. Свердлов, Яков Михайлович. А как вас именовать?

— Патриарх Тихон.

— Я знаю, в миру вы — Василий Иванович Беллавин. Я буду называть вас Василий Иванович. Не против?

Патриарх в знак согласия опустил веки.

— Признаюсь, Василий Иванович, я долго размышлял, стоит ли нам встречаться или нет. И вот видите — пришел. Хотя сразу скажу, в Бога я не верю.

— Не верующих в Бога людей не существует, — спокойным тоном, как отвечал следователям на вопросы о своей контрреволюционной деятельности, заметил патриарх.

— Как так? — искренне удивился Свердлов. — А атеисты?

— Атеисты — это те, кто против Бога, — патриарх положил руки на колени. — А раз против, значит, верят, что он есть. И беси веруют, дрожат, а веруют.

— Василий Иванович, — Свердлов, сняв пенсне, принялся потирать переносицу, — вы понимаете, что я пришел не дискутировать относительно религии.

Патриарх кивнул.

— Я хочу вам задать один вопрос. Напрямую! — Свердлов поднял подбородок и чуть подслеповато посмотрел на патриарха. — Скажите, почему вы не хотите сотрудничать с государством? Вы — я имею в виду церковь.

— Потому что я не вижу государства, — спокойно ответил патриарх.

— Как, — не понял Свердлов, — как не видите? Я — председатель ВЦИК,

правительства. Существуют Советы всех уровней... Что значит — вы не видите государства? Власть перешла к народу, Советы представляют народ...

— То, что вы захватили власть в государстве, я знаю.

— Мы создали новое государство, Российскую социалистическую республику!

Мы — власть на всей территории бывшей Российской империи! Вы согласны?

Патриарх чуть пожал плечами.

— Мы — власть! — Свердлов повысил голос и стал прихлопывать ладонью по столу. — А всякая власть — от Бога, так я слышал?

— Не всякая, — патриарх сидел спокойно, чуть наклонив голову. — Есть власть от Бога, есть — от дьявола.

— Нашу власть, я понял, вы относите не к Божьей?

— А вы как считаете? Полагаете, Господь вам власть передал?

— Мы не ждали власти от вашего Бога и ждать не будем! Мы сами ее взяли!

— Вот вы и ответили на свой вопрос, от Бога ли ваша власть. А еще в Писании сказано: по делам их судите их! Ваши дела пока — это истязания и убийства священнослужителей, счет которым пошел уже на тысячи. А ведь вашей власти еще и года нет!

— Вам не нравятся наши дела?

— Нет! — Патриарх смотрел с раздражающим спокойствием. — Я не вижу дел, которые я мог бы с чистой душой поддержать.

— А декреты о мире, о земле? Земля передана народу, вековая мечта крестьянства исполнилась! Земля — ключевой вопрос для России.

— Земля — дело Божье, крестьянину ведь не земля нужна, а то, что он на ней вырастит. А вы, землю давши, урожай, хлеб отбираете!

— А вот это уже — контрреволюция! — даже обрадовался Свердлов. — Мы пришли дать народу свободу! И все силы контрреволюции, объединившись, хотят нас задушить! Что мы должны делать? Сдаваться? Предать народ, который веками мечтал о свободе? Или отобрать хлеб у буржуев, накормить народ, чтобы он мог вышвырнуть контру и уничтожить навеки? А вы — на стороне контры, вы нам мешаете в момент, когда все силы народа напряжены и направлены на борьбу!

— Церковь никогда ни на чьей стороне не бывает! У церкви и государства — разные задачи.

— Лжете, Василий Иванович! — хлопнул по столу Свердлов. — Я читал ваше послание, анафематствование. Там вы призываете противостоять власти! — Он достал из папки на столе лист бумаги и начал читать, шевеля губами. — Вот! Вами писано? «Власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, над святой церковью Православной! — Свердлов добавил иронии в голосе. — Где же предел этим издевательствам над церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых?» И дальше, — он даже хохотнул: — «Зовем всех вас, верующих и верных чад церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей»... — Свердлов перестал ерничать и коротко взглянул на патриарха. — Это ведь вы писали?

— Конечно.

— Вы не отрицаете, что вы призвали к неповиновению?

— Я призывал стать на защиту церкви.

— Это не одно и то же?

— Не всегда. Защита — не всегда неповиновение. Я надеюсь, что слово священническое будет услышано властью как слово народа и власть прекратит поношение церкви и издевательства над ее служителями.

— Мы не признаем церковь как общественную организацию!

— Мы это поняли из ваших декретов, по тому, что закрыты банковские счета

монастырей, храмов, епархий, по тому, что изымается церковное имущество, монастырские помещения...

— Например?

— Монастыри и храмы в Кремле, монастырские помещения в святыне столичной, Александро-Невской Лавре...

— Столица у нас — Москва! И помещения в Лавре переданы под детский приют! А вами организованные крестные ходы против размещения бездомных детей в церковных хорах...

— Откуда вдруг столько бездомных детей? Вы считаете, что ваша власть к этому не имеет отношения?

— Не вам, Василий Иванович, не вашей церкви, веками обиравшей народ, судить нас! Мы окружены врагами, они пытаются задушить революцию, но мы этого им не позволим! Великий Маркс, надеюсь, вы знакомы с его учением, сказал: «Религия — опиум для народа!» И это — приговор вашей религии!

— Я не философ, и здесь, в кабинете Чека, не место для философских дискуссий. Я бы только напомнил вам, что это — не вся фраза Маркса. Она вырвана из контекста. Могу ошибиться, но постараюсь процитировать сколь можно точно, хоть с самой сутью и не согласен: «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков». И только потом — «Религия есть опиум народа».

— Ну, что я говорил? — Свердлов даже встал и перегнулся через стол, поближе к патриарху.

— Не забывайте, что работа эта была написана Марксом в 1843 году, когда опиум считался обезболивающим лекарством. Обезболивающим! А не наркотиком, как сейчас.

— Значит, по-вашему, религия — это лекарство?

— По-моему — нет! — Патриарх внешне был по-прежнему спокоен. Только близкие люди, взглянув на набрякшие, тяжелые веки и мешки под глазами, смогли бы понять, какого напряжения стоит ему этот разговор. — Это мнение Маркса, которого более я знаю как экономиста, а не как философа.

В разговоре наступила тяжелая, физически ощущаемая обоими собеседниками пауза, в которой каждый пытался понять: что же за человек сидит перед ним?

Два мира, волею судьбы соединенные в одном пространстве. Как легко сказать: дьявольские дела, дьявольские наваждения, дьявольские козни. Но как редко и как страшно увидеть перед собою земное воплощение лукавого. Не разбойника, волею судьбы брошенного в омут жизни, дрогнувшего от смертельного холода омута и как за соломинку схватившегося за руку посланца дьявола. Он, рукою этой погружаемый все глубже и глубже, инстинктивно, даже не будучи крещен, понимает всю глубину и мерзость своего падения. Понимание это — возможность к раскаянию, возможность в последний момент жизни, на кресте, крикнуть: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Свое!»

Человек, сидящий перед патриархом, был из тех, что сами себя именовали «профессиональными революционерами». До сих пор судьба сводила его с исполнителями какой-то высшей воли, людьми, поддававшимися внушению, искусу, а потому понятными пастырю, несмотря на страшные преступления, ими творимые. Он видел в них под страшной грязью и коростой греха останки человеческого существа. А стало быть, видел путь к их исправлению, путь к покаянию.

Сейчас перед ним сидел пришелец из иного, падшего мира. Падшего сознательно, купающегося в грехе не с удовольствием нувориша, нежащегося в ванной с шампанским, но принимающего ванну кровавую, как результат своей многотрудной работы. Из человеческих чувств в сидящем vis-à-vis он читал только трусость, боязнь за свою жизнь (даже в кабинет следователей Чека пришел с личной охраной)

и трусость, боязнь другого рода: вдруг кто-то откроет дверь его персонального кабинета и громко, от двери, крикнет: «Ты что здесь делаешь?» И развернутся хляби, и унесет, смоем его бесследно, как смывало сотни его подельников. Оставляя стараниями удержавшихся улицы и города, названные их именами.

— К вам приходили священнослужители с предложением обновить церковь, приблизить ее к народу. — Патриарх чувствовал, как трудно собеседнику даже выговорить слово «церковь». — Вы не приняли их! — Свердлов спрятал глаза за безжизненным отблеском пенсне. — Почему?

— Вовсе не от того, что они пришли, как вы, — в сопровождении стражей-чекистов. А потому лишь, что церковь может быть только одна — православная, Божья, это дом и душа Господа.

— По справке, — Свердлов снова вынул бумагу из папки, видимо, подготовленной к беседе с патриархом, — вы все-таки встречались с ними и согласились, что управление церковью не соответствует сегодняшнему моменту и должно быть изменено.

— Яков Михайлович, — патриарх, напрягшись, вспомнил его имя, — устройство церкви — это наше внутреннее дело. За тысячу без малого лет сложились и существуют каноны, правила, по которым церковь живет. Они непростые, но как корабельный устав написан кровью погибших моряков, так церковный устав внушен, передан людям Духом Святым. Для того чтобы не писать его кровью погибших.

— Демагогия! — хмыкнул Свердлов. — Не хотите власть отдавать!

— Не хочу, — просто сказал патриарх. — Не для того она мне была вручена Богом, чтобы я передал ее прохвостам.

— Кого вы имеете в виду?

— Тех же лжесвященников, которых имеете в виду и вы.

— Вот тут у меня в справке написано, — Свердлов говорил тоном строгого учителя, недовольного несообразительностью своего подопечного. — Предлагается вести службу на русском языке, чтобы сделать ее понятной... — он запнулся — ...прихожанам. Разве это плохо?

Патриарх промолчал.

— Разрешить священникам разводы и повторную женитьбу... — Он сверкнул стеклами пенсне в сторону патриарха. — Они такие же граждане республики и должны иметь равные права со всеми...

— Они приняли на себя обязательства, — устало возразил патриарх. — Возлагая крест на грудь, священник принимает на себя обязательства, как офицер, принявший присягу и надевший погоны...

— Мы отменили и офицеров, и погоны!

— ...принимает обязательство, — патриарх пропустил замечание Свердлова, — погибнуть, но не посрамить честь офицера и страны, за которую присяга принесена. Священник рукополагается для подвига духовного. Для того и крест носит поверх облачения.

— А я считаю, — Свердлов встал и пристукнул ладонью по столу, — что управление церковью должно перейти...

— Вы считаете, — патриарх неожиданно заговорил громко, легко перекрывая Свердлова, — на каком основании? Вы закончили семинарию, духовную академию, изучали на первом курсе Библейскую историю и катехизис, Священное писание Ветхого и Нового завета, далее — догматическое богословие, сравнительное богословие, пастырское богословие, нравственное богословие, патрологию, гомилетику, апологетику, историю религиозной философии? Это — далеко не все, что нужно бы знать, чтобы судить о церковной сущности! Это при том, что стараниями человеческими можно выучить высшую математику, а церковные науки без Божьего перста, Божьей воли, Божьего напутствия изучить нельзя!

— А как же ваши священники, которые ко мне являлись, чтобы оживить, обновить церковь?

— Вот это и свидетельство, что они без Божьего напутствия учили все, что положено в Академии. И — не выучились. Пришли за наукой — к вам!

Свердлов с внутренним раздражением рассматривал сидящего перед ним упрямого старика. Раздражало то, что старик не боялся. Он же привык, что во всяком человеке, беседующим с ним, чувствовался страх.

Этот — не боялся, что было странно. У него не было защиты: никто — даже либеральная тряпка Луначарский, даже вечно подпевающий ему Горький — не ходатайствовал за него. И никто не стоял за спиной. Наоборот, приходилось сдерживать и Троцкого, впадавшего в истерику при упоминании патриарха, и Ленина, считавшего, что он должен быть казнен первым, чтобы всем другим зажавшимся и кривляющимся в алтаре было неповадно. Для Ленина важно было число: чем больше удастся расстрелять, тем лучше. Феликсу было плевать. Он воспринимал расстрелы как работу. Разве что Бокий? Это он толкнул Свердлова прийти на допрос патриарха. Свердлов усмехнулся: Бокий — любитель сложных психологических построений. Считает, что надо забрать власть патриарха и передать нужным людям. Чтобы те, кто получили ее из рук, сломавших патриарха, всегда помнили об этом и, как козлы на бойнях ведут за собой стада баранов, вели бы послушную «новой церкви» паству к счастью.

Да, Бокий любит сложные построения, но революция проста. И груба. У нас нет времени на психологию. От власти еще никто не отказывался. А выбор между властью и смертью — очевиден. Даже для этого старика.

Свердлов еще раз протер пенсне, и только тут патриарх заметил, что стекла на его очках — без диоптрий. Фальшпенсне.

— У меня нет времени дискутировать с вами, — Свердлов нагнулся, навис над столом. — И нет желания разводить дискуссии. Завтра к вам придут священники, которых вы выставили. Договоритесь с ними о передаче церковного управления.

Свердлов вглядывался в лицо патриарха, пытаясь хоть что-то прочесть в этом деревенском лице, в неподвижных, глубоких морщинах, толстых веках, прячущих глаза.

— Власть, — он сделал длинную паузу, — власть церковная останется за вами. Они возьмут на себя только оперативное управление церковью!

Патриарх молчал, продолжая смотреть на Свердлова. Разве что чуть более склонил голову к плечу.

— Хочу также сообщить вам, — они смотрели друг на друга, почти не мигая, — что в случае вашего отказа от сотрудничества нам придется расстрелять взятых сегодня ночью заложников. — Он помолчал, глядя на недвижную маску старика. — Заложники из числа церковников, — он подумал, достал из папки лист и протянул патриарху.

Патриарх принял листок, привычным движением достал и надел очки. И дрогнул внутренне. В списке было более полусотни священнослужителей. Включая высоких иерархов. Это были знакомые, друзья, соученики по Академии, люди, с которыми десятки раз в разных церквях вместе сослужили...

— Почему они должны быть расстреляны? — Патриарх постарался, чтобы голос перед этим человеком не дрогнул. — В чем их вина?

— Они заложники, — Свердлов сел, откинулся в кресле, сверкнув стеклами. — Для заложников вины не требуется! — Он хлопнул ладонями по столу и поднялся. — До завтра! Вас известят о приходе ваших церковников.

Патриарх, привезенный после допроса к месту домашнего ареста, в подворье Сергиевской лавры, долгое время лежал, молясь и стараясь не отвлекаться от молитвы: сердце сжимала стальная безжалостная рука, то заставляя его замирать,

отдавая болью в плечо, скулу, под лопатку, то отпуская его внезапно. Сердце билось, словно хотело вырваться из груди, и патриарх задыхался и прикладывал к груди ладонь, пытаясь придержать это скачущее, трепещущее сердце.

— Ваше святейшество, — наклонялся к нему келейник, — капельки примите. Примите, легче станет! — и вытирал пот, проступавший на бледном лице патриарха. — Господи, несчастье какое! С эдакими допросами и до беды недалеко!

Патриарх морщился, пил капли и молился: очень не хотелось отходить в лучший мир по милости посланца лукавого. То-то радость им будет! Позже патриарх под нажимом келейника пригласил известного московского врача — гомеопата Дмитрия Петровича Соколова. И тот не только поставил патриарха на ноги, но, сам спортсмен, убедил и патриарха делать физические упражнения по утрам.

Глава 40

Конечно, Исаак Моисеевич Бакман знал, как делаются дела. Иначе он так и сидел бы клерком в меняльной лавке в своем местечке. И даже будущего тестя мог бы видеть только в газете, где пропечатаны почетные горожане и благотворители. Будущий тесть был таким же благотворителем, как Ицик Бакман танцором. А что, жизнь заставит. И танцевать, и давать деньги на содержание «несчастливых» в тюрьме. Но тесть умел делать дела — а иначе он стал бы почетным гражданином? И Ицик учился от него, сколько мог, пока не пришлось дезертировать в Петроград. Чтобы попасть на обучение к ребе Рафе. А это уже была школа почище ваших академий, хоть и помещалась она в подвале Апраксина двора. Да и после (кроме разве Бэбы с ее родителями) кто-то мог бы упрекнуть Ицика Бакмана, что он не знает, как делаются дела?

Так вот сейчас он оказался мальчиком, который, не закончив хедера, стоит перед кабинетом директора Азовско-Донского банка господина Е.М.Эпштейна и думает, как бы уломать Эпштейна дать ему кредит.

Так представлялось ему предприятие, которое он затеял. А надо было всего лишь пробиться в Чека и освободить Бэбу. Ицик, Исаак Моисеевич, точнее, не относил себя к горячим головам, готовым схватить оружие и «пробиться» и «освободить». Но ведь есть и другие способы, кроме как ограбить господина Эпштейна. Например, напомнить ему об извечной печальной участи еврейского народа, к которому, худо-бедно, он и сам принадлежит. Если он об этом не забыл, конечно. И в Чека, как Исаак Моисеевич убедился на своем невеселом опыте, тоже есть кому вспомнить о бедах избранного народа. А что, когда у тебя увозят жену и оставляют с двумя плачущими девчонками и идиоткой-прислугой Маней, которая ревет еще хуже их, разве это не беда? Да еще ты и сам не знаешь, есть ты, вообще-то, или тебя нет? Может быть, ты, Исаак Моисеевич Бакман, и вовсе расстрелян, хоть и шляешься по улицам от одного знакомого к другому, стараясь найти хоть малую тропку в Чека.

Конечно, среди евреев найти знакомых или даже родственников — все равно, что отыскать хорошего червяка в навозе: копни поглубже раз-другой и тут же обнаружатся родственники. Но при одном условии: если ты на коне или при деле. Сказать, чтобы Исаак Моисеевич сейчас был на коне, это сильно преувеличить, чтоб вам привалило такое счастье! (А глик от им гетрофен!) Может, поэтому первые усилия к цели не привели? Нашелся кое-кто из Бакманов, который был седьмая вода на киселе пинским Гибельманам. Но кто их считает, эти воды и кисели, когда твоя жена Бэба сидит на Гороховой, а ты уже неделю, как матрос в отпуске, метешь клешами тротуар и не можешь найти ход в Чека? Конечно, тот Гибельман, который в Чека стал Барановским, не лучший вариант для доверительной беседы, сказал бы любой, кто знал его по Пинску. Но и того (еврейское счастье!) чуть не месяц нету в Питере, а есть только его

семья, где все плачут, молятся по-еврейски и пишут письма своим красным богам, пытаюсь разыскать сгинувшего отца.

От отчаяния Исаак Моисеевич хотел было, просто записавшись в канцелярии, пойти «в порядке общей очереди» на прием к главному начальнику Бокию. Но, опять же еврейское счастье, — встретил на Гороховой Лёву Альтшуллера. Того самого, чей папа, хозяин антикварной лавки, умер во время налета. И что лучше? Охранять свою лавку и умереть или отдать все? Тем более что лавку налетчики все равно ограбили. Но в ней уже не было папы-Альтшуллера. А сынок Лёва и не подумал отдать небольшие папины долги. Благо причина была. Но не последнее же взяли налетчики! Тем не менее Лёва не захотел тогда встречаться с Исааком Моисеевичем. Но тот особо и не настаивал: от налета не гарантирован никто. Особенно, если ты выставляешь свои богатства в витрине лавки.

Лёва, который, по его словам, пошел на службу в Чека, чтобы отомстить за папу, провел его, как свой, в здание, посадил в коридоре возле кабинета, в котором сидело несколько «комиссаров», как определил их Исаак Моисеевич, и оставил ждать. Сам при этом ходил туда-сюда, будто бы не узнавая старого знакомого. А часа примерно через три (Исаак Моисеевич, идя в Чека, на всякий случай не стал брать свои золотые часы) два остолопа-латыша, ни бельмеса по-русски, отвели его в другой кабинет, где ленивый «комиссар» принялся лениво, по обязанности, расспрашивать, где гражданин Бакман хранит свои деньги. Особенно его интересовали именно те места, в которые Исаак Моисеевич и хотел кое-что припрятать: диван, шуба Бэбы (для бриллиантов), цветочные горшки, местечко под ванной, где был вынут кирпич... Хорошо, что Бэба отнесла все своей гимназической подруге. Правда, теперь ни Бэбы, ни подруги...

Очнулся Исаак Моисеевич, как ни странно, в камере. Где было так тесно, что стоявшие вплотную люди не могли упасть, даже если теряли сознание. Очнулся от того, что кто-то царапал крысиной лапкой по его боку, и обнаружил возле себя тощего мальчишку, который ухитрился в дикой тесноте ползать по чужим карманам. Исаак Моисеевич попробовал его оттолкнуть, потом лягнуть ногой, но тот методично и тихо продолжал свое дело. «Волчок» в камеру время от времени открывался, и кто-то спрашивал в окошечко: «Предложения есть?» И если у кого-то «были предложения», того выводили из душевной камеры. Это означало, что кто-то согласился отдать деньги. В обмен его выпускали «из горячей». После третьего «предложения есть?» Исаак Моисеевич понял, что сейчас он умрет от жары и удушья и прокричал: «Есть!», просто для того, чтобы глотнуть холодного воздуха. Его провели по коридору и остановили перед открытой на улицу дверью. Исаак Моисеевич глотал холодный воздух, понимая, что делает последние глотки. Сквозь туман, застивший глаза, он увидел высокого, смуглого человека, остановившегося у двери, чтобы раскурить папиросу. По почтительности, с которой его окружали «комиссары», по тому, как быстро спрятали Бакмана за свои спины конвоиры, Исаак Моисеевич понял, что это — большой начальник. Он вдруг с незнакомой резвостью шмыгнул между конвоиров и бухнулся на колени перед комиссаром. Тот с изумлением смотрел на маленького человечка в мятом костюме с вывернутыми карманами, взлохмаченного, с полубезумным взглядом.

— Я ни в чем не виноват, — просипел Бакман, стараясь поймать взгляд комиссара, — я пришел сюда просить за Бэбу, за жену...

— Глеб Иванович, — спохватились конвоиры, — мы его...

— Не надо! — Бокий, глубоко затягиваясь, смотрел на человека, стоящего на коленях.

Вот он, символ бывшего мира. Жалкий, взмокший, с мокрыми штанами, стоящий перед ним на коленях. Еще вчера он думал, что он — создание Божье. Мечтал. Преуспевал, судя по визитке на алой подкладке. А сейчас — тянется к нему дрожащими

руками, плачет и бормочет что-то... Жаль, что редко удается спускаться сюда, к камерам. Заедает текучка. А надо, надо приходить сюда, освежать ощущения.

Бокий кивнул свите, прошел по коридору, ногой отворил дверь какого-то кабинета и сел за стол. Вслед за ним ввели человечка.

— Рассказывайте! — И прикрыв глаза опухшими веками, Бокий, не слушая, погрузился в нирвану.

Как же можно было упустить этот великолепный способ расслабления, внутреннего полета, освобождения! Вот он, жалкий мир, лопочет что-то, утирая рукавом слезы и по-заячьи взглядывая на него. Вот так они должны приползти все! Так умолять о пощаде. О снисхождении. О жизни...

Человечек нес что-то о Екатеринославе, виолончелистке Ребекке, Ривке, Бэбе, каком-то ребе Рафе и Лёвке Альтшуллере... Вот так должны приползти... Ему показалось, что он медленно, словно на невидимом монгольфьере, поднимается, оглядывая с высоты поле, усеянное людьми. Некоторые из них еще сражались, почему-то на мечях и шпагах, кто-то суеился возле старинных пушек, но в основном поле было усеяно мертвыми телами. По мере того как монгольфьер поднимался, открывались все иные и иные пространства с игрушечными конниками, скачущими навстречу друг другу, клубами черно-белого дыма и пламенем горевших и рушащихся домов в городах, открывающихся вдаль. Шар внизу стал медленно поворачиваться, поплыли поля, горы, натруженные вены рек с точками-пароходами на них, Бокию казалось, что он узнает плывущие в дымке места. Вот Казань, Екатеринбург... Вращение ускорилося, смазывая четкие очертания, можно было различить лишь огни, дымы, беззвучные взрывы и среди них — тысячи, тысячи людей, мушек-дрозофил, мчались на конях, тачанках и даже самолетах. Мчались убивать друг друга, не чувствуя ни боли, ни страха, ни даже злобы... Они — слуги силы, толкающей их друг на друга. Вот они, дрессированные крысы Бехтерева, по одной команде бросающиеся на смерть. Старик Бехтерев ближе всех подошел к разгадке человечества. Оно управляемо. Пока что человечеством правят деньги. Банкиры. Но это слишком примитивно. Старомодно. Вы должны и будете выполнять мои команды. Я, как мощный радиовый излучатель, буду посылать их вам, а вы, натянув на головы невидимые алюминиевые шлемы, каски-уловители, как в опытах Барченко, будете слушать и выполнять, слушать и выполнять мои команды. Нет, не зря большевики так любят мистический бред Барченко, путанные опыты гениального Бехтерева, муть Блаватской и жалкие тайны Шамбалы. У них есть чутье. Коллективный разум. Как у крыс, обучающихся на гибели слабых. Просто по убогости и отсутствию образования они не знают, где искать путь к владению миром. Бокий улыбнулся, глядя, как затихает сражение на пустеющих пространствах. Два-три самолета-комарика еще кружили, не зная, куда скинуть бомбы. Да, коммунисты не знают, где искать путь к владению миром. Не знают... Пока не знают...

Он открыл глаза, все еще с улыбкой глядя на бьющегося в истерике у его ног человечка.

— Две девочки, — сипя и заикаясь, он проталкивал слова сквозь скривившийся рот. — Дома... две девочки...

— Чьи?

— Мои...

Бокий, по-прежнему ощущая резковатый запах озона, который он чувствовал, поднимаясь на монгольфьере, кивнул помощнику. Тот, повинаясь жесту, подал ручку и бумагу.

— Фамилия?

— Ба-бакман...

— Бабакман? — удивился Бокий. И подписал пропуск на имя Бабакмана. — Проводите его и отправьте домой.

«Странно устроен человек», — Бокий смотрел на Бакмана, пытаясь понять, какое отношение этот безумец имеет к его теории. И вдруг понял: он уже управляет! Он протянул подписанный пропуск, как протягивал вялый капустный лист кролику на эксперименте. Зная, что жить кролику остается несколько мгновений. Слово-ключ: он — управляем моей волей!

И все-таки, что ни говорите, Исаак Моисеевич родился под счастливой звездой. В тот момент, когда жулик и обирала дворник Адриан, поняв, что в карманах безумного человека нет ни копейки, а порванная его визитка не стоит ни гроша, собирався выбросить его на улицу, к парадной подъехала Марья Кузьминична Россомахина. И признала в безумце мужа Бэбы Бакман, с которой они «шились» у одной портнихи.

Она распорядилась немедленно поднять бедолагу в ее квартиру, растопить колонку в ванной комнате и принести самовар. Слушать стенания сидящего на полу в ванной мужа Бэбы было невозможно. Пришлось позвонить доктору Мокиевскому. Что отчасти входило в планы Марьи Кузьминичны, но как-то все не находилось повода. К приезду Мокиевского муж Бэбы уже отмок в горячей ванне, был извлечен Адрианом и лежал на диване в гостиной, сотрясаясь от нервной дрожи под тремя любимыми Марьей Кузьминичной шотландскими пледами. Доктор сделал несчастному укол, от которого тот почти сразу забылся, и был приглашен Марьей Кузьминичной в уютную столовую.

— Я дал бедолаге лошадиную дозу, — Мокиевский, как бы сочувствуя Марье Кузьминичне, положил свою ладонь ей на руку. — Думаю, до утра он не проснется.

Мокиевский пожал мягкую, ухоженную руку, с удовольствием ощутив легкое ответное пожатие.

— Это ваш муж? — Мокиевский любил состояние ни к чему не обязывающего флирта, когда мужчине и женщине все было ясно с самого начала. Но в том-то и было удовольствие, чтобы почти незаметными движениями, пожатием руки, ничего не значащими словами установить незримый, неслышимый контакт. И заставить эту таинственную, прячущуюся во флере слов струну звучать тонко, сладко и призывно.

— Нет, что вы! — Марья Кузьминична взмахнула ресницами, искоса глядя на доктора. Она тоже расслышала очаровательное звучание таинственной струны и почувствовала, как все тело ее отозвалось, ответило этой милой и знакомой ноте.

Она, как могла, рассказала Мокиевскому историю «мужа моей знакомой Бэбы», чуть коснувшись своей жизни — доктор попросил рассказать о портретах, висевших в столовой. Особенно его заинтересовал коровинский портрет. На нем Марья Кузьминична и вправду была хороша. Не зря Коровин, закончив работу, сказал ей: «Я влюбился, Марья Кузьминична. И не знаю, в кого больше. В вас или в портрет!»

Чай с печеньем, домашний ликер и прелестный разговор Марьи Кузьминичны сделали свое дело. Когда доктор поцеловал ее в щеку, ощутив легкий запах французских духов и пудры, она повернулась к нему, смело глядя черными, вспыхнувшими глазами, и, как показалось Мокиевскому, чуть подмигнув ему, проговорила: «С этим приключением я совсем потеряла голову!»

Впрочем, утром они проснулись раньше несчастного «мужа Бэбы».

Когда Марья Кузьминична вошла в гостиную, он, все еще скорчившись, лежал под пледами, печально и виновато поглядывая на, как ему показалось, незнакомую женщину. Этот несчастный взгляд Исаака Моисеевича, может быть, и решил дело. Во всяком случае, к моменту появления элегантного и вежливого доктора Исаак Моисеевич уже успел рассказать о своих приключениях, своих девочках и все пытался немедленно бежать к ним. Рассказ тронул чувствительную Марью Кузьминичну до слез, хотя и насторожил. Особенно, когда он принялся слово в слово повторять его доктору. Мокиевский послушал рассказ Исаака Моисеевича не более минуты и тут же

остановил его. «Вы слышите только мой голос! Только мой голос! Вы подчиняетесь только моим командам. Мой голос — главный в жизни. Он выведет вас из лабиринта!» — Мокиевский сделал несколько пассивов, приблизил свою голову к Бакману и загромыхал: — Забудьте все, что с вами было. Вычеркните из памяти! Я считаю до пяти. Раз! Вы видите только меня. Только меня! Смотрите мне в глаза! Два! Вы слышите только мой голос! Только голос! Три! Закройте глаза! — Он схватил больного за руку. — Я держу вас за руку и веду по лабиринту! Вы слышите мой голос, идете за мной, я веду вас! Четыре! Полная темнота, только мой голос и моя рука! Я выведу вас наружу! Вы верите мне?

— Да...

— Громче! Верите мне? Видите свет?

— Да, да, верю, вижу! — Бакман вдруг задержался, будто бежал куда-то маленькими шажочками.

— Пять! — прогремел Мокиевский. — Пять! Я открываю дверь, яркий свет в глаза! Мы вышли, мы на свободе! Ваша голова чиста, свободна, вам хорошо! — Он крепкой рукой схватил Бакмана за виски и сжал их. — Я закрепил это чувство свободы! Откройте глаза!

Марья Кузьминична была поражена. Бакман вдруг оказался прежним Бакманом: встал и извинился, шаркнув ножкой, за небрежность в одежде. Несчастливого больного больше не было. Возле дивана стоял несколько встрепанный после сна, но вполне нормальный человек.

Уходя, доктор Мокиевский научил ее, как следует резко, но не сильно, без боли сжимать виски, чтобы вызвать у больного забытое чувство покоя и уверенности.

И многие годы, когда муж Марьи Кузьминичны Исаак Моисеевич Бакман, со временем все реже и реже, впадал в кошмарное состояние надвигающегося ужаса (Марья Кузьминична определяла его по остановившимся, застывшим глазам), она спокойно и уверенно сжимала ему виски и твердо, как доктор Мокиевский, произносила: «Веришь мне? Веришь?» И, дождавшись ответа: «Я выведу тебя из лабиринта! Я закрепляю чувство свободы!»

Глава 41

Сентябрь выдался удивительно тихим и теплым. Если бы не громкое убийство Урицкого, покушение на московского Ленина и объявленный сразу после них Зиновьевым «красный террор», тетушки еще оставались бы на даче. Обычно они уезжали «по погоде», но сейчас, напуганные газетами со списками расстрелянных, решили вернуться. Не успев даже дать поручение мужу Хельги навесить ставни на окна, как они делали это всегда, и вообще подготовить дом к зиме.

Мысль поехать на Взморье, в Лисий нос, пришла в голову всем сразу: Сеславинский рассказывал Елене о тетушках и их даче, которую они собирались было продать перед войной и революцией, да так и не собрались.

Оля, дочь Елены, была в восторге от всего: ехали на прекрасной машине, которую вел веселый дядя Петя, ехали на Взморье, где она ни разу в жизни не была, и сзади, прижавшись друг к другу, сидели папа с мамой. И он накрыл ее плечи своим пиджаком. Страшно было только смотреть вперед, с такой скоростью неслась машина. Проехали железнодорожную станцию, приткнувшуюся между двумя роскошными когда-то ресторанами «Вилла Родэ» и «Славянка».

— Когда-то, — Пётр повернулся к Сеславинскому, — мы отсюда, из Новой Деревни, на Коломяжский ипподром ездили. Кстати, и в этом году скачки проводили. И публики было немало. А я, грешник, — он сдвинул автомобильные очки на лоб, —

любил на вокзал в Новую Деревню заехать в буфет. Здесь чудные раки финские бывали и «Старая Бавария», пиво. Пять копеек за бокал!

После буддийского храма потянулись дома с огородами и палисадниками, слева из-за неожиданно отступивших в сторону деревьев открылся залив: бескрайняя стена темно-зеленого тростника с грязноватым, заваленным кое-где морским мусором — плавником — песчаным берегом. И серо-голубой, теряющийся в солнечных бликах залив с золотой головой Кронштадтского собора.

— Смотри, смотри, Оля, виден Кронштадт! — Елена рукой в нитяной перчатке указала влево, чуть повернув даже голову дочки, и сразу, как по команде, протянулся солнечный блик, луч по застывшему в безветрии заливу к едва различимому в дымке Собору. Елена смахнула платочком слезу и виновато глянула на Сеславинского. — Мы в нашей кронштадтской квартире после гибели папы ни разу не были.

Дорога сузилась, прижалась вплотную к железнодорожной ветке, но Иванов, взявшийся покатасть семейство друга, почти не сбросил скорость.

— Вот здесь, в Лахте, — он обернулся, поблескивая автомобильными очками, — невероятное количество птиц собирается. Огромные болота, заповедник. Еще Пётр Первый издал указ, «буде кто на сии болота выйдет птицу стрелять, того бить плетью на казенном дворе», — Петя покосился на девочку, тоже надевшую автомобильные очки и похожую на стрекозу. — Они прилетают сюда отдыхать. Весной, когда летят с юга на север, а осенью — назад, в теплые края. Их по сию пору охраняют, не разрешают охотиться.

Сзади раздался паровозный гудок, Пётр притормозил.

— Устроим соревнования, — он подмигнул Оле. — Как думаешь, паровоз нас перегонит или нет?

— Думаю — или нет, — она тоже подняла очки на лоб, преданно глядя на Петю.

Маленький, будто игрушечный, паровозик, тащивший пять таких же желтых, как он сам, вагонов, пыхтя и подавая сигналы, помчался совсем рядом с машиной. Полетели даже водяные брызги и кусочки паровозной сажи.

Петя и Ольга сдвинули очки на нос, машина понеслась, то прижимаясь к железнодорожной насыпи, то отъезжая от нее. Всего несколько минут — и машина вырвалась вперед, победно трубя клаксоном. Паровоз обиженно гуднул и начал притормаживать — впереди виднелось деревянное здание станции.

Свернули налево к морю. В конце недлинной дороги сверкнул солнцем залив, машина мягко катилась по плотному, укатанному песку.

— Вот мы и дома, — Сеславинский отворил калитку красивых кованых ворот.

Небольшой деревянный дом с башенкой и балконом, обращенным к морю, чем-то напоминал корабль. Не зря, должно быть, старший Либх любил сидеть на балконе с мощным морским биноклем на шее. Дом, по-фински основательный, строил для своего русского друга знаменитый Армас Линдгрэн, архитектурный отец скандинавского «национального романтизма». Толстяк Линдгрэн любил посидеть в гостиной Либхов, попивая русскую водку, и порассуждать о национальном характере. Кроме архитектуры, это была его единственная любимая тема.

— Скажите, мой дорогой Франц, — они беседовали на немецком, — как это вы, истинный ариец, вдруг оказались русским?

И в очередной раз выслушивал историю переселения немцев в Россию.

— И все-таки я не понимаю, — по мере убывания водки в графинчике национальный вопрос интересовал его все больше, — не понимаю. Екатерина, переселяя немцев, хотела сделать Россию немецкой?

— Дорогой Ари, — Либх говорил ласково, как говорят со старательным, но не быстрым умом учеником, — гениальная Екатерина Вторая, немка по крови, по духу была совершенно русской. В этом ее особое величие. Она растворилась в России. Она, как дрожжи — растворилась, чтобы пышнее взошла Россия!

— А мне кажется, ты чего-то не понимаешь, мой дорогой Франц, — Линдгрэн смотрел, как дым от трубки Либеха исчезает в камине, отделанном узорчатыми изразцами по эскизам самого Линдгрена. И всякий раз, когда они сидели у камина (в национальном, конечно, духе), Линдгрэн думал, что очень удачно получился камин. — Я сужу по себе, — Линдгрэн протянул ноги к теплу. — Могу ли я представить себя русским? Ни-ког-да! Сколько я ни стараюсь понять этих русских, мне не удастся. А тебя я понимаю!

Обычно после этих разговоров Либех присаживался к фортепьяно и аккомпанировал любимой песенке Линдгрена: «Там, в стране далекой, где шумят луга, где родные волны бьют о берега, где летают чайки с криком над водой, там моя отчизна, там мой дом родной!» Песенка была довольно длинная, печальная, и в конце ее Линдгрэн обязательно промокал платочком наворачнувшуюся слезу. После этого они еще долго гуляли по берегу залива, обсуждая, чем финны отличаются от русских и как шведы подвели финнов, проиграв битву в Заливе (Линдгрэн всегда именовал Финский залив просто Заливом, других для него не существовало) Петру Первому.

— Мы, финны, могли бы сами построить Петербург, и это был бы настоящий финский город! Бог дал финнам очень хорошую, но очень маленькую территорию. И не дал полезных ископаемых. Но, как заботливый отец, он дал финнам трудолюбие, вкус к простой жизни и чувство стиля!

Либех соглашался с другом и поддерживал его под руку.

— А сейчас Гельсингфорс, — почти с отчаянием говорил Линдгрэн, — это абсолютно русский город! Какой-то Малый Петербург! Как тебе это нравится?

Впрочем, на свежем морском воздухе Линдгрэн быстро трезвел и, прощаясь, шутил почти всегда одинаково:

— Знаешь, Франц, почему мне не предлагают строить дома в Петербурге? — Он ласково склонялся к сухонькому Либеху. — Потому что они знают, что я никогда не соглашусь!

Впрочем, дачу одной из петербургских красавиц, Евгении Леопольдовне Кричевской, он все-таки построил.

Боже, неужели это все было когда-то?

Дом, впопыхах оставленный тетушками Сеславинского, пустой и чуть скрипучий, еще больше стал походить на корабль. Теперь уже покинутый командой.

Ольга солнечным зайчиком пронеслась по всему дому, оставляя за собой маленькие стуки, скрипы, сквознячки, и, топоча туфельками (красными, прекрасными!), купленными в Апраксином дворе (вместе с папочкой и мамой!), скатилась со второго этажа прямо в объятия Петра.

— Дядя Петя, я уже все посмотрела, поедemте кататься!

— Оля, что за «дядя»? Пётр Алексеевич устал, сейчас мы приготовим чай, потом пойдем на залив...

— Елена Станиславовна, если вы не против, я с удовольствием прокачусь вместе с Олей. Мне надо обкатать машину. А если удастся проскочить, как просил папа, в Келломяки, к его другу Владимиру Петровичу Кондратьеву, это будет совсем здорово.

— Там ведь сейчас пограничный пост, — сказал Сеславинский, не без ревности глядя, как Ольга прижалась к Петру. Ах, женщины!

— Да, конечно, — улыбнулся Пётр, — но у нас, шоферов, есть свои пограничные правила, — он достал из нагрудного кармана кожанки десять долларов. — Эти пропуска, кажется, еще никто не отменял? — Он чуть присел и изобразил солидного барина за рулем. — Надо надуть щеки, финны это очень любят, и вот так: «По важному делу есть надопность проех-хоть!» — Это он проговорил, по-фински растягивая слова и слегка выпевая их. — И достаem пропуск! — Он помахал десятидолларовой бумажкой. — Я раз в месяц езжу туда за продуктами.

Весело крякая клаксоном, сияющий, словно и не было пыльной дороги, «Рено» умчался. Елена и Сеславинский, держась за руки, вернулись в дом. И одновременно подумали: «Мы впервые остались вдвоем. А это наш первый дом». Елена прямо на пороге обняла Сеславинского и мягко, нежно поцеловала его в губы.

— Ты знаешь, Са, — она, как Ольга в шутку, стала называть его «Са», — я что-то так устала, можно, я прилягу на диване?

Это был старый-старый, почерневшей карельской березы диван, каким-то образом перекочевавший сюда еще из ярославской усадьбы Либыхов. По-домашнему он назывался «самосон», и считалось, что вылечить любую головную боль и как следует выспаться можно только на этом диване. Он скрипел, в двух местах был слегка продавлен, но несколько поколений Либыхов привычно укладывались на него, находили местечко поудобней и тут же засыпали. Сеславинский едва успел положить подушку и достать плед, как Елена уснула.

Сеславинский несколько минут посидел в кресле, глядя на нее. Это было невероятное ощущение сошедшей истинно небесной благодати. Сухой, продутый ветрами и прогретый солнцем дом с двумя столбами света, бьющими в окна и растекающимися на крашеном полу, старый, родной диван и женщина, спящая на нем. Укрытая пледом, которым укрывалась еще его мать. А может быть, и бабка. Вещи долго хранились в их семье.

Неужели все это есть? Это существует, не снится ему в вонючей землянке, где не продохнуть от мокрых шинелей, полушубков, сапог, ремней портупеи, седел, пороховых газов, бинтов с запекшейся кровью, нужника... Почему это счастье, эта благодать досталась, снизошла именно на него? Чем он отличен от тех, кто бился рядом, бежал, хрипя и матерясь, в атаку, задыхался в сжигающем легкие пороховом дыму и лежал, рядами, рядами, рядами на мокрой осенней земле, не вслушиваясь в троекратные похоронные залпы?

Он встал на колени перед диваном, стараясь не разбудить Елену, и прижался лбом к ее откинутой в сторону руке. Двойное ощущение живой, нежной кожи и жесткой ковровой обивки было таким неожиданным и сильным, что захотелось заплакать. Он чуть сильнее прижался лбом к руке и скрипнул зубами. Неужели именно для этого нужны были бесконечные учебные плацы, хамы-офицеры, хлебнувшие уже передовой, воры и скоты унтера, отсиживающиеся в учебном отряде, землянки, землянки, атаки, гасящие душу обстрелы, кровь — своя и чужая, дикая скачка по пахоте на пушечном передке, лихорадочное выставление батареи на прямую наводку, залп, еще залп, и — страшный, страшный удар, будто тебя, твое тело, лихо, со всего маху ударом в бок запустили в налитое грозой небо... И ты, медленно вращаясь, летишь обратно, падая уже почему-то не на бруствер батареи, а в санитарный поезд, ад, наполненный стонами, махорочным дымом и запахом гноя. Неужели именно это нужно было пройти, чтобы встать на колени перед диваном и прижаться лбом к нежной, охлаждающей лоб руке?

Он почувствовал, как Елена, вздохнув, повернулась и во сне положила руку ему на голову. Впрочем, он понял почти сразу — это было не во сне: ее рука легонечко, с невероятной нежностью гладила его волосы. И это был второй молчаливый и удивительный, откровенный разговор. Как будто рука матери, вернувшейся из небесного небытия, гладила его, утешая и прощая. И он, прижимаясь к руке, казалось, слышал не только четкие удары пульса, но и какой-то голос кающийся, исповедывающийся, прощающий...

Елена придвинулась к нему и поцеловала в голову.

— Я так счастлива, Сашенька, так счастлива... Я не знала, что так бывает... И не знаю, за что мне это...

Потом они гуляли вдоль моря. Елена то держала его под руку, то отбегала в сторону, легко наклоняясь к береговым осокам, прячущимся от ветра, к необыч-

ным — малолистным — шиповникам, дотрагивалась до чуть гудевших от поднявшегося к вечеру ветра искривленных сосновых стволов, шагнувших на линию песка; он смотрел на нее издали со странным чувством: мы вернулись. Вернулись сюда. В наш дом. Мы вместе. Вся семья в сборе. Этого чувства не было у него никогда. Разве однажды, недалеко от местечка Сумы. Батарея впервые попала под настоящую бомбардировку: бомбы сыпались с аэропланов и падали где-то совсем рядом, вздымая в небо камни, пыль, пороховую гарь и дым, заставляя раскаленные осколки со свистом летать мимо или падать, вращаясь и шипя. Необученные лошади испугались и понесли. Позже, после полусуток розысков батарейцев, когда, едва спрыгнув с коня, враскоряку, Сеславинский добрался до землянки и вестовой принес чаю, он услышал незнакомый, не похожий ни на что звук. Ни на что военное. Показалось? Он снова прикрыл глаза, и звук вернулся. Сеславинский неожиданно понял, что это поют его вологжане-батарейцы. Поют какую-то неизвестную ему песню, слов которой разобрать он не мог. Но странный, чуть однообразный мотив, разложенный на три голоса, завораживал, притягивал слух. Сеславинский вышел из землянки, прошел по ходу сообщения и встал за угловым выступом, чтобы не смущать солдат. Впереди, в отсеке, оборудованном под кухню, сидели все батарейцы. Песня вдруг оборвалась, в тишине слышно было лишь позвякивание уздечек, да кони, оторвавшись от сена, встряхивали мордами, вытягивая в темноте шеи, стараясь взглянуть на звезды. Солдаты пропели еще что-то, опять незнакомое, и в возникшей на миг тишине унтер Вылегжанин, мотавшийся вместе с Сеславинским верхами в поисках батарейцев, сказал громко: «Господи, хорошо-то как, все дома!»

Это поразило Сеславинского. Господи, все дома! А этот дом — в гнусной глиняной яме под, непонятно, польским ли, украинским ли местечком Сумы, в тысячах верст от своих деревень, для которых уездная Вологда — край земли, без жен, детей, с ожиданием завтрашней атаки и бомбежки... И — вдруг: «Господи, хорошо-то как, все дома!»

Глядя на Елену, он припомнил не просто душой, а всем телом припомнил этот миг тишины и унтерское: «Все дома!»

Через неделю от батареи не осталось ни одного человека. Последним на носилки погрузили Вылегжанина. Он был бледен, в кровавых бинтах, но черные, ясные глаза смотрели спокойно. Громадного роста унтер выглядел каким-то странно небольшим: обе ноги ему оторвало чуть не по ягодичы. Он шевельнул губами, санитары прочитали что-то в его шепоте и попросили Сеславинского нагнуться к солдату.

— Господин поручик, Александр Николаич, — услышал он неузнаваемый голос, — у меня под задницей браунинг лежит, трофейный. Специально выменял, если что... — он тяжело задышал. — Прошу Христом Богом, порешите меня. Чтобы самому смертоубийство не делать. Грех это.

— Да ты что, Федор Терентьевич, рано засобирался! — сфальшивил Сеславинский. — Еще девок твоих замуж выдавать будем!

Санитары подняли носилки и двинулись в сторону обоза. И через минуту с той стороны раздался одинокий револьверный выстрел. Сеславинский обернулся и увидел суету вокруг носилок своего унтера. Последнего бойца в его батарее...

Они подошли к маленькому ручейку, который можно было легко перешагнуть по крутым, в засохшей тине, валунам.

— Ты знаешь, — он догнал Елену и обнял ее за плечи, — весной этот ручеек превращается в самую настоящую речку. И с залива в нее заходят миноги. Финны ловят их руками.

Сеславинский и Елена присели, разглядывая сквозь прозрачную воду песчаное, в некрупных камешках, дно. Ручеек бежал довольно бойко, густо-зеленые бороды водорослей чуть шевелились в такт журчанию воды. И небольшие синие стрекозы зависли между водой и ветками тальника.

— Когда меня из Корпуса отпускали на каникулы, я приходил сюда и всегда здоровался с этими стрекозами. Это невероятно, но что бы ни случилось, будем мы здесь или нет, будем мы живы или нет, что бы ни произошло, эти маленькие стрекозы всегда, всегда будут висеть здесь. Именно в этом месте. И в этом какой-то огромный, огромный Божий смысл, Божий промысел. Мы уйдем, как ушли старые Либахи, показавшие мне этих стрекоз, как наши родители, а они — все так же будут висеть и висеть здесь...

Обратно вернулись, груженные сухим плавником, растопили камин и, устроившись перед ним, не могли оторваться друг от друга. Даже когда Сеславинский привставал с небольшой скамеечки возле ног Елены поправить поленья, ей казалось, что он может исчезнуть, и ей надо было держать его за руку, чтобы быть спокойной.

К вечеру, Елена начала уж было волноваться, весело заквакал клаксон «Рено». Ольга, увешанная покупками и подарками, едва держалась на ногах от усталости. Ее уложили на диван, наскоро перекусили вкуснейшими финскими сардельками, которые Пётр мигом поджарил на углях камина, и тронулись в путь.

Когда Сеславинский нес Ольгу по крутой винтовой лестнице в их «ротонде», она вдруг проснулась, обхватила его за шею и прошептала, щекая шею губами:

— Папочка, а ты останешься у нас ночевать?

— Нет, моя дорогая, я должен сейчас ехать по делам.

— А все папы обязательно остаются и спят вместе с мамами. И я бы тогда забралась к вам... — это она пробормотала, совсем уже засыпая и бессильно отбрасывая голову на руку Сеславинскому.

Глава 42

Направляясь в Москву по вызову Свердлова, Бокий прекрасно знал, что может его ожидать. И даже вшил в воротник гимнастерки вторую ампулу синильной кислоты. Зашивал сам. Навыки ссыльной жизни в Сибиригодились. После 30 августа, убийства Урицкого и покушения на Ленина, он никогда не расставался с этими ампулами. Стоило повернуть голову вправо или влево, и уже ощущалась приятная и чуть будоражающая округлость ампулы.

Бокию было ясно: московское «дело» провалено, из-за полного непрофессионализма неоправданно много людей было привлечено к акции, и Свердлову нужно провести чистку. И сколько бы сейчас Свердлов ни прятал Ленина-Бланка в Горках, бывшем имении московского градоначальника Рейнбота, бесконечно это длиться не может. Но мысль — печатать для Ленина фальшивые газеты под лозунгом заботы о его здоровье: «Пусть Ильич отдохнет!» — Бокию понравилась. Как способ на короткий срок отстранить Старика от дел. Пусть безобидно (и безбедно!) теоретизирует на досуге. Пока все привыкнут к его отсутствию. Конечно, было что-то в этом Свердлове, было.

Соблюдая все правила конспирации, Бокий заглянул к Фёдорову, единственному человеку, которому он почему-то доверял, и дал команду позвонить маме.

— Скажите, поедем готовить ассамблею, надо отдохнуть!

Теперь Зиновьев, повадившийся контролировать телефонные переговоры Бокия и его помощников, донесет в Москву, что Бокий устал и хочет удариться в легкий загул. Вопрос: кому донесет? Вопрос ключевой, но Бокий обдумывание его отложил — в дороге из Питера в Москву уснуть не удастся, там и разложим карты!

Фёдоров сел за руль неприметного «фордзона» и посмотрел на Бокия. Хорошо зная начальника, он всегда был готов к любой команде.

— На Николаевский! — Бокий имел в виду вокзал.

Подъехали, как всегда со стороны Новгородской, от пересылки, прошли, пере-

шагивая через узлы, корзины, плачущих и ползающих детей, будто вся Россия сорвалась и бросилась на вокзалы, не зная, не понимая еще куда ехать, но внутренним, животным чутьем ощущая леденящий, смертельный страх внутри. Страх этот и толкал хватать детей, вязать в узлы и корзины жалкий скарб и бежать, бежать в надежде сбежать куда-то от надвигающегося ужаса. Это был мотив, а причины для бегства всякий находил свои. Чаще — голод. От Петрограда осталась треть населения. Хотя петроградским населением этот странный сброд Бокий никогда не назвал бы. Революция и война взболтали гигантский сосуд под названием Россия, и массы народные, веками кое-как устоявшиеся, разделившиеся, как слоями, не смешиваясь, разделяются в колбе, оставленной на ночь, вода, масло, бензин и прочая дрянь, слитая в нее нерадивым лаборантом. От страшного этого встряхивания слои начали перемешиваться, сделав сосуд непрозрачным, мутным, вспучившимся и вязким даже на взгляд.

Вот и сейчас, шагая через раздвинутые ноги баб, сидящих на полу, спящих пьяных солдат и матросов, отталкивая с дороги суетящихся, спешащих куда-то мужиков с коробами на спинах и принюхиваясь к запаху керосина (Фёдоров молодец, не забывает смазать керосином шею, запястья, щиколотки — вернейшее средство от вшей и, частично, блох), Бокий чувствовал приятное возбуждение. Схожее, может быть, с возбуждением хорошей гончей перед охотой. Славно, славно взболтали этот отстойник. Пусть они носятся, давят друг друга, заражают тифом и испанкой, это пойдет на пользу будущей стране. Лавочник Зиновьев полагает, что из ста миллионов должны погибнуть, исчезнуть раствориться десять процентов. Вот их, лавочников, масштаб! Не десять, а половина! Не коммунисты — навоз истории, как предполагал Маркс, а вот эти, эти бегущие, обходящие осторожно человека в плаще, идущего стремительным шагом, разрезая толпу. Вот эти, дышащие чесноком, перегаром, пахнущие портянками и дерьмом, — они лягут навозом для тех, кто сумеет управлять ими. И направлять их.

Бокий молча отодвинул в сторону матроса, охранявшего дверь начальника вокзала. Протолкался через толчею к столу, достал янтарный мундштук и постучал по роскошному письменному прибору. И хотя в общем гвалте этот стук был почти не слышен, начальник вокзала поднял на него красные, отечные глаза.

— Добрый день, — вежливо улыбнулся Бокий. — Валерьян Сергеевич, как всегда, маленькая просьба. Срочно. Спецмаршрут. Один вагон классный и вагон для охраны. И предупредите все дистанции, чтобы были готовы заправлять паровоз без проволоочек.

— Москва? — беззвучно в шуме кабинета спросил начальник вокзала Петровский.

— Москва, — так же беззвучно ответил Бокий. — Срочно. Отправление... — он достал из кармана часы, щелкнул крышкой и прищурился. — Отправление через два часа от платформы Цветочной.

Двух часов должно было хватить: Бокий неожиданно для себя решил, что надо переправить дочерей в Москву, в надежное место. И жену. Если захочет. Он все еще улыбался приветливо начальнику вокзала, размышляя уже, что со Свердловым надо держать ухо востро. А дочери — слабое место.

Бокий был чадолюбив. Кое-кто считал, что даже слишком. Особенно, когда Бокий брал девочек, а уж старшую — почти обязательно, на свои «ассамблеи».

— Стоять! — вдруг услышал Бокий у себя за спиной.

Он покосился назад, верный Фёдоров остановил человека, протискивающегося через толпу.

— Глеб Иванович! — человек издали махнул рукой, с надеждой глядя на Бокия. — Глеб Иванович!

Бокий повернулся и чуть двинулся навстречу, не замечая руки, протянутой ему. Бокий вообще не любил рукопожатий.

— Я Зубов, — громко сказал человек, — Зубов, Валентин Платоныч... Вы помните...

Конечно, Бокий превосходно помнил его. Граф Зубов. В его особняке когда-то так удобно было скрываться и уходить от полиции.

— Всё вина коллекционируете? — Бокий любил иногда сбить собеседника идиотизмом вопроса. Кругом грязь, мерзость, толчея, махорочный дух и вошь тифозная, и вдруг — всё коллекционируете?

— Да что вы! — Зубов обрадовался, что Бокий его признал. — Это папенька мой коллекционировал. Я — нет. Я сейчас в Гатчине... — Его оттерли от Бокия, но граф, работая локтями, пробился обратно. — Мне к Луначарскому надобно! Недельку переговоры с ним вел, а нынче он просто перестал трубку брать. Через секретаря отбредывается.

«Хорошенькая у меня конспирация, — подумал Бокий, — даже этот олух понял, что я двигаю в Москву!» Впрочем, «олух» ничего не понял, он просто сиял прозрачными желто-коричневыми глазами — рад был встретить старого, да еще и могущественного знакомого. Хотя, как показалось Бокию, глаза готовы были тут же по-детски налиться слезами.

— Через час... — Бокий снова достал часы, — через час пятнадцать у входа в Знаменскую церковь. На Лиговке. Прошу не опаздывать. Опоздаете — уеду без вас! И не надо кому-либо сообщать, что вы едете со мной! — Бокий уловил недоумевающий взгляд. — Так у нас принято! — он шелкнул крышкой и двинулся вслед за Фёдоровым, ловко раздвигавшим толпу.

К платформе Цветочная, что за Московской заставой, подъехали почти вовремя. Бокию пришлось самому сесть за руль — Фёдоров на другой машине смотался за охраной, молчаливыми латышами.

Граф Зубов, находящийся в родстве со всеми знаменитыми фамилиями России, был человек незаурядный. Искусствовед, философ, оригинал. Приютил в Гатчинском дворце, смотрителем которого был, бежавшего из Питера Керенского, яростно отбивался от его охраны — казаков, добравшихся до сокровищ дворца. Открыл в собственном особняке на Исаакиевской площади (и за свой счет!) Университет искусств, где преподавали и бесплатно читали лекции блестящие ученые, искусствоведы, архивисты. И, как положено русскому интеллигенту, пригревал, прятал от полиции и ссужал деньгами социалистов-революционеров.

В «классном», бывшем царском вагоне, как в последнее время не раз бывало, не работала электростанция. Их когда-то устанавливали шведы, но сейчас шведские специалисты-электрики отказывались ехать в Россию даже за большие деньги. Но Бокия отсутствие электроосвещения не очень волновало. Скорее, даже наоборот, успокаивало. Маленькая трехлинейная керосиновая лампа давала мягкий, желтоватый свет, обозначив круг от абажура на рабочем столе. Этот круг, в котором лежали его руки и поднимался, затейливо кружась, дым от папиросы, помогал сосредоточиться. Бокий любил это состояние: голова свободна, мысли «отпускаются» и мелькают, выстраиваясь, как в калейдоскопе, в странные структуры, композиции, сочетания... Вспомнился бесноватый Зиновьев, впавший в истерику от того, что Бокий снял свою подпись под заметкой о красном терроре. «Вы хотите все свалить на меня, хотите, чтобы я вошел в историю как человек, у которого руки по локоть в крови?» Бокий позволил себе чуть улыбнуться — фраза, сказанная в ответ, получилась неплохой: «Стоя по колено в крови, не следует так беспокоиться о чистоте рук...» И смешно, что он вытащил из стола донос из Дома ветеранов сцены. Да, одну из ассамблей пришлось устроить в этом доме на Петровском острове. Старые актеры так возбудились от запахов давно забытой хорошей кухни, что тут же написали письмо Зиновьеву. Надо отметить, что актерам-ветеранам не изменил скандальный нюх: Зиновьев ненавидел

Бокий и завидовал его ассамблеям. Бокий даже был уверен, что Зиновьеву приносят кое-какие фотографии этих загулов.

Бокий услышал в коридоре голоса. Прислушался. Кто-то из дочерей. Он знал, что верный Фёдоров не пропустит никого: Бокий не терпел, когда его отвлекали. «Донос актеров», — он снова вернулся к этой мысли. Забавно, что актеры жаловались только на то, что отходы с кухни и обеды со столов не дали им, а бросили бродячим собакам и котам... Это любопытно... Как быстро меняется психология человека. Ведь кое-кого из этих «корифеев сцены», как они сами именовали себя в доносе, Бокий помнил еще по афишам... Оказывается, если «корифеев» не кормить, они превращаются в банальных склочников. И притом — очень быстро.

Надо сконцентрироваться на последних событиях. Акция, как любил говорить Свердлов, с Урицким — там все прошло хорошо. Провал акции с Лениным-Бланком... Эта идиотская телеграмма: «Всем, всем, всем...», посланная раньше времени. Не удержался Яков Михайлович. А операция — сорвалась. Почему? Барановский с Микуличем, посланные в Москву, не могли промахнуться. Значит, стреляли не они? Но кто и как их отстранил? Перекупил Свердлов? Чем? Деньгами? Тем, что выпустит за границу? Но они же опытные люди, понимают, что за границей тоже не так просто укрыться. Ясно одно — стреляли не они. А кто? Сейчас выяснить трудно — Барановский с фальшивыми документами на имя Протопопова арестован и расстрелян, Микулич, опытная лиса, исчез. Идиотку Каплан Свердлов вовремя изолировал и уничтожил — пока не примчался из Питера долдон Феликс, не посвященный во все тонкости операции, и не принялся за расследование. Не иначе, вызвал своих ребят из Екатеринбурга — Шаю Голощекина, Белобородова, — и вот получили результат работы непрофессионалов.

Фёдоров принес чай, любимые сухари — из черного хлеба с солью. И чуточку чеснока. Как акцент.

— Елена (дочка) хотела прийти перед сном? — как бы спрашивая разрешения, проговорил Фёдоров.

Какое все-таки обаяние у этой девчушки! Даже Фёдоров поддается!

Бокий отрицательно качнул головой. Сейчас не до того. Надо думать, думать... расхлебывать результат работы непрофессионалов... Но не исключено, что они тоже занялись «расхлебыванием» и мой вызов к Свердлову — часть этого дела. Каков же сегодняшний расклад? Ленин-Бланк сидит сычом в Горках, читает «липовые» газеты и кипит, ожидая, когда закончится бесконечный ремонт, затеянный Свердловым в его кремлевской квартире. Но сидение Ленина в Горках не бесконечно. День-другой, и он вернется. И, зная дотошный характер этой персоны, можно быть уверенным, что возьмется за расследование: как из инсценировки, из цирка, получилась настоящая стрельба? И тут прыткому Свердлову, уже расположившемуся в кабинете Ленина и рассылающему телеграммы едва ли не от его имени, — несдобровать.

Он переставил лампу со стола на дальнюю, почти возле двери, полку. Черно-багровый осенний закат полыхнул за окном. Поезд мчался, раскачиваясь и гремя на стыках. Паровоз, ведомый веселым, усатым машинистом, Бокий уже знал его в лицо, выплевывал клочья пара, грязные брызги, расчерчивающие окно, и короткие, ухающие гудки. Солнце, то прячась, то вываливаясь из облаков, отдельными лучами, как боевыми прожекторами, освещало проплешины болот, кромку леса, выбегающего прямо к насыпи, избы, странными бородавками расплзшиеся по косогорам. И раскачивание, болтанка вагона только дополняли фантастическую картину. В небе явно шла борьба: могучими, нечеловеческими силами орды, стада черных, серых, сизых облаков швырялись откуда-то сверху в плавящееся солнце. Солнце ныряло в них, высвечивая края облаков оранжевым, нежно-сиреневым, сполохами ярко-желтого и багрового, и вырывалось из тяжелых, черных объятий, чтобы попасть в следующую черную стаю. В промежутках между атаками оно освещало пугающим,

театральным светом перелески, слюдяные окна болот и озер и деревенские избы, казалось, разбросанные без всякого признака *ratio*, здравого смысла.

Поезд-коротышка, состоящий из паровоза и двух вагонов, мчался, разрезая эту молчаливую картину неведомого великого сражения, короткими, ухающими гудками пытаюсь разогнать тишину, повисшую снаружи. Там была тишина бёклинского «Острова мертвых», тишина изначальная, в которой человек всегда начинает с холодом в душе чувствовать себя песчинкой, на мгновение вышвырнутой из дымящейся бездны на край ее — этот невидимый, безмерный, сползающий в бездну край.

Что за борьба открылась вдруг человеку, глядящему в окно, что за силы схватились там, наверху, что толкнуло их в битву, в которой нет победителя? Бокий ощутил неожиданно глубокую, смертельную тоску. Властная рука взяла его за сердце и сжала несколько раз, нарушая привычный ритм. Он почувствовал головокружение и холодный пот на лбу. Присел на жесткий диван, не в силах оторвать взор от великой безмолвной схватки на небе. Скалы и кипарисы «Острова мертвых» то обрушивались, открывая багровые внутренности, то снова возносились из черно-оранжевого, медленно плывущего варева. Бокию показалось, что прокуренное пространство бывшего царского кабинета вдруг наполнилось озоном, как во время электрического разряда в рентгеновском кабинете Мокиевского. Но никакого разряда не было. Бокий тоскующим сердцем ощутил рядом незнакомую, странную пустоту. Словно еще мгновение назад здесь находилась человеческая душа — и вдруг! — нет ее. Отлетела.

Преодолевая давящую боль в сердце, он потянулся к лампе и поставил ее на стол. Окно мгновенно стало черным, отразило оранжевый свет абажура, свет круга на столе и разбросанные по столу листки, испещренные загадочными цифрами, значками, иероглифами. Бокий, как всегда, делая любые заметки, тут же шифровал их своими собственными шифрами. Ключи от которых существовали только в его голове.

В дверях появился верный Фёдоров с чаем в серебряном подстаканнике и сухариками в сухарнице из царского сервиза. Бокий усмехнулся: когда-то он любовался этой прорезной сухарницей в роскошном томе, выпущенном Императорским заводом к 300-летию дома Романовых.

— Там этот... Зубов, — Фёдоров чуть скривился, показывая свое отношение к Зубову, — спрашивал, не сможете ли вы...

Бокий кивнул:

— Зови его сюда! И чаю организуй!

Зубов расположился в углу дивана возле приоконного столика. Крупный, представительный мужчина, он обладал какой-то удивительной легкостью, даже изяществом в движениях, в походке, в умении заинтересоваться и заинтересовать собеседника, не ввязываясь особо в споры, но и не сдавая своих позиций.

— Невероятно, — Зубов устроился поудобнее. — Когда-то я, мальчиком еще, был представлен императору и побывал в его вагоне. — Он с интересом огляделся. — Может быть, даже в этом. Хотя царских поездов было несколько.

Бокий молча, чуть улыбаясь, смотрел на графа, держа в руке серебряный подстаканник с вензелем, в котором подрагивал, чуть звеня, стакан.

— С подстаканником у меня тоже связаны домашние воспоминания, — Зубов отхлебнул чай и принялся рассматривать царский вензель. — Когда-то граф Сергей Юльевич Витте подарил папеньке вот такой, пожалуй, подстаканник, — Зубов усмехнулся. — Папенька в шутку уверял, что подстаканники придумал немец Витте, для экономии, чтобы сохранить стаканы. При движении поезда они подпрыгивали и разбивались. А дядюшка мой добавлял, что Витте прикупил акций банка «Вогау и Ко», который владел Кольчугинским металлургическим заводом. Который эти самые подстаканники и производил.

Бокий молча, жестом, предложил Зубову свои папиросы. Они закурили, посматривая на чай, плескавшийся в стаканах. Вагон изрядно мотало.

— Простите, Глеб Иванович, — прервал молчание Зубов, — а вы не из тех ли Бокиев-Печихвостских, которые в переписке Ивана Грозного с Курбским поминаются?

— Вряд ли, — Бокий, прикрыв веки, рассматривал Зубова. Тот держался так же свободно, как когда-то у себя во дворце-особняке, принимая социал-революционеров. — Вряд ли, хотя какое-то родство, быть может, и есть, я так далеко не заглядывал. — Они помолчали. — А что за вопрос у вас к Луначарскому? Все охрана ценностей?

— Не охрана, а спасение! — оживился Зубов. — Я сейчас получаю огромное количество писем... от родственников, от друзей. Черт знает что сейчас творится в усадьбах! А государство если еще крупные музеи, дворцы худо-бедно охраняет, то усадьбы остались совершенно без защиты! А как ни странно, основные-то художественные ценности именно там и хранились! Для себя, для семьи, для домашних... Это уж позднее дворянство да купечество, промышленники стали сокровища свои выставлять в городских домах...

Бокий неожиданно отметил, что Зубов, несмотря на высокий рост и могучую комплекцию, ухитрялся не занимать много места, не раздражал его своим присутствием — и это было одним из критериев неприязни Бокия к людям. Он в свое время написал маленькую работу для Бехтерева «О сохранении индивидуального пространства», которую профессор весьма ценил. И даже попросил разрешения (у Бокия-студента!) ссылаться на эту работу.

— Что возмутительно и обидно? — Зубов как-то по-особому изящно держал папиросу. — Мне пишут, что в Раниенбургский уезд слетелась стая московских антикваров, выстроили целый поселок! Для того только, чтобы эти несметные сокровища переправлять за границу. И тащат все: мебель, картины, книги, бронзу, фарфор, утварь церковную... Вычищают, что осталось после разграбления усадеб. Мне пишут и князья Кропоткины, Шаховские, Волконские... — Он распахнул пиджак и вытащил несколько писем. — Вот, Долгорукие пишут, Семёновы-Тян-Шанские...

Бокий протянул к письмам руку.

— ...Содержание почти одно и то же, — Зубов передал письма. — Там много личного, это все наши родственники. Надеюсь, вы пропустите... Но в целом — читать это без слез невозможно! И ведь повсюду, повсюду так — грабеж, уничтожение, варварство... Распоряжений нет никаких из столицы, вот и грабят, где только можно! У меня письма из Орла, Курска, Смоленска, даже из Томска. Известно, что мне удалось Гатчину кое-как сохранить, вот и пишут, думая, что у меня какие-то особые связи...

Бокий смотрел на Зубова, почти не слушая его. Мысль об уничтожаемых и растаскиваемых сокровищах в усадьбах вспыхнула в мозгу (колоссальный дополнительный доход!), но высветила странным образом совершенно иное. Бокий вдруг понял, что Свердлов — больше не соратник, а враг. И что им вдвоем на этом свете не ужиться. И понял, что Свердлов об этом тоже размышлял и пришел к такому же выводу. Но даже раньше, чем он, Бокий. Значит, надо заручиться поддержкой. На первый случай — Феликс. Он, конечно, дубина, машина, тонкости — ноль, но пока что никакая тонкость и не нужна. Достаточно того, что я понимаю, что Свердлов в своей схватке пауков — проиграл. Проиграл глупо. Поменяв в самом конце операции против Ленина исполнителей, подготовленных Бокием, — на знакомых ему по Екатеринбург бандитов-уркаганов. И тем самым вычеркнул Бокия из своей команды. А значит, рано или поздно, — и из жизни. Скорее всего — рано. Ждать долго не будет, не такой это человек.

Зубов, допивая очередной стакан чая, все еще горячился, рассказывая о фламандской живописи и маленьких голландцах Семёнова-Тян-Шанского, которых старик собирал по всему миру.

— Это вторая по количеству коллекция голландцев, а по качеству — первая, несомненно!

Фёдоров принес было еще одну лампу, но Бокий отослал его назад. В брезжащей полутьме громадный Zubov казался шаманом на камлании — он размахивал руками, пригибался к столу, словно пытаясь заглянуть в глаза Бокию, и говорил, говорил... Сейчас он нисколько не напоминал того Zubova, который, вальяжно устроившись у камина в своем особняке, читал им, Бокию и Фиме Кауфману, умершему потом на каторге от туберкулеза, лекцию о старинной русской мебели. Воздавая ей должное («я приверженец новгородской школы») и порицая увлечение поздними французскими подделками. В это же время в зубовском особняке полиция искала «бомбистов», которые в качестве хозяйских гостей спокойно сидели в парадной зале у камина.

Бокий вдруг вспомнил, как тогда же спросил Валентина Платоновича, зачем ему, графу и богатейшему человеку, нужно поддерживать революционеров.

— Знаете, что на такой вопрос ответил Семёнов-Тян-Шанский? — засмеялся тогда Zubov. — Я к нему пристал, по молодости, разумеется, зачем, мол, вам все это надо? И собирательство, и Географическое общество, и энтомология — какая у него коллекция бабочек была! — и студенты, которым он помогал... Так он ответил: «Я люблю Человека и Человечество!» Вот вам и мой ответ!

Бокий, глядя на Zubova, чувствовал страшную, разверзшуюся пропасть между ними, двумя людьми, едущими в одном вагоне. Пропать, курясь оранжевым серным дымом, чернела и углублялась, как при землетрясении.

— Вы видели сегодняшний закат, Валентин Платонович? — Бокию было интересно, какие знаки и сигналы рассмотрел в этом ужасном закате чуткий Zubov.

— Да, — небрежно ответил Zubov, — закат необычный. Скорее всего — к буре. Может быть, даже снежной, — и замолчал, со странным прищуром глядя на Бокия. — Хочу вам задать вопрос, Глеб Иванович.

— Да? — поднял брови Бокий.

— Я хочу напомнить вам тот вечер, когда мы сидели у меня дома возле камина...

— А полиция искала злоумышленников? — Бокий усмехнулся.

— Да, — кивнул Zubov, — неприятные воспоминания.

— Отчего же, вашу лекцию по истории мебели я помню до сих пор. — Бокий закурил, затянулся и изящно махнул рукой, разгоняя дым. — Помню, что вы приверженец новгородского стиля в мебели...

— Никакого особого новгородского стиля нет, это я со страху нес ахинею... Все-таки обыск в доме Zubovых был первый раз. Непривычно... — Он тоже закурил. — Вы тогда говорили об «Утопии» Мора.

— Не я, — уточнил Бокий. — Об «Утопии» говорил Фима Кауфман. Он умер на каторге.

— Я тогда, после разговора с вами, проштудировал «Утопию».

Бокий опять шевельнул бровями, как бы выражая легкое удивление.

— Нет, я, конечно, и раньше читал. Даже, кажется, по-немецки, в юности. Не думая, разумеется, что когда-нибудь вернусь к ней и буду всерьез размышлять об идеальном государстве, — Zubov помолчал, потом сделал какой-то странный жест, будто отмахиваясь от чего-то. — Скажите, Глеб Иванович, — Zubov чуть нагнулся к столу и понизил голос, — вы довольны тем, что произошло? Вот этот переворот? Вы счастливы? Вы этого добивались, играя в прятки с полицией?

Бокию показалось вдруг, что Zubov может схватить его за горло своими ручищами. Он едва не нажал кнопку вызова охраны, скрытую под скатертью. Впрочем, она все равно не работала.

Но Zubov откинулся на спинку дивана и уперся руками в край стола.

— Только не говорите мне об иностранной интервенции, о коварных немцах, о «белом движении»... Это все результат ваших действий! Многолетних действий,

упорных. И, как мне казалось, продуманных. Я читал князя Кропоткина, Маркса, Плеханова, я даже Ленина пытался читать, — мне все казалось, что я чего-то не понимаю, самого главного, какой-то пружины, которая движет вами... Присутствия какой-то тайны, без посвящения в которую все представляется абсурдом. Я и сейчас не понимаю. Скажите, вы довольны происшедшим? Счастливы? Вы добились своего?

— Мы измеряем мир в других категориях! Нас не интересует счастье одного человека. Любого. Вас или меня — неважно. Есть мир, в котором в смертельной схватке сошлись не отдельные люди, и даже не отдельные государства, а сошлись массы, обнажилась внутренняя жизнь миллионов людей. Они не могут жить по-старому. Маркс только изучил этот готовый к взрыву вулкан, только предсказал взрыв. Взрыв был неизбежен!

— Простите, я или не понимаю вас, или это просто демагогия! Счастье масс, о котором вы говорите, складывается из счастья или несчастья каждого отдельного человека. Я повторю: вы лично счастливы? Это то, к чему вы шли? За это умирали такие, как ваш сумасшедший Кауфман? За то, чтобы вы залили страну кровью? Вы сделали невозможное: Россия стала пожирать сама себя! Дальше — гибель цивилизации от границы с Польшей до Дальнего Востока! Что теперь делать, вы-то хоть знаете?

Дверь вдруг открылась. Вошла аккуратненькая девочка с косой и в платье с пелеринкой.

— Извините, — она кивнула в сторону Зубова.

— Елена, моя старшая дочь.

Девочка еще раз кивнула.

— Папа, простите, но сестрица заснула, а мне очень страшно одной. Так трясет, качает, кажется, что паровоз сейчас сойдет с рельсов...

Бокий, не вставая, протянул руку и посадил девочку к себе на колени.

У него было странное лицо мертвеца. Такое лицо Зубов видел только у Рембрандта. Когда Давид посылает на смерть Урию. Особенно это было заметно рядом с веселым, смышленным личиком девочки.

— Валентин Платонович, — негромко, полуприкрыв глаза красными, воспаленными веками, проговорил Бокий, — уезжайте отсюда. И чем скорее, тем лучше. Произошел взрыв! В чудовищный кратер вулкана уже хлынула морская вода, как при взрыве в Эгейском море, на Санторине! А вы все бегаете вокруг, чтобы узнать, подкладывал ли господин Маркс толковые шашки и поджигал ли Бокий бикфордов шнур, чтобы вулкан взорвался! Уже снесло Атлантиду! Уже миллиарды тонн земли поднялись в воздух и сейчас рухнут вниз! А вы — о счастье. Бегите! — Он замолчал, сидя с запрокинутым назад бледным лицом. Потом встал, не подавая руки, чуть поклонился: — Я позвоню Луначарскому, хотя у меня нет тесных отношений с ним, попрошу, чтобы он вас принял. И совет начинающего коммунистического чиновника: заранее напишите резолюцию, которую вы хотите от него получить. И дайте ему, чтобы осталось только поставить подпись. Пустяк, — криво улыбнулся Бокий, — но работает.

Девочка, поблескивая глазками, весело улыбалась Зубову. Видимо, участие в разговорах взрослых было ей не в новинку.

— А вы знаете, почему я к вам обратился? — остановился уже в дверях Зубов.

— Догадываюсь! — сыронизировал Бокий.

— Вряд ли! Когда-то я страшно увлекался химией. Так увлекался, что в учебнике по химии вашего папеньки я отыскал ошибку! И немедленно послал ему письмо. А через некоторое время приходит ответ от Ивана Дмитриевича Бокия, автора учебника «Основания химии». С подробным разбором моих соображений. Я, кажется, тогда классе в шестом-седьмом гимназии учился. И анализом — уже моих — ошибок! И подпись: «С уважением, коего Вы в высшей степени заслуживаете, и с пожеланиями...» действительный статский советник Иван Бокий. — Зубов махнул рукой и исчез за дверью.

«Странный, странный человек, — подумал Бокий. — Небольшого ума! Впрочем, чтобы грохнуть императора табакеркой в висок, большого ума не требуется!» — И снова переставил лампу со стола на полку к двери. Ему хотелось еще раз взглянуть на грозный, безумный закат.

— Папочка, а кто это? — Елена снова забралась на колени к отцу.

— Его дед, прадед, точнее, убил императора Павла. Я тебе рассказывал. Шарахнул золотым портсигаром в висок — и нет императора.

Он потер виски и глаза свободной рукой, сделал паузу и взглянул в окно, на небо. Никакого заката не было и в помине. В сиреновой черноте медленно катилась по небу луна, окунувшаяся в серебристые по бокам облака. Она была кругла, чуть красновата, с четким рисунком на равнодушном лице, который в детстве так легко было принимать за улыбку. И даже пролетающие за окном клочья пара и паровозного дыма не оживляли бессмысленно красивый, оранжево-красный круг.

Разговор со Свердловым не задался. Может быть оттого, что Бокий успел уже переговорить с Дзержинским. Который, кстати, оказался вовсе не таким долдоном и мигом сообразил, что Бокию нужно быстро скрыться.

— Вам нужно исчезнуть. Поехать подальше куда-нибудь... В Белоруссию, в Минск, — Дзержинский с удовольствием курил крепчайшую сигарету, предложенную Бокием. — Там пока еще немцы, — ответил он на поползшие вверх брови Бокия, — но они там, судя по всему, ненадолго. Нужно поработать с интернационалистами, — он почему-то перешел на польский. — Навербовать шпионов. В будущем они нам пригодятся, — Феликс закашлялся, слишком глубоко затянувшись. — А найдете время, навестите мои родные места. Там недалеко. Расскажите потом, что от нашей усадьбы осталось. Если осталось, конечно.

В разговоре со Свердловым, после встречи с Феликсом, Бокий чувствовал себя спокойно. Это необъяснимое спокойствие Свердлова раздражало. Он почувствовал, что Бокий отходит, отплывает от него, и в этом была смертельная опасность. Независимо от того, куда приплывет этот желтолицый, чуть раскосый туберкулезник.

Звякнул телефон на столе. Свердлов поднял трубку, послушал и молча положил ее на рычаг.

— Это ваш охранник стоит у моей двери?

— Телохранитель, — кивнул Бокий. Значит, верный Фёдоров занял правильную позицию.

— Ну, что же, — Свердлов взглянул на громадные часы в углу, зашипевшие перед боем, — у меня сейчас заседание Совнаркома, это часа на полтора-два, — он снял пенсне и, щурясь, улыбнулся Бокию. — После заседания и увидимся.

По этой улыбке, которая должна была быть доброй, Бокий и понял, что жизни ему отпущены именно эти полтора-два часа. Сопровождаемый Фёдоровым, он вышел из Кремля, сел в свой «паккард» и доехал до Лубянки. Надо забрать дочек, которые уже устроились в его старом кабинете, отвезти их Трилиссеру и оформить у него документы для Минска. Трилиссер, конечно, негодяй, но именно тот негодяй, который сейчас нужен. Сентиментальный негодяй. И к моим девочкам относится идеально. Брать ли с собой Фёдорова? Он покосился на телохранителя. Тот сидел за рулем с каменным лицом. Будто это и не он стоял только что у двери Свердлова с револьвером в руке. «Нет, — решил Бокий, — здесь он нужнее. И девочкам охрана не мешает, и поручения, а они, несомненно, будут, можно передавать через него». *À la guette comme à la guette*. И война будет всерьез.

Глава 43

Бехтерев, как и обещал когда-то Николаю Константиновичу Кольцову, лекцию на биологическом факультете прочитал. Как всегда, в большой аудитории-амфитеатре и, как всегда, под аплодисменты. После аплодисментов, откланявшись и отблагодарив студентов, которые провожали профессоров по всему длинному коридору, присели за круглый столик в кабинете Кольцова.

— Угощение, — Кольцов повел рукой, показывая на чай и несколько мельчайших кусочков постного сахара в сахарнице, — как нынче говорят, по законам военного коммунизма.

— У них вечно так будет, — пробубнил Бехтерев, оглядывая кабинет, — то предвоенный коммунизм, то военный, то послевоенный.

— Я попытался вникнуть в этот ихний коммунизм, — Кольцов развел руками, — и ни черта не понял. Уж на что Бердяева не люблю, думаю, надо почитать, вдруг что толковое найду. Ну не может же так, на всю страну, а то и на всю Европу как морок какой-то: коммунизм.

— Уж и до Америки морок этот долетел!

— Ну, американцы-то от него быстро избавятся! — засмеялся Кольцов. — Они люди рациональные. Прикинут — выгоден им этот самый коммунизм или нет. А коли нет, так ему в Америке и не бывать.

— Да, — согласился Бехтерев, — я тоже думаю, что мы этот кукиш только для старушки Европы заготовили. А что пустовато у вас в лаборатории?

— Беда, — вздохнул Кольцов. — Голод не тетка. Пришлось почти всех сотрудников распустить. Кто мог — все на подножном корму, в деревнях. Я слышал, у вас еще хуже? Чуть не голод?

— Почему «чуть»? — Бехтерев поставил чашку на столик. — Голод и есть! Осьмушку хлеба на два дня дают. И купить ничего нельзя. Можешь в Чеку загреметь.

— Так как же вы? — с сочувствием склонился Кольцов. — Это ж и выжить нельзя...

— Так уж половины Петрограда и нету! Кто смог, тот съехал уже. А кто не смог...

— Вы-то как?

— Да что мы! — Бехтерев похлопал по карманам, извлек пачку папирос желтой турецкой бумаги и протянул Кольцову. — Мы с Павловым, Иван Петровичем, договор заключили. Мы ему — мышей да крыс наших линий, а они нам — картошку, свеклу, репу. Тут вот капусты привезли чуть не целый воз. У них ведь хозяйство-то большое.

— Как ни большое, но ведь и своих кормить нужно! — Кольцов затыкнулся от души и закашлялся.

— Забыл предупредить, Николай Константиныч, — повинился Бехтерев, — табачок-то настоящий турецкий. Крепкий, аж дух перехватывает!

— И бумажка, видите, желтенькая. Тоже турецкая. У нас в университете когда-то турок один работал. Не знаю уж где, но по хозяйственной части. Он вот всё такие папиросы поставлял любителям. Я, грешник, тоже иной раз покуривал.

— А нас, — хмыкнул Бехтерев, — тоже свои, понимаешь, турки снабжают. Из Чеки! Они ведь к доктору Мокиевскому бегут, как муравьи к сахару. Дорожку протоптали!

— А Мокиевский ваш, знаю его, поди, доит их, как муравьи тлю?

— На том и живем! Мокиевский, проныра такой, раньше лечил от алкоголизма за три сеанса, — Бехтерев, смеясь, махнул рукой, будто отгоняя комара, — а нынче, говорит, меньше чем за пять-шесть никак не удастся. И все — не бесплатно, заметьте, Николай Константиныч. Продукты везут. Мы их скоро на пальто да штаны менять будем, а то пообносились мои ученые!

Через час — старуха-лаборантка еще дважды приносила чай — Бехтерев поднялся.

— Николай Константинович, ждем вас с лекцией у себя. То, что вы рассказали, голубчик, невероятно интересно. Может, это голод так обостряет научную мысль?

— А что, не исключено! — поддержал шутку Кольцов.

— Я вам папиросы оставлю, — Бехтерев положил папиросы на стол, — вы ж у нас любитель! А мне они по случаю достались. Знаете, есть такой деятель в Чека, Бокий по фамилии. Нет? Когда-то у меня в лаборатории вольнослушателем подвизался. Не без способностей человек, но продался дьяволу. И служит ему со страстью. Помните, как в молитве: «Сподоби мя, Господи, возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане лъстивому». Так вот Бокий этот, наоборот, сатане лъстивому служит. И не сейчас только. Я и в молодости его подмечал, куда он глаз ни обратит — везде чертовщина закручивается. А талантливый, — как будто даже с завистью сказал Бехтерев.

— Тяжко так-то человеку жить, — перекрестился Кольцов.

— Перед тем, как к вам идти, я с ним встречался, — Бехтерев снова присел на кресло. — Они виды имеют на мою лабораторию!

— Что так? — удивился Кольцов.

— Им доктор Мокиевский, любимейший мой прохвост, наплел черта лысого про передачу мысли на расстояние, про телекинез, телепортацию... Ну, с голодухи чего ни наговоришь...

— Я слышал, Барченко ваш очень интересные опыты проделывает...

— Серьезный ученый, — закивал Бехтерев, — не нам с Мокиевским чета. Но все эти опыты — на уровне лабораторного эксперимента. А большевикам-то хочется, я их понимаю, массаи командовать, чтобы те по приказу на бой, понимаешь, кровавый шли! Или, на худой конец, где надо, голосовали бы по приказу. А до этого от опытов — как до луны.

— И что Бокий?

— Обещал оборудование немецкое — немцы по тому же пути идут, но до Барченки им далеко. Командировки обещал, пайки, жилье для всех — только работайте. Жмите на результат!

— Заманчиво! — подергал себя за ус Кольцов.

— А бес всегда соблазнителен! — Бехтерев посерьезнел. — Я ему так и сказал, Бокию. Вы, говорю, соблазняйте меня, как бес Христа в пустыне. Сначала предлагаете мне камни в хлебы превратить, чтобы прокормить лабораторию. Потом соблазняйте меня, объявляя нас с Барченкой гениями, а под конец — даже выдвижением на Нобелевскую премию. Мол, не одному Павлову, у нас есть, чем гордиться.

— Да, — Кольцов с сочувствием глянул на Бехтерева, — это прямо третий соблазн Христа: весь мир тебе принадлежать будет! — Они помолчали. — Тяжкий путь нам выпал, Владимир Михалыч!

— Нам с вами?

— Да. И России, и нам с вами. Истинно, как Достоевский говорил, бесы нас окружают. А теперь и к власти пришли... — Он поднялся, подошел к Бехтереву и обнял его. — Меня, слава Богу, Владимир Михалыч, не трогают. Разве что разоряют. А вот за вас, честно скажу, боюсь, сердце болит...

— Избави пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь?

— Хорошо, если барская... от лукавого-то уйти посложнее...

Они крепче обнялись, на секунду прижавшись друг к другу, словно прощаясь навсегда.

— А вы молодцом! — Кольцов похлопал Бехтерева по спине. — Стан как у молодого!

— Как привык с молодости по системе Лесгафта упражнениями заниматься, так

и остановиться не могу! — засмеялся Бехтерев. — Хоть, говорят, и устарела система, так и мы с вами не молодеем!

Кольцов проводил Бехтерева до выхода, студенты и преподаватели останавливались и почтительно кланялись. Даже в старинном университетском коридоре не так часто можно было встретить сразу двух корифеев русской науки.

— А что, Владимир Михалыч, — Кольцов придержал Бехтерева за локоть, — как думаете, они и верно победить смогут?

— Нет, Николай Константиныч, — Кольцов вдруг увидел, как за последний год постарел Бехтерев, — разве на какой срок удержатся... А там, в полном соответствии с вашей теорией, перегрызутся доминантные самцы, пережрут друг друга, пока один не останется, да и того порешат... опять же в соответствии с наукой, свои же... — он остановился на мгновение, словно хотел сказать что-то еще более важное, но не рискнул.

Кольцов помахал рукой, глядя, как Бехтерев бодро направился в сторону «Метрополя», где Бокием был оставлен ему номер.

Из этого номера Бехтерев и послал ему телеграмму: «На ваши условия категорически не согласен. Проф. Бехтерев».

«Проф. Бехтерев» и не подозревал, что независимо от его согласия и несогласия Институт по изучению мозга и психической деятельности станет лишь небольшой частичкой империи Бокия под названием «Спецотдел ОГПУ». В этой тайной империи, из которой не выходило ни одного документа без грифа «совершенно секретно», помимо охранников, следователей-костоломов, стукачей, провокаторов, расстрельных мастеров и прочих штатных слуг дьявола будут работать тысячи ученых, иногда даже не знающих, на кого они работают: лингвистов, криптографов, медиков, биологов, специалистов по ядам, психологов и психиатров, тех, кого позже назовут экстрасенсами, восточных магов, буддийских монахов и лам. Империя поглотит талантливейших инженеров, физиков, специалистов по радио и радиолокации. Изобретателей диких приборов для шифровки и дешифровки текстов — любимого занятия Бокия, единственной, быть может, его страсти. Он создаст грозу большевистской верхушки — зашифрованный архив: досье преступлений, пакостей и предательств на всех, кто хоть единожды попал в круг его влияния. Архив, найденный лишь частично и не расшифрованный по сию пору.

Империя со столицей на Лубянке проведет тысячи и тысячи экспериментов, миллионы опытов, чтобы вчера еще свободных людей заставить сегодня подчиняться безоговорочно воле вождя. Здесь разгадка будущих политических процессов, нерасследованных убийств, фальшивых сетований: может быть, так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто уходили в могилу.

Десятилетиями в лабораториях ядов, психотропных веществ, бесконтактных методов обработки сознания шли круглосуточные эксперименты над заключенными, чтобы вывести особую породу людей, питающихся, как крысы Бехтерева, надеждами и обещаниями. Научные ростки окучивала и удобряла пропагандистская машина, запущенная по команде и программе лубянской империи и схваченная за горло стальной рукой партии. В тайных лабораториях, в бесчисленных подвалах, в крытых грузовиках с надписью «МЯСО» на борту, в которых перевозили трупы, штамповались люди, готовые по первому зову идти, зная, что впереди их ждет неминуемая и мучительная гибель. Люди, покорные воле сверху и жаждущие ее, впадающие без окрика и удара электротоком в безмерную тоску, ведущую к полной деградации, пьянству и распаду. К духовной коме, вывести из которой может лишь свист бича, окрик или удар тока. Еще долгие десятилетия эта порода людей, выведенных в империи Бокия, как экспериментальные линии бехтеревских крыс, будут по-особому размножаться, воспитываться, и расти, и проникать в здоровые сообщества, рождая там раздоры, злость, зависть и рабскую покорность команде сверху, так хорошо передающуюся по наследству.

Глава 44

Вместо обещанной встречи со Сталиным бойкий Агранов проводил Бокия в кабинет Ленина. «Значит, они вместе», — отметил Бокий. Он видел это давно, еще со времен германских денег, хранить которые и наблюдать за жуликоватыми Парвусом, Ганецким, Склянским и прочими, чтобы те воровали в меру, Ленин-Бланк приставил Кобу. Это было умно. Не то чтобы тот был особенно честным, просто он родился со счастливым кавказским характером: зачем мне много денег? Денег должно быть столько, чтобы сунул руку в карман, и там всегда есть, сколько тебе надо! Это и почувствовал Ленин. Власть, особенно тайная, для горца была слаще денег.

Со времен петроградских встреч Ленин-Бланк сдал. Постарел, пожелтел лицом и стал совсем похож на татарина. Голова чуть склонилась набок (из-за ранения?) и прищур стал еще сильнее. Ленин-Бланк был близоруким, но почему-то стеснялся носить очки, считая, что они ему «не идут».

— Рад, рад, — по обыкновению затоковал Ленин, глядя куда-то чуть выше бокиевского плеча. — Рад! Агранов Яков Саулович мне доложил, что вы готовы возглавить спецотдел Чека. Это очень, очень важно, — он похлопал себя ладошкой по лысине, приглаживая несуществующие волосы. — Никакой секретности нет. Информация, секретнейшая, растаскивается, растекается... Я дал команду — только через шифры, только через специальные коды...

— Информация растекается по многим каналам, — перебил его Бокий, понимая, что тот будет говорить еще долго. — Прослушивание телефонных линий, снятие информации с аппаратов «Бодо», перлюстрация... Нужна система, противостоящая утечке информации.

— Так, так, — Ленин уселся бочком к длинному рабочему столу, не приглашая почему-то Бокия присесть. — Очень интересно!

— Но нужно не только сохранять свою информацию, — Бокий сел рядом с Лениным, — но и получать чужую! Нужны системы прослушивания в посольствах, в наркоматах... — Он внимательно посмотрел на Ленина, отметив, как у того вспыхнули глаза. Идея прослушивания пришла ему по душе.

— А технически это достаточно хорошо возможно?

— Во всяком случае, есть системы гораздо более совершенные, чем та, что смонтирована у вас в столе!

— Как, вы знали об этом? — Ленин захохотал. — Браво, Бокий, я всегда подозревал, что вы гений, — он придвинулся вместе со стулом к Бокию. — Мы окружены дураками! — сказал он почти шепотом. — От них надо защищаться и страховать. Но это временно, Бокий! Придут другие люди!

Разговор с Лениным-Бланком для Бокия был важен. И не только тем, что Ленин собственноручно написал приказ о создании спецотдела Чека и прямом подчинении отдела Политическому бюро ЦК и лично Ленину: «Руководить спецотделом ЧК Политическое бюро ЦК поручает тов. Бокий Г.И. с подчинением и финансовой отчетностью лично мне».

Ленин подошел к столу, звонком вызвал Агранова и отдал ему приказ.

— Теперь, — он жестом остановил Агранова, — доложите мне об опытах Бехтерева. — Ленин поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. — Яков Саулович рассказывал какие-то чудеса!

Бокий, увлекаясь сам, принялся рассказывать об опытах Бехтерева, об открытии Барченко — передаче мыслей и мыслеобразов на расстоянии, о возможностях массового гипноза и бесконтактного воздействия на массы, о Шамбале и даже спиритических сеансах.

— Насколько это серьезно, товарищ Бокий?

Бокий вдруг почувствовал за всеми, отчасти детскими, ужимками и восторжен-

ными восклицаниями жесткую, собранную в кулак волю и быстрый, тренированный мозг.

— Насколько? — Бокий повернулся к Агранову, который сидел с противоположной стороны стола. — Яков Саулович, — он постарался говорить спокойно, не повышая голоса, — поднимите, пожалуйста, руку. — Нет, другую, — он чуть усилил нажим, — правую руку, правую! — Бокий посмотрел на Ленина. — Мы можем продолжать беседу. Он будет держать руку, пока мы ему не дадим команду ее опустить.

— Невероятно! — Ленин был в восторге. — Яков Саулович, что же вы? Опускайте, опускайте руку!

Тот только улыбался кривоватой улыбкой, показывая, что ничего не может поделать.

— Невероятно! И вы так можете...

— Это самый простейший гипноз! — Бокий смотрел на Ленина, стараясь понять, насколько он искренен. И где валяет дурака. — Я вам говорил о гораздо более сильных вещах, о передовой науке, а не о штукарстве...

Похоже, Ленин был заинтересован всерьез.

— А вот это... как вы сказали... бесконтактное управление массами, — он быстро вышел из-за стола и опять подсел к Бокию. — Насколько это серьезно?

— Это научное открытие, прорыв на сто лет за горизонт! Но для утилитарного воплощения его нужно время. А главное — деньги! Деньги огромные! Нужны исследовательские работы, лаборатории...

— Глеб Иванович, — вскочил вдруг Ленин, — денег у нас чертова прорва! На куче денег сидим, только не знаем, как ими распорядиться! — Он повернулся к Агранову. — Опустите же руку, наконец!

Тот снова бессильно помотал головой.

— Пусть опустит! Это меня раздражает! — И принялся смотреть, как Агранов, опустив руку, стал растирать ее — рука затекла. — Деньги есть! — он повернулся к Бокию. — Для вас они — вот тут, в этом приказе! — Ленин ткнул пальцем в только что подписанный приказ. — И как когда-то говаривали: «С Богом!»

Они подошли к двери, Ленин подождал, пока выйдет Агранов, и шепотом спросил:

— А вы откуда знаете, что у меня в столе телефонная станция? Интуиция?

— Самая лучшая интуиция — та, что основана на информации! — пошутил Бокий, понимая, что в этом вопросе — ключ сегодняшнего разговора. — Когда Свердлов просил меня установить ему в кабинет такую же станцию с возможностью прослушивать кремлевские разговоры, шведские спецсы, к которым вы в свое время обращались, предложили мне усовершенствованную модель.

— И вы? — склонил голову набок Ленин.

— Поставил ему, — Бокий смотрел, как брови у Ленина поползли вверх, меняя лицо. — Но подключил к его станции не все номера! — Он улыбнулся, глядя на зашедшегося в смех (его даже согнуло) Ленина. — Вашего там нет!

— А я, я как же его слушаю?

— Секрет шведской фирмы!

Они расстались, посмеиваясь, довольные друг другом.

Так до конца и не раскусив собеседника.

Ленин-Бланк, судя по всему, не догадывался, кто был организатором сорвавшейся «акции» Свердлова: Бокий, вглядываясь в узкие татарские глаза вождя, не прочитал в них своей смерти. К чему был готов при вызове в Кремль.

Ленин, как показалось Бокию, больше обрадовался усовершенствованной станции подслушивания своих соратников, чем рассказу о научных достижениях Бехтерева. «Не понял», — подумал Бокий. И ошибся. Финансирование лабораторий Спецотдела Чека было открыто сразу. И не прекращалось никогда. Даже после 16 мая 1937 года, когда Бокия вывели из кабинета Ежова в расстегнутой гимнастерке, без ремня и сапог и повели по знакомым коридорам Лубянки.

Глава 45

Город неожиданно накрыло мокрым снегом. Он лежал на мостовых, забиваясь в калоши и ботики, на тротуарах, на гранитных и чугунных парапетах и перилах набережных, выстилал скверы, выбелил мосты и залепил окна. Окна вместо черных провалов смотрели теперь на город болезненными, прищуренными бельмами. Даже лошади, сколько ни старались, не смогли своими желтыми кучами и дорожками испортить первую белизну.

А наутро ударил мороз. И город заскользил, потеряв остойчивость, размахивая руками и вскрикивая веселыми детскими и бабьими голосами.

Ближе к осени город превратился в соревнование лжецов. Самые чудовищные слухи, рассказанные «знакомыми одних знакомых», подхватывались и сдабривались собственными предположениями и благими (не всегда!) пожеланиями. Странно, но еще год назад основными лозунгами были патриотические призывы «всем, как один... грудью на защиту... Вышвырнем германцев за наши пределы... Отстоим православную веру...» Сейчас германцев ждали как освободителей. Хотя и говорили об этом с опаской. Обязательно поминая, что они «все-таки европейцы и культурные люди»... Ко всеобщей городской лжи об увеличении пайков, о положении на фронтах, о германцах, уже взявших Одессу и направляющихся к Харькову, о «зеленых», овладевших Киевом, английской эскадре в Финском заливе и немцах какого-то полковника Готторна, приближающихся к Пскову, прибавились еще лживые сообщения о морозе. Назывались чудовищные цифры по Цельсию и Реомюру, которые тут же опровергались, и возникали новые, пугающие еще более. Автомобили урчали моторами, стараясь взобраться на ледяные катки мостов, сползали юзом назад, сталкиваясь и пугая лошадей, извозчиков и пешеходов. Северный ветер свирепствовал, как всегда в Петрограде, ухитряясь дуть в лицо сразу со всех направлений, со всех улиц, площадей и переулков, в которые пытались спрятаться от его жестоких порывов закутанные в шали, полушалки, шарфы жители, вынужденные в эту погоду оказаться на улице. Вчерашние мокрые лозунги и транспаранты задубели, хрустели и стучали на ветру, стараясь вырваться из промерзших рук. Однако какие-то шествия, демонстрации то ли «за», то ли «против» чего-то и праздники с колоннами и флагами никак не могли закончиться. Хотя мороз и подразогнал устало и лениво протестующих и торжествующих. Кое-где транспаранты побросали в грузовики и незаметно растеклись по улицам, согревая дыханием руки и растирая уши: по осеннему времени трехухов было немного. Их обладателям завидовали.

— При Учредилке были грузовички, а при большевиках — броневички, вот что народ-то говорит, — пробасил, как всегда ни к кому не обращаясь, дворник Россомahiной, Адриан, глядя, как Марья Кузьминична садилась в коляску. На спине лошади, покрытой не то попоной, не то рогожей, лежал смерзшийся сугроб. Да и возница, хоть и пошевеливал плечами, стараясь сбросить снег, больше походил на рождественского Деда Мороза. Чем-то, правда, опечаленного.

Мальчишки-газетчики, каждый на своем углу, кричали, размахивая мокрыми газетами, в которых была та же ложь, приправленная журналистскими амбициями и невежеством.

Как изменилась толпа на Невском! Откуда эти небывалой ширины клеши и длиннющие ленточки, старого образца шинели, шлемы с завернутыми наверх ушами, башлыки, сабли, неожиданные малиновые кавалерийские галифе, громадные браунинги у пояса и даже гранаты, болтающиеся на брезентовых кольцах. Разнобой сапог, но непременно со шпорами, обмотки, сбитые рваные опорки... И повсюду обезьянье скорое шелушение, шелканье семечек, с неимоверной быстротой покрывших шелухой улицы.

У Либихов неожиданно возникла исчезнувшая на два месяца Марья Кузьминична. И, возникнув, немало удивила. Она пришла с прописями доктора Вельде для детей и огромной просьбой: хоть микроскопическую дозу малинового варенья. По ее взволнованному рассказу, она стала матерью двух десяти-одиннадцатилетних девочек, доставшихся ей вместе с Исааком Моисеевичем Бакманом.

— Исаак Моисеевич, — щебетала Марья Кузьминична, почему-то понизив голос, — чудный, интеллигентный человек. У него какое-то дело. Что-то вроде торговли. Я, разумеется, не вникала. Правда, — Марья Кузьминична еще понизила голос, — после гибели жены, Ревекки Марковны, он малость... малость не в себе... — Она сделала круглые глаза. — Когда находит на него, садится и смотрит в угол. Не слышит ничего, а иной раз и слезы в глазах... Я дам ему посидеть, а после «заклинания», что мне доктор Мокиевский произносить велел...

— Заклинания? — Наталья и Зинаида Францевны только сокрушенно качали головами.

История Ревекки Марковны, бесследно сгинувшей в подвалах на Гороховой, 2, взволновала тетушек Сеславинского, и дополнительно к банке малинового варенья Марье Кузьминичне были выданы какие-то капли, спирт и вошенная бумага для компрессов и красный стрептоцид, хранившийся «как зеница ока». А Наталья Францевна, закончившая курсы сестер милосердия при сестринской общине принца Ольденбургского, вызвалась немедленно отправиться вместе с Марьей Кузьминичной и ухаживать за ее приемными детьми.

Исчезновение несчастной жены Бакмана для тетушек Сеславинского, как ни странно, даже почти не расширяло круг жертв Гороховой. Известия о новых жертвах приходили каждый день и стали уже привычным делом. Вроде разговоров о грабежах на Сенной, ограблении в Перекупном переулке или убийствах из ревности где-нибудь на Лиговке. Первый страшный и почти невыносимый шок, охвативший всех после 30 августа — убийства комиссара Урицкого, ареста и расстрела пятисот заложников, призыва, а точнее всеобщего газетного воя, славящего «красный террор» и зовущего к нему, этот первый шок — прошел. Сменившись необычным чувством ожидания ужаса. Об арестованных, их мучениях и расстрелах на Гороховой говорили шепотом, оглядываясь, но говорили везде: в очередях (их теперь называли «хвосты»), в храмах накануне и после службы, в театрах и гостях, куда ходили все реже.

Террор, возможность погибнуть внезапно и безвинно странно гипнотизировали общество. Было чувство, словно гигантский невидимый сизо-красный петух стоит на чудовищных когтистых лапах, наклонив голову, и внимательно высматривает жертву. Жертвы под этим косым взглядом вздрагивали, старались быть незаметными, пытались слиться с толпой. Не выделяться ни шляпкой, ни слишком новой одеждой, даже не говорить громко. Но чудовище клевало и клевало, выхватывая из окружения Либихов то протоиерея Орнатского с сыновьями-офицерами, то мелкого банкира Чистовича и служащего в его банке, то горького пьяницу-краснодеревщика, занимавшего подвал в их доме, выходившем на набережную, то... Исчезнувших было так много, что в это невозможно было поверить. Как невозможно было понять страшные правила, закономерности террора. Хотя правила эти непрерывно провозглашались вождями большевиков: никаких правил и закономерностей нет, никакой вины не требуется, никто «из бывших» не гарантирован от ужасного и мгновенного удара клювом сверху! Так требуют «законы революции», которая «не делается в белых перчатках», которая «требует жертв», жертв и жертв. Сначала казалось, что городские слухи, распространяющиеся со скоростью эпидемии, чудовищно преувеличивают и число жертв, и невероятные мучения и издевательства, которым эти жертвы подвергались. Оказалось — нет! Можно содрать кожу с живого человека или «только перчатки», посадить на кол перед ликующей толпой, разбивать головы кувалдой, заведя для этого специальную наковальню, обливать водой на морозе и раздирать,

привязав к бешено рванувшимся лошадям. И ожидания ужасов, и сами мучения были так оглушающе невероятны, что люди вдруг (или почти вдруг) потеряли порог чувствительности — привыкли к ним. Ужасы стали знакомы и ожидаемы, как дождь, непогода или осенние наводнения Невы. Кое-кто даже пытался предсказывать приливы и отливы террора, как предсказывают плохую погоду опытные моряки, видя солнце, садящееся в кровавые облака. Но эти привыкшие к террору как к неизбежности люди были уже другими людьми. Не похожими на тех петербуржцев, которые прогуливались по Невскому перед войной, раскланиваясь со знакомыми и разглядывая летние наряды дам. Те — исчезли. Пропали навсегда. И не только в подвалах на Гороховой. Само нахождение возле лап чудовища, высматривающего сверху очередную жертву, мгновенный удар и бесследное исчезновение в утробе монстра родных, близких, дальних, знакомых и незнакомых замораживали людей, делая их бессловесно-нечувствительными, словно стеклянный, холодно-равнодушный взгляд чудовища выхолащивал души, оставляя лишь незнакомо-узнаваемую оболочку бывших петербуржцев. С пыльными шляпными коробками на шкафах и смутными остатками французских духов в павловских и екатерининских туалетах.

А Сеславинский впервые был счастлив. Неловко быть таким счастливым в странном, замершем, неухоженном и запуганном городе. Он всегда любил Петербург. С момента, когда, благодаря соседу по имени князю Радзивиллу, увидел его в окошко авто князя, направляясь в Пажеский корпус. Князь Эдмунд Радзивилл, решивший судьбу Александра, худой старик в сверкающем золотом парадном мундире, сидевший в папенькиной «турецкой» комнате со старинной трубкой, вдруг поймал костлявой рукой шмыгнувшего мимо Александра и, глядя на отца, сказал, пыхнув сладковатым, противным дымом: «А этого я бы в Пажеский корпус определил, самое ему там место! Третьего дни собираюсь в Петербурге быть, сам его и отвезу, представлю!»

Так Сеславинский увидел Невский проспект, поразивший его: после ярославских улиц Невский был невысказанно красив и длинен. А шпиль Адмиралтейства иногда даже снился ему.

Сеславинский был счастлив, не скрывал и не мог скрыть этого. Даже начальник Угро Аркадий Аркадьевич Кирпичников, обычно не интересовавшийся ничем, кроме уголовных расследований, поднял как-то голову от папок с делами и, улыбнувшись, что бывало совсем редко, спросил:

— Не иначе влюбились, Александр Николаич, что-то прямо сияете?..

— Не только влюбился, но и женился.

— Что же в известность не ставите? А я вас, по неведению, всё в ночные дежурства да патрули посылаю... — Кирпичников поиграл морщинами на подвижном лице, изображая растерянность. — Поздравляю сердечно! Кого, поинтересуюсь, осчастливить изволили? — и, вслушиваясь, приложил ладонь к уху. — А где дама сердца проживает? Гороховая, 57? Знаменитый дом... Купца Саввы Яковлева или еще купца Евментьева называют... Там рядышком, в 55-м доме знаменитейшее убийство в самом начале века произошло, — он прикрыл глаза и даже почмокал губами, как чмокают от удовольствия. — А в конце-то концов едва убийцу не упустили... Представьте, забежал как раз в 57-й дом, в ротонду, и грозил вниз броситься! — Он полистал амбарную книгу, лежавшую перед ним, отыскивая что-то, интересующее его, и по-стариковски поднял глаза на Сеславинского поверх очков. — Вам ведь теперь, поди, и о жилье беспокоиться придется? Ко мне вчера замечательная дама приходила, артистка Елена Маврикиевна Грановская. Мы с ней с давних времен еще знакомцы. Когда-то, как и положено знаменитым артисткам, ее собственная горничная ограбила, очень звонкая история получилась. Сговорились горничная, кучер — ее любовник — и ростовщик с Апраксина двора и ограбили. Все драгоценности выгребли, покуда артистка по провинции на ангажементе разъезжала! А знаете, кто их сдал? Нет? Не догадались?..

Ростовщик и сдал! Половина-то драгоценностей оказались фальшивыми, польская подделка! А негодяи на суде утверждали, что ростовщик их надул, якобы драгоценности были настоящие, а тот их подменил! Да, — он поправил очки, — очень звонкое дело получилось, очень... И весьма для популярности Елены Маврикиевны полезным оказалось...

Кирпичников снял очки и протер глаза чистейшим, сияющим всегдашней белизной носовым платком.

— Приходила Грановская вчера, — другим уже тоном сказал он. — Донимают ее из домового комитета относительно уплотнения. Спрашивала, не можем ли мы чем-нибудь помочь... Не желаете с артисткой жилье разделить? У нее на Пантелеймоновской дивная квартира. И хорошо надвое делится. Она просит комнаты окнами во двор, а вам останутся — на Пантелеймоновскую, с видом на церковь. Я обещал подобрать порядочного человека... — Он помялся. — Из наших. Чтобы домовый комитет лишней раз артистку не беспокоил... Там на балконе кариатиды стоят, рыцарь с дамою... Как раз для молодоженов!

И когда Сеславинский, согласившись переговорить с артисткой, выходил из кабинета, громко, вдогонку, сказал: — Там, возле кариатид, Елена-то Маврикиевна и прятала драгоценности! Настоящие. А те, что сперли, — стекляшки сценические были! А? Звонкое дело!

Жить в квартире со знаменитой Грановской! Елена недавно была в «Пассаже», театре, построенном на репертуаре Грановской, и с восторгом пересказывала отдельные номера, скетчи, реплики... Особенно публике нравилось, когда знаменитая актриса «ловила рыбу» — с помощью театральной удочки «вылавливала» из зала портреты, шаржи на «вождей революции» и тут же весьма комически и едко изображала их. И вдруг — жить в одной квартире, рядом с великой актрисой!

Грановская же, узнав, что высокий и стройный красавец, явившийся к ней от «самого Кирпичникова», еще и выпускник Пажеского корпуса, пришла в такой восторг, что вместо двух комнат, поначалу отведенных семейству Сеславинского, отдала еще и третью.

— Голубчик, — она распахнула дверь в комнату, залитую зимним солнцем, — вам при такой должности совершенно невозможно без библиотеки и кабинета! И кроме того, у меня же есть к вам свой интерес! Да! — кокетливо ответила она на недоуменный взгляд Сеславинского. — На днях является какой-то человек, представляется хозяином французской прачечной, просит билет на мой спектакль, говорит, что он в восторге от моей игры и... — она трагически дотрагивается до рукава Сеславинского: — и мы с горничной не можем выставить его из квартиры! Он говорит и говорит! — Она игриво, чуть-чуть оттолкнула Сеславинского, словно это он «говорил и говорил». — И тут выходите вы, в парадной форме!

— Должен вас огорчить, — поддержал ее домашний скетч Сеславинский, — у меня нет парадной формы, но я готов выйти против хозяина французской прачечной с саблей.

— Bravo! — актриса крепко сжала запястье Сеславинского. — Этого будет вполне достаточно!

Сеславинский бегом поднялся по винтовой лестнице к квартире Елены, вошел в приоткрытую (как всегда, когда ждали его) дверь и потихоньку, чтобы не было слышно шагов, пройдя по коридору, распахнул дверь в ее комнату, собрался было крикнуть: «А у меня для вас подарок!» — но успел лишь проговорить: «А у меня для вас...» — и осекся. В комнате Елены за маленьким столиком, вполоборота к двери, сидел худощавый, стриженный ежиком мужчина в старой походной офицерской шинели, наброшенной на плечи.

Одному Богу известно, как Сеславинский понял, что это муж Елены. И отец девочки, Ольги. Офицер поднялся из-за стола и шагнул навстречу Сеславинскому.

— Крестинский. Сергей Николаевич, — проговорил он странным, мертвым голосом и чуть кивнул, обозначая поклон. Левый рукав его гимнастерки, застегнутой на все пуговицы, был заткнут за широкий офицерский пояс. У офицера не было руки.

Глава 46

— С новым календарем я совершенно сбилась с панталыку, — Наталья и Зинаида Либихи разбирали елочные украшения, разложенные по коробкам, — выходит, что Рождество нынче позже Нового года?

— Ты знаешь, впервые в жизни украшать елку не хочется! Вместо радости все время слезы наворачиваются!

Такого сурового Рождества у Петрограда еще не бывало. Голод и холод. Голод, холод и слухи — вот что делало жизнь почти невыносимой. Правительство ввело монополию на торговлю хлебом, сразу и окончательно запретив любую торговлю, за счет которой и выживали петербуржцы. Это вовсе не означало, что стихийные рынки («толкучки», как их сразу стали называть) возле Гостиного, Апраксина, на Сенной и, конечно же, знаменитая и любимая петербуржцами «подкова» Александровского рынка, что на Вознесенском, тут же прекратили торговлю. Просто и торговать, и покупать на рынках стало опаснее. В любую минуту наряд вооруженных красноармейцев мог окружить толпу торгующихся и, выпуская из кольца по одному, аккуратно и деловито грабить всех, кто попал в окружение. Хозяева рынков тут же сговорились с красноармейцами — за взятки, в основном спиртом, те соглашались не нарушать торговый порядок. Хотя время от времени возникали на рынках «чужие», и торговли, подхватив товар, разбегались по подвалам. Особо порядок поддерживался на Александровском рынке, причем не только в трех его основных пассажах — Татарском, Еврейском и Садовом, но и на площади, где располагалась главная «толкучка».

Милицейский паек Сеславинского позволял его тетушкам кое-как, пусть и впроголодь, существовать. Вообще же, перемены, которые обрушились на сестер, были так непредсказуемы и стремительны, что обе они, и Зинаида и Наталья Францевны, не сговариваясь, старались даже не обсуждать их.

Женитьба Сеславинского была хоть и тоже неожиданным, но единственным приятным событием. Разумеется, они предполагали, что племянник когда-то женится, заведет детей, но чтобы вот так, сразу...

Елена понравилась тетушкам и показалась теплым и родным человеком, а от девочки тетушки пришли в восторг. Правда, к концу вечера, когда неутомимая Оля окончательно освоилась и принялась прыгать на диване, восторг этот можно было, скорее, назвать сдержанным.

Встречать Рождество решили у Либихов. Не без влияния Марьи Кузьминичны. Поразив тетушек Наталью и Зинаиду, она сообщила, что «окончательно вышла замуж» за Исаака Моисеевича Бакмана, удочерив разом двух его девочек. И теперь Марья Кузьминична особо ратовала за детский праздник: девочки Мара, Лариса и Оля должны подружиться с детства. И лучшего события для этого, чем Рождество, разумеется, быть не может. Тем более, что Исаак Моисеевич взялся обеспечить компанию продуктами. «Он изумительный человек, — шепотом говорила Марья Кузьминична, — изумительный! Но, — тут она игриво крутила пальчиком возле виска, — с приветом! А кто, скажите, не будет с приветом, побывав на Гороховой?» Тетушки соглашались, отмечая попутно, что у нее появился легкий еврейский говорок.

Узнав о детском празднике, Петя Иванов поинтересовался, нельзя ли привести младшего брата: того только что привезли с Украины, а в семействе Ивановых — испанка, так что пока Георгию приходится жить на Васильевском и, пользуясь

испанкой, отдаленностью школы и Петиной слабостью, большую часть времени проводить с братом на заводе.

Очень выручил Исаак Моисеевич: где-то добыл целую коровью ногу. Конечно, это была, как сказала Зинаида Францевна, «неполноценная нога», скорее мостолыжка с небольшим количеством мяса в верхней ее части, но ценность этого дара не подвергалась сомнению. Студень, котлеты... («Их как ни руби, — настаивала Настя, — будут жесткими».) Окончательное решение в выборе меню помогла принять ингерманландка Хельга, которая неожиданно привезла на финской «вейке» солидный мешок картофеля, квашеную капусту и моченую бруснику. И отказалась брать деньги за это богатство: «Самый большой подарок пудетт для меня, когда вы весной приедете на дачу и мы будем питть целый самоваар чая!»

Не подкачал и Петя: они с Георгием принесли большущий холщовый мешок замороженных вареников с вишнями — произведение Петиной жены-украинки Нади. Помытый и принаряженный мальчик сжимал в руках футляр с домрой.

Вообще же, это отметили не только тетушки, что-то изменилось в людях: снова начали ходить в гости (правда, со своим хлебом и сахаром), чаще писать почтовые открытки, а к Рождеству готовили и обменивались подарками. Рациональная Зинаида считала, что просто люди привыкают к ужасу жизни и пытаются вернуться к прежним отношениям, к прежней жизни. Наталья же Францевна видела в возобновлении («пусть в малом, пусть!») прежних отношений промысл Божий. И показатель того, что не все человеческое сумели вытравить большевики. «Так люди пытаются противостоять им!»

Сеславинский запомнил это Рождество навсегда.

Настя превзошла себя: ладно бы студень и зразы из Хельгинова картофеля с начинкой из ноги, которую притащил Исаак Моисеевич, — но торт! Она выменяла несколько картошин на настоящую овсянку и испекла овсяный торт с прослойками из малинового варенья! С этим тортом могли соперничать только Петины вареники с вишнями! Вишни, как сказал знаток Исаак Моисеевич, «хоть и из варенья, но вкуснее натуральных».

Сеславинский сидел на диване, глядя, как Елена, сияя глазами, хлопочет за столом, помогая Насте. Тетушки сразу признали ее хозяйкой, позволили управлять столом и буйной компанией девчонок, наряженных в специально сшитые платья с белыми ангельскими крыльями и блестками. Дети носились вокруг елки, пели под аккомпанемент Натальи Францевны, читали стихи и пытались разгадать фокусы, которые показывал Исаак Моисеевич. А он оказался ловким фокусником, безошибочно открывая и отгадывая карты и незаметно пряча под кофейными чашками махонькие пирамидки хлебного мякиша.

Тетушки были в ударе: то одна, то другая присаживались за фортепьяно, играли, пели, а Зинаида Францевна даже участвовала в хороводе, в который, кроме нее, Елены и Марьи Кузьминичны, девочки ангельскими просьбами втянули и Исаака Моисеевича, и он с удовольствием пел русские и еврейские песни и катал девчонок на плечах.

Наконец настал черед Георгия. Они что-то репетировали в комнатке рядом с кухней, и теперь Исаак Моисеевич торжественно вынес к елке табуретку и голосом конферансье объявил:

— Уважаемый публикум, многоуважаемые дамы и господа, перед вами выступит известнейший на Украине балалаечник, сбежавший из лап батьки Махно и уцелевший от испанки Георгий Иванов!

Возразив, что его инструмент не балалайка, а домра, покрасневший от смущения мальчик сел на табуретку.

Сеславинский помнил рассказ Пети о младшем брате — как тот подрабатывал в Гуляй-Поле, где они остановились у Надиных родственников, играя на домре.

Сентиментальные украинцы щедро расплачивались салом, которое Надя с Георгием пересылали в Петроград.

— Георгий, а что чаще просили сыграть украинцы?

— «Гоп, куме, не журися, — мальчик бойко ударил по струнам, видно было, что он не раз играл эту песню, — туды-сюды поверныся...»

Наталья Францевна придвинулась в фортепьяно и принялась подпевать и аккомпанировать.

— А знает ли уважаемая публика, — Исаак Моисеевич был прекрасен в роли конферансье, — что наш знаменитый балалаечник пострадал от какого-то местного бандита, батьки Махно? Давайте попросим рассказать! — Он принялся хлопать в ладоши. Поаплодировав и видя, что Георгий не хочет рассказывать о своих украинских приключениях, Исаак Моисеевич, подмигнув «уважаемой публике», поведал, как на большом празднике при стечении народа, наш герой — он театральным жестом указал на мальчика, — спел... Гоша, напой, у меня не получится! — и вместе с Георгием они спели: — Гоп, куме, не журися, туды-сюды поверныся... У батьки Махно гроши завелися... А на тии гроши купить можно тильки воши...

— Ничего смешного, господа, — продолжал свой конферанс Исаак Моисеевич, — за эту песенку наш герой получил двадцать розог прямо на площади, на майдане... Что? — он нагнулся к Георгию. — Ах, вот как! Уважаемый публикум, вкралась небольшая ошибка. Двадцать розог герой получил за то, что уцепился за тачанку батьки Махно и немного прокатился на ней! А за замечательную песню про гроши батьки он получил всего десять розог. Но тоже публично, при стечении народа, на майдане в Гуляй-Поле.

После торта, песен и очередного хоровода огромный Дед Мороз, стоявший под елкой, отодвинулся, открыв гору подарков. Но предварительно каждый должен был аккуратно срезать с елки свою именную конфету. И прочитать вслух пожелание, записанное самим Дедом Морозом. Конфеты были изготовлены Настей все из той же овсянки, шоколадного масла, тоже выменанного на картошку, и горстки орехов, привезенных Хельгой.

Сеславинский устроился поудобнее в углу дивана. От выпитого спирта (Исаак Моисеевич оказался достойным партнером), тепла, вкусной еды, нежных и родных взглядов Сеславинский почему-то впал в легкий ступор. Не хотелось ни смеяться вместе со всеми, ни танцевать и прыгать в хороводе. Счастьем было просто молча сидеть, ловить на себе взгляды Елены и тетушек и смотреть, как девчонки визжат от восторга, получая подарки, как зарделась от удовольствия горничная Настя, когда ей вручили «что-то из дамского гардероба» и трогательную открытку, приложенную к иконке ее любимого Дмитрия Ростовского, как хороша, легка в движениях и улыбках Елена, как Марья Кузьминична ласкает и целует девочек.

Он попытался припомнить прошлогоднее Рождество — и не смог. Вспоминались почему-то безобразные пьянки в землянках, палатках, польских фольварках. Громкие, скандальные, неизменно заканчивавшиеся ссорами, тошнотой и дикой головной болью по утрам. Хотелось не думать о работе — и как назло крутились в голове какие-то недоделанные дела, приказы, которые надо было бы подписать, уходя на праздники. Впрочем, какой в Угро праздник? Сегодня — вторник, обычный рабочий день. Рождество официально отменено властями.

Ему казалось, что он провалился, спрятался в какую-то щель между прошлым и настоящим: детством в усадьбе, расставанием с родителями, учебой в Пажеском корпусе с тамошней муштрой, летними лагерями, первой дружбой и войной, воспоминания о которой он пытался стереть, отбросить. Но они накатывали, вспыхивали, подкрадывались неожиданно, будто напоминая раз за разом, что ты должен жить за тех людей, которые погибли, исчезли, прекратили свое существование на твоих глазах. О том, как они погибли, Сеславинский заставлял себя не вспоминать. Они погибли,

а ты остался. Значит, Господь дал тебе время что-то сделать на этой земле? Сделать то, что не успели и не успеют уже те, кого нет, кто погиб? Почему саперная лопатка немца, с криком ворвавшегося в землянку и замахнувшегося для смертельного удара, застряла в бревнах потолка-наката, а капитан Лисицкий, спавший после дежурства, проснулся и всадил в него пулю из браунинга? И пропустил удар второго немецкого разведчика, от которого у Лисицкого снесло полголовы? Как удалось швырнуть в немцев керосиновую лампу, которую пять минут назад Сеславинский заправлял? Керосин полыхнул, Сеславинский помнил, как немец горящими руками пытался потушить огонь на лице. А денщик Яковлев, пьяница и разгильдяй, уложил обоих немцев трофейным тесаком, заслужив солдатского Георгия? Почему их нет, даже пьяницы Яковлева, отравившегося денатуратом, а я есть?

Кто я и почему именно мне дано это счастье — сидеть с любимыми людьми и видеть их счастливыми?

Сеславинский задремал на миг, но как-то странно, вроде бы продолжая видеть все, что происходило к комнате, только Дед Мороз приблизился, увеличился и стал похож лицом на старого сыщика Кирпичникова, когда тот фукнул в усы, рассказывая про «чудовищные опыты» над страной.

— Алексан Николаич, — горничная Настя аккуратно трянула Сеславинского за плечо, — Алексан Николаич, вас на телефон просят...

Сеславинский поймал на себе тревожный взгляд Елены. Этот взгляд и вернул его в действительность. Он кивнул Елене и вышел в коридор.

— Александр Николаич, — голос Кирпичникова был как всегда сух и хорошо узнаваем. — У нас самострел скорее всего, но я попрошу вас приехать, — он замолчал. — Почему вы не спрашиваете, зачем?

— Я знаю... — Сеславинский чувствовал, как мертвенный, сковывающий холод знакомо растекается по спине, позвоночнику.

— Осталась записка. Читать?

— Да, — ответил Сеславинский, не узнавая своего голоса.

— «Поручику Сеславинскому А.Н. Должно быть, на то воля Божья. Простите меня. Не поминайте лихом. И не хороните.» И подпись, — он почему-то сказал постаринному жестко — «подпись»: «Штабс-капитан Крестинский», — Кирпичников помолчал. — Я послал машину за вами, думаю, она уже пришла. Выходите!

К Либахам Сеславинский вернулся почти под утро. Шумное семейство Марьи Кузьминичны и Бакмана уже уехало: Петя на своем «Рено» отвез их, благо от Екатерининского канала до Большой Морской рукой подать. Елена с Ольгой помогали Насте по хозяйству. Был убран и сложен большой стол-сороконожка, раздвинутый специально для праздника, гудела колонка, поставляя горячую воду на кухню, квартира, если не считать елки, занявшей весь красный угол в большой комнате, постепенно возвращалась к привычному виду. Тетушки, борясь со сном, сидели над раскрытыми альбомами, привлекая то Елену, то Ольгу, и с увлечением рассказывали о той жизни на фотографиях, которая ушла навсегда. Ольга, подсевшая к ним, почти сразу задремала, положив пушистую головку на руку Зинаиде Францевне. Та замерла в неудобной позе и сидела неподвижно, боясь потревожить девочку. Елена, заглядывавшая через плечо Натальи Францевны, то и дело отвлекалась — ей все казалось, что Сеславинский позвонит в дверь, а они не расслышат. И старинные фото со штампами, вензелями, рисунками и подписями мастеров, эти фотографии исполнявших, перелистывались одно за другим, покорно исчезая за толстыми, твердыми листами альбомов. Понимая и смиряясь с тем, что исчезают навсегда.

Сеславинский отнес спящую Ольгу в машину, хотя тетушки и настаивали, чтобы девочку оставили ночевать, усадил Елену, Георгия и сел сам, кивнув Пете.

— На вас лица нет, Александр Николаич, — шепотом сказал Петя, почему-то обращаясь «на вы». — Случилось что?

— Случилось, — коротко ответил Сеславинский и был благодарен за то, что сообразительный Петя больше не задал ни единого вопроса.

Город замер, застыл черно-серой декорацией к несуществующему, но уже разыгрывающемуся спектаклю. Нереально величественная колоннада Казанского собора, чугунная, промерзшая решетка набережной с шапками снега на гранитных столбах, Невский со зданием «Зингера» и неожиданным простором, распахнувшимся по обе стороны, Спас-на-Крови, выдвинувшийся всей громадой на канал, и промерзший Христос на мозаике, обращенной к замершей в стылом безмолвии воде. Буксавшая на нечищенной мостовой, завывавшая мотором машина была единственным живым существом в этой замершей черно-серо-белой декорации. С трудом повернули направо. Дорога вдоль Марсова поля была занесена снегом. Ни единого следа. От Михайловского замка, исчезнувшего в темноте, едва видны были колонны да частично белокаменный узор. Летний сад исчез в морозной дымке. Лишь кривые, мосластые деревья выхватывались на мгновение пляшущими столбами фар.

Сонный дворник Захар в полушубке, накинутом на исподнее, и валенках-поршнях отворил дверь парадного, кивнул: «Благодарствую!» — на бумажку, вложенную ему в руку Еленой, и долго стоял, держа высоко керосиновую лампу, от желтого света которой тьма на лестнице становилась еще гуще.

Пока Елена укладывала девочку, Сеславинский стоял, набросив шинель на плечи, приоткрыв дверь на балкон, охраняемый невидимыми верными кариатидами, и смотрел в темноту. Там, впереди и чуть влево, должен был высвечиваться купол храма святого целителя Пантелеймона. Но в морозной, словно самосветящейся тьме его не было видно. Будто и не было храма вовсе.

Елена неслышно подошла сзади, едва дотягиваясь, обняла за плечи и спросила, как выдохнула: «Он?» И, не дожидаясь ответа, прижалась к нему и тихо заплакала. Потом она лежала молча, почти без слез, на кровати, держась за руку Сеславинского, стоявшего на коленях рядом. Он замер, не думая ни о чем, лишь вдыхая родной, теплый запах и ощущая изредка слабое движение ее руки. Само собою вспоминалось, как он вошел в комнату Елены на Гороховой, как поднялся навстречу безрукий офицер. Короткий, сдержанный разговор. «Нам нужно выйти отсюда, чтобы объяснить!» И голос Елены: «Не надо выходить, я хочу, чтобы вы говорили при мне!» — «У меня ничего не осталось в жизни, кроме нее!» — «У меня тоже!» — «И выход только один!» — «Сергей, одумайся!» — это уже Елена. И удар двери — удар-шелчок, как выстрел, когда он уходил.

— Ведь мы не виноваты, Саша... — он не был уверен, что это ее голос. — Мы ни в чем не виноваты, Саша. Только в том, что любим друг друга. И живем в это дикое время, растоптавшее всех, нас всех, всех... Мне так страшно, Саша, я ведь почти перестала верить в Бога, и если бы не ты... И Ольга... Я бы сделала это раньше, чем он... Но ты ведь есть... И Ольга есть... значит Бог все-таки с нами...

Сеславинский, после всех милицейских процедур, захоронил прах Крестинского в Александро-Невской Лавре. И не его вина, что позже, когда создавали в Лавре «Красный пантеон», «Красную площадку», могилу штабс-капитана Крестинского снесли. И ангел-хранитель его, усталый голубь, взмахнув белыми крыльями, переместился под купол Лавры, воздвигнутой в честь и в память святого Александра Невского. Воина и защитника.

Глава 47

Шифротелеграмма от Агранова пришла быстро, Бокий еще не успел закончить создание ревтрибуналов в частях Югфронта, куда Феликс перебросил его после Минска. Но главное было сделано: распутившиеся было командиры почувствовали, что рядом есть власть. Особенно, когда по приговору Ревтрибунала расстреляли перед

строем бывшего казачьего есаула, попытавшегося перекраситься и под шумок ведшего агитацию в бригаде. Вел он эту самую агитацию или не вел — кто знает? Но не приглянувшись переметнувшийся к красным есаул одному из членов трибунала, вроде бы обматерил его по пьяни мимоходом — и вывели пьянчужку грешного во двор и грохнули, ничего не понимающего с похмелья. «Отправили в Харьков», как любили шутить в трибунале. Чтоб другим неповадно было.

Так что Бокий за ревтрибуналы, дело своих рук, был спокоен. Тем более что в Москве он не собирался задерживаться. Хотя бы потому, что не верил ни Агранову, ни всем, кто за ним стоял, ни на волос. Поэтому и не потребовал себе вагон и охрану, на что имел полное право, а только предупредил командующего Югфронтом Фрунзе, умеющего хранить тайну, — и исчез. Как и не было председателя ревтрибунала фронта.

Бокий же в это время трясся в прокуренном купе охраны бронепоезда, который шел на ремонт в Лиски. Два пожилых красноармейца из железнодорожной охраны пили из одной кружки какую-то вонючую дрянь и непрерывно смолили махорку. Бокий с одним лишь телохранителем всунулся в купе, потеснил бойцов и улегся на полку, подложив под голову кожаную командирскую сумку и браунинг. Поразмывать было о чем, хотя Бокий для себя уже все решил. Ставку на Свердлова делать нельзя. Он проиграл 30 августа. Ленин-Бланк выжил. И теперь Свердлову надо убрать всех, причастных к «акции». И Бокия — в первую очередь. Ну что же, тем интереснее. Бокий расслабился по системе йогов и погрузился в теплую полудрему, позволявшую голове работать свободно, без волевого усилия.

Очнулся Бокий оттого, что голоса красноармейцев стали громкими.

— А пусть ваш председатель Чеки Атарбеков не брешет, будто это он генерала Рузского порешил! — говорил один.

— Я у Рузского-генерала под началом служил, — сказал второй. — Хучь и не видел его никогда, а все ж...

— Я ведь в еттих Ессентуках-то был, осенью-то! — не слушал его первый. — И как раз человек шестьдесят, не меньше никак, и заарестовали. Допреж выманили всех, вроде легистрацию пройти, и заарестовали. Да-а... — в паузе слышно было, как оба старательно смолили самокрутки. — И не скажи, что глупые люди, а вот поди ж ты... — Они помолчали. — Пришли на легистрацию эту самую, как кутята... Да-аа... И генерал Рузский, старичок уже, и графья-князья всякие... Их в Ессентуках-то тогда скопилось... Не думали, что красные столь скоро войдут... Всех не упомяну, а вот Бобринского помню, Урусова — видный такой, на нашего деревенского попа был похож... Все интересовался, за что его арестовали! — Оба хрипловато захохотали, сплевывая на пол. — За что заарестовали! А ему наш-то, Атарбеков, и врезал! Браунингом по затылку!

— Ну да?

— А то! — Он постучал кружкой по столику. — Нету больше?

— На донышке!

Они выпили, крикая и звучно утирая рты.

— Крепкая, зараза! — осипшим голосом.

— Дак спирт, сам понимай!

Помолчали.

— А один, священник, отец Иван Рябухин, так со святым Евангелием и шел...

— А вели куда?

— Сперва к Чрезвычайке, к дому Карапетяна, а после — на кладбище...

— Идти-то порядком...

— Что порядком, погода-то, еттить ее, вовсе никуда стала... Не пойми, не то снег, не то дождь. Одна подбежала к своему, одеялко какое что ли хотела ему набросить, а помощник Атарбекова, шепелявый такой, кричить: «Ты, грит, молодая ешшо, одеял-

ко тебе пригодится, а ему на Машуке оно ни к чему!» А он-от, кому одеялко, тоже вроде генерал был...

— Развели их, генералов, что клопов в Чрезвычайке...

— Да-аа... Пока шли до кладбища, там сторожам яму-то заране заказали, да уж и темнеть начало...

— По темноте-то стрелять плохо...

— Добро б стрелять, — закашлялся первый, — дак Атарбеков приказал патроны беречь! Шашки, кричить, наголо, и пошли к кладбищу! — Он помолчал. — Покуда шли, извелись все! Рузский-то, старичок, падает, ноги подкашиваются, кто тоже валится — раненый... Натерпелись мы... Атарбеков с шепелявым конями на них наезжают, гонют быстрее, а что толку?! Пока пришли до кладбища, темно уж, считай.

— Да,— сочувственно сказал второй, — по темноте рубить-то...

— Вот и я! — подхватил первый. — Покуда разделись, да до могилы, до ямы дошли... А оказалось, шашек-то никто и в руках не держал! Атарбеков кричит: «Руби!» — а они шашками машут без толку! То по рукам попадут, то по плечам, кровища хлещет... Один из наших-то — сам в обморок грохнулся! Рубанул по башке, у того глаза выскочили! А он, как смог-то? — поймал их руками и на нашего идет!

Они посмеялись.

— Ну, а про Атарбекова-то?

— Будто он Рузского заколол? Брешет! Я сам видел, как Рузский рубашечку снял аккуратно, возле ямы встал на колени и шею вытянул. Рубите, мол. А священник давай над ним отходную читать! — Он хмыкнул. — Я священнику-то сам такую отходную показал... А Рузского кто-то из наших и кончил...

Бокий попробовал снова отключиться, но потянуло в нужник. Он представил загаженный еще на подходе пол, решил перетерпеть до станции и повернулся на другой бок. Неожиданно для себя закрихтев по-стариковски. Интересно, что сказали бы эти аборигены, если бы узнали, что именно генерал Рузский был среди тех, кто заставил Николая II отречься от престола и держал за руку колеблющегося императора, приговаривая: «Подпишите, подпишите же. Разве вы не видите, что вам ничего другого не остается. Если вы не подпишете, я не отвечаю за вашу жизнь».

Мартовская Москва встретила солнцем, синью, лужами на площади перед Курским вокзалом, стаями воробьев, щебечущих возле куч свежего конского навоза. После двух с лишним суток дымных, вонючих поездов даже запах навоза и талого снега показался Бокию приятным. Солнце слепило, отражаясь в лужах, грязных стеклах, переливаясь в громадных сосульках, облепивших по углам здание вокзала. Извозчики, отчаявшись получить седоков, сгрудились в углу, бурно матерясь и хлопая себя по толстым ватным бокам. Бокий, встав в угловую нишу вокзала, внимательно осмотрел площадь. Конечно, никто не знал, что он приезжает, но «встретить», как принято было говорить в Чека, могли. Поставленные на боевой взвод браунинги — просто мера предосторожности: вызов Сталина мог обернуться чем угодно. Но Бокия это даже забавляло. Интересно, как эти пауки теперь будут делить власть? Свердлов — с Лениным? Сталин со Свердловым? Сталин с Лениным? А есть ведь еще и Троцкий, и даже вечно надутый Феликс не прочь был бы почувствовать себя царем. Пусть на время, пусть хоть на неделю! Тем более, что времени оставалось немного: Корнилов и Деникин собрали вполне грозные силы, способные выместить эту истерическую публику из Москвы.

Телохранитель подогнал ковровые санки и сел рядом с возницей, повернувшись лицом к начальнику. Это было правильно с точки зрения безопасности. Бокий видел, что делается впереди, телохранитель — сзади. Санки, раскатываясь на повороте, вылетели на Земляной вал и понеслись в сторону Красных ворот. Крупный жеребец размашисто бежал, екая селезенкой и швыряя в передок комья мокрого снега.

Бокий любил Москву. С ее простодушными нравами, деревянными домами

с палисадниками, льнущими к самой проезжей части, и петухами, орущими посреди ночи. Даже запах утреннего теплого хлеба в Москве свой: кисловатый, деревенский. Здесь была какая-то особая мартовская синь между сверкающими на солнце золотыми главками церквей, выглядывающих по сторонам в просветах между домами. С ходу пролетели Красные ворота, и Бокий неожиданно крикнул: «Сверни-ка к храму!»

— К которому? — не оглядываясь спросил возница.

— К Трем Святителям!

Возница лихо задрал голову жеребца, сани, раскатываясь юзом, пошли по растаявшей снежной жиже, выбрасывая снег из-под полозьев.

Бокий прошел в ограду, по расчищенной дорожке — к храму.

Когда-то, впервые приехав в Москву из Тбилиси, маленький Глеб заходил с отцом в этот храм. Бокий до сих пор помнил теплый свечной дух намоленного храма, громадную икону Архангела Михаила на паперти, поставленную в память об отпевании в храме генерала Скобелева.

Возле входа в храм, присев бочком на ступеньку и опустив в лужу ноги в драных опорках, сидел местный юродивый в странном бабьем зипуне, наброшенном на плечи. Он смотрел чистыми, слезящимися глазами и улыбался. С крыши церковного крыльца лилась капель, разбиваясь о камни и вспыхивая бриллиантами на солнце. Юродивый время от времени смахивал капель с плеча красной, распухшей от мороза рукой и лизал ее, виновато посмеиваясь и поглядывая на проходящих. Будто сыпавшаяся сверху капель была запрещенным лакомством.

Бокий полез в карман за мелочью, но нащупал там только браунинг, так и не сброшенный с боевого взвода. Он оглянулся, ища охранника, но тот задержался у ворот храма.

— Большими слезами живем, барин, большими слезами, — вдруг совершенно ясно сказал юродивый, перестав гундосить и смеяться.

— О чем плачем? — Бокию почему-то не хотелось входить с весеннего солнца, от свежей, звучной капли в темноту храма с огоньками плавающих свечей. Не захотелось, будто кто-то поставил перед ним невидимую преграду.

— О людях плачем, о людях молим, — забормотал юродивый, — люди Бога забыли.

Он, плача и смеясь одновременно, смотрел на Бокия детскими глазами. Вдруг чуть привстал, в дыры опорок стали видны красные, как у гуся, ноги.

— Люди Бога забыли, боятся его, стыдно им, стыдно... — Он потянулся к Бокию, приподнимаясь почти на колени. — Они Его забыли, а ты их не стреляй, в храме не стреляй, в храме стрелять нельзя...

Бокий бросил юродивому несколько смятых бумажек и вошел в храм.

Сбоку, в приделе Иоанна Богослова, маленький, сухой священник исповедовал молодую женщину. Она мелко кланялась ему и смотрела в лицо так, словно хотела узнать сейчас же все, что ее волнует. Старец, держа ее руку своей, что-то говорил и говорил, кивая в ответ на ее поклоны. Сзади, в темном приделе, горела толстая свеча, бросая блики на их лица. Было в этом что-то пугающе-древнее. Старец в церковном облачении и молодая женщина, исповедующаяся ему в грехах. Их поклоны и кивки стали глубже, старец заулыбался ей, она тоже вдруг улыбнулась, приложила к его руке и снова, уже улыбаясь, стала что-то говорить ему. Он кивал, прикрывая глаза и кротко взглядывая на нее. Наконец старец накрыл ее голову епитрахилью и принялся читать разрешительную молитву, крестя маленькой, белой ручкой.

Бокий краем глаза смотрел, как они простились, и вдруг ему захотелось подойти к старцу и, быть может, даже исповедоваться. Он сделал несколько шагов к священнику, тот, почувствовав чье-то приближение, поднял голову.

— Поисповедаться?

— Нет, — сказал Бокий, медленно узнавая в старце того священника, который когда-то служил в этом храме — когда они пришли сюда с отцом.

— Вы ведь не наш прихожанин, вы в первый раз, — священник подслеповато смотрел на Бокия.

— Нет, не первый... В первый раз я был тридцать лет назад. С отцом. И служили тогда тоже вы, батюшка...

— Да, я! — обрадовался священник. — Что привело вас? — И спохватился: — Полно, побудьте в храме, возле иконок помолитесь...

— Я, батюшка, к сожалению, в Бога не верую!

Священник поднял было руку, чтобы перекрестить его, но остановился.

— Веруют все. И беси веруют! Дрожат, а веруют. Думают, что не веруют, только те, кем дьявол овладевает, одолевает его душу...

Бокий резко повернулся, широкий плащ его чуть не задел священника, и вышел.

После полумрака храма солнце сияло нестерпимо, больно было даже смотреть на снег, быстро тающий возле столбиков ограды.

Юродивого на крыльце уже не было. Лишь телохранитель быстрым шагом спешил Бокию навстречу. От твердых ударов его хромовых сапог раздавалось эхо под сводом храма, талая вода широкими веерами брызг разлеталась под толстыми подошвами.

Странно, подумал Бокий, когда я входил в храм, он двинулся в мою сторону. И сейчас бежит ко мне. Сколько же времени я пробыл в храме? Миг? И успел все рассмотреть и даже поговорить со священником? А где убогий?

На ступеньках, где только что сидел юродивый, было мокро, боковой ветер задувал на них капель, рядом скопилась уже изрядная лужа, которую метлой разгонял кто-то из служителей храма.

Бокий сунул руку в карман. Шершаво-знакомая рукоять браунинга вернула его к действительности. Он усмехнулся. Прямо чертовщина какая-то. Привет от Барченки.

Предупрежденная охрана доложила Агранову: «Бокий прошел в Кремль!» — и Агранов встретил его в коридоре.

— Совещаются, — Агранов кивнул на тяжелые дубовые двери, — зато есть возможность перекусить. Вы ведь не завтракали?

Бокий не любил этих «неожиданных» завтраков. Но прошел с Аграновым в небольшой зал «столовки» — так буфетная называлась на новом жаргоне. Даже если они и прослушивают столик-другой, позавтракать можно: болтун Агранов все равно будет солировать.

— Не спрашиваю, как добрались, — Агранов кивнул неулыбчивой официантке в белом коротеньком переднике и крахмальной наколке.

Венская мода — отметил Бокий.

— Владимир Ильич попросил вас вызвать, — Агранов подождал, пока официантка поставила на стол горячие венские сосиски, основательную плюшку с зернистой икрой, масло и венские же горячие тосты — чуть обжаренные кусочки белого хлеба.

— Кофе со сливками? — спросила официантка Агранова.

— Старик просил вас вызвать, — он намазал тост маслом и положил икру. — Рекомендую, свежайшая. Знаете, Ленин страшно не любит икру, полежавшую на льду. Всегда морщится, утверждает, что она начинает пахнуть тинной, — Агранов с удовольствием начал жевать. — У нас тут довольно сложные дела намечаются.

Под бутерброды и кофе Агранов разъяснил ситуацию. Приближается VIII съезд партии, Свердлов готовится его вести и выступать с основным докладом. Для Старика это — катастрофа. Он и так чувствует себя отодвинутым от власти, Свердлов после ранения Ильича словно взбесился. То держал его в Горках, то занял его кабинет,

подписывал от его имени указы, а сейчас принялся контролировать даже статьи Старика. Дважды — в «Известиях» и в «Правде» — статьи не были напечатаны.

— Я звонил Юрию Михайловичу Стеклову в «Известия» — ссылается на Свердлова, Бухарин вообще меня чуть не послал... Это не ко мне, говорит! Разберитесь между собой!

— Я понял, — остановил его Бокий. — Свердлов не должен выступать на VIII съезде?

— Да, — с облегчением подтвердил Агранов. — Для Ильича это крах. Он психует, впадает в истерику. Говорит, чтобы в его присутствии имя Свердлова не произносилось!

Бокий припомнил, как из-за скандала с морозовскими деньгами, в который был замешан и Каутский, Ленин бешено кричал: «Чтобы в моем присутствии не звучало имя этого ренегата!», — и усмехнулся. Не меняется Старик, темперамент ему не изменяет.

— Я специально сюда вас привел, — наклонился к столу Агранов, — здесь гарантированно нет подслушки. Сейчас все свихнулись на этом, — он говорил шепотом. — Свердлов — в первую очередь. По телефону вообще говорить нельзя. По слухам, у него несколько человек слушают все кремлевские переговоры по телефонам. И пишут ему!

Бокий кивнул: «Да, да», — и снова замолчал, ожидая, что же выложит Агранов.

— Крайне неприятная история, — прошептал Агранов...

Бокий неожиданно поднялся.

— Яков Саулович, мне бы надо до своего кабинета добраться, там документы кое-какие на подпись собрались...

— Глеб Иванович, — Агранов вышел за ним в коридор, — я не сказал самого главного...

— Я знаю это ваше «самое главное»! — Бокий стремительно пошел к выходу. — Мне уже рассказали, что Свердлов болен, что на него в Орле напали рабочие, избили... Так?

— Именно! Он сейчас у себя на квартире...

— Вот уж что занимает меня меньше всего... — Бокий резво спустился по лестнице, оставив Агранова в растерянности.

— Не пускает туда никого из посторонних, даже врачей. Доверяет только своей Клавдии Тимофеевне, супруге. Она, говорят, даже сама ему банки ставит...

«С ума сошли, посылать ко мне этого идиота, болтуна», — Бокий сел в свой «паккард» и подъехал к Боровицким воротам Кремля, все еще продолжая кипятиться.

Не знал, не знал Глеб Иванович, что этот жалкий прихлебатель при вождях вырастет до комиссара госбезопасности I ранга и будет присутствовать при допросах Бокия «с применением физического воздействия», помалкивая и ухмыляясь расползшейся барсучьей мордочкой.

Как не знал и сам «прихлебатель», что переживет грозного Бокия ненадолго. И в последний раз не пройдет по лубянским коридорам, а будет проташен за шиворот к знакомым наркомовским дверям и брошен к ногам карлика «с фиалковыми глазами», любимца «вождя и народа». Лицо Агранова было изувечено до неузнаваемости. Всесильный карлик подошел к жалкому, окровавленному телу, словно обгрызенному своими поделниками, и плюнул туда, где на месте кровавого месива должно было находиться лицо. Уже в дверях, когда то, что осталось от Агранова, потащили прочь, Ежов остановил двух дуболомов.

— А это... пулю после этого... пулю вытащить и доставить мне!

Народный комиссар внутренних дел СССР, с орденом Ленина на груди, рекордсмен по количеству времени, проведенного в кабинете Вождя, собирал пули, извлеченные из тел расстрелянных врагов — Зиновьева, Каменева, большевиков «ленинской гвардии» Рудзутака, Косиора, Эйхе, — и хранил эти пули в ящике рабочего стола.

* * *

В воротах Бокия остановили, и старший караула пригласил его к будке с телефоном. Там старший набрал номер, крутнул ручку, сказал кому-то: «Бокий рядом, у телефона!» — и передал трубку.

— Товарищ Бокий, — Бокий услышал знакомый голос с грузинским акцентом. — Извините, Глеб Иванович, совещание затянулось, а товарищ Агранов не решился его прервать. Просьба — поднимитесь к нам. Давно не виделись, положение на фронтах изменилось, есть что обсудить.

«У этого хоть какие-то представления о конспирации есть», — отметил Бокий, разворачивая машину.

«Перемена на фронтах» состояла в том, что Свердлов очень оживился в преддверии съезда, стал агрессивен, сколачивает команду, чтобы на съезде захватить власть. С опорой на делегацию Екатеринбурга, Перми, некоторых сибирских товарищей.

— Мы предполагали дать ему бой на съезде, — Сталин, как обычно, говорил не торопясь. — Но он развил невиданную активность, помчался в Харьков, Мариуполь, там много выступал и, видимо, серьезно там заболел. Что-то вроде испанки, говорят.

Бокий промолчал, давая ему развивать инициативу.

— Вдобавок, — Сталин, чуть шурясь, рассматривал папиросы, которые ему предложил Бокий. — Очень крепкие?

Бокий кивнул.

— Я боюсь очень крепких. Привык к слабенькому грузинскому табачку.

Сталин раскурил свою папиросу.

«Бойтся, что я его отравлю! — отметил Бокий. — Не доверяет!»

— И вдобавок, — после длинной паузы, в течение которой они курили, поглядывая друг на друга, — вдобавок на обратном пути, в Орле кажется, он ввязался в перепалку с рабочими-железнодорожниками, — Сталин усмехнулся. — Забыл, что он не в Москве. Ну, и те немного проучили нашего выскочку, — Сталин прикурил одну папиросу от другой. — Помяли бока! — он усмехался и смотрел на Бокия, ожидая, что тот скажет.

По этим паузам, ухмылочкам, взглядам не в глаза, а куда-то вбок Бокий совершенно уверился, что и болезнь, и побои «орловских железнодорожников» — дело рук Сталина. И то, что Свердлов еще жив, — провал разработанной им операции.

— Мне товарищ Ленин рассказывал, — Сталин дал понять, кто прячется за его плечом, это было умно, — как вы заставили товарища Агранова стоять с поднятой рукой. — Он прищурил от дыма один глаз. — Мы не исключаем, что ваше умение понадобится и сейчас. — Они снова покурили молча. — Товарищ Ленин дал мне понять, что решается судьба вашего Спецотдела. И лаборатории этого, как его... профессора... Бехтерева. Может быть, целый институт открыть?

Это уже была хватка настоящего грузинского бандита, *გაზღო*, как говорили когда-то в Тбилиси. Тебя посвятили в бандитский заговор, выйти из него ты не можешь, но за участие получишь награду. Которая, впрочем, и так тебе была обещана.

— Что я должен сделать?

Сталин молча поднял голову, как бы указывая глазами на потолок, и одновременно пустил плотное, желтовато-белое кольцо дыма.

— Срок?

— VIII съезд начнется 18 марта.

— Сегодня двенадцатое!

Сталин развел руками, как бы показывая, что он изменить ничего не в силах, и встал, чтобы проводить Бокия до двери.

— И хорошо, чтобы мы успели его... — он чуть замялся, — ...проводить. Чтобы на съезде Старик мог проститься, сказать слово о нем...

Бокий вышел из кабинета, чувствуя спиной взгляд нового секретаря Сталина, Товстухи. Забавно, забавно было наблюдать, как начатая было партийной верхушкой тонкая шахматная партия — борьба за власть — превратилась в партию в нарды. В которой побеждают не ум и трезвый расчет, а прежде всего удача и коварство противников.

Даже жаль, что ничто не ново под луной. И тут уж, как говорил старик Рабле, «le point est de ne pas courir vite et exécuter tôt» — дело не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше.

Смерть Свердлова была таинственной и ужасной. Он действительно простудился, возвращаясь из агитационной поездки в Харьков. В Орле рабочие-железнодорожники задержали царский поезд, в котором он ехал, и потребовали у «того, кто ездит» отвечать на митинге. Где хлеб? Почему продотряды грабят деревню? Почему рабочим нельзя покупать в деревне хлеб? И главное — когда все это закончится? Но то ли ответы Свердлова не понравились рабочим, то ли провокаторы, подсланные Сталиным, «подогрели» митинг, во всяком случае, кое-кто из рабочих похватал березовые нетолстые кругляки, заготовленные для паровоза. Выступающего сдернули с импровизированной трибуны и принялись мутузить. Охране из китайцев, всегда сопровождавших Свердлова в поездках, не сразу удалось отбить от загулявшей толпы председателя ВЦИКа, потом он еще какое-то время лежал на мерзлой земле. Домой доставили уже изрядно простуженным, с повязкой на голове. (Из-за этой повязки, которая видна была во время похорон, и родилась версия, что он был до смерти избит железнодорожниками-антисемитами.) Полечившись несколько дней дома, он пошел было на поправку, но потом вдруг неожиданно потерял сон, стал резким и грубым, начал терять ориентировку, перестал узнавать близких и, бродя по коридорам своей неуютной кремлевской квартиры, все время предлагал провести какую-то конференцию или съезд и обязательно подписать какие-то документы. Вместо документов тронувшийся умом председатель ЦИКа вытаскивал из карманов мятые бумажки и совал их всякому, кто подворачивался.

Состояние острого и страшного помешательства развивалось так быстро, что кое-кто даже из самых близких людей вздохнул с облегчением, увидев утром 16 марта восковое, подтянутое болезнью и смертью лицо Свердлова.

По странному стечению обстоятельств Бокий и не известный никому врач, прибывший с ним, находились в последние дни болезни Свердлова в соседних помещениях, а врач даже сделал несколько уколов уже ослабшему Якову Михайловичу.

Сталин устроил скорые (до начала съезда!) похороны, собравшие всех старых большевиков. Это была первая индивидуальная могила возле кремлевской стены.

К 18 марта, дню открытия VIII съезда РСДРП(б), все оргвопросы (как любили говорить большевики) по созданию Спецотдела, подчиненного Бокию, были решены. Теперь пора было окончательно обосноваться в Москве. Он понимал, что еще не все ходы этой шахматной партии сделаны, но расстановка фигур в целом представлялась понятной. Он вспомнил желтоватые, рысьи глаза Сталина, весело блеснувшие ему навстречу на похоронах Свердлова.

«Печальное событие, — Сталин спрятал ухмылку в усы. — Но партия найдет в себе силы, чтобы продолжить дело, — Сталин ухмыльнулся довольно откровенно, — этого выдающегося большевика».

Бокий, с детства знавший тбилисских *გაბაძე*, несколько и не сомневался в этом. Любой, будь ты отец или брат, обнаруживший слабость перед бандитом, был обречен. Обречен на унижение, нищету или смерть.

Тем более он не мог отказать себе в удовольствии еще раз повидать Ленина. Бокий издали видел его и слышал речь на похоронах Свердлова, и все же... Он вспомнил

Урицкого. Тот за несколько часов до смерти не чувствовал ее грозной поступи. И горячился по пустякам. Ленин, конечно, умнее, но власть... власть туманит мозги...

Со свежим мандатом начальника Спецотдела ГПУ, прикрываемый сзади телохранителем, он поднялся по парадной лестнице бывшего Дворянского собрания, раздвинув охрану, прошел в узкий коридорчик сбоку от сцены и, приотворив дверь, ведущую к выступающим, остановился.

Прекрасно видны были ярко освещенная сцена с президиумом и первые ряды. Между колоннами, за рядами плюшевых диванов, выстроились чекисты.

— Товарищи, первое слово на нашем съезде, — Ленин открывал съезд, — должно быть посвящено товарищу Якову Михайловичу Свердлову... Только сегодня утром мы простились с этим беззаветным бойцом партии. Но если для всей партии в целом и для всей Советской республики Яков Михайлович Свердлов был главнейшим организатором... то для партийного съезда он был гораздо ценнее и ближе... Здесь его отсутствие скажется на всем ходе нашей работы, и съезд будет чувствовать его отсутствие особенно остро...

Бокий послушал «Интернационал», который грянул оркестр, сидевший сбоку от президиума. Вторая труба и флейта фальшивили нещадно, заставляя Бокия морщиться. Может, оттого он и пропустил, как Ленин бодро вышел в дверь и очутился в маленьком фойе, рядом с ним.

Бокий двинулся навстречу, тот заулыбался, обрадовавшись.

— Рад, рад, — по обыкновению затоковал вождь, наклоня голову. — Технические вопросы решены, финансирование открыто. Товарищ Бубнов в курсе, по всем финансовым вопросам обращайтесь к нему! — Ленин подошел почти вплотную и понизил голос. Хотя из-за фальшивых труб, принявшихся за «Вы жертвою пали...», и так было плоховато слышно. — Сейчас перед вами — огромнейшая задача: вытащить на свет божий так называемые мощи и вытряхнуть из церковников денежки! Вы начали ее ударно! Но — мало треску! Надобно снимать на синема и в бывших церквях показывать, чему пролетариат заставляли кланяться. И — развернуть! По всей России! Расковырять эти отвратительные лежбища костей и мумий, которые они именуют мощами. А в ответ на их вопли ударим со всей силой пролетарского гнева! — Оркестр в зале умолк. Ленин поднес ладонь к уху, словно прислушиваясь. — И под этот шум получим от церковников денежки, пусть раскошелятся! Не все им обирать народ! Однако, — он смешно оттопырил ладонью ухо, — сверх-кон-фи-ден-циально! Мощи — не главное. Я придаю огромное значение вашему отделу. Вы — тайное оружие политического бюро. Разящий меч! — Он взял Бокия за рукав. — А Свердлова — жалко. Но по секрету скажу: нас окружают дураки и изменники. Работы, товарищ Бокий, — непочатый край! Это начало, только начало! — Он тряхнул рукав Бокия, странно подмигнул, сразу обоими глазами, и быстро пошел навстречу Зиновьеву, выглянувшему в фойе.

«Что ж, начало, так начало», — Бокий, сопровождаемый снова взрепевшими фальшивыми трубами и четкой подкованных сапог телохранителя, спускавшегося за ним по лестнице, вышел на Петровку к зданию электрической станции, сел в «паккард» и через несколько минут был в своем кабинете.

— Соедините меня с Фрунзе!

Нельзя было оставлять важнейшие дела с реввоенсоветами на Туркестанском фронте. Он и так разваливался под бездарным командованием Сталина. И сейчас задача была ясна: восстановить Фрунзе в качестве командующего (пусть Троцкий знает наших!), набрать в штабы военспецов, поставив их полностью под контроль контрразведки и ревтрибуналов. Бокий припомнил, как Сталин хохотал, когда он рассказал о самом простом способе контроля за военспецами.

— Ты говоришь, берем в заложники семьи спецов, кормим их, поим, содержим, — веселился Коба, развивая гениальную идею Бокия, — и поощряем: сражение выиг-

рал — семью кормим, проиграл — на сухой паек, задумал перебежать к белым — расстрел всей семейки!

Более пятисот офицеров всех рангов сразу и, отметим, добровольно пополнили штабы Южного фронта, который почти тут же развернул наступление. Но Бокий, хотя и наблюдал дважды за расстрелами семей офицеров-предателей, задерживаться долго на фронте не мог.

Глава 48

Бокий приехал в Петроград, беспокоясь за свой архив. Конечно, он лежал в надежном месте, но лишний раз позаботиться о безопасности никогда не вредно. На этот раз он решил, разделив архив на несколько частей, распределить его в хранилища трех институтов, в чьи старинные каталоги не заглядывали годами.

Бокий не стал останавливаться в «Англетере», как упрасивал его Агранов, до смерти надоевший болтовней за длинную дорогу. Конспиративная квартира, куда он приехал один, даже без телохранителя, оказалась нетопленной, выстуженной до предела.

В последнее время он разлюбил Питер. Станный город. В нем все происходит не так, как задумано. Какие-то силы то тормозят, то подталкивают любое дело. Причем толкают не в ту сторону, что нужно. Бокий давно заметил эту особенность города, но чем дольше он не жил, не бывал в нем, эта особенность — издали — становилась очевиднее. Какой-то город теней. И чем теснее эти людские тени жмутся друг к другу, тем труднее находиться в этом городе. Тени завладевают улицами, толпятся на горбах и перилах мостов, выглядывают из-за чугунных фигурных фонарей. Город теней...

Бокий открыл вьюшки на широкой кафельной печи с большим, почти каминным зевом, услышал, как загудело в дымоходе, и принялся растапливать печь. Благо сухие дрова были заготовлены и спрятаны в проеме между печью и стеной. Щепки, бумага, откуда-то взявшаяся береста — и печь задышала, заиграла бликами на медном листе возле зева, на старом, удобном кресле и темном, почти черном паркете. «Через полчаса можно будет и раздеться, — подумал Бокий и направился к буфету. — Посмотрим, что там осталось». Он знал, что хозяева конспиративных квартир «харчатся» за их счет, но здесь осталась только бутылка коньяку. Коньяк был старый, еще Шустовский, а о том, что, судя по драным оберткам, печенье и шоколад сожрали крысы, Бокий даже не пожалел.

Он любил вкус коньяка. И хорошо, что у кретина Бонча слабость к хорошим сигарам. Отрыжка дворянского воспитания. Бокий извлек из толстого бамбукового футляра зеленовато-золотистую сигару и, прикрыв глаза, понюхал. Что может быть лучше, господа, чем хороший коньяк и настоящая кубинская сигара! Бокий прочитал на наклейке: «Montecristo». Все-таки я зря ругаю Бонча, он — ловкач! Раздобыть первоклассные сигары в России? Браво, Бонч! Браво, даже если приходится самому подбрасывать поленья и шевелить спящее пламя кочергой.

Ногам стало горячо, но Бокий не отодвигался. Жар вместе с коньяком должен проникнуть внутрь, полыхнуть где-то возле сердца и отправиться в путешествие до самых кончиков пальцев. И сигара — легкое головокружение, как бывает головокружение от запаха женских духов, согретых горячим телом.

Бокий набил топку поленьями, откинулся в кресле и закрыл глаза.

И будто бы во сне увидел собственную отрубленную голову, стоящую на рабочем столе в московском кабинете. Голова, судя по всему, не испытывала неудобств от того, что была отделена от тела. Она курила папиросу «Пушка», чуть шурилась от дыма и перебрасывала папиросу из одного угла рта в другой. Разговор шел

о туркестанской экспедиции, о турецком шпионе и военном министре Энвер-паше, сложившем ни за понюх табаку лихую голову, доверившись честному слову красных, о художнике Рерихе, которого голова, державшаяся довольно свободно, именовала дураком и почему-то «растратчиком», о таинственном алтайском плато Укоке и немного о Блаватской. Блаватская голове решительно не нравилась, она кривилась, как от туркестанского хинина при малярии, книги ее называла бредом... Но Глебу Ивановичу мучительно захотелось узнать, что же будет ТАМ, там, куда без успеха пытались проникнуть знаменитые медиумы.

«Там? — как будто удивилась странному желанию голова. Она выплюнула окуроч под ноги Бокий и чуть повела подбородком в сторону. — Смотри!»

От пламени в печи вдруг потянулась медленная сизо-черная дымка, сквозь которую виднелись невысокие холмы, просторы, по которым текли реки, всплывали дальние горы с исчезающими седыми вершинами, какие-то покосившиеся остовы церквей... Все это как бы двигалось, жило в медленной и душной дымке... «Хорошо видишь?» — спросила голова, картинка придвинулась, увеличилась. Бокий вдруг различил, что все эти холмы, пространства и даже дальние горы состоят из одних отрубленных голов. Часть из них еще были живы и беззвучно разевали оскаленные в муках и крике рты, другие были полуистлевшими, много было старых, темно-желтых, коричневых и белых, высушенных туркестанским солнцем черепов, были черепа разрубленные, раздавленные, вовсе жалкие осколки, а медленно текущие ртутно-сверкающие реки — это кровь, ржавеющая и спекающаяся на глазах. И то, что издали казалось покосившимися остовами церквей, оказалось чудовищной величины человеческими скелетами. Вся эта картина беззвучно жила, медленно пошевеливалась, словно дыша и раскачиваясь. «Интересуетесь, Глеб Иванович?» — спросила голова голосом Якова Михайловича Свердлова, и от защемившего сердце ужаса все качнулось и задрожало. Пронеслась почему-то с развевающимися волосами фотография покойной матушки, и Яков Михайлович, тоже с известной фотографии, поинтересовался уже ее голосом: «Много понял, Глебушко?» — и поднял на казачью пику, почти как Яков Блюмкин в свое время, измученную пытками голову Энвер-паши. Глеб Иванович хотел крикнуть: «Это не я, это Блюмкин!», — но Энвер-паша молча открыл набрякшие веки, и отчаянный смельчак Бокий, шепча: «Господи, прости и помилуй!» — пополз на четвереньках, чувствуя, как руки и колени проваливаются и вязнут в рассыпающихся, разваливающихся, гниющих головах. Но впереди, на хоругви, вместо Христа он видел только горько и значительно улыбающегося Якова Михайловича Свердлова.

Бокий открыл глаза и долго смотрел на сизый пепел, охватывающий прогорающие угли. Минуту назад здесь еще плясало и играло синеватым огоньком пламя, но пламя вспыхнуло раз-другой и исчезло, накрытое мертвым пеплом.

В углу пищали и шуршали обертками от шоколада крысы, нарушая течение замедлившегося времени. Пргорающая печь, жар от углей, сигара и ясная голова. Завтрашний разговор с Бехтеревым сложился, он был прост и понятен. Бокий взглядом выбрал ровное полешко, потянулся к нему и, не оборачиваясь, швырнул в сторону расшумевшихся крыс. Раздался писк, царапанье лапок по паркету, какой-то грохот и все затихло. Неужели попал? Бокий любил маленькие знаки судьбы: бросил — попал!

Утром, едва поднявшись с кресла, в котором уснул, Бокий подошел к углу, возле которого стояла старинная вертикальная батарея. Рядом валялось полено и крысиный труп, обгрызенный товарками. Бокий подобрал полено, отнес, поправляя плащ на плечах, к печке и положил в аккуратную поленничку. Холод промерзшей квартиры полз от плохо закрытых на зиму окон. Старый плащ уже не спасал.

Бокий снял трубку и позвонил в «Англетер» Агранову.

— Яков Саулович, звоните сейчас же Бехтереву!

— Глеб Иванович, — сонным голосом проговорил Агранов, — сейчас ведь... темнотища еще...

«Яшка, ну кто там еще трезвонит!» — услышал Бокий женский голос и неожиданно заорал:

— Я вам не Глеб Иванович, а товарищ Бокий, начальник Спецотдела Чека и ваш непосредственно! Звоните Бехтереву, и чтобы через час старик был в моем кабинете на Гороховой! А сами можете спать, вы мне более не нужны!

* * *

Бехтерев редко бывал мрачным, но сегодня, отметил Мокиевский, был мрачнее тучи. И, листая лабораторные журналы, напевал какую-то ему одному известную народную песню.

К первому утреннему чаю профессор слегка отошел, но расспрашивал сотрудников о результатах работы весьма строго. «Устраивает разгон», — шепнули Мокиевскому. Он отлучился — ходил на склад за препаратами.

Переговорив с сотрудниками, Бехтерев остался за столиком с самоваром, продолжая пустыми глазами смотреть на Мокиевского.

— Herr Mokievsky, — негромко заговорил профессор по-немецки. — Сегодня я одним выстрелом себе в голову поразил сразу три мишени.

— Как вам это удалось?

— Я отказался сотрудничать с Бокием. И таким образом выстрелил в висок себе, лаборатории и всему институту.

— Он предлагал сотрудничество?

— Не просто сотрудничество. Он предлагал полное и неограниченное финансирование. Командировки по всему свету. На любые сроки. Любое лабораторное оборудование. Приглашение к нам любых ученых.

— Что требовалось взамен?

— Продать душу дьяволу!

— Не понял?

— Ну и хорошо, что не понял! — перешел на русский Бехтерев. — Сегодня первый день за последние лет тридцать с лишним, когда моя голова отказывается работать.

— Когда вы успели с ним переговорить? Вы же приехали в десять?

— Они позвонили рано утром с невероятными извинениями: извините, что рано; извините, что просим приехать к нам, на Гороховую, и так далее. Я сразу понял, хоть они и объясняли мне, почему надо встречаться так рано. Это — их прием. Встряхнуть человека, вытащить из постели и привезти к себе. Само имя «Гороховая» должно показать, что они не шутят. Не учли только, что я птаха ранняя, в пять уже пою... — Он задумался.

— «Они» — это кто? — Мокиевский придвинулся вместе со стулом.

— Бокий, наш с вами выкормыш, и ваш любимец Агранов! Которому вы спиритические сеансы демонстрировали!

— А, Яша, — кивнул Мокиевский, — не знал, что он в Петрограде. Я с ним чуть не каждую неделю перезваниваюсь. Он шлет своих алкоголиков.

— У меня такое ощущение, Herr Mokievsky, что мы с вами с ними малость заигрались. Думали, что мы их умнее, а оказалось — наоборот!

— Почему?

— Да потому, что они — бесы! — сказал свистящим шепотом Бехтерев. Мокиевскому показалось, что старик слегка тронулся, так изменилось его лицо. — А с бесом может беседовать и побеждать его только Господь! Человек от них должен бежать, бежать не оглядываясь!

— Владимир Михалыч... — с сомнением начал Мокиевский.

— Вот вам и Владимир Михалыч! — Бехтерев ссутулился и покрутил головой. — Я, старый дурак, играл с ними в их игры, на их доске, по их правилам. И — грех гордыни! — мне казалось, что я их умнее, видишь ли. Оттого, что я на сто или на тысячу книг больше, чем они, прочитал. А дело-то не в книгах!

— Владимир Михалыч, что предлагают они?

Бехтерев смешно, по-детски, сморщил нос, будто нюхнул что-то противное.

— Это абсолютно не важно, Негг Mokievsky, что они предлагают. Важно, что нам остается принять их предложение или — он развел руками — *caput!*

— Но все-таки Владимир Михалыч, что предлагают?

— Бокий предлагает, чтобы институт стал филиалом Спецотдела в Чека!

Брови у Мокиевского поползли вверх.

— Да-да! Чтобы мы работали по их заказам, отчитывались перед ними, служили бы им... А за это — финансирование, пайки, санатории, командировки...

— Прямо библейский соблазн...

— А вы думали, Негг Mokievsky, что бес — это где-то далеко? В библии, в сказочках? — Бехтерев вдруг закрыл лицо руками. — Я ведь тоже так думал, — сказал он после длинной паузы. — Помните, когда еще до всяких переворотов Бокий пришел к нам в лабораторию, вольнопером, мальчишкой, на птичьих правах, я еще тогда сказал вам, что он с бесами знается?

— Хорошо помню, — пожал плечами Мокиевский. — Я думал, это шутка.

— В том-то и беда, что я и сам думал — шутка! Господь подсказал мне, а я по глупости своей, которую за мудрость почитал, решил что — шутка.

— Так вы отказались? От сотрудничества?

— Конечно, — кивнул Бехтерев. — И подписал смертный приговор и себе, и институту, и нашей с вами идее... — Он наморщил и без того невысокий лоб, брови почти сошлись с волосами. Две широкие складки разделили их.

— Что же будет? — почти беззвучно спросил Мокиевский.

— Относительно нас с вами... — он качнул головой, — и нашего сумасшедшего гения Барченко — все ясно. Институт они поставят на службу себе, — Бехтерев помолчал. — А в чем служба науки для бесов, куда они ее повернут, этого никто не знает. Это *теа суфра*. Моя вина. Но ни черта у них не выйдет без наших мозгов. Это тоже ясно. Бесы ведь создавать не могут, только разрушать... — Он встал. — Ну, что, Павел Васильевич, диспозиция прояснилась, теперь можно и за работу? — И пошел в свой угол, к своим лабораторным столам, спрятавшимся за лесом кварцевых трубок, соединенных толстыми, слоноподобными вакуумными шлангами.

Мокиевский с никогда прежде не испытываемым чувством отчаяния смотрел ему в спину — так, наверное, уходили государи, свергнутые с престола. Но через минуту он услышал, как взвыл на начальных, холостых оборотах вакуумный насос и застучал равномерно, а еще чуть позже — нехитрый мотивчик народной песни, которую знал только профессор.

Не оборачиваясь на согнутую над препаратами спину патрона, он вышел из лаборатории, спустился в парадный вестибюль и вышел на улицу. Казалось, с неба сыпались мелкие-мелкие рождественские блески. Мороз стоял такой, что перехватывало дыхание. Летний сад на другом берегу Невы был прорисован черно-седыми графическими линиями. Мокиевский прошел, скользя ботами по нечищенной мостовой, мимо безжизненного, застывшего храма Святой Троицы и поднялся на мост, косясь на заиндевевшие перила. За ними была белая торосистая Нева с единственной дымящейся полыней возле быков моста, справа замерла Петропавловка, шпиль которой почти исчезал в снежно-солнечном мареве. Желто-багровый шар солнца поднимался из-за крепости, заставляя сыплющиеся с неба колючие снежинки вспыхивать. Нереальность этого замершего города была так велика, что Мокиевский даже тряхнул головой. Как бы в ответ ему где-то далеко на Васильевском острове поднялся

в воздух медленный столб дыма, сделав молчание города еще более сюрреалистическим. Если бы не мороз, схватывающий нос, губы, ресницы, можно было бы подумать, что все это: и крепость, впившаяся в пологий берег, и дальние ростральные колонны, и Биржа, и Дворцовый мост, повисший между исчезнувшими берегами, и здания на набережной, забеленные седым инеем, — все это декорация таинственного фильма, почему-то брошенная людьми и теперь погибающая на морозе. На сизом от мороза и дымки Биржевом мосту, вросшем деревянными колодцами-опорами в лед, почему-то замер одинокий экипаж, делая картину еще более таинственной. Как бы завершая картину, с Нарышкинского бастиона грохнул полуденный выстрел, и несколько громов-ударов колющегося от мороза льда прогремело за ним как эхо. Выстрел и прокатившееся эхо прозвучали как крик, хруст ломающихся костей города. Он, поставленный на невские берега безумной волей людей, страстью, любовью, поражающий даже в смертном крике своей красотой, смотрел на Мокиевского с гримасой мертвеца, знающего какую-то тайну, недоступную живым. Набережные раздвинулись, и дворцы отступили, давая Неве расправить складки, исчезли мелкие детали, предсмертный застывший крик сделал их ненужными. Город замер в снежно-солнечном мареве — трагическое свидетельство и напоминание о прошлой жизни.

— Товарищ, — услышал вдруг Мокиевский и обернулся.

К нему вплотную подошел красногвардейский патруль: двое солдат в шинелях и валенках и матрос в легкой летней шинельке и бескозырке, ленты которой он держал в лязгающем от мороза рту.

— Что здесь делаем, товарищ? — спросил солдат постарше.

— Ничего! — Мокиевский пожал плечами.

— Это что же ничего, так не бывает! — второй солдат стоял, засунув рукава шинели в карманы.

— Бывает! — ответил Мокиевский и повернулся, чтобы идти.

— Мы вот сейчас тебе всадим за такое ничего! — матрос из-за ленточек во рту говорил невнятно и подтанцовывал, будто выделял чечетку.

— Документ! — старший стащил винтовку с плеча и угрожающе двинул ее в сторону доктора.

— Откуда же у меня документ, — передразнивая сказал Мокиевский. — Вот я здесь работаю, я доктор Мокиевский. Если надо, можно зайти, меня все знают. Заодно и погреться! — улыбнулся Мокиевский.

— Нам греться без надобности! — Старший вдруг двинул штыком. — А ну-ка, давай, доктор хренов! — И подтолкнул Мокиевского. — Мы таких докторов в штаб к Духонину отправляли быстро! И пернуть не успевали!

Мокиевского провели мимо похвально бодрого Суворова, мимо дощатых заборов и косых деревянных пирамид-памятников на Марсовом поле и доставили, почему-то через подвальный вход, в Павловские казармы. Допрос и «протокол» в заплеванной окурками комнате вел обросший жидкой бородкой студент, непрерывно сморкаясь в грязную тряпку и оставляя ее на краю стола. И если бы не разбитная баба-уборщица, вошедшая в комнату случайно, неизвестно чем закончился бы допрос. А баба была уборщицей (за паек) и в институте Бехтерева. К концу дня продрогшего и измученного Мокиевского под конвоем уже других солдат доставили в институт.

Бехтерев, которому звонили «на предмет установления личности задержанного», очень интересовался подробностями допроса и поблескивал глазками, глядя, как Мокиевский отогревается, протягивая красные руки к камину. Меховые финские рукавицы, подаренные ему Бехтеревым, у него украли во время допроса.

— Кстати, — Бехтерев, видимо, рассматривал арест и допрос Мокиевского как приключение, — кстати, я бы рекомендовал вам обработать ваше пальто керосинчиком! Не подцепили ли вы там тифозных вшей, голубчик! — Можно было подумать, что «приключение» Мокиевского привело его в хорошее расположение духа. Он налил так

и не снявшему барашковой шапки Мокиевскому спирту и скрылся за полупрозрачной стеной из вакуумных трубок.

Впрочем, долго он там усидеть не мог.

— Павел Васильич, — Бехтерев дергал себя за ус, становясь еще более похожим на Александра III. — Я бы попросил, если вы не против, сделать записи в лабораторном журнале, — он подошел к Мокиевскому, уже расположившемуся за своим столом. — Для истории. Выходит, сегодня прекрасный день, Павел Васильич!

— Это писать? — буркнул Мокиевский, не склонный к восторгам.

— Нет, — не захотел замечать шутку Бехтерев. — Запишите, что я сегодня окончательно опытно-экспериментальным путем убедился в правоте своей теории! — Он покрутил и снова подергал ус. — Крысы бегут и умирают за одно только обещание счастья! Вот она, мечта большевиков, свершилась! А центр этого феномена, расположенного в мозгу крысы и, соответственно, человека, отыскал и доказал его существование в прилежащем ядре (*nucleus accumbens*) — это надо выделить, Павел Васильич, — то бишь в группе нейронов в вентральной части полосатого тела, являющейся важной частью мезолимбического пути, отвечающего за систему вознаграждений и формирование удовольствия, — раб Божий Владимир Бехтерев со товарищи. Ставьте двоеточие, далее перечисление имен, начиная с Мокиевского, — он подошел сзади к Мокиевскому и заглянул через плечо. — Чудно! Только вот латынь я бы жирно выделять не стал, напишите *nucleus accumbens* курсивчиком. Вот так! — Бехтерев, как это он часто делал, приложил очки в глазам, не надевая их. И остался доволен. — Между прочим, будь я председатель Нобелевского комитета, я бы на это открытие обратил внимание! И поставьте: количество опытов, проведенных исследователями, — он надел очки, взял свои записи и прочитал: 1918. Пишите: последний опыт — № 1918!

* * *

«... они тысячами бросались в воду, тонули, но следующие тысячи шли и шли за ними».

«Вечерняя Красная газета»

В конце апреля 1918 года, едва Нева успела вскрыться и сверкающими сахарными головами льдины, крошась, карабкались друг на друга, жители Петрограда, точнее Херсонской и Консistorской улиц, что в Песках, стали свидетелями невиданного события: почти мгновенно, в течение нескольких минут, улицы были залиты серым морем крыс. Они мчались, будто за ними гнался кто-то, неслись, пища, взвизгивая и перепрыгивая друг через друга. Бежали бок о бок, плотным потоком, не обращая внимания на преграды. Лошадь в коляске на углу поднялась на дыбы, сплошь увешанная впившимися в нее серыми тварями. А следующие из страшного живого потока уже впрыгивали в коляску, не обращая внимания на пассажиров, вскочивших ногами на сиденье, перетекали через нее, бросались вниз, стремясь занять свое место в плотном потоке. Шуршащий, словно метлой по железу, взвизгивающий поток несся в сторону Калашниковской набережной.

Автомобиль, попытавшийся проскочить через него, застрял, и задние колеса прокручивались, наматывая на ободья кроваво-серое месиво. А крысы, будто вытолкнутые пружиной, натыкались на машину, перебирались через нее и мчались дальше, выпучив невидящие глаза и оскалив зубы. Паровик конно-железной дороги прибавил скорость и, свистя непрерывно, шипя и брызгаясь паром, бросился поперек отвратительного живого потока. Крысы, неведь как попавшие в вагоны, бешено

метались, вспрыгивая на сиденья, бросались на застекленные окна, стремясь вырваться наружу, падали на пол и снова, оскалась, неслись по проходу, заставляя пассажиров вскакивать на деревянные скамьи, визжать, орать и в ужасе отбиваться ногами, зонтиками, тростями.

Крысы бросились на поезд, облепили вагоны, срывались, падали, превращаясь в визжащую живую массу, крутящуюся на колесах, а колес уже не было видно в массе серых самоубийц, лезущих через рельсы. Визг пассажиров, паровозные свистки, скрежещущий крысиный писк слились в ужасный, отвратительный вой апокалипсиса. Крысы, гонимые вперед неведомой силой, обтекали препятствия, перепрыгивали через рогожные кули, ящики, груженую бревнами телегу. Битюг, запряженный в нее, упал, оскользнувшись на раздавленных под копытами тварях, но сумел подняться и топтал их, судорожно переступая, пока не запутался в постромках, окровавленный, с пеной на морде и бешеными невидящими глазами. Хозяин битюга бросил воз и беспомощно повис на запертых воротах углового дома.

Ни ужас, ни крысиный поток не иссякали несколько часов, пока полчища тварей не сгнули в районе Калашниковских амбаров.

Говорят, крысы тысячами бросались в только что вскрывшуюся Неву иплыли, безумно пища, исчезая в ярко-синей весенней невской воде. На другой берег, как говорили очевидцы, не выбралось ни одной твари.

Лариса Миллер

Покуда брезжит там, вдали

* * *

В России не живут, а выживают,
И постепенно язву наживают.
Нажить здесь язву просто и легко,
А вот до остального далеко —
До нормы, до веселья, до покоя.
Россия — место трудное такое.
Едва начнёшь искать о ней слова,
Как тут же разболится голова.
Но если разложить её на части,
То можно отыскать крупицу счастья.
К примеру, птичий крестик на снегу.
Кто не нашёл, охотно помогу.

* * *

На что живу? На два гроша
Надежды, что хранит душа.
А чем живу? Да тем, что брезжит
Там вдалеке и глаз мой нежит.
Покуда брезжит там, вдали,
То не бывать мне на мели.
Душа покуда не растратит
Тех двух грошей,
На жизнь мне хватит.

* * *

А чтобы выжить, чтобы жить,
Надежды надо возложить
На день неведомый грядущий.
И, даже если предыдущий
Подвёл, надежд не оправдав,
Ты будешь абсолютно прав,
Коль их на новый день возложишь
И крылышки свои не сложишь.
Жизнь потому лишь и идёт,
Что новый тоже подведёт,
Тебя заставив ждать другого
Денька, как гостя дорогого.

* * *

Я первый раз живу,
Я первый раз старею,
И первый раз в лучах
Свои морщинки грею.
И жизни на крючок
Я первый раз попалась.
Не ведаю сама,
Где прежде обреталась.
И каждый божий день
Живу и удивляюсь:
Не то я подхожу,
Не то я удаляюсь,
Не то остался шаг
До радостных объятий,
Не то иду во мрак
От дивной благодати.

* * *

А счастье постоянно с нами
Воспоминаниями, снами.
Оно и в неурочный час
Не сводит с нас счастливых глаз
И ждёт, что мы его заметим
И на его привет ответим.

* * *

«И станет тёплым, точно грелка,
Мир, что сегодня так жесток, —
Сказали мне, — и будет белка
Тебе, и дудка, и свисток».
И вот сижу, как на иголках,
И не могу себе простить,
Что я не расспросила толком,
Как это всё не пропустить.

Давид Маркиш

Рассказы из сборника «Гранатовый лог»

Имя и слово

Имя нисколько не является определителем характера или судьбы человека — носителя этого имени. Имя есть бирка, повешенная на шею младенца его родителями и говорящая только и лишь об их художественном вкусе, пристрастиях или конъюнктурных устремлениях. Такую бирку можно поменять на другую, и неоднократно.

Я знал носителей диковинных имен, созвучных эпохе. Музыкальное мужское имя Мэлор, Мэлори, оказывается на поверку аббревиатурой «Маркс-Энгельс-Ленин-Октябрьская-Революция». Тут явно налицо опасный пробел: нет буквы «С», символизирующей незримое присутствие Сталина. За такую политическую близорукость родителей могли упечь в лагерь годков на семь-восемь, да и самого отпрыска отправили бы на колымские нары учиться уму-разуму. Но, кажется, миновала их чаша сия, пронесло: ЧК тоже иногда допускала недогляды... Марленов — «Марксов-Лениных» — было в советской антропонимике, как гусей нерезанных: много и даже больше; я сам знал с десятков. Бесподобен в своем роде Триэл — «Ленин, Либкнехт, Люксембург», не говоря уже о Лапанальде — «Лагере папанинцев на льдине». Передовые научные знания успешно шагали в ногу с политическим озарениям плодящихся: вылупливались на свет Электроны, Элероны и Электроды. Барышни численно отставали от кавалеров, но и среди них случался иногда натуральный перл, например Электрификация, ласкательно Фика. А нежная Лаиля — «Лампочка Ильича» — чего стоит! Помеченные героической советской эпохой, все эти люди, которым так не повезло с именами, привыкали к ним, как привыкают ко всему в нашем мире, даже к неволе.

Не все они просятся в анекдот. Некоторые имена просто звучат несколько необычно для нашего уха и потому остаются на слуху.

Я запомнил двоих: Гомера и Онегина.

Гомера Ивановича Семерджиева знала вся Киргизия — его называли «крылатый доктор», полвека назад он единолично управлял санитарной авиацией этого горного края. И не было в Киргизии дальнего угла и глухого захолустья, куда бы ни добирался Гомер — на трудные роды, на ранения, на переломы костей и на ядовитые укусы. Мало ли отчего человек в горах, в стороне от накатанных дорог, страдает и умирает! По популярности среди киргизов Семерджиев далеко опережал и знаменитого чабана с

Давид Маркиш родился в Москве. Автор более двух десятков книг. Участвовал в арабо-израильской войне (1973), был советником премьер-министра Израиля И.Рабина по связям с русскоязычной общиной. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Израиле.

геройской звездой на вельветовом ватнике, и не менее знаменитую мать-героиню с золотым орденом на опавшей от непрерывного кормления груди... В распоряжении Гомера числилось несколько «кукурузников» — работающих бипланов АН-2 — и легкий вертолет. Необычное имя привлекало интерес заезжих чужаков, и любознательный человек путем расспросов местных встречных-поперечных узнавал много интересного о крылатом Гомере. А официальные источники о прошлом Семерджиева не распространялись, словно воды в рот набрав, и это могло означать лишь одно: доктор чем-то проштрафился перед властями и навлек на себя опалу. Всяко бывает.

Итак, Гомера Ивановича, сухумского грека, посадили в разгар сталинской «чистки», в 37-м году. После отсидки его отправили на вечное поселение в Киргизию, в ссылку — а в ссылку, как известно, сослали в разгар войны с германцами и уже после победы над Гитлером всех без разбора причерноморских греков по оздоровительному плану Сталина о переселении и расселении малых народов. Во Фрунзе, киргизской столице (этнические киргизы, в силу устройства речевого аппарата, не выговаривали звук «Ф», и поэтому в их устах название стольного града звучало как «Прунзе»), скопилось со временем множество интереснейших ссыльных людей, среди них двойник Сталина, чудом переживший свой усатый оригинал и оставшийся в живых. Когда я с ним познакомился в шестьдесят первом или втором году, в прошлом веке, у меня сердце ушло в пятки... К этой ссыльной среде относился Гомер Иванович; это и было его подмоченным прошлым в глазах прунзенского партийного начальства.

Самой отсталой, дремучей окраиной Киргизии считался Баткенский район. Даже рядом с Ошом, откуда брал начало карабкающийся к памирскому Хорогу высокогорный тракт, Баткен выглядел немного диковатым... Туда мало кто навевывался: турист не шел — в ореховых горных лесах могли и ограбить, и зарезать. Даже узбекские торговцы-коробейники там не показывались, потому что народ в лесах и на горах Баткена проживал безденежный, чтоб не сказать нищий. Мало того: никто не мог припомнить, чтоб в баткенском краю поселился и осел хоть один-единственный еврей, а ведь в других местах планеты, включая Драконовы острова, евреи охотно приживаются; и этот факт куда больше говорит о Баткене, чем о нас.

Здесь, в зеленом горном урочище, Гомер Иванович и открыл никому неизвестное племя. Открыл на беду племени, да и на свою тоже.

Семерджиев летел по вызову на дальнейшее кочевье, на отгонные пастбища — чабан поранился на охоте, дело его было плохо: черное воспаление ползло от колена вверх по бедру. Вертолет шел над баткенской глухоманью, внизу горбились горы. Пилот пошевеливал штурвалом, медбрат-киргиз в нарядной красной рубашке клевал носом.

За одной из вершин открылось урочище, по его глубокому дну река вскачь катила свои воды, на береговом взлобке теснилось десятка три юрт и глинобитных кибиток.

— Стойбище, что ли? — всматриваясь, сказал пилот. — Вроде, поселок... А на карте нет ничего, пустое место. — И обернулся к Семерджиеву.

Всматривался и Гомер.

— Нет, говоришь, ничего? — вжимаясь лбом в иллюминатор, сказал Гомер. — А ну-ка, облети его пониже!

Пониже так пониже. На грохот двигателя, грянувший с небес, из кибиток стаей высыпали женщины и дети, и мужики откуда-то возникли. Люди, застыв, молча глядели на вертолет — не размахивали руками, не бежали следом. В этом оцепенении содержалось что-то тревожное.

— Садимся, — решил Гомер. — Что-то тут не то...

Вертолет, снижаясь, описал овал над урочищем и приземлился вблизи кибиток. Опала поднятая пыль. Гомер, пригнув голову, показался в проеме дверцы притихшей машины и застыл, занеся ногу над порошком: завидев грека, мужчины, женщины и дети стойбища повалились на землю и лежали неподвижно, лицами книзу.

— Спроси у них, кто они такие, — сказал Гомер медбрата.

Медбрат прыгнул на землю, подошел к лежавшим и заговорил с ними по-киргизски.

— Ну, что? — поторопил Гомер.

— Они говорят, что они — люди, — перевел медбрат.

Лежавшие на земле не подымались и лопотали сбивчиво, все разом.

— Они боятся, — сказал медбрат. — Они говорят, что Бог спустился с неба.

«Плохо, — с досадой подумал Гомер. — За Бога могут и посадить... Черт меня дернул тут садиться».

Обстоятельства, с грехом пополам, выяснились в самом скором времени. Боязливо уступив уговорам, лежавшие поднялись с земли и рассказали толмачу-медбрату вещи необычайные.

Народ урочища, по словам его обитателей, жил здесь всегда или, более наглядно, сколько себя помнил. А больше не помнил никого, потому что из этих мест, за перевалы, никогда не выбирался: там жили ужасные существа, извергающие огонь и пожирающие людей. Но этих тварей никто из урочища не видел в глаза, поэтому и вспоминать было некого.

История об огнедышащих монстрах, проживающих окрест — в Оше и дальше — не понравилась Гомеру. Речь ведь тут шла о советских людях, неустанно строивших коммунизм под руководством КПСС. И спрос за такие интересные истории ляжет не на этих детей природы, а на него — Гомера Ивановича Семерджиева, причем ляжет полной мерой: зачем, как какой-то Колумб Америку, открыл он урочище, населенное антисоветскими дикарями? Действительно — зачем? Совсем недавно, при Сталине, такое открытие можно было без труда подвести под статью «террор через намерение» и вдобавок засудить Гомера как греческого шпиона.

Отвлечшись от неприятных мыслей, Гомер вернулся к рассказу старательно переводившего медбрата. О советской власти, как выяснилось из объяснений аборигенов, тут не было даже отдаленного представления. Раз в год из-за перевала приезжали двое верховых торговых караванщиков с вьючными лошадьми и угоняли овец, а взамен оставляли в урочище порох и свинец для снаряжения охотничьих патронов, соль и муку. Завершив обменную сделку, стороны, довольные друг другом, расставались до следующего года. И текло время.

Переубеждать, открывать глаза и учреждать в урочище перестройку у Гомера не было ни желания, ни времени. Но и оставлять все как есть Гомер не решался: либо пилот, либо медбрат обязательно проболтаются, слухи о диком народе разползутся, и «крылатого доктора» с подмоченной репутацией начнут таскать по начальству, с ковра на ковер.

— Снимай рубаху! — сказал Гомер медбрату. — Снимай, снимай, для общего блага! Я тебе две своих за нее отдам.

Медбрат удивился, но спорить не стал: снял пиджак, а затем стащил через голову красную рубашку с короткими рукавами, надетую поверх голубой майки.

Гомер повертел рубашку в руках и сильными пальцами хирурга аккуратно разодрал ее по боковому шву. Получилась неровная полоса ткани с накладным кармашком и застежкой-«змейкой».

— Прикрепи ее к кибитке побольше, вон к той, — указал Гомер медбрату. — К палке привяжи, чтоб повыше было. Пиджак надень! Без пиджака не иди, ты тут советскую власть устанавливаешь!

Теперь можно было и улетать.

С воздуха рубашка медбрата на палке выглядела как красный флаг над урочищем.

А потом поехали комиссии: районная, областная, республиканская, Академии наук, Всесоюзного исторического общества. Это уже не говоря о товарищах из Министерства государственной безопасности, Главного милицейского управления и Выездного счетного подразделения МВД. Людей урочища и их баранов пересчитали,

переписали и занесли в секретный реестр, детей учебного возраста забрали у политически незрелых родителей и определили в школьные интернаты республиканского подчинения. А само стойбище свободных людей на берегу реки назвали колхозом имени Карла Маркса, и председателя прислали из райцентра. И время поплелось дальше на своих некованых копытах.

До конца своих дней Гомер Иванович мучился укорами совести: зачем, к чертовой матери, сел в том свободном урочище? Лучше бы кто-нибудь другой это сделал...

А Онегин? Ну, это совсем другой разговор. Онегин с Гомером знакомы не были и едва ли когда-нибудь слышали друг о друге. Онегин писал песни; этого у него не отнимешь. «Быть может, ты забыла мой номер телефона» — это он написал.

Онегин был поэт-песенник, и этот неоспоримый факт в сочетании с диковинным именем собственным настраивал нас, его соучеников по Литературному институту, на насмешливый лад. Надо сказать, что поэты-песенники стояли особняком от поэтов, не говоря уже о прозаиках, драматургах и критиках. Их поэтические возможности оценивались невысоко, чтоб не сказать низко: нет, не трубадуры с миннезингерами. Они сочиняли только эстрадные песни, рассчитанные на непритязательную широченную публику кабаков и общественных танцплощадок. По большей части — но не всякий раз — эти стишата накладывались на уже готовые мелодии или, на профессиональном жаргоне, изготавливались «под рыбу». Обыкновенные — хорошие или плохие — стихи песенники писать не могли, без музыкальной поддержки их сочинения утрачивали всякий смысл. Стихи хороших — и посредственных — поэтов перекладывались иногда на музыку и оборачивались песнями. Но сочиненное песенниками не выбивалось за рамки своего жанра и никогда не становилось поэзией. Так было, так и есть: вряд ли продукцию песенника-классика, седокудного народного артиста России Ильи Резника можно отнести к поэтическому творчеству.

Помимо Онегина учились в институте еще два песенника: Миша Пляцковский и Игорь Шаферан. Связь между поэтами и песенниками складывалась как бы из узаконенной снисходительности и походила на отношения между цирковым борцом и героем-любовником провинциального театра: оба артисты, но разного полета. Песенники, надо сказать, обиды на коллег не держали и на место в поэтической «башне из слоновой кости» не претендовали: там и без них было тесно, а определение «в тесноте, да не в обиде» к этому месту жительства было неприменимо. Песенники клепали себе свои песни и, как нынче говорят, заколачивали хорошие бабки. Очень хорошие. Безденежные молодые поэты смотрели на финансовый пир песенников не без зависти и не прочь были подзаработать: сочинить, без огласки и, желательно, «в черную», песню-другую для кого бы то ни было — певца или певицы. Но и площадка песенников была перенаселена, и втиснуться туда со стороны представлялось делом нелегким; это удавалось по случайности, единицам-везунам. Я и сам написал «под рыбу» полдюжины песен для Жака Дуваляна, и молодой Высоцкий пел две песни на мои слова. Высоцкий получил от меня тексты по-товарищески, а «хорошие бабки», заработанные у Жака Дуваляна, были пропиты до копейки за дружескими столами. Так мы жили — «весело и шибко», без оглядки. Что ж, «каждому овощу свой сезон»... Главное — не перезреть, успеть все же оглянуться — и всем прочим радостям жизни предпочесть работу. По словам Цветаевой, «Само — что яблоню трясти? — в срок яблоко спадает спелое...» Тут главное — срок не пропустить.

А исключения из правил — что ж, где без них в нашей жизни! Примером тому знаменитый полупоэт-полупесенник Роберт Рождественский, в тесном обиходе — Робик. Так сложилось, что в его круг вошли люди, отмеченные небесной печатью: Евтушенко, Ахмадулина, Аксёнов, Вознесенский, Высоцкий. В его квартире во дворе Союза писателей, на улице Воровского, я познакомился с Булатом Окуджавой. Булат пел, первой из его песен я запомнил потрясшего меня своей нежной силой «Бумажного

солдата». На дворе, за окном полуподвальной квартиры, у памятника Льву Толстому стоял 61-й или 62-й год... На фоне своего могучего окружения Рождественский оказался несоизмеримо мал: стихи он писал вполне серые, понимал это и даже одно время наивно подумывал бросить стихосложение и перейти на прозу. А соревноваться с зубрами-песенниками, производителями бравых шлягеров, у него не хватало ни сил, ни ремесленной сноровки.

Так вспоминается мне картина нашего молодого литературного быта полувековой давности, подернутая уже кракелюрой. Такое отношение к песенникам, скорей всего, несправедливо — но молодости свойственна жестокость, поэтому хорошими солдатами становятся молодые ребята, не обросшие еще жирком жизненного опыта. Да ведь и мир наш устроен несправедливо, и это, хочешь не хочешь, тоже приходится принимать к сведению.

В коридорах Литературного института безмятежно и отдаленно соседствовали, как Канада с Антарктидой, как московская литературная школа с кишинёвской: Гена Айги, тогда еще Лисин, сотрясаемый порывами Рильке — с пустоклокающим Рождественским, Ахмадулина — с Онегиным, Евтушенко — с Шафераном. Как-то раз, в случайном разговоре с Пляцковским, милым человеком, я вспомнил единственную, на мой взгляд, поэтическую строку во всем их песенном ворохе: «Четвертый день пурга качается над Диксоном».

— Блеск, — сказал я Пляцковскому. — Пурга качается, поворачивается с боку на бок над ледяным полуостровом. Это видно, Миша! Но это все, что вы сумели увидеть в ваших бесконечных песнях.

— Не «вы», — сказал мне на это Пляцковский. — Я. Это моя песня.

Хороший Миша. Кто б мог подумать, что песенник напишет такую строчку.

С Онегиным вышло по-другому, хуже. Столкнувшись с ним в одном из институтских переходов, я стал к нему цепляться без всякой видимой причины.

— Онегин, песня про телефон обеспечит тебе место в литературных энциклопедиях, — едко я ему сказал. — «Быть может, ты забыла мой номер телефона». Это же классика! Вся страна поет, рта не закрывает.

— У тебя есть дача? — спросил на это Онегин. — Нету? А я за одну эту строчку дачу куплю.

Крыть мне было нечем: аргумент оказался бронебойным. Примись я уверять, что имущество отягощает руки и никакая дача мне не нужна, никто бы мне все равно не поверил.

Но самая главная часть истории об Онегине относится к продолжению его жизни — когда он, к немалому удивлению знакомых и незнакомых ему людей, завязал писать песни и отвернулся от громкой эстрадной славы. Тут вопросов возникает куда больше, чем ответов, — как, впрочем, и должно быть в нашей жизни.

Какая-то метаморфоза с ним приключилась: в середине 80-х годов Онегин — сибарит, гурман и гуляка — вдруг принял православие, стал аскетом, ушел в монастырь, решился на постриг и явился миру в образе иеромонаха Силуана из Оптиной пустыни. Истинная правда: исповедимы пути твои, Господи.

На моих глазах сотни не чужих мне людей обратились к религии — еврейской, христианской или мусульманской. Может, наше ветреное, загадочное время способствует такому духовному блужданию: собственного, индивидуального Бога менять на общественного, а чисто поле, располагающее к беспрепятственному общению с Всевышним, — на молитвенный клуб. Кто знает...

«Вдруг» или не вдруг обратился светский до мозга костей Онегин к христианству, и почему к христианству, а не к традиционному для его азербайджанского рода исламу — этот существенный вопрос останется, надо думать, открытым: Онегин Юсифович Гаджикасимов умер в 2002 году. Нетрудно предположить с большой долей уверенности, что в монашестве Онегин своих песен не писал и чужих не слушал. И так хочется надеяться, что к перелому жизни его привело осознание полной никчемности

созданного им на потребу публики. Если кому-то нравится определять это предполагаемое осознание как «божественное озарение» — на здоровье!

Необыкновенные имена — серебряные гвоздики, на которых висят карнавальные костюмы воспоминаний. Если б не это, выветрились бы из памяти и Гомер, и Онегин — подобно множеству других встреченных мною людей, не отмеченных словами диковинных имен.

Гул Слова исполнен нежной мощи, как библейское эхо, остановившееся на лету. Может, поэтому слышавшему и твердь, и хлябь Ивану Бунину выпало написать такое:

— Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Камень и слово

Камень, говорят, старше Слова, но и оно прошло испытание временем сполна: Адам и Ева не бляньем переговаривались под своим деревом.

Камень старше, с него все здесь начиналось. Первозданный камень неизбывен — во всяком случае, до конца дней; но и он растрескивается и разламывается, оставаясь, впрочем, самим собою. А Слово не подвержено ни ржавчине, ни коррозии.

Все снашивается: привязанности сердца и фундаментальные теории, шелк молодой кожи и зоркость зрения, и ноги, носящие нас по земле. И языки народов, составленные из множества слов, изнашиваются и уходят в сыпучий песок времени, а Слово, сопутствуя нам, остается безразличным к реалиям пестромелькающей жизни.

Я испытываю почтение перед Камнем и перед Словом.

Однажды, на левом берегу памирского ледника Федченко, не доходя ночевки Чертов гроб, на высоте около четырех тысяч метров я наткнулся на россыпь серых каменных кругляков размером с куриное яйцо. Мир вокруг Чертова гроба состоял из трех компонентов: камень, снег и лед. Больше там не было ничего: ни куста, ни мышки. Кругляки в незапамятные времена вынесло из расколотой, словно колуном, горы то ли оползнем, то ли лавиной и рассыпало по дну открывшегося здесь лога. Оболочка кругляка представляла собою каменную крошку, скрепленную древней засохшей грязью; я легонько тюкнул по ней клювом ледоруба, и кругляк раскрылся. В нем посверкивало несколько кристаллических зерен — густо-красных, цвета спелого граната... Сперва я подумал, что это рубины, и, разглядывая зерна на ладони, испытал сладкую истому первооткрывателя.

Поиск захватывает, и не всегда бескорыстно: пяти-шести зерен красоты оказалось мне недостаточно. Я хотел еще, про запас, и бродил по дну ущелья, как грибник по лесу. Алчность брала свое: часа за полтора я набил два порожних спичечных коробка каменными гранатовыми зернышками. Миллионы лет они вызревали в земной кожуре и были прекрасны — в отличие от музейных артефактов: когтя фараона или зуба птеродактиля.

Потом, в самолете, по дороге в Ашхабад, я продолжал вглядываться в эти гранатовые зернышки, в их кровеносную сердцевину, не знающую старения. Они казались мне поднявшимися со дна времен живыми словами, которые я не умею прочитать и высказать. Потом к ним прибавятся, неуверенно выстраиваясь во фразы, зернышки зеленые, синие, розовые.

В Ашхабаде бывалый человек определил мою памирскую находку: горный гранат.

Бывалого человека звали Дурды, он одиноко жил на окраине города в глинобитной развалюхе. Нельзя сказать, что он был хромым: он был одноногий. Гибель ноги пришлась на его басмаческую юность: большевики то ли ее отстрелили, то ли отбили миной, а самого Дурды захватили в плен. Отсидев положенное, Дурды вернулся домой в свои пески и занялся, пропитания ради, вполне мирным ремеслом — ювелиркой. На всем ювелирном пространстве он управлялся лишь с одной производственной задачей — творил серебряные перстни и украшал их туркменским народным орнаментом «след змеи», обегавшим мой любимый камень сердолик. А с другими камнями мастер не работал. Овальный или круглый, сердолик, уложенный на подогнанный по его форме и размеру и снабженный бортиком поддон, крепился к самому кольцу. Под камень, для яркости цвета, Дурды помещал подложку — серебряную конфетную бумажку, и сердолик гордо пламенел на солнце, оправдывая свое древнее название «кизиловая ягода». Камни, которые ювелирный мастер хранил в холщевом мешочке, он получал тайным образом, контрабандной тропой из соседней Персии — как видно, сохранил серьезные связи, заведенные в басмаческой молодости. Перстни — это все, что он умел делать, и этого было достаточно. Такой подход напоминал мне мое собственное отрочество: вместе с четырьмя старшими коллегами — кларнетистом, трубачом и турецким барабанщиком — я наяривал на тарелках в похоронном оркестре, который из всего музыкального моря выудил и освоил лишь один-единственный траурный марш Шопена, а больше ничего — ни ноты. И это приносило нам какой-никакой заработок и кормило на поминках... Дурды знал немного о моих приключениях, я — немного о Дурды; наши отношения были безоблачны.

Встряхивая мешочек, отчего сердолики в нем пощелкивали, Дурды запускал туда руку и протягивал мне на ладони, для обозрения, несколько камешков; я мог выбрать любой, указать на него, и мой одноногий приятель оправил бы его для очередного моего перстня. Сердолики были изумительной красоты, красно-оранжевые. Некоторые из них украшал вырезанный в камне рисунок — конь, архар — или надпись, выполненная вьющейся, как виноградная лоза, арабской вязью; то были сура из Корана или имя ископаемого владельца камня.

Мне кажется, Дурды одобрял мою привязанность к сердолику: в басмаче дышала душа художника, и верность характера не позволяла ему изменить избраннице — «кизиловой ягоде» — с персидской бирюзой или афганской ляпис-глазурью, роскошно-синей, перед которой и древние египетские вельможи не могли устоять в тени своих пирамид, на берегу Нила.

С Дурды меня свел мой ашхабадский приятель, на пальце которого я увидел сердоликовый перстень. Этот приятель подробно мне объяснил, как, не сбившись с пути, добраться до глинобитной берлоги басмача на городской окраине, и я, прихватив две бутылки водки для знакомства, отправился не мешкая.

Надо сказать, что та водка была отменный «сучок» местного разлива. За отсутствием под рукой инсектицида ей можно было с успехом морить тараканов, и даже «после третьей», когда, по графу Л. Толстому, она должна была лететь как маленькая птичка, глотать ее без неприятного усилия было невозможно. Войдя в единственную комнату развалюхи, я без лишних слов выставил бутылки на кошму, на которой сидел хозяин, и, свернув ноги калачом, уселся против него. У локтя ювелира находилась объемистая хозяйственная сумка, а на кошке алел круглый чайник с оббитым носом и, с ним рядышком, пиала.

— Я эту не пью, — приветливо глядя, сказал Дурды. — Я «сухую водку» употребляю. — Он легонько щелкнул янтарным ногтем большого пальца по стеклу керосиновой лампы с бахромчатым язычком пламени, стоявшей сбоку от него, на полу. — Приезжий? Кто послал?

Я сказал, кто.

— Кольцо надо? — спросил Дурды. Как видно, по другим делам к нему никто из чужих не заглядывал. Разговор, слово за слово, легко потек. Я хотел купить четыре перстня — один для себя, три для московских друзей.

— Да ты выпей! — предложил Дурды и придвинул ко мне бутылку, а сам достал из сумки длинную цыганскую иглу, коричнево-черный шарик размером с горошину и прямоугольный кусок газеты, ровно оборванный по краям. Я налил в пиалу, а хозяин свернул из газетки узкую воронку, снял с лампы стекло и, насадив шарик на иглу, поднес его к открытому пламени лампы. От шарика пошел плотный серый дымок, и Дурды, сунув воронку в рот острым концом с отверстием, поймал дым раструбом и затынулся.

— Опий, — сказал ювелир. — С Иссык-Куля привозят. Хочешь?

Вот к нему, к Дурды, я и пришел со своими зернышками.

— Гранат, — коротко взглянув, определил басмач. — Горный, с Памира.

Значит, не рубины. Ну и черт с ним. Красота одна, только название другое.

Вернувшись в Москву, я поспешно раздарил гранатовые зернышки — все до единого — знакомым милым девушкам. Им они тоже очень понравились, тем более что я давал разъяснение:

— Держи, держи! Это же настоящий рубин. Горный.

Звери и их люди

Отношение человека к миру во многом определяется отношением человека к собаке. И дело тут не в трюизме и не в лукавой игре словами: «Собака — интегральная часть мира, поэтому, хорошо относясь к собаке, ты и к миру хорошо относишься». Собачка — первая в долгом ряду наших зверей; тут и кошки, и лошади с коровами, и морские свинки с попугаями, и даже серпенты. Но собачка — первая!

Человек изначально заряжен любовью — этим золотистым облаком без четких очертаний, изменчивым и своенравным. Злодей носит его в своей душе точно так, как добродей. Но добродей осеняет им окружающих, а злодей копит в себе и не может найти ему применения. Не отпуская стреноженную любовь на все четыре стороны, он становится ипохондриком и лишается душевного покоя. Мрачный и нелюдимый, он иногда адресует запертую в нем любовь ручному зверю — собаке, и это приносит ему облегчение.

Примеров тому немало, один из самых выпуклых относится к зрелищным библейским временам. Придуманная и описанная Михаилом Булгаковым доверительная любовь между злодеем Понтием Пилатом и его литературной собакой Бангой убедительна и прелестна. Булгаков ощущал, как немногие, что любовь куда огромней прекрасного влечения Мастера к Маргарите — это она, любовь, а не чахлая справедливость, высосанная из пальца горсткой одержимых, противостоит тьме во вселенской войне, столь затянувшейся, что и конца ей не видно.

Отношения, сложившиеся между Пилатом и Бангой, если и не делают прокуратора добрей, то хотя бы наделяют его какими-то будничными человеческими чертами. Ни к кому не испытывает он душевной привязанности, кроме как к своей собаке... Это все Булгаков придумал просто замечательно.

Литература, спасибо ей огромное, внимательней, чем все прочее в нашем мире, всматривается в отношения двуногих с четвероногими. Не случись этого, все свелось бы к экспериментам академика Павлова и картине художника Сухотина «Псовая охота на медведя». В обоих случаях собачкам отведена подсобная роль: с Павловым все ясно без слов, а художники на своих картинах используют собачек либо как подручных работяг живописных охотников, либо как необременительную деталь, актеров второго плана в натюрмортах с битой дичью.

В литературе — иначе! Целый мир, пусть параллельный, уместается между тургеневской Муму с ее Герасимом и блистательным «Верным Русланом» Владимирова.

И, разумеется, не только сердобольная русская литература проявляет трогательный интерес к «собачьей теме». Американец Роберт Пенн Уоррен в романе «Вся королевская рать» мимоходом рассказывает о завсегдатае бара — неряшливом старике, от которого бармен хочет избавиться, обвиняя его в том, что он плюет на пол. Старик уходит, а назавтра появляется вновь — в сопровождении собаки, в которую, уложив ее у своих ног, он и плюет, привычно коротая вечер за стойкой. Описывая этот случай, Уоррен не выстраивает отношений между стариком и его собакой, он открывает перед читателем широкое поле для построений.

Я люблю собак — этих членов семьи, не способных на предательство. Не думаю, что они отвечают человеку любовью лишь в обмен на пайку, которую получают из наших рук. Они испытывают к нам доверие, в этом все дело.

Мою первую собаку звали Шайтан. Я привез ее в Москву из пограничной Кушки, откуда, через одиннадцать лет после моего приезда, советские борцы за мировую справедливость вторглись с дружеской миссией в Афганистан. Сперва провели, в подарок братским афганцам, жароустойчивую бетонку Кушка—Герат, а в 79-м году по ней и вломились.

А собачку я нашел в заповеднике Бадхыз, за Кушкой. Там, по слухам, водились леопарды и гиены, и мне не терпелось увидеть их собственными глазами. Проезжая на крепкой, ладной лошадке по заповедной территории, я наткнулся на стойбище чабанов и спешился посреди пастушьих времянок. Там, на земле, сидела очень большая, холодно на меня глядевшая собака с лобастой, поросшей буйной шерстью головой. Ее лицо с великолепными челюстями достигало моей груди. У передних ног собаки, мощно упертых в землю, в круглом углублении я увидел трех щенков, спавших безмятежным младенческим сном.

Ну, а теперь пришло время объяснить, как я попал в закрытую для «рядовых советских граждан» пограничную зону, кто пустил меня в заповедник Бадхыз и дал крепкую лошадь с местным проводником. Вот как было дело: узнав от моих туркменских приятелей не только о гиенах и леопардах, но и о заповедном подземном озере, в чистейшей воде которого водились рыбы волшебной красоты и смака, я, недолго думая, решил ехать в Бадхыз. Получить разрешение на въезд в погранзону мне могло помочь командировочное удостоверение и официальное письмо из редакции одной из крупных московских газет. Очерк о самом южном заповеднике страны, к тому же населенном гиенами, — это был лакомый материал для любой газеты! И я, ничтоже сумняшеся, для начала отправился выбивать желанную командировку в бастион советской идеологии — редакцию газеты «Правда».

К тому времени я довольно-таки регулярно печатал очерки в московских периодических изданиях и слыл «специалистом по экзотической теме» — писал о памирских охотниках-барсоловах и тянь-шаньских ячьих пастухах, о ловле снежного человека и выдуманном мной от начала и до конца дагестанском «гривастом волке». Так что мое имя не показалось заведомо чуждым для культуры газеты «Правда» Кошечкину белым пятном на карте московской журналистики. Я расписал Кошечкину, без упоминания гиен, прелести Бадхыза и упорный труд совлюдей по умножению там поголовья диких ослов-куланов. К моему немалому удивлению, Кошечкин поддержал мое предложение, и я, беспартийный еврей, получил спецкоровскую командировку «Правды» в закрытые районы Кушки и Бадхыза. Ура! Но, как выяснилось недолгое время спустя, даже «идеологический бастион» не был застрахован от промахов: решение о моей командировке задним числом признали ошибочным. Однако, как говорится, после драки кулаками не машут: мой очерк «Бадхызские фанаты» был уже опубликован. Дождаясь своего часа, он долго пылился в редакции и увидел свет в тот день, когда «Правда» оповестила мир о трагической гибели первого космонавта Юрия Гагарина. В этот день, 28 марта 1968 — назавтра после авиационной катастрофы — чопорная «Правда» не могла себе позволить печатать ни слишком жизнерадостные, ни слишком мрачные материалы. И вот мои «Фанаты» были признаны нейтральными и подходящими к случаю.

Но вернемся в Бадхыз, к собаке и ее щенкам.

Как только я их увидел, я понял бесповоротно: один из них поедет со мной. Технически это было выполнимо — я тогда снимал отдельную квартиру в центре Москвы, там можно было поселить хоть крокодила. Оставалось разрешить практическую сторону вопроса: договориться с хозяином собаки. Ведение переговоров я поручил моему проводнику-туркмену, и разговор завязался на родном языке сторон.

— Это алабай, — после краткого вступления перевел проводник. — Чистокровный. Он не хочет продавать.

— Скажи ему, — попросил я, — что заплачу, сколько он скажет. Нажми на него, честное слово!

— Он говорит, продавать нельзя, — обменявшись с чабаном несколькими фразами, перевел проводник. — Запрещено!

— Почему? — допытывался я.

— Грех! — отрезал проводник. Он, кажется, был на стороне чабана.

— А менять? — спросил я.

— Менять можно, — сказал проводник. — Он согласен. — И кивнул на чабана.

Значит, меновая торговля. Что б такое ему предложить, этому владельцу щенков? Тут командировочное удостоверение газеты «Правда» не поможет.

— Скажи, часы отдам, — и я расстегнул часовой ремешок для убедительности.

— Часы он не берет, — сказал проводник. — Говорит, ему не надо.

Действительно, зачем ему часы? На службу он, что ли, опаздывает?.. Чабана можно было понять.

— Ладно, — сказал я. — Покажи ему вот это. — И протянул переводчику складной охотничий нож с гильзодером.

Чабан внимательно осмотрел нож, щелкнул клинком с фиксатором и кивнул головой: согласен. Вопрос был решен.

Чабан увел куда-то маму-алабая, чтоб она меня ненароком не порвала, когда я буду забирать щенка. Эту маму тоже можно понять, и я был благодарен чабану за его предусмотрительность. Наклонившись над щенячьей ямой, я выбрал коричнево-белого мальчика, теплого и тяжелого, как хлебный каравай. Несколько дней спустя с собачкой на руках я вошел в московскую квартиру, где жил с моей тогдашней женой.

Шайтан Давыдыч рос не по дням, а по часам — просто на загляденье! Нас связывала крепкая мужская дружба, да и к моей тогдашней жене он относился вполне толерантно. Глядя на него, посторонние люди испытывали ледяной наплыв страха и ужаса — они опасались за свое здоровье. Если б они знали, какой мой Шайтан замечательный и верный! Но они не знали.

Природных волков кругом было не видеть, и алабай ни на кого не кидался — кроме почтальона Вити, который являлся по утрам с почтой и которого Шайтан, как видно, держал за волчару. Все уговоры оставить почтальона в покое не приносили плодов. Укушенный когда-то бродячей собакой за икру, почтальон боялся Шайтана до дрожи в коленях; я был почти уверен, что этот Витя вот-вот уволится с работы, либо попросит о переводе на другой участок — лишь бы не встречаться с алабаем лицом к лицу в дверях нашей квартиры и поскорей о нем позабыть.

Раз уж речь попутно зашла о квартире, стоит мельком упомянуть об интересном обстоятельстве, с ней связанном. Хозяйкой квартиры была милая молодая женщина, муж которой, журналист, служил собкором в одной из восточных стран — вот у нее-то я и снимал жилье. Моя домохозяйка, время от времени наезжая в Москву из восточной страны, останавливалась у своей матери — жены выдающегося, известного советского писателя, разглядевшего в моих писаниях литературную основу и тепло ко мне относившегося. Не составляло секрета для людей, близких к этой семье, что милая жена собкора не родная дочь писателя; немногие знали о том, что ее отец совсем другой писатель — знаменитый немецкий драматург-антифашист Фридрих Вольф. А глубже этого и вовсе никто не заглядывал, и правильно делал: меньше знаешь — лучше спишь...

Однажды — милая собкорша как раз гостила у матери — я заглянул к ним домой: то ли квартплату занес, то ли что, не помню... Запомнил другое: в обставленной красивой старинной мебелью гостиной поднялся из кресла, поздороваться со мной, высокого роста мужчина лет сорока, с крупным выразительным лицом, словно бы собранным из хорошо подогнанных друг к другу заготовок.

— Миша, — протягивая мне руку, представился мужчина.

— Мой брат, — добавила милая собкорша.

Брат так брат... Он был одет, как совслужащий среднего звена, и говорил с интонацией потомственного московского интеллигента. Впрочем, говорил он совсем немного. Ничто, никакая мелочь не выдавала в нем иностранца.

Спустя годы я не без содрогания узнал, что это был шеф восточногерманской разведки Штази генерал Маркус Вольф.

А теперь вновь вернемся к моему алабаю, достигшему полугодового возраста и размеров взрослого барана. Неизбежное случилось: затянувший с увольнением по собственному желанию и зазевавшийся в дверях почтальон Витя был, в конце концов, успешно атакован Шайтаном и укушен. И что он ему дался, этот Витя!

И был управдом, и милиция была. Административно-следственные действия производились у соседей: ни пострадавший почтальон, ни милиционер с пистолетом не соглашались переступить порог нашей квартиры, хотя Шайтан вел себя безукоризненно — не рычал и не кидался. С Витей полладили без хлопот: он получил денежный подарок и удовлетворился. С властью пришлось сложнее, мильтон взялся писать протокол: в том случае, если собаку в течение сорока восьми часов не отправят куда-нибудь, ее ждет конфискация и передача на усыпление как представляющую опасность обществу. Советская власть, видите ли, не представляет опасность обществу, а Шайтан Давыдыч представляет! Мильтон так раздухарился, что и меня, в случае невыполнения или уклонения, грозил привлечь куда не надо.

Я отвез собачку в подмосковный лесхоз, к знакомым моих знакомых. В лесу Шайтан чувствовал себя привольно: там не было ни почтальонов, ни мильтонов. На свежем воздухе и полновесных харчах он перегнал по росту свою маму, год назад холодно на меня глядевшую над щенячьей ямой в Бадхызе.

Когда Шайтана Давыдыча выводили прогуляться на улицу поселка, его вели на двух поводках, пристегнутых к строгому ошейнику: один сопровождающий шел справа, другой слева, а Шайтан выступал посредине.

И вот ведь как все сложилось необычайно: за три коротких недели я лишился собаки, расстался с тогдашней женой и съехал из квартиры сестры Маркуса Вольфа — зловещего шефа германской разведки Штази.

Расставанье с собакой — горестное событие; оно происходит совсем не по причине охлаждения отношений, ссоры или предательства, как это заведено среди людей. По иным причинам оно происходит...

За городом, впритык к территории ветеринарной больницы и приюта для бездомных собак, за низким каменным забором, раскинулось небольшое кладбище. Горбатые холмики украшены букетами цветов и траурными венками. Одна бедная могила под крестом, сваренным из железных арматурных прутьев. На могильных плитах высечены даты и имена. На одной из плит я прочитал: «Мы тебя любим. Ты с нами». Сердечное горе, сжатое в две короткие фразы. Колокол, который звонит и по тебе самому.

Кладбище собак. За черной рекой, за голым косогором — зеленое райское поле зверей и их людей. Одно на всех.

Фестивали и конкурсы

ЛАУРЕАТЫ «КУБКА МИРА ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ—2016»

Любовь Колесник

Я карась

* * *

Двадцать два. Город по горло мёртв,
будто речь идёт о двадцать втором июня.
Трудовые пчёлы, уставшие делать мёд,
забиваются в соты и телики смотрят втуне,

в тине тонут, в танки режутся мужики,
что от службы в армии запросто откосили.
Кабанихины правнучки, щёки как бураки,
постят в пост скромных себя в лосинах.

Но презрев, презрев комендантский час,
кто наследует им — не канут, каная в темень,
по некрополю рыщут, жестокости не учась,
от рожденья умея бить бронебойно в темя.

Где с пустых высот на Волгу глядит осот,
если встретил их, то тебя не спасёт и чудо.
Я ведь с этих же самых соток, из этих сот,
не родная им,
извергнутая отсюда.

* * *

Три фонаря, один из которых горит,
на двух других вешали партизан.
Здесь ветры режут острее бритв,
вынуждая воду скорей покидать глаза,
выливаться в Волгу для осторожных рыб
и оттуда волком смотреть на господний мир,
где острожный холод, скрип каторжанских дыб,
колесованный голос колёсных лир.

Колесник Любовь Валерьевна — поэт. Родилась в 1977 г. в Москве. Закончила Тверской государственный университет в 1999 г. Работала на краностроительном заводе. Автор четырех книг стихов, среди них — «Радио Мордор» (М., 2016). В «ДН» печатается впервые. Живет в г.Ржев Тверской области.

Сто один километр, отсчитанный от Москвы,
на окопе окоп — основами для могил.
Срама не было мёртвым, он весь перешёл к живым,
и никто из них до сих пор его не избыл,
не избёг его, потому что по кругу бег.
Древо раздора плодов не бросает зря.
Пешка съест короля, в избе заживёт узбек.
Никаких аптек. Ночь, Волга, три фонаря.

* * *

во тьме
между бутово и новокосино
бродит минойская тварь и чёрное пьёт вино
защищают придуманную страну
гекатомбы мальчиков отданных на войну
гигабайты взглядов бесятся на лобках
загорелых девочек пляшущих на рогах
крит горит
тысячи лет спустя
лабиринт витрин отражает ночной костяк
фонарей и меднобетонных плит
минотавр ревёт
рукоплещет с плеча аид
трудно говорить о смерти когда каждый пятый бог
ариадна стареет
в дело идёт клубок
потому что мода с сандалиями носки
и опять добро должно иметь кулаки
коронуют героя лавром дают полца
нет
другая сказка
дочь предаёт отца
убивает брата
предложена божеству королева лежит в корове
мясо гниёт во рву
из часов высыпается время простым песком
и убивший быка становится сам быком

* * *

господи я карась зрочки у меня круглы
я уходил на дно ты вынул меня из мглы
я колебался в иле меркнувшей чешуей
и улетел за леской за ледяной шлейф
господи я карась жабры мои красны
бой затонувших звонниц к северу от шексны
я проплывал сквозь воды глядя на облака
где оставляли люди бога без языка
тина моя рутина серый небесный снег
что же наворотил он этот твой человек
рыбья моя хребтина хрустнет такая страсть
я говорю спасибо господи я карась

Ника Батхен

Время — престо

Бес звука

Музыка начинается с тишины.
Минуты перед рассветом, когда выключают звёзды.
Вышей точки падения камня над зелёным стеклом пруда.
Бездыханно и неподвижно стоит орда,
Ожидая Батыя, хриплого вопля «хурр!»
Безголовая птица мечется, кровью пятная кур.
Трубка курится, словно сама собой.
У шайена ни слова.
У логова волчий бой.
Наплевав на флажок, мать уходит собой в прыжок,
Прикрывает волчат —
И ружья тоже молчат.
У девчонки на сердце имя — не скажешь вслух.
Она чистит лук — не верите? — просто лук.
Лак сползает с ногтей — обессиленная броня.
Батальоны просят огня.
Ботильоны, забытые на балу,
Превратились в золу.
Шкаф открыт — там беззвучно смеётся лев,
Повелев — проснись.
Камень из высшей точки бросает ниц.
Небо бросает в дрожь.
Струны натянуты до отказа — трожь!
Бей наотмашь, круши стекло, чтоб звенело, везло, вело,
Колыхало волною алой,
Задыхалось пичугой малой, над обрывом раскинув перья.
Где теперь я? Гром? Грохот? Гул?
...Красный камень на берегу...

Ника Батхен (псевдоним; настоящее имя — Батхан Вероника Владимировна) — поэт, прозаик. Родилась в 1974 г. в Ленинграде. В 1990 г. уехала с семьей в Израиль, в 1994 — вернулась. Печатает стихи и прозу с 2003 г. Училась в Литинституте в 2006–2007 гг. Автор нескольких книг стихов, сказок и прозы, в том числе «Снебападение» (М., 2007), «Остров Рай» (Минск, 2010) и др. В «ДН» печатается впервые. Живет в Крыму, в Феодосии.

Хосидл

Сыплет снег гусиным пухом,
Время спать птенцам и духам.
В доме хлеба — ни куска.
Мимо Умани — войска.
Браво-рьяно, сыты-пьяны,
От метели до бурана,
Галуны да кивера,
На усах хрустит «ура».
Стёрся след сирот ничейных.
Спелым яблочком — Сочельник
По тарелке озерца.
Согреваются сердца,
Мёрзнут сани, мёрзнут ели,
Все хлева орождествели,
Фляги выпиты до дна.
В Белой Церкви
Ти
Ши
На.

Ааай, айяйай, ааааа...

Ни к чему читать о хлебе —
Нужно, так пеки.
У свечи весёлый ребе,
С ним ученики.
День четвёртый, до шабата
Времени вагон,
Стали кругом, друг на брата,
Смотрят на огонь.
Ребе сказку выпекает:
Жил на свете бог,
Он однажды создал камень,
Что поднять не мог.
Видел Эрец — горький перец,
Пепел на углях.
Вот у нас — полынь да вереск,
Да Чумацкий шлях.
Там пустыня — скорпионы,
Камни да гробы,
Соглядатаи, шпионы,
Равы и рабы,
И арабы. Бродит нищий,
В сумке сефирот,
В голове слова и вишни
Скачут прямо в рот:
Если я Царя не бачив,
Есть ли в мире Царь?
Ветер жгучий, лай собачий,
Сало да маца.

У Царя была Царица.
У пчелы был мёд.
Если долго не молиться —
Боженька поймёт.
Если долго не смеяться,
То испустишь дух.
Глянь — диббуки носят яйца,
Сыплет белый пух.
В карауле спят солдаты,
В сене мужики.
И петух кричит раз пятый
Хриплое «ки-ки».
Станет супом.
Стану снегом
И вернусь в обет,
Напишу на камне некоем —
Суета сует.
Вы ко мне придёте в Умань
От ума, дурьё.
«Ребе Нахман был безумен»,
Ласточка споёт.
Не Мессия, не апостол,
Божий мастерок.
Я станцую — это просто.
Вот и весь урок...
Блеют козы, плачут дети,
Снег идёт стеной.
Белый снег на чёрном свете —
Дивный, ледяной.
Ребе Нахман сплюнул красным,
Растирует грудь.
Скоро небо станет ясным —
И придётся в путь.

Ааай, айяйай, ааааа...

Похоронят — будет тризна.
Дальше войны лет на триста,
Декабристы — Паша Пестель
И Апостол...
Время — престо.
Большевик идёт за плугом.
Чёрный хлеб так лаком с луком.
Чьи-то кони воду пьют.
Здесь по паспорту убьют.
Докладуют, руки грея —
Город Умань — три еврея.
Synagogue. Гробница.
В ней
Ребе Нахман?
Вам видней.

Олег Корионов

Обстоятельства

Рассказ

Вот представьте: Вы сели в поезд «Москва — Самара».
Выпили банку пива.
Лениво проводили взглядом вывеску «Евродрога».
Расстелили постель.
Спать — после Рязани. А пока — томик Чехова и фильм в окошке: станции, перелески...
...В Рязани, на перроне — сладкая затычка.
Благодушное возвращение в купе.
И — новость: к Вам заходили.
— Кто?
Ответ — в дверях.
Сонный молодой человек в форме железнодорожника представляется помощником начальника поезда и просит Вас перейти в плацкартный вагон.
Вы достаете билет:
— Пятый вагон, пятое место.
Молодой человек зевает:
— Ну и что?
Вы недоумеваете, спорите, кипятитесь...
А потом под сочувственные — с кислинкой — улыбки попутчиков покидаете купе и идете в плацкартный вагон.
...Ночью, в Рузаевке, Вас будит тот же помощник начальника поезда и просит перейти в вагон с сидячими местами.
От такой наглости сон, как рукой...
— Вы издеваетесь?
С боковой полки рявкают:
— Заткнись!
Чертыхаясь, Вы переходите в сидячий, успокаивая себя: «Дальше некуда».
А зря. Сами восхищались фразой Леца: «Когда я думал, что уже достиг самого дна, снизу постучали».

Корионов Олег Анатольевич родился в 1960 г. на Урале (г. Красновишерске). Вырос в Самаре. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал на заводе, в редакциях областной, отраслевой и центральной газет, а также в коммуникационных агентствах и государственной концертной организации. Печатался в журнале «Знамя». Живет в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

...Утром, в Сызрани, помощник начальника поезда просит Вас перейти в стоячий вагон.

Вы устало глядите на него:

— Дудки!

Помощник грустно кивает и вызывает по рации полицейских.

Лицо у помощника участливое. Ему Вас жаль, но ничего нельзя поделать...

В тамбуре, перед тем как толкнуть Вас в стоячий вагон, шепчет:

— Послушайте, дело заводить не будут. Вы просто смиритесь. Обстоятельства: вся страна в одном поезде...

И вот с чемоданом между ног, держась за поручни, Вы болтаетесь в вагоне вместе с другими несчастными.

Но разве это несчастье?

В Чапаевске вагон набивают под завязку.

Оставшееся до Самары время Вас толкают, пихают, давят...

Найти сносное положение — никакой возможности.

...Самара, как избавление.

Вы делаете неуверенные шаги по перону, ища глазами помощника начальника поезда.

Никого.

Достаете сигарету.

Что дальше?...

...К Мите Смирнову жизнь была милосердна: сопровождала его не дальше сидячего вагона.

Он, в общем-то, приспособился.

Отгородился от действительности.

Не заморачивался ни потерей работы, ни таянием денег.

Не держал фигу в кармане.

Не роптал. Какой смысл?

Просто жил, радуясь своему миру: книгам, музыке и Ане...

...Наверное, действительности надоела Митина халява.

И она пришла в гости.

...Утром Митя включил старенький «Шарп».

Услышал фразу «Как не заболеть после "Вестей"».

И вырубил телевизор.

Открыл ленту в Фейсбуке.

Прочитал: «Христос был первым коммунистом в новом летосчислении».

И выключил компьютер.

...В фитнес-клубе, уползая из зала, спросил инструктора по йоге:

— Где Вы учились?

Плечистая девушка гордо посмотрела на Митю:

— Я — мастер спорта по лыжным гонкам.

...В подмосковной электричке Митя услышал, как мальчик спрашивает бабушку:

— А правда, что Анна Каренина бросилась под поезд на нашей станции?

Бабушка кивнула — так уверенно, будто была очевидицей происшедшего.

...А еще Митю дернула за рукав обезьяна — в торговом центре.

— Она и меня дернула, — сказала Аня. — Не обращай внимания: какой фотограф, такая и обезьяна.

Митя вздохнул:

— Это точно.

...Казалось бы, чего такого?

Ну, не задался день.

С кем не бывает?

Но у Мити больше не было сил держать равновесие.

И он начал шалить.

В Фейсбуке завел страничку Фонда Анны Карениной и объявил кастинг на лучшую модель — для будущего памятника героине.

Отбоя не было.

Уговорил знакомого хакера взлезть в бегущую строку для дикторов, и красивая метеорологиня прямо в эфире брякнула: «Бальзам "Анна Каренина" — от всех напастей и "Вестей"».

Повесил в фитнес-клубе листовку: «Йога и лыжи».

Науськал на ловкача-фотографа из ТЦ городское отделение защиты животных. Обезьянку и двух попугаев передали в зоопарк.

Подкинул идею местным жириновцам: те на митинге — к юбилею вождя — объявили, что Христос был первым либерал-демократом.

Народ аплодировал.

...Нет, Митя не сошел с ума. Его просто несло.

Знаете, если жизнь приглашает на танец...

...Он не ожидал, что шалости воспримут всерьез.

Мэрия города подхватила Митину инициативу и с помпой, в «Вестях», объявила: осенью на привокзальной площади откроют памятник Анне Карениной.

Городской голова и представитель толстовского общества отметили особую роль активиста Мити Смирнова.

Общество защиты животных вручило Мите грамоту, об этом написали в газете.

Либерал-демократы предложили Мите место в депутатском списке.

...Митя ошалел от свалившегося на него внимания. Решил на время уехать к маме, в Самару.

Денег хватило лишь на сидячий вагон.

...В Рязани, как обычно, покурил на перроне.

В тамбуре увидел молодого человека в форме железнодорожника. Тот представился помощником начальника поезда и предложил Мите перейти в СВ.

— Шутите?

Молодой человек расплылся:

— Да что Вы. Такой человек!

...В СВ Мите принесли ужин и бутылку шампанского.

— От железной дороги, — ласково сказала проводница.

...Ночью, в Рузаевке, в дверь постучали:

— Это я, помощник начальника поезда.

Митя открыл.

Заметил: у помощника бегают глаза.

— А это Вас, — сказал тот и протянул Мите рацию.

— Мить, привет! Это Гриша... Ну да, либерал-демократы... Извини, что поздно...

Тут такая штука... Христа убираем: первый у нас один.

— Ну, и Бог с ним, — ляпнул Митя.

Он хотел спать. И политика волновала его меньше всего.

— Отлично! Бывай, — бросил Гриша.

— Ага, пока, — Митя передал рацию помощнику начальника поезда.

Собирался закрыть дверь, но помощник придержал ее.

— Вы уж не обижайтесь. Обстоятельства... — он подержал паузу и тихо сказал. — В общем, так: пока — в плацкартный, а там видно будет...

Александр Амчиславский

До конца игры

* * *

Человек придумывает игру,
единственную себе по нутру,
сживает с ней, и день за днём
игра прорастает в нём.
Сладкая жертва или гордый герой —
он в игре и сам делается игрой,
возводит башню на холме крутом,
и согласно правилам — это дом,
поднимает стены, копает рвы,
переходит с собой на «Вы»,
закаляет тело, упражняет мозг,
совершенствует подъёмный мост,
пройти по которому не дано

всем, любившим давным-давно
его, да он и не помнит, игрой укрыт,
бывших с ним до игры.
Человек из башни смотрит вниз,
там люди поют — он не видит лиц,
странные песни тихи, нежны,
но и они ему не нужны,
как не нужен ему ни свет, ни тень,
ни дальние эти, ни дальние те,
и башня квадратом высоких стен
летит в перекрестье никуда с нигде.
Горизонт удаляется от его горы —
человек дошёл до конца игры.

* * *

Мирились, ругались, мирились, ругались опять,
желтели цветы на окне, он держался за сердце
и чистил картошку на суп, ненавидя себя,
и кашу варил, понимая, что некуда деться.
Молчали неделями, кошка, срываясь на вой,
пыталась очистить жилище от зреющей смерти
и, слыша их мысли, трясла невпопад головой
и когти ломала, следы оставляя на дверце.
Он всё-таки умер, жена не осталась в долгу,
усердно читала псалмы, о душе беспокоясь,
отмыла, покрасила стены, очистила совесть
и книги его с инструментом сложила в углу,
потом их забрали, и снова — цветы на окне,
и сын приходил, навещал, правда, реже и реже,
ей часто казалось, что стало всё хуже, чем прежде,
наверно, казалось, но дальше.. уже не ко мне.

Амчиславский Александр родился в 1958 г. в Москве. Окончил филфак пединститута, учился в Академии Художеств им.Репина (Ленинград), работал художником-реставратором в Политехническом музее. Автор сборника стихов «За тонким полотном» (М., 2017). Живет в Канаде. В «ДН» публикуется впервые.

Венеция

Конечно, дружок, поезжай, в этих улицах древних
настигнет, надеюсь, тебя благотворная жажда,
и в горло прольётся густое холодное время,
и старые зёрна дождутся обещанной жатвы,
езжай, походи по капеллам, с лица незаметным,
почувствуй, насколько сумеешь, иное молчанье,
иное, поверь, чем печали твои за плечами,
напрасно боишься — ему не отыщешь замены.
Езжай, покорми голубей, прокатись на гондоле,
потри безмянные плиты подошвенной кожей,
сегодня Сан-Марко, а завтра другое, но то же,
всё едешь куда-то, а сам убегаешь от боли,
езжай, этот город, каналами пойманный в сети,
беспечен, как запахи кофе, телячьей печёнки,
там даже зимой всё иначе, и мысли о смерти
слегка опьяняют, как в юности мысли о чём-то,
вдохни эту странную смесь, посчитай это долгом,
монеткой расплатишься, с мостика брошенной завтра,
вода прибывает лениво, ни брызг, ни азарта.

Езжай. Возвращайся. Расскажешь. Увидимся.
С Богом.

* * *

Бедный счастливый поэт,
тапочки, стол, карандаш,
тонкой бумаги стопу
гладишь, как деву во сне,
медленно, «хлеба нам даждь»
шепчешь, намёк ли, ответ
ловишь внутри ли, вовне,
света мерцающий след
лыком вплетаешь в строфу.
Бедный счастливый кустарь,
всё ремесло на дому,
вяжешь корзины стихов,
чудом ещё не ослеп,
незачем знать тебе, нет
дела тебе до того,
кто их подарит, кому
слово раскроет уста —
свет караулишь в окне,
тонкий мерцающий след.

Марта Антоничева

Ну же, Бог

Рассказ

Андрей очень любил работу и совсем не любил жену. Работа давала ощущение собственной значимости, ценности, а вот жена — напрочь всего этого лишала, особенно когда что есть мочи орала матом по телефону, а Андрею было некуда спрятаться от сотрудников.

Эту слабость он, переняв привычку жены, сделал своей «фишкой» — каждый раз, чуть раньше или позже, Андрей начинал крыть матом подчиненных. А поскольку он был главным редактором службы новостей, то ругань его приходилось терпеть, как бесконечное сверление за стеной или сварливую тещу.

На работу он приходил первым, клал на стол небольшую кожаную сумочку, которую носил под мышкой, и доставал телефон. Телефон был с откидным флипом, и каждый раз перед тем, как принять звонок, Андрей небрежно, мизинцем, его открывал. Набирал номер хорошего знакомого и принимался, как он это называл, «трещать». «Треск» этот продолжался в течение часа-полтора, после чего Андрей орал на подчиненных, успевших дойти до работы, но еще до конца не проснувшихся. После этого спокойно заваривал кофе и обсуждал свежие новости с бухгалтером у кофе-машины.

Его чашка настолько почернела изнутри, что напоминала заброшенный колодец, но никто не предлагал и не советовал Андрею помыть ее, да и он никому не разрешал к ней прикасаться. На чашке было написано: «Сочи'93». Однако Андрей, любивший сначала отдохнуть, а потом пересказывать и показывать, как именно проходил его отпуск, почему-то ни разу не упомянул ни об этом городе, ни о событиях, с ним связанных.

О них хорошо помнила коммерческий директор Алёна, но с тех самых пор они с Андреем нечасто пересекались...

В тот день все началось, как обычно — с полуторачасовой болтовни Андрея по телефону. Он уже успел выпить кофе, выкурить несколько тонких сигарет и поскандальить с дворником («Хватит кормить голубей! Они срут мне на окно, прилетают и

Антоничева Марта родилась в 1981 году в Баку. Окончила факультет филологии и журналистики и аспирантуру Саратовского госуниверситета, кандидат филологических наук. Режиссер документального кино, литературный критик, драматург. Как критик печаталась в журналах «Урал», «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Саратове.

прямо на подоконник срут!»), когда из отдела рекламы прибежала всполошившаяся помощница Алёны.

Девушка принесла телефонную трубку и быстро сунула ее Андрею. Оказалось, это жена — не могла дозвониться до него по мобильному.

— Срочно тащи свою задницу домой, — велела жена и повесила трубку, она всегда так делала. Андрей объяснял ее поведение синдромом начальника и где-то в глубине души даже оправдывал. Но не в этот день.

Он раздраженно сел в машину, ожидая очередной выходки. Вроде той, когда заказанные в салоне итальянские шторы вдруг оказались короче самих окон, и жена от злости изодрала заказ в клочья. Пришлось возвращать их в таком виде в магазин и неуклюже врать, что это сделала собака, хотя никакой собаки у них отродясь не было — жена даже рыбок завести не позволяла.

Дом будто только что ограбили: кресла перевернуты, а кругом — тишина. Когда Андрей зашел в спальню, там отчетливо пахло блевотиной, все белье с кровати комом валялось на полу. На кровати лежали обессиленные жена и сын Андрея. Сын тихо скулил.

— Заблевал всю кровать, фонтаном, — констатировала жена.

Решили вызвать платного врача («Ну не "скорую" же», — сказала жена). Принялись звонить в платные клиники, Андрея начало трясти. До этого сын болел всего однажды, когда в два года переел мороженого. Жар тогда длился три дня, за это время у Андрея пробились седые волосы — сын орал во все горло. К сегодняшнему повороту Андрей тоже был не готов.

— Если что-то срочное, вызывайте «скорую», — произнес безликий женский голос в трубке. — Я вас записываю на утро?

Андрей утвердительно кивнул и прошептал еле слышно: «Да». Он уже был готов вызвать кого угодно: и «скорую», и шаманов, и цыганку с соседней улицы. Сына безостановочно рвало и поносило, и это пугало его все сильнее. Но жена велела дожидаться утра.

Ночью поспать не удалось: жена продолжала истерить и названивать своим родственникам. Вскоре приехали теща с тестем, вслед за ними — сестра с женихом, собралась было нанести визит и бабушка, но ей запретили.

Сыну лучше не становилось, он безостановочно плакал. Андрей был рядом с ним: вытирал то пот с горячего лба, то блевотину с подбородка, относил помыть в ванную, повторял какие-то успокаивающие фразы о том, что скоро пройдет и станет хорошо, но постепенно ему самому верилось в это все меньше.

Лицо сына осунулось, посерело, его глаза запали, под ними все более отчетливо проступали круги. Поначалу его даже развеселило, что сына проносило прямо на дорожный белый ковер, который жена привезла из какой-то жаркой страны. Но когда сын стал все меньше походить на себя, а черная слизь текла и текла и не думала заканчиваться, Андрей испугался по-настоящему.

Он сел за компьютер жены и стал гуглить симптомы. За спиной маячили родственники, озвучивая самые жуткие варианты. Ему были неприятны и их тон, и само присутствие в доме чужих случайных людей (ну что здесь забыл жених сестры, кроме любопытства и лицемерного желания угодить даме сердца?), которые мешали ему собраться с духом и перестать стучать пальцами по клавиатуре, стараясь спрятать предательски трясущиеся руки.

Вдруг Андрей вспомнил, что у него в заначке лежит немного коньяка с кофе, спрятался от всех в туалете и за пару минут тихонько прикончил всю фляжку. После этого спать расхотелось совершенно, а сердце забилося так быстро, что, казалось,

через несколько секунд остановится навсегда, отсчитав за это время все уготованные на будущее удары.

Наступило утро. Жена с тещей выпили на двоих почти весь пузырек корвалола, тесть захрапел в кресле на кухне, а сестра с женихом уехали, потрепав ребенка по плечу и уверив на прощание: «Все будет хорошо». Тот блеванул спросонья на ботинки жениха.

Андрей сидел перед окном в спальне и смотрел, как небо понемногу становится серым, слушал, как начинают петь птицы, одна, потом другая, а когда показалось, что их хор стал совершенно невыносимым, приехали мусорщики и начали с грохотом переворачивать свои баки. Комната все больше заполнялась светом. Он смотрел и думал, как бы было хорошо, если бы болезнь сына отступила и они стали проводить больше времени вместе. Сходили бы на футбол, наконец. Может, он, Андрей, сделает что-то такое, к чему не был готов раньше, изменится, например, — конкретные идеи пока не приходили ему в голову, он ощущал лишь сильное желание. Андрей взмолился: он понял, на что готов выменять здоровье сына.

Андрей просил Бога о сделке: он навсегда перестает орать матом на подчиненных, только бы ребенок выздоровел. Он готов, он созрел отказаться от этой приятной привычки и променять свое карательное утро на более продуктивное занятие вроде пробежки (около дома Алёны, например, — мелькнуло где-то в подсознании и погасло).

Он готов. Только бы, только бы сын выздоровел, ну же, Бог, как насчет этого? Небольшая слеза скатилась из уголка глаза — в таком он был отчаянии. Ты согласен, Боже? — хотел спросить он, но не знал, куда надо смотреть: на небо в окне, на потолок или на крестик у себя на шее. На всякий случай он достал крест из-под одежды и внимательно взгляделся в фигурку на нем. Посчитав, что этого достаточно, он спокойно уснул на час или даже на два, обняв сына, который совсем ослабел и почти не шевелился. А чтобы доказать свою решимость, Андрей перевел телефон в беззвучный режим.

Врачи приехали, как обещали. Осмотрев ребенка, сделали пару уколов, выставили счет, написали рекомендации. Оказалось, у сына что-то вирусное, достаточно выпить пару таблеток, и все пройдет. Их визит занял всего несколько минут.

Это поразило Андрея: он полагал, что расстояние между серой, как пергамент, кожей ребенка и здоровьем должно равняться бездне с реанимацией и капельницами, но нет, одно от другого отделял укол. Единственное вливание глюкозы. Невероятно.

Сын проспал всю ночь и почти весь следующий день. К вечеру пришел в себя, попросил любимого печенья и прочитал в кровати с Андреем книгу про собаку. Ребенок был все еще слаб, но кожа уже порозовела, исчезли тени под глазами и прекратились судороги, которые так пугали жену. Ее родители успокоились и уехали домой. Андрей облегченно вздохнул, достал из шкафа любимый ром и, не колеблясь, выпил его до доньшка.

Ночью снилось, как он бредет по пустыне и нигде, совершенно нигде, нет ни капли воды. Проснулся с сушняком, но голова не болела и на душе успокоилось.

На работе ничего не изменилось, и это сильно удивило Андрея — по его внутренним ощущениям прошло несколько лет. За это время он подзабыл, как общаться с подчиненными, — перенервничал. Очень болезненно отнесся к сводке происшествий: там фигурировали дети.

Дотянуть на одном месте до обеда оказалось тяжело, и Андрей под предлогом срочных дел сбежал в Детский мир. Бродил среди конструкторов, о которых в детстве не мог даже мечтать, каких-то невероятных самолетов, катеров с пультами управления и всевозможными «примочками». Вспомнил, как мальчишкой прыгал по гаражам,

собирал красивые, гладкие камни на стройке, лазил по деревьям, делал лук и стрелы из веток и был счастлив.

Современные магазины радовали и пугали, когда он представлял себя десятилетним у этих полок. Наверное, он бы сошел с ума. А его сыну все это было не нужно. Открыв закладки в телефоне, Андрей стал искать, что же тот просил купить ему на праздники в подарок.

У них с сыном вкусы не совпадали: сыну нравились устройства, которые начинались со слова «микро». Микроскопы, микросхемы и всевозможные гаджеты. Он не знал, как вести себя на улице и чем там заняться. Казалось, кинь кто-то в него мяч, и тот отскочит от ребенка, как от стенки. С другими детьми сын общался через мобильные приложения.

Смушаясь, Андрей подошел к продавцу и стал перечислять, наверняка путая и коверкая, названия игрушек. Слава богу, тот понимал, о чем идет речь, и принес несколько небольших коробочек, содержимое которых невозможно было определить, не заглянув внутрь. Когда Андрей узнал цену этих невзрачных вещей, то замолчал, обматерил себя беззвучно, но все купил — не позориться же перед продавцом.

Сын был счастлив. Сгрел подарки, отнес их в свою комнату, и весь оставшийся вечер до Андрея сквозь стену доносилось, как он советуется с другом по скайпу, собирая непонятные детали. Андрей понял, что в этом он не авторитет, вмешиваться не стоит, и позволил ребенку по-своему радоваться подаркам.

На следующее утро он был особенно весел: больше двух часов проговорил с другом, обсуждая знакомых, отборно материл подчиненных, сделал пару комплиментов сотрудницам из отдела рекламы.

Позвонила жена. Андрей взял трубку и выслушал все ее бесконечные упреки и стенания о том, какой он кретин, и даже вызвался купить хлеб после работы. Главное — она сказала с самого начала — что с сыном все в порядке. Это означало: сегодня он точно неуязвим, а что будет завтра — не так уж и важно.

Даниил Чкония

«Ды здрыстыт Стылин!»

Вот дал опрометчивое обещание написать о первом своем стихотворении, а потом пожалел: ничего интересного в сравнении со многими прочитанными историями! Но обещал же...

Первое стихотворение я написал семиклассником. Возможно, оно сыреет в подвале, в мешке, в который набил когда-то всякий неразобранный архив. А теперь и разбирать неохота — ясно же, что ничего толкового там не обнаружится. Ни строки из того стишка не помню. Помню только одно — стишок был короткий, обличающий «мировых империалистов», написанный на... украинском языке!

Почему — на украинском? Причины две. Среди прочих газет и журналов родители пару лет выписывали журнал «Крокодил», а потом, для разнообразия, выписали украинский «Перець». Мне он почему-то казался интересней и смешнее!

Тут я должен сделать некоторое отступление. На свет я появился в Порт-Артуре, как он тогда назывался, а с трехлетнего возраста жил в Мариуполе (люблю это красивое имя города, а советскую его кличку никогда не употреблял). Так вот, в детском саду готовили нас к очередному праздничному утреннику, и должен был я произносить такой стишок:

Я красноармеец молодой,
У меня есть шапка со звездой,
Новая винтовка на ремне,
Поскачу я ловко на коне!

После чего я должен был провозгласить: «Да здравствует Сталин!»

Друзьями моего деда, еще с довоенных лет, были братья Залкинды — Павел Юлианович и Яков Юлианович. Павел — известный в городе юрист, дядя Яша — знаменитый детский врач. Жили они в одном дворе. Так что, приходя с моими родителями в гости в один из их домов, видели мы их обоих с их женами. Оба они яростно ненавидели советскую власть, что понимать я стал только гораздо позже.

А почему я об этом вспоминаю? Дело в том, что всякий раз, когда мы у них гостили, братья просили меня исполнять что-либо из моего детсадовского репертуара — саркастически ухмыляясь: чем детям голову забивают!

В Мариуполе украинская речь звучала. Чаше это был суржик. Но мое ухо воспринимало тогда эту речь по-своему. Я почему-то решил, что украинский — тот же русский, только с частым гласным «Ы». И когда меня Залкинды в очередной раз попросили исполнить стишок, я заявил, что могу его продекламировать на украинском, и произнес с йотированием:

Йы крысныармыйыц мылыдый,
У мыни йысть шыпки сы звыздый,
Нывыя вынтывка на рымни,
Пыскачу я лывко на кыни!

Но главное последовало дальше: «Ды здрыстыт Стылин!»

Солідные дядьки катались по полу от хохота! А мой номер стал звездным — теперь меня просили исполнять его только на «украинском», что я делал с особым вдохновением, убежденный в своем знании языка. А дядьки наслаждались моими вызываниями «Ды здрыстыт Стылин!» Эх, я-то был в детсадовском возрасте! А теперь, похоже, немало людей, уже впадающих в этот же возраст, которым Сталин все еще «здрыстыт»!

Но вернусь к теме. Украинский язык преподавал нам замечательный Григорий Прокопович, предмет свой любивший и умевший нас заинтересовать. Литературный кружок организовал, театральный — все на «мове». Так что язык этот воспринимался в живом общении.

Антиимпериалистический мой стишок мне понравился. Удивил меня и сам факт, что я худо-бедно зарифмовал строчки сходу — без раздумий. Размер выдержал — это я слышал. И на следующий день продолжил это занятие, только уже почему-то на русском языке. Опять досталось от меня империалистам. Врезал им тремя строфами в лесенку — от этого сочинения так и несло интонациями и ритмами Маяковского! Кажется, мы тогда проходили «Стихи о советском паспорте». Но и тут я не утомился — пафос меня не оставил: выдал еще четыре строфы — на этот раз с рефреном в каждой четвертой строке: «Мы — комсомолия!»

Со всей этой хренотенью, которую при публичном прочтении на перемене одобрили некоторые мои одноклассники, я и поперся в городскую библиотеку, где тогда заседало местное ЛИТО. Не могу вспомнить, кто меня надоумил это сделать.

В ЛИТО меня встретили вполне приветливо и даже весело. Похвалили за комсомольский азарт, хотя я еще членом ВЛКСМ не был. Объявили, что я — самый молодой участник ЛИТО, а посему в ближайшую субботу буду своим чтением открывать большой литературный городской вечер. Полный азартного огня, я к субботе сочинил стишок о природе. Мне было велено читать его вслед за моей «комсомолией». Прочитал. Получил свою толику аплодисментов. Думаю, народ был вежливый — не стали обижать юного придурка. Как и мои одноклассники, растерянно иногда называвшие меня поэтом. На их лицах при этом отражалось недоумение: вроде бы нормальный парень, сразу в нескольких видах спорта себя пробующий, а дурью мается.

ЛИТО тем временем закрылось на летние каникулы. И я вдруг за летними пляжами и очередной поездкой к бабушке в Грузию позабыл свои занятия стихоплетеньем, так что осенью на собрания в ЛИТО уже не заглядывал. Иногда пописывал стишки про зимние «деревья в холодном дыму», про то, что мне их жаль, «не знаю — почему». Или стишки в классную стенгазету, в номер, посвященный нашим спортсменам, а класс был очень спортивный!

И потом припелся — уже в восемнадцатилетнем возрасте — с другими стишками, где, помнится, рифмовал Канта с «музыкантом», не умея объяснить, к чему припел философ в свое стихотворение. За что был круто раскритикован. Правда, был позже снисходительно привлечен за лирическое произведение, завершавшееся грустными строчками:

Мелкие дождинки
На лицо садятся...
Видно, мне от Нинки
Писем не дожидаться.

Спасибо этой самой Нинке — меня признали в ЛИТО автором нескольких лирических стихотворений!

Но замечу, что к тому времени «крокодилы» и «перцы» уже давно выписывать перестали, а вот журнал «Литературная Грузия» мама мне, еще мариупольскому школьнику, выписывала, и что-то похожее на вразумительные стихи из будущего моего цикла о художнике Пиросмани на свет появлялось. Пожалуй, это и были мои первые стихи, которые я мог бы назвать стихами, а мои «антиимпериалистические» сочинения семиклассника я не помню и сожалений по этому поводу не испытываю.

Ирина Базалеева

Дачные люди

Распространена легенда, что ежам полезно молоко. Поэтому, когда их видят на дачных участках, то обязательно выносят блюдечки с молоком. Выглядит это обычно так.

Субботним вечером, когда совсем стемнеет и все соберутся в доме, хозяйка — «всехняя» мама и бабушка (всю жизнь при должностях, дом — полная чаша) поднимается по ступеням крыльца — кто-то же должен запереть баню и убрать грабли в сарай. И вдруг, подобрав полы халата, подпрыгивает с полупридушенным воплем:

— Дети, там ежик! Ежик! Дети, за мной!

И дети, нехотя отрываясь от планшетов или, напротив, только и ожидая приключений, — а где, как не на даче, ждать настоящих приключений — в темноте:

— Тихо, не включайте! — в разномастной обуви, гуськом, держась за одежду впереди идущих и спотыкаясь (а как разобраться в темноте прихожей, тем более что твои кроксы на младшем брате, а резиновые сапоги на ходу натягивает соседская подружка двоюродной сестры, та еще тараторка, но с золотыми волосами), тянутся по отмостке за дом:

— Он туда, туда побежал! За ним!

И еще раз за угол, а потом, валясь в неприкосновенные пионы или флоксы, хихикая, прижимаются к земле и вопят, машут в разные стороны на шуршащие в ночи тени. Тут мышонок заблудился, а здесь сверчки верещат. Чуть дальше тихо, но там же светляки! Со светляками можно запросто забыть и о еже.

Но отменит ли еж свой выход, когда хозяйка аккуратно ставит сколотое — плохая примета, но от подаренного сервиза, выкидывать жалко — блюдце с молоком впритык к крупному камню и, вызывая обмирающий смех детворы, громко шепчет:

— Кис-кис-кис...

Или:

— Цып-цып-цып... — кто во что горазд, ну как тут не лопнуть от смеха.

И старшие дети вначале бубнили, мол, ежей, что ль, не видели, и лучше б в майнкрафт доиграли. А теперь не жалеют, что поддались призыву бабушки, вспомнив, как еще три года назад сами светляков меняли на наклейки, а шорох в кустах казался спрятавшимся волком или вампиром: «Пятно крови у колодца!» Вдруг вампиры и вправду существуют, и именно в Ивантеевке или Сосновке? Ведь где-то же они должны быть!

Базалеева Ирина Александровна родилась в Саратове в 1975 году. Окончила Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского. Программист. Живет в Москве. В «ДН» ее первая публикация.

И тогда, дождавшись, когда вереница любопытных отсмеется, потопчется по всем пионам или флоксам:

— Валерочка, осторожнее под ноги, это же — Глория, наша красавица.

— Гы, Глория, — взрыв запретного ржача. — Этот засушенный цветочек — Глория?

— Вау, старушка Глория?

— Старушенция Глория? — и понесся галдеж.

Когда бабушка, улыбаясь теплomu внутри себя, уходит к крыльцу — обязательное «Не простудитесь» и «Вероничка, кофточку!», — тогда, вот только тогда еж осторожно подойдет к блюдцу и попробует молоко. Деревенское или из пакета налили? Правда, один черт — выпьет всякое. И кто-то, обычно самый маленький, внимательный и не успевающий за шутками старших, вдруг застынет и прошепчет:

— Ежик! Йо-ожик пришел!

Головы одна над другой просовываются — Горыныч из пионового куста. И время останавливается: ежик пришел.

Наутро блюдо вылизано, но только ли ежом? Мышки, кошки, сони, лисички-корсаки, — мало ли кто опустошит блюдо. Но не переубедить дачников:

— Ежику понравилось наше молоко!

И целый день:

— Баба, не забудь нашему ежику молока оставить!

— Баба, а как ты думаешь, ежик не голодный?

И каждый тащит неспелые яблоки и груши — а спелых пока нет, ведь июль, и паданцы абрикосов и вишен:

— Ежик на колючках их к себе унесет, — и до кучи — солнышки ноготков, колесики космей и душистый чубушник: — Ежик тоже любит, когда красиво!

А к вечеру здесь же подсыхают и кружочек колбасы, и надкушенная карамелька, и широкий лист лопуха накрыл два кирпича и вянет, провисая на жаре. Но:

— Как же наш ежик без домика? Вдруг дождь?

И вот уже кто-то за сараями нашел рассохшуюся сыроежку и ее тоже в рядок:

— Ежик сам выберет, что ему понравится!

Еж спит под домом и, проснувшись и выбравшись к вечеру, с ужасом обойдет краем эти детские приготовления с невыносимым амбре. А следующий бабушкин поход за дом будет иного настроения. И чьи-то слезы:

— Мы не ломали флоксы!

— Это Катька космеи рвала!

— А ты колбасу выбрасывала за дом.

— Да, мама, мы мыли. Мыли руки после грибов!

И обычное воскресное:

— Это последний раз, когда ты едешь на дачу.

И:

— С вами только позориться. Иди извинись перед бабушкой!

Однако завтра их не будет, и пять дней бабушка в одиночестве будет подвязывать пионы и флоксы и глядеть, вспоминая улыбку Катюши и смех Валерочки. Глядеть прямо в глаза ежику в траве, совсем не замечая его:

— Да что ж я раскричалась, жалко мне для них, что ли? Подумаешь, космеи оборвали, больше не буду ругать. Вот только Глорию, мою красавицу, подопру палочкой и побрызгаю от тли.

Сергей Мухин

Глупый медведь

Медведь

— Папа! — услышал я крик своей младшенькой и моментально проснулся, соображая, что могло случиться. В комнате никого не было, все уже встали. — Ну иди же сюда, быстрее! — вновь услышал я, вскочил и, на ходу натягивая штаны, бросился на улицу.

Когда я выбежал на крыльцо и огляделся, шурясь от яркого солнца, увидел дочку, стоящую рядом, на углу дома. Она глядела куда-то за него.

— И зачем ты меня подняла? — недовольно спросил я, видя, что с ней все в порядке.

— Представляешь, медведь пришел!

— Какой медведь? — я оторопел и, осторожно ступая, приблизился к ней.

— Вчерашний. Помнишь, тот, которого мы встретили.

Я заглянул за угол, и точно, за домом неподвижно стоял вчерашний глупый медведь, делая вид, что его там нет. Я успокоился.

— Ну и что ты здесь делаешь? — медведь ничего не ответил. Я обратился к дочке: — Видишь, какой, в прятки затеял с нами играть.

— Папа тебя спрашивает. Почему ты не отвечаешь?

— Ничего не делаю, просто стою, — надув губы, обиженно ответил медведь. — Уж и постоять нельзя.

— Да стой, пожалуйста, — милостиво разрешил я. Действительно, пусть стоит, нам он не мешает. И повернулся, чтобы уйти.

— Пап, подожди, — дочка умоляюще посмотрела на меня и попросила. — Давай с ним поговорим.

— Давай сначала позавтракаем.

— А зачем? — подал голос медведь.

«Ну началось», — с сожалением подумал я. Еще вчера после его первых вопросов я понял, что не стоит с ним связываться, и безболезненно сумел от него отделаться. Однако сегодня, видимо, так не получится: он нашел наш дом, и прогнать его будет непросто.

— Для того, чтобы были силы на день.

— Да, — подтвердила дочь.

— А зачем? — не унимался медведь.

Мухин Сергей Владимирович родился в 1971 году в Московской области. Закончил МТУСИ. Автор книги «Секретный архив Шерлока Холмса» (2014). Живет в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

Дочь посмотрела на меня, прося помощи. Я вздохнул и, как совсем маленькому, начал объяснять.

— Если не будешь есть, то не сможешь ходить.

— Да, — вновь подтвердила дочь и от себя добавила. — Не сможешь бегать, лазить нигде. Будешь лежать, а потом умрешь.

— Почему? — вновь удивился медведь.

— Потому что потому, все кончается на «У», — не выдержала дочь. Отвернувшись от медведя, она взяла меня за руку и повела в дом. — Пойдем завтракать. Что с ним говорить, он еще маленький.

Позади раздалось громкое всхлипывание. Мы с дочкой повернулись назад и застыли в изумлении — медведь стоял и ревел, утирая лапой морду. Крупные слезы падали и вдребезги разбивались об утрамбованную, как камень, почву. Мы молча ждали, чем все это закончится, а медведь все не унимался, жалостливо из-под лапы посматривая на нас. Я уже хотел сказать ему что-то ободряющее и принести что-нибудь сладкое, но дочь нашлась первая:

— «Отчего ты плачешь,

Глупый ты Медведь?» — с сочувствием прочла она.

— «Как же мне, Медведю,

Не плакать, не реветь?

Бедный я, несчастный

Сирота,

Я на свет родился

Без хвоста»¹, — в ответ проревел медведь.

— А при чем здесь хвост? — оторопело спросила дочка.

— Не знаю, — все еще всхлипывая, протянул глупый медведь.

— А откуда ты знаешь эти стихи? — строго спросила дочь.

— Слышал.

— Где?

— Говорят, — уклонялся он от ответа.

— Кто? — не унималась дочь.

— Все, — так же неопределенно промямлил медведь.

Поняв, что разговаривать с ним бесполезно, мы повернулись и вошли в дом. Дочь села за стол, взялась за ложку, но тут же подняла на меня печальные глаза:

— Пап, а медведь-то голодный. Что делать?

Я пожал плечами и хотел уже предложить дать ему кашу, но потом вспомнил:

— Покажи ему нашу малину.

Дочь довольная убежала, и я услышал ее голосок, объясняющий, как выглядит малина и каких цветов бывает. Вскоре она, счастливая, вернулась и принялась за еду, а закончив, бросилась вон из дома.

— Папа! — почти сразу услышал я ее крик и выскочил на крыльцо.

Рядом с крыльцом стоял медведь и умоляюще смотрел на дочь.

— Папа, он еще хочет есть.

— Ему что, ягод мало, — начал я, обводя рукой наши кусты с малиной, но остановился: ягод у нас больше не было. Медведь все подъял, даже те, что еще не дозрели, видимо, решив, что это желтая малина. От нее тоже ничего не осталось. — Да, — только и смог вымолвить я. А потом продолжил: — Значит, пора ему отправляться за лесной малиной.

— А что, в лесу тоже малина есть? — удивленно спросил медведь.

— Конечно, есть, — ответила вместо меня дочка. — Сколько хочешь.

— Ну тогда я пошел.

¹ Корней Чуковский. «Топтыгин и Лиса».

Медведь на рыбалке

— Рыбы хочешь? — услышали мы неожиданный вопрос, донесшийся откуда-то снизу и, опустив глаза, увидели стоящего рядом с нами рыжего полосатого красавца.

Глядя на Полосатого, я невольно заулыбался — как он хорош — и посмотрел на дочь. Она также умиленно смотрела на него, а потом наклонилась и погладила кота по голове. Тот издал характерное: «Ур-р-рв-р-р-рв-р-р-р-р-р-р-р-р-р!»

— А что такое рыба? — сразу заинтересовался медведь, глядя то на кота, то на дочь, видимо, желая такой же ласки.

— Эх, это такая вкуснятина, — мечтательно произнес кот, внезапно очнувшийся от прикосновения руки дочери, и вновь закрыл глаза, вероятно, представляя себе рыбу в качестве еды.

— Рыба плавает в воде, — добавила дочь, отрываясь от уже наглаженного кота. А тот находился в таком состоянии, что просто не мог произнести ни звука, кроме «Ур-р-рв-р-р-рв-р-р-р-рв-р-р-р-р!».

Медведь бросился к бочке, стоящей под водостоком, и стал внимательно всматриваться в нее. Потом обернулся к нам и обиженно произнес:

— Ее там нет.

— Конечно, нет, — вернулся к разговору пришедший в себя после ласки кот. — Кто же ее туда посадит? — усмехнулся он и милостиво добавил, увидев еще более обиженное выражение глаз медведя. — Рыба водится в реке, в озере или в пруду.

— Тогда пойдем туда быстрее, — заторопил медведь.

— Конечно, пойдем, но сперва помоги червей накопать, — попросил кот и пояснил: — У тебя когти крупные.

— А что такое черви? А как они выглядят? А где они? А их можно есть? — сразу начал расспрашивать медведь.

— Сейчас увидишь, — отрезал кот и, посмотрев на меня, спросил: — Где можно покопаться?

Я махнул рукой, показывая на место, где у меня гнил всякий деревянный хлам. Кот довольный пошел в указанном направлении, а медведь понуро поплелся за ним, что-то бурча себе под нос. Кот знал дело и, нередко бывая ленив сам, не любил лентяев, тем более когда это касалось его интересов. Так что, придя на нужное место, он быстро указал медведю на землю и приказал копать. Тот нехотя приступил и срыл, как его и просили, верхний слой, а вскоре испуганно отскочил, после того, как кот, принявшись выуживать червей, показал ему первого. Не прошло и пяти минут, как они возвратились.

— Ну что ж, — подытожил кот, — потрудились ты на славу, так что первая рыба твоя.

— Мало, — твердо ответил медведь

— Хорошо, и вторая.

— Еще-о-о-о, — протянул медведь.

— Уговорил, три первые рыбы тебе, — и добавил, упредив очередное несогласие медведя. — Больше не проси.

Медведь согласно кивнул.

— А чем ты ловить будешь? — спросил я, не обнаружив и намека на удочку.

— Удочкой, не когтями же, — ответил кот.

— И где она? — продолжал я расспрос.

— Я ее у реки оставил. С утра на белый хлеб ловил, но что-то не особо идет, вот и вернулся за червями.

Я понимающе кивнул, а рыбаки отправились к ближайшей реке. Впереди важно

шествовал кот с консервной банкой, полной червей, а за ним маршировал медведь. Внезапно он пискляво запел:

Первая рыбка моя, первая рыбка моя¹.
И вторая моя, и вторая моя, —

пропел он грубее.

Ну и третья, вот такая, —
он развел в стороны лапы, показывая ее размер, и, щелкнув зубами, закончил, —
моя.

Звук его голоса начал удаляться и вскоре затих. Дочь посмотрела на меня и покачала головой:

— Интересно, откуда он это все знает?

— «Говорят», — передразнил я медведя. — Вот увидишь, вернется несолоно хлебавши.

— Смотри, не спеши, а то рыбу упустишь! — крикнула дочь медведю вдогонку, но тот даже не оглянулся. Он был уже далеко.

Через час мокрый и грязный медведь вернулся назад без кота. Его вид красноречиво подтверждал верность моих слов. Он подошел к нам и встал рядом, сопя, видимо, ожидая, что его пожалеют, но мы просто смотрели на него и улыбались.

— Что смеетесь? — недовольно буркнул медведь.

— А что еще делать? Ведь дочка тебя предупреждала. Поймал рыбу? — медведь не отвечал. — Что с первой произошло?

— Слишком маленькая была, сквозь когти проскочила.

— А вторая?

— Слишком скользкая.

— Ну а третья? — медведь молчал.

— Поторопился? — предположил я.

Медведь согласно кивнул и обиженно добавил:

— Кот тоже посмеялся надо мной.

Медведь и мед

Медведь продолжал стоять и понуро смотреть в землю. Он ворошил ее лапой, как будто пытался что-то найти. Через некоторое время медведь всхлипнул и произнес, не глядя на нас:

— Я есть хочу.

— Так сходи меда найди, — не выдержала дочь.

— А что такое мед?

— Мед — это такой продукт, — стала разъяснять дочь. — Его делают пчелы.

— А кто такие пчелы? — не унимался медведь.

— Это такие насекомые с желтыми и черными полосками.

— Это они? — спросил медведь, указывая на шмеля.

— Нет, что ты. Это шмель мохнатый. Пчелы меньше.

И тут прямо на нос медведю села оса. Тот замахал лапами, отпугивая ее, но оса не унималась и продолжала кружить, пытаясь усесться обратно. Медведь совсем обезумел и бросился бежать. Оса улетела за ним. Через десять минут он вновь вернулся, весь мокрый, боязливо оглядываясь по сторонам:

¹ Владимир Сутеев. Из мультфильма «Кот-рыболов», 1964.

— Что это было?

— Оса, — ответила дочь, потом резко добавила: — Хвать тебя за волоса! — и схватила медведя за ухо. Тот со страхом отпрыгнул и огляделся.

— Где оса?

— Нет ее. Я пошутила.

Медведь ошалело смотрел на нас, а потом спросил:

— А как выглядит пчела?

— Она похожа на осу, только маленькая. А вот, смотри.

Медведь боязливо уставился на пчелу, а насмотревшись, спросил:

— А как она делает мед?

— Из пыльцы.

— А что такое пыльца?

Вместо ответа дочь нагнулась, сорвала одуванчик и, ткнув в него пальцем, показала медведю:

— Видишь, вот она, желтая.

Медведь тоже сорвал, но сразу целый букет одуванчиков и, сунув в него свой нос, сильно вздохнул, после чего закашлялся и облизал его. Морда его сразу искажилась. Медведь отбросил цветы и обеими лапами стал оттирать свой нос. Потом вновь посмотрел на меня и затянул:

— Я есть хочу.

— Папа, — обратилась ко мне дочь, — можно ему меда дать?

Я кивнул, и дочь побежала в дом. Медведь проводил ее взглядом, а потом, посмотрев на меня, вновь принялся ворошить лапой землю. Вскоре дочь прибежала, неся в руке столовую ложку с медом. Медведь с сомнением посмотрел на принесенное.

— Не бойся, — дочь протянула ложку. — Это очень вкусно. Тебе понравится.

Медведь боязливо понюхал мед, а потом лизнул. Глаза его в тот же миг сверкнули, и он, выхватив ложку из рук дочери, принялся вылизывать мед. Когда ложка стала выглядеть так, будто ее только что купили, медведь произнес:

— Еще-о-о.

— Иди и найди сам, — строго произнесла дочь.

— Я не умею, — начал хныкать медведь.

— Все ты умеешь. Ты же медведь, что значит, мед ведаешь, то есть знаешь, где находится мед. Правильно? — она посмотрела на меня. Я кивнул. — Так иди и ищи в лесу. Вкус ты его знаешь, запах тоже. А значит, найдешь.

— Я Медведь или Мёдведь?

— Конечно, Медведь.

— А при чем здесь мед?

Дочка замялась, не зная, как ответить, и вопрошающе взглянула на меня. Я молчал. Тут она хитро улыбнулась:

— Все так говорят.

Медведь без вопросов принял такой ответ и вежливо попросил:

— А можно мне еще чуть-чуть?

Дочь колебалась, но потом все же взяла у медведя ложку и принесла еще меда. Тот было заикнулся об «Еще-о-о», но дочь посмотрела на него таким взглядом, что медведь вернул ложку и понуро поплелся в сторону леса.

Не прошло и двух часов, как медведь вновь прибежал к нам. На него страшно было смотреть. Он весь вымок, кроме того, его шерсть не лоснилась, как раньше, а была слипшейся и грязной. Длинный нос распух настолько, что выглядел как у клоуна в цирке. Было смешно и жалко его одновременно. Медведь прибежал и сразу забился в кусты малины. Мы пошли узнать, что произошло, хотя определенные мысли уже появились — его явно покусали пчелы. Но оказалось, это еще не все.

Только мы подошли и открыли рот, чтобы расспросить медведя, как с улицы

послышались крики. У меня появилось подозрение, которое скоро подтвердилось — наш медведь залез на пасеку, находящуюся неподалеку, и поломал несколько ульев. Пчелам это не понравилось, и они как следует отомстили своему обидчику. А теперь и пасечники хотели возместить ущерб, нанесенный медведем. Настроены они были решительно, но нам удалось их успокоить, пообещав, что виновник будет в полном их распоряжении, как только придет в себя. Он сделает для них все, что в его силах, поможет перенести стройматериалы и ульи. Пасечники ушли, обиженно ворча, а мы отправились к медведю, который все так же прятался в кустах.

— Давай вылезай, — сказал я ему.

— Не вылезу.

— Вылезай, — настаивал я.

— Не вылезу, — упирался медведь.

— Мы не будем тебя ругать, — вмешалась дочь.

Это подействовало, и медведь поднял голову:

— Правда?

— Да.

— А меда дадите?

Мы переглянулись.

— Неси всю банку, — махнул я рукой. — Что с него взять?

Дочь сходила и принесла пластмассовое ведро, ложку и протянула их медведю. Тот посмотрел и, отказавшись от ложки, с удовольствием приступил к кушанью, ловко орудуя лапой. Мы стояли и улыбались, глядя, как он ест.

— Надо было в лесу искать заброшенное дупло диких пчел. В нем и брать мед. На всякий случай предупреждаю, прежде необходимо ударить по дереву лапой, чтобы выгнать пчел. Да, и прикрывай лапой нос в следующий раз. А вот разорять пасеку нехорошо.

— Глупый, глупый ты медведь, — сказала дочь и ласково похлопала его по плечу.

Медведь играет

Как-то после завтрака дочка с медведем решили поиграть в мяч. Я надул им недавно купленный синий шар и бросил на траву. «На нем, — как говорил продавец, — можно сидеть, не боясь, что он лопнет». Они радостно бросились к шару. Однако медведь успел раньше. И шар, с таким трудом надутый мной, оглушительно лопнул в тот же миг, как медведь к нему прикоснулся. Дочка остановилась, а медведь от неожиданности рухнул на землю мордой вниз и закрыл голову лапами. Потом он опасливо поднялся и со страхом спросил:

— Что это было?

— Это был мой новый шар, — печально ответила дочь и подняла резиновые лохмотья — все, что осталось от него.

Я смотрел на дочь и понимал, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать. Мне не хотелось покупать этот шар, но она упростила, и тут такое случилось...

— А как? — не унимался медведь.

— Вот так, — решил вмешаться я. — Когти не надо было распускать.

— Когти? — удивился медведь. — Какие?

— А что у тебя на лапах? — зло спросила дочь.

Медведь посмотрел на свои лапы. Он поворачивал их, разжимая и вновь сжимая когти, а потом уставился на нас.

— Я нечаянно, — мы продолжали молчать. — А есть еще мяч?

Да, конечно, у нас был еще мяч, и не один. Я вошел в дом, вынес футбольный и бросил его дочке. Та поймала мяч и сказала, обращаясь к медведю:

— Смотри, как надо.

Дочка стала легонько пинать мяч ногой. Медведь долго смотрел на это, а потом затараторил:

— И я. И мне.

Дочь пнула мяч в его сторону, а медведь, дождавшись, когда мяч подкатится, размахнулся и с силой ударил по нему. Раздался очередной взрыв, и до дочки долетел лишь ошметок от мяча. Медведь вновь упал на землю, а дочь уже не смогла сдержаться. Слезы потекли из ее глаз, и она, повернувшись, отправилась в дальний конец участка. Медведь через некоторое время поднялся, опасливо взглянул на остатки мяча и пошел за дочкой.

Вскоре, успокоившись, дочка принялась ходить по участку. Медведь неотступно следовал за ней, что-то бормоча. Я сидел на ступеньках крыльца и краем глаза наблюдал за этим. В какой-то момент дочь резко остановилась, что-то сказала медведю и быстро пошла в мою сторону, а тот, немного выждав, поплелся за ней.

— Папа, — начала дочь резко, — когда мы наконец пойдем в парк?

А ведь действительно, я ей обещал, что по приезду на дачу мы в первые же дни сходим в парк. Однако потом появился медведь, и о парке как-то сразу забыли. Но раз дочка вспомнила, то не стоит делать вид, что моего обещания не было. Я не спеша оглядел участок. Дочь молча ждала, но по лицу было видно, что ей не терпится услышать мой ответ. Текущие дела могли и подождать, а других причин для отказа не было. Кроме того, нам всем стоило прогуляться, так что я улыбнулся:

— Да хоть сейчас.

— Ура! — радостно закричала дочь.

И тут позади нее раздался жуткий рев. Это был медведь. Он закрыл лапами морду и ревел во всю глотку. Слезы струями текли сквозь его когти. Мы молча стояли и смотрели на все это безобразие, ожидая, когда иссякнет водяной поток. И дождались. Минуты через две внезапно наступила тишина, и медведь, отняв от морды лапы, жалобно посмотрел на нас:

— А я?

— Что ты? — спросила дочь.

— Я тоже хочу в парк, — смелее попросил медведь.

— Ты там все поломаешь, — жестко ответила дочь.

— Ну пожалуйста, пожалуйста, — начал упрашивать медведь. — Я не буду, не буду.

Мне было жаль их обоих, но я знал, что дочурка у меня хорошая девочка и не будет долго дуться. Так и случилось. Она посмотрела на медведя пытливым строгим взглядом. Тот опустил голову, не выдержав его.

— Если пообещаешь слушаться, то мы возьмем тебя, — даже слишком серьезно произнесла она.

— Да, да, да, да, — согласно закивал медведь.

— Папа, что мне надеть? — от недавнего ее расстроенного вида не осталось и следа.

Когда мы привели себя в порядок и, заперев дом, отправились в ближайший город, я сразу предупредил:

— Только не ныть. Медведя в автобус никто не пустит. Поэтому мы идем пешком.

Возражений не поступило, и наша компания смело отправилась в путь. Он пролегал то по лесу, то по лугу, то по полю. Несколько раз мы пересекли реки, ручейки. Медведь, как собачка, время от времени отбегал от нас, а когда возвращался, довольно улыбаясь, сообщал, что нашел и что съел. Пока его не было, я помогал дочке искать вдоль пути нашего следования ягоды земляники или малины, и потому она в ответ сообщала, что тоже не осталась с пустым ртом. «А мне?» — сразу обиженно восклицал медведь.

Наконец мы добрались до городского парка, — и понеслось. Дочка с медведем пробовали все подряд: сахарную вату, леденцы, пирожные, мороженое. Катались на каруселях, качелях, на машинках, правда, на батуте прыгала лишь одна дочь — я боялся, как бы медведь вновь не пустил свои когти в ход. День прошел очень весело. Мы все были довольны и засобирались домой. Тут взгляд медведя упал на воздушные шары с гелием. Они были привязаны к баллону с газом, которым их надували.

— А можно мне шарик? — попросил он.

— И мне? — поддержала его дочка.

— А почему нет? — ответил я. — Выбирайте.

— Мне красный! — закричала дочка.

— А мне синий, — твердо попросил медведь.

Я купил шарики и только успел их отдать, как в тот же миг медведь внезапно быстро взвился в голубое вечернее небо. Мы с дочкой замерли, разинув рты, запрокинув головы, а он махал нам свободной лапой и улыбался.

— Пока-а-а! — раздался его убывающий вдали голос.

Мы долго еще стояли и молча глядели в небо, где уже не было видно не только удаляющейся фигуры медведя, но даже точки от него. Я взглянул на дочь: второй раз за сегодняшний день у нее по щекам текли слезы.

Медведя не было почти неделю. И вот он появился важный-преважный. Вид у него был сытый-пресытый. Шерсть лоснилась, живот округлился, улыбка растягивала рот, глаза счастливо сверкали.

— Я нашел заброшенное дупло диких пчел! — слышали мы его крик еще издали, а подойдя ближе, он еще раз прокричал, оглушив нас: — Я нашел заброшенное дупло диких пчел! Мед такой вкусный!

— Ты почему улетел? — строго спросила дочка, не разделяя его радости.

— «Я ничего не знаю, я никуда не летаю»¹.

— Врешь ты все, — зло проговорила дочка. — Все ты знаешь, а теперь еще и летаешь.

— Так говорят, — начал оправдываться медведь.

— Так почему ты улетел? — не унималась дочь и добавила уже более мягко. — Мы очень волновались.

— Все так делают.

— Кто все?

— Винни-Пух, Олимпийский мишка, — начал перечислять он. — В общем, все.

Наступила тишина. Казалось, даже птицы вокруг перестали петь, а ветер прекратил шелестеть листьями, и в этой тишине послышался тихий голос медведя:

— Мне очень хотелось полетать.

Медведь навсегда

Наутро, после завтрака выйдя из дома, я чуть не наступил на марширующих по лужайке человечков; дочь, сидящая на ступеньках крыльца, вовремя крикнула, и мне пришлось внимательно смотреть под ноги, пока шел к скамейке. Вскоре ко мне присоединилась и дочь. Она была довольна и прямо светилась.

— Они готовятся к параду по случаю приезда к нам.

— А коты как? — спросил я.

— Ворчат. Но нескольким из них обещали экскурсию на дирижабле, и потому они спорят, кто туда пойдет.

¹ Фраза лже-профессора Верховцева из мультфильма «Тайна третьей планеты», 1981.

- Какой дирижабль? — удивился я.
- Обычный. На нем человечки прилетели.
- И где он?

Дочь не глядя указала пальцем наверх. Я поднял голову и обомлел: прямо над нами висел, сверкая на солнце, серебристый дирижабль. Тут позади послышался какой-то шум. Мы с дочкой обернулись. Это явился медведь. Он переминался с лапы на лапу, в ужасе глядя на снующих по земле человечков, их машины, котов.

- Кто это? — спросил он, указывая на человечков.
- Человечки, — ответила дочь.
- А что они делают?
- Готовятся к параду.
- К параду? А что такое парад? А можно и мне?
- Нет, ты передавишь всех.
- А что мне делать? — захныкал медведь. — Мне скучно-о-о, — заныл он.
- Найди медведицу.
- И где я ее найду?
- В лесу.

Медведь ничего более не спросил, а повернулся и понуро поплелся в сторону леса. Было горько смотреть на это зрелище. Я обернулся к дочке:

- Зачем ты так с ним?
- А что он как маленький? Почему не может найти себе занятие?
- А сама? Давно ли выросла?

Дочь не ответила, а отойдя от меня, принялась отдавать приказы человечкам.

Медведя не было неделю. Когда он внезапно вернулся, на него страшно было смотреть, до того отошал.

- Можно я у вас останусь?
- А как же медведица? Ты нашел ее? — не отвечая, спросил я.
- Да, но с ней скучно, — нехотя пояснил медведь.
- Почему?

Медведь помедлил, а потом, видимо решившись, объяснил:

- Она все еду просит. С ней поговорить не о чем. Я устал.
- А сам как себя ведешь? — усмехнулся я.

Медведь молча смотрел в землю, ковыряя ее лапой. Ясно, что ответа от него не дождешься.

- Где медведица?
- Да вон, у калитки стоит, — медведь махнул лапой.

И точно, возле калитки смущенно топталась медведица. Я помотал головой от негодования:

- Гостью на улице оставил! Скажи ей, пусть идет сюда.

Медведь повернулся и так громко рыкнул, что всякое движение на поляне вмиг прекратилось. Все наши обитатели застыли в ожидании продолжения. Медведица смутилась, но все же медленно двинулась в нашу сторону, аккуратно обходя котов, человечков и их технику.

Пока она шла, я посмотрел на дочку. За время отсутствия медведя мы успели соскучиться по нему, и дочка очень сожалела, что отправила его в лес.

- Ну, что скажешь? — спросил я, улыбаясь.

— Пусть остаются, — радостно произнесла дочка. Потом серьезно добавила, обращаясь к медведю, видимо, считая, что медведице об этом напоминать не надо. — Только веди себя хорошо, не обижай никого и под ноги смотри.

Медведь радостно закивал:

- Конечно, конечно, — а потом, осмелев, попросил: — А можно нам меду?

Мы с дочкой посмотрели друг на друга, и она радостно побежала за двумя ведерками этого желанного для медведя и его подруги кушанья.

Алексей Малащенко

О вреде традиции и пользе привычки

С чего начинаются традиции и ценности? С того же, с чего начинается наша жизнь, — с привычки.

Привычки определяются физиологией, семьей, климатом, пространством — большим или малым, условиями жизни, этнической принадлежностью, домом, улицей, страной, обществом, государством. Вера в Бога тоже привычка. Бог ведет себя как человек, и у Него тоже есть привычки.

Прийти на выборы и проголосовать за «Единую Россию» или в носу поковырять — все едино. Не нравится сравнение — заменим на «зубы почистить». Впрочем, чистка зубов — осмысленная гигиена. Физиологические привычки оправданны и нужны. Они идут от естества, от стремления к чистоте — как у кошек и собак. Политические привычки — благоприобретенные. Например, опускание в урну бюллетеня — навязанный, кое-где бессмысленный и унылый ритуал.

Точная этимология русского слова «привычка», как говорится в интернете, неизвестна. Как всякий поработавший в Академии наук, я отношусь к интернету снисходительно, но насчет привычки он прав. Перелистав несколько филологических публикаций, легко убедиться, что в русском языке со словом «привычка» дело обстоит действительно непонятно. Приставка «при» означает приближение к «образу жизни» (*vita*), что звучит не слишком убедительно, но все-таки понятно. То есть если мы привыкаем, то приближаемся к определенному образу жизни, создаем его. Еще привычка трактуется как бессознательное действие.

Она и навык, необходимый для проживания, выживания в быту, в обществе, в политике. Еще привычка — это подражание. «Подражание, — писал Аристотель, — присуще людям с детства, и они тем отличаются от прочих животных <...> продукты подражания всем доставляют удовольствие»¹. Депутаты в Думе привыкли, обрели навык приспособления и прекрасно *выживают*, заодно подражая тем, от кого зависят. Наша народная пословица твердит: «повторенье — мать ученья». Но ведь повторение, когда оно гипертрофируется, становится долдонством.

Привычка — обидное слово. Особенно для русского человека, которого веками приучали к послушанию царю, вождю, какими бы те ни были. Привычка требует покорности. Привычка к царю, а не сам царь властвует над нами. Отсюда — привычка к свободе «кухонного» самовыражения, которая при Сталине была опасной. Когда привычка к царю, к тоталитарности, стала рассыпаться, мы чуть было не привыкли к демократии, в частности голосовать по собственному желанию и разумению.

Малащенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих специалистов по проблемам ислама.

¹ Аристотель. Поэтика. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1967. С. 48.

У нас нет привычки к праву, к правовому государству. Потому что в России у человека не было прав или они носили формальный характер. Нет у нашего человека привычки быть гражданином. Зато есть обращение «гражданин начальник», которое отрезает человека от общества, унижает его. Гражданин по определению не может быть начальником. Или может, но только в тюрьме. «Aux armes, citoyens!» (к оружию, граждане!) — поют во французском гимне. «Гражданин начальничек», — припеваем мы.

Мы не привыкли быть обществом. Эта привычка с нами вяжется плохо. Мы привыкли быть толпой; у временного, случайного людского конгломерата привычек нет: толпа сбежалась, покричала, покрушила, поубивала — и разбежалась. Русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», нельзя списать на привычку. Напротив, бунт свидетельствует об отсутствии привычки к систематическому, осознанному общественному действию.

Нас приучали и приучили к тому, что мы великая держава. Приучать начали еще при Петре, после Полтавской битвы 1709 года. И кто начал? Они, иностранцы, шведы. Что писал Пушкин о Петре? «...И за учителей своих задравный кубок подымает». До 1917 года Россия не была эксклюзивной державой, но членом «концерта европейских держав», Евросоюза — по-современному, и не более того. Александр III, будучи в раздражении, — его ждали какие-то послы — осерчал: «Европа может подождать, пока русский царь рыбу ловит». Европа ждала не всегда.

Впоследствии к величию нас окончательно приучили — коммунистическое мессианство, победа в Великой Отечественной, ядерное оружие, космос, а также то, что мы, во всяком случае статистически, занимали второе место в мире по чугуну и стали.

Мы не хотим от этого отвыкать. Дефиниция, данная Бараком Обамой России — «региональная держава», — прозвучала оскорблением. Я сочувствую Путину. Всю жизнь прожить в сверхдержаве, чтобы в итоге согласиться с ее «невеличием», не под силу ни президенту, ни обществу. Это все равно, как пересестись из «мерседеса» в «жигули».

Привычка вторая натура. Почему не первая? Натура — нечто устойчивое, «метафора» идентичности. Хотите изменить свою натуру? Тогда учтите, что это — как операция, или как имплантация в ваше тело чего-то нового, иного, пусть полезного, но все-таки чужого. Это все равно как привыкать к протезу. Устойчивая, из века в век, совокупность самовоспроизводящихся привычек — традиция. Привычка звучит несколько легкомысленно. Традиция — величественно.

Складывается цепочка: привычка — традиция — ценность. Ценности — считает экономист Александр Аузан — формируются по принципу дополнительности, дефицитности, редкости... «Ценно то, что редко»¹. Выходит, что ценности — не традиция, а исключение из нее, что ценности ценнее традиции. Аузан пишет о национальных (в каком-то смысле об этнокультурных) ценностях. А что если замахнуться на религиозные?.. Религиозные *ценности* тоже могут противостоять стереотипам, только уже религиозным. Хотя «обыкновенный верующий» их зачастую отождествляет. На самом деле оказывается, что одной из ценностей христианства является свобода личности, а отнюдь не подчинение установленным кем-то, будь то церковью или государством, поведенческим нормативам.

В романо-германских языках у слова привычка (*habit, habitude*) есть близкие, почти схожие по смыслу слова, среди которых попадаются такие как «рутина», «зависимость» и... «традиция». В европейском сознании понятие «традиция» воспринимается нейтрально. В нем не чувствуется ничего заведомо негативного или позитивного, хотя позитивного все-таки больше. В арабо-исламском менталитете к понятию традиция (таклид) отношение более сложное. С одной стороны, традицию

¹ Аузан А. Национальные ценности и модернизация. М.: ОГИ. Полит.ру, 2010. С. 17.

надо уважать, но в то же время в исламской богословско-юридической интерпретации таклид трактуется скорее негативно и считается слепым подражанием авторитетам прошлого, что ведет к искажению истинного ислама и препятствует самостоятельному мышлению. Самым ярким и страстным сторонником таклида был знаменитый богослов и факих (правовед) Ибн Таймийя (1263—1328), влияние которого на теологию, право и политику сильно и сегодня. На этого средневекового авторитета беспрестанно ссылаются нынешние исламские фундаменталисты.

Таклиду противостоит иджтихад — право на самостоятельное решение религиозно-правовых вопросов, что можно в каком-то смысле считать исламским свободомыслием, свидетельством того, что ислам отнюдь не консервативная, не косная религия. Однако в XI веке возобладали сторонники мукаллиды (последовали таклида), и произошло *закрытие врат иджтихада*, что многие мусульмане называют трагедией. Возврат к нему начался только XIX веке, когда были предприняты первые попытки модернизации ислама, со скрипом продолжающейся и сегодня.

Традиция, как и привычка, удобна. С ней спокойно. Не нужно думать ни о реформах, ни о кризисах. Дескать, все само обойдется, раньше-то обходилось. Самые опасные советники власти — традиционалисты. Конфуций говорил: «Ученый, думающий о спокойствии и удобствах, не заслуживает этого имени»¹.

Традиция и привычка ограничивают нашу свободу, нашу активность. Сошлемся на Никколо Макиавелли (1469—1527), пусть кому-то это покажется неуместным: «...если город или страна *привыкли* (курсив мой. — А.М.) состоять под властью государя, а его род истреблен, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув повиноваться, а с другой, не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно»².

Двойная опасность традиции — постоянная устремленность в прошлое, подавление индивидуальности. Основные охранители традиций — социум, община, государство и его институты, традиционным нормативам которых человек вынужден подчиняться. Шаг в сторону — побег. Или измена.

Движение вперед — будь то в политике, в искусстве, в науке, в технологии — есть отказ от традиции, протест против нее. Удар по традиции наносили астроном Коперник, физиолог Иван Павлов, фотоаппарат, электричество, Эйнштейн, Мустафа Кемаль Ататюрк. Горбачёв, между прочим, тоже ее подрывал. Традиционалисты и модернисты (реформаторы) по большому счету непримиримы. Борцы за традицию всегда сильнее тех, кто хочет от нее отказаться. За их спиной — вековые стены, сложенные из нерушимых, сакрализованных привычек. И вновь Макиавелли: «Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности»³. Почему они такие слабаки, сказать не берусь, но к России это имеет самое прямое отношение.

Этот конфликт сегодня до крайности обострился. Ретрадиционализация — этнокультурная, религиозная — на уровне отдельных стран и целых регионов жестко оппонирует глобализации. Если недавно казалось, что глобализация, при всех ее издержках, «обречена» на победу, то ныне победитель в схватке, во всяком случае при жизни нынешнего поколения, далеко не очевиден. Кстати сказать, Дональд Трамп, которого российская пропаганда назначила главным «нападающим» антиглобалистской команды, не столь уж оригинален. В каком-то смысле он, при всей своей американской специфике, даже типичен. Он — индикатор антиглобалистской тенденции.

¹ Сянь Вэнь. Конфуций. Афоризмы и изречения. М.: Дом славянской книги, 2010. Глава 14. С. 211.

² Макиавелли Н. Государь. М.: Планета. 1990. С. 16.

³ Там же. С. 18.

Мы несем ответственность за наши традиции, в том числе вредные. Оправдываемся тем, что не мы их придумали, мы просто их унаследовали. Некоторые — от святой веры, значит, от самого Господа Бога. Как тут их нарушить? «Бремя прошлого лишает нас сил и возможности сделать новый выбор»¹ — суждение американского философа Джеймса Холлиса сколь банально, столь и печально, но оно точно, и ему нечего противопоставить.

Однако все не так страшно. Выше мы рассуждали об устойчивости традиции, которая складывается из привычек. Кто-то может сказать, что традиция есть одна большая привычка. Но если взглянуть на историю, обнаруживается, что наши привычки обгоняют наши традиции, подтачивают, деформируют и разрушают их. Это как в семье, где привычки детей отличаются от привычек родителей, что невзначай расшатывает незыблемые и дорогие материнскому сердцу семейные устои. Если бы не переменчивость привычек, человечество не научилось бы жарить мясо, не сменило бы привычно-традиционное многобожие на монотеизм и не изобрело бы бензиновый двигатель и демократию.

Возникает и беспрестанно возобновляется конфликт между привычкой и традицией, который длится веками, но верх в котором в конце концов одержит привычка, постоянно конструирующая новую, отличную от прежней традицию. Эта дисгармония, этот экзистенциальный конфликт происходит и в каждом из нас, и в обществе. Даже в религии. Церковь (как и мечеть) не может до бесконечности сдерживать, игнорировать новые привычки, даже если от них для нее исходит угроза.

Отказ от старых привычек ускоряется в крайних ситуациях — во время революций и прочих катаклизмов. Деформируются и рушатся установившиеся, нарождаются новые традиции. Любопытно, например, как изменятся наши привычки, и бытовые, и политические, если наступит глобальное потепление или похолодание, что по своим последствиям одно и то же. А если нагрянет астероид, наступит обещанный всеми монотеизмами апокалипсис? Впрочем, пусть об этом размышляют режиссеры фильмов-катастроф...

И все же. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...» А что затем? Затем нередко наступает реверсивное движение, как говорят политологи, «откат», ретрадиционализация, хотя до полной реанимации традиции дело не доходит. Возьмем хотя бы нашу страну. Разрушили до основания *тот* мир, а «*наш, новый*», который построили, оказался чем-то похож на прежний — и бесправие, коллективизация вместо крепостного права, и вместо веры в Бога — вера в светлое будущее, и, конечно, обожание царя, пусть и с партбилетом. «Великий Октябрь» был тем же бунтом, «бессмысленным и беспощадным», сродни пугачевскому восстанию, которое в случае его успеха вряд ли кардинально изменило бы общество: на смену одному царю пришел бы другой. Емельян Иванович ведь именовал себя царем Петром Фёдоровичем. Я это так, в скобках.

Сейчас, как всегда, происходят два процесса — формируются новые привычки, и параллельно этому сохраняется тяга сберечь старые привычки и традиции.

Одна из них, причем, наверное, самая стойкая и длительная — общечеловеческая привычка делить мир на «они и мы». Мир всегда был поделен на своих и чужих. Так рассуждали все — от египтян (древних) и ассирийцев, от греков с их Александром Македонским, римлян, гуннов, кочевнических орд, христиан, мусульман, колонизаторов, борцов за свободу — и до российских патриотов и демократов. Свой-чужие — базисный принцип, стержень всех идеологий и каждой в отдельности, вечный тренд человеческого сознания и мышления. Отрешиться от него не в состоянии никто, даже самый отъявленный либерал, которому обязательно необходим отъявленный реакционер. Нам нужен чужой, без которого нельзя позитивно воспринимать себя любимого. Мы понимаем, что мы от них, как они от нас, никуда не денемся.

¹ Холлис Дж. Душевные омуты. М.: Когито-Центр, 2006. С. 32.

Доходчиво и весело это показано в фильме «Ширли-мырли». Помните? Когда только что враждовавшие между собой братья — русский уголовник, еврей-музыкант и цыганский барон (все в исполнении актера Гаркалина) — вдруг осознали свою общность, им немедленно понадобился антипод, и они тотчас нашли его, признав, что не любят чужаков-негров.

Далее все просто: или мы их — или они нас. Конечно, мы все за мирное сосуществование, недавно появился еще и этот, как его, мультикультурализм. Но одолеть чужого, доказать ему свое превосходство все же хочется. Если это не получается на поле битвы, то надо показать себя в состязании традиций, бери шире — цивилизаций. Наша культура, дескать, всегда была и есть богаче вашей, наша религия совершеннее. На нас возложена главная миссия. Разве не так?

Все мы правы, каждый по-своему. И «эллины», и «иудеи». Все мы несем невыносимое, но сладкое бремя собственной исключительности. Мы к нему привыкли, это стало нашей общей традицией. Мы привыкли воспринимать друг друга таким образом, сотворив из этого обоюдную традицию. Не надо искать здесь чьего-то злого умысла.

В свою очередь, и Европа воспринимает Россию с точки зрения «они — мы», привыкает к тому, что она, пусть и христианская, неазиатская, но все же чужая. Наше взаимовосприятие зеркально. Не кто-нибудь, а Карл Маркс в работе «Секретная дипломатия» писал: «Изумленная Европа в начале царствования Ивана (Ивана III, 1440—1505. — *А.М.*) даже не подозревавшая о Московии, затиснутой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных границах». Европа тогда тоже ощутила нечто чужое, к чему с того самого XV века и по сей день ей приходится привыкать и что вошло в ее традицию.

На Руси деление на «мы — они» началось в 988 году с принятием православия и продолжилось с приходом Орды. Иными словами, в первый раз мы, Киевская Русь, формировалась в контексте обособления от Европы, во второй — от Востока. Между прочим, на этой средневековой геокультурной обособленности и одновременно промежуточности и паразитирует евразийство, что изначально, искреннее, что нынешнее, с приставкой «нео», жуликоватое и насквозь политизированное.

Своеобразным символическим рубежом мышления «мы — они» в России можно считать появление и укоренение в XVII веке применительно к иностранцу слова «немец», то есть «немой», человек, который не говорит по-нашему. Будь наши предки последовательнее, они бы назвали чужаков «глухо-немцами», то есть такими людьми, которые не только не говорят по-нашему, но нас еще и не слышат, а значит, не понимают нашу душу.

Но вот незадача: общество отторгло «немцев», но в то же время и училось у них, лечилось у них, всюду пользовалось их изобретениями, носило их одежду, танцевало их танцы. Следовать их привычкам входило в привычку. Мы их не любили, но мы им и завидовали, и хотели подражать. Это, заметьте, началось до петровских времен.

Столетия спустя общество, уже советское общество, поголовно переодевалось в «немецкие», иностранно-американские джинсы, слушало Битлов и рвалось хоть краешком глаза поглядеть на их закордонную жизнь. На московском молодежном фестивале 1957 года мы, хотя бы одни москвичи, после долгой паузы их впервые увидели и почувствовали, что они тоже нормальные и в чем-то похожи на нас, как и мы на них. Мне об этом рассказывал отец, который на фестивале работал, и теща, сшившая по случаю фестиваля новую юбку.

После 1917 года привычка к «мы и они» превратилась в самодостаточную государственную идеологию. В нео- (или квази) империи, в Советском Союзе, ощущение нашего отличия от них развилось в наше безудержное и неопровержимое превосходство над ними. Оно удвоилось, даже утроилось. Воспринимая самих себя как носителей всего самого передового, мы были уверены в окончательной победе над ними. Поначалу таковой виделась мировая революция, затем построение коммунизма. Казалось, что триумфа ждать остается не так долго.

А ждать лучших времен мы умеем. Такое ожидание вошло в привычку и обернулось традицией, которой мы по глупости гордимся. Это, можете не сомневаться, очень вредная традиция. Отучились долго ждать мы только на одно историческое мгновение — в 1990-е. Всего захотелось сразу — и конституции, и севрюжины с хреном. Быстро родятся только кошки и... олигархи. Пытаясь похерить одну крайность, мы впали в другую. О девяностых написаны горы литературы и макулатуры. Но эти годы доказали только одно: быстрых перемен в нашей стране не бывает. Если и случаются, то за ними приходит тяжелый, мучительный откат. И сегодня официальная идеология, что телевизионная, что церковная, в который раз приучает нас к терпеливости. Как пели члены жилтоварищества в фильме «Собачье сердце» «за ними (суровыми годами. — А.М.) другие приходят, они будут тоже трудны». В самом деле, «Христос терпел...» Но он все-таки знал во имя чего. Во имя чего терпит Россия? Не во имя же Башара Асада?

Бороться за лучшее будущее мы научились. «И вся-то наша жизнь есть борьба». А как *работать* на будущее, не знали и знаем. В 1918 году В.И. Ленин в программном для советских времен труде «Очередные задачи советской власти» написал, что «русский человек плохой работник». Стал ли он, то бишь стали ли мы работать лучше? Судя по производительности нашего труда — нет. Если исходить из того, сколько продукции производит за час ихний труженик, то наш работяга окажется на 42-м месте. В Штатах его коллега производит продукции на \$ 67,32, в Германии — на \$ 57,36, во Франции — на \$ 59,24¹, а наш — на \$ 19,70. Ленинский вывод о качестве русского труда бессмертен, чего не скажешь о его учении.

Плохо работать — наша привычка, превратившаяся за столетия в традицию. Объяснить, почему так случилось, могут люди, которые в этом разбираются намного лучше. Я же лишь замечу, что ведется эта привычка от того, что: мы работали а) на помещика, б) на государство, в) но не на себя. Очевидно, от этой привычки пошли и пословица «работать на дядю», и советский анекдот «мы делаем вид, что работаем, а они (государство, начальники) — что нам платят». И еще: если государство нам так мало платит, то мы имеем полное право у него воровать. Воровство вошло в привычку и далее — в традицию. Отучить от воровства не смог никто — ни Бог, ни царь и ни герой.

Мы навсегда усвоили, что работаем хуже них. Доказать обратное были не способны даже советские пропагандисты. Однако в душе мы были уверены, что, коль захотим, то равных нам не будет. Отсюда сказка Николая Семёновича Лескова про Левшу, который подковал блоху. Но, между прочим, тот же Левша кричал перед Крымской войной (1853—1856), что у них ружья нарезные, а у нас (традиционно) гладкоствольные. Сказочный русский умелец предупреждал, что мы от них опять отстаем. Нынешние наши «левши» (хакеры не в счет — они востребованы) склонны перебираться к ним. Не только из-за денег. У них лучше работается, больше шансов реализовать свой «левшизм», талант.

После конца советской эпохи дихотомия «мы — они» стала отступать, трансформируясь в честное, но и обидное: у нас с ними есть немало общего, вот только на их фоне мы смотримся как *second hand*, несмотря на Газпром и атомную бомбу. Нам до них далеко.

К счастью ли, к несчастью — кто как считает — признание этого обстоятельства длилось не слишком долго.

С начала XXI столетия восхищение самобытностью вернулось к нам даже в большем, чем прежде, объеме. Мы противостоим им, но уже не как творцы самой совершенной модели устройства государства и общества, но как обладатели «самых истинных» ценностей. Произошел возврат к культурному, шире — цивилизационному, превосходству, откат к тютчевскому «умом Россию не понять, аршином *общим* (курсив мой. — А.М.) не измерить, у нас особенная статья...»

¹ [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_\(PPP\)_per_our_worked](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_our_worked)

Возродить привычку мыслить и чувствовать, что мы лучше их, и уж тем более сможем без них обойтись, проще простого. Она любезна и комфортна массовому сознанию: доказывать ничего не надо, нужно «только верить». Там, где вера, там и привычка, и традиция.

Знаете, чем это все может кончиться? Привычкой к замкнутости, к тому, что мы живем и будем жить во враждебном окружении, а в итоге привыкнем к «глобальному одиночеству». Это опасная привычка. Традиции из этого, слава богу, не должно получиться. Во всяком случае, хочется надеяться. Нам без них, конечно, хорошо, но как-то некомфортно в бытовом плане без их ширпотреба, автомобилей и кино. Да и интернет не позволит.

Возврат к «непониманию России умом» усилиями пропаганды продолжается, зато уходит в небытие привычка к Союзу Советских Социалистических Республик, а вслед за ней — и к постсоветскому пространству, к которому так и хочется добавить «так называемое».

Скажу то, с чем многие не согласятся. Одной из причин распада СССР было отсутствие советского человека. Он так и не родился, остался в эмбриональном состоянии. Сам я в свое время писал, что такой человек должен был вот-вот появиться, почти появился. И все же: мы «привыкали» друг к другу, но до конца так и не привыкли. Не выросло из привычки к советскому «большой» советской традиции. Русская есть, узбекская есть, казахская, армянская... Новый год — тоже традиция, но все они не советские. Назовите мне хоть одну советскую традицию, именно традицию, а не привычку.

Даже в сплоченной привилегиями тогдашней политической элите ощущались местные, этнонациональные различия. Зато в столичной Москве советского человека к концу столетия стали воспринимать как объективную реальность. Впрочем, такой же данностью считалась и вечность КПСС. И Кремлю, уже постсоветскому, потребовалось время, чтобы отвыкнуть от того, что бывший первый секретарь местной компартии стал президентом совершенно независимого государства. Второй российский президент Путин также уразумел это не сразу после своей инаугурации. Однако отдадим ему должное, он научился работать с коллегами именно как с президентами. Да и новоиспеченные президенты ему в этом помогли, каждый демонстрируя собственную суверенность. Так или иначе, российский лидер четко осознает, что он глава только одного государства, а не вождь мифического постсоветского пространства (хотя, помнится, некий общественный деятель лет десять тому назад нарек его «евразийским императором»).

Привычка к восприятию узбеков, грузин, казахов, позже украинцев, а в перспективе еще и белорусов — в общем, обитателей бывшего СССР — как граждан иностранных государств сформировалась достаточно быстро, за одно десятилетие. Не вдаваясь в детали, назовем только четыре причины. Первая — возрастная: поколение тридцатилетних уже не ведает, не чувствует, что такое СССР, и знает о нем из национальных учебников, которые чудовищны по своей (не)объективности, а то и просто невежеству.

Вторая состоит в том, что на Кавказе и в Центральной Азии Россия не сумела — ума не хватило или денег — сохранить свое культурное влияние, поддержать хотя бы «русскоязычность». В Ферганской долине молодежь по-русски говорить почти не умеет. Что станет с русским языком на Украине, судить не берусь. Но от него, увы, отвыкают — где быстрее, где медленнее — везде. Пройдет лет тридцать — сорок, и нашему президенту придется привыкать общаться со своими *vis-à-vis* через переводчиков.

Третья причина — экономическая. Россия не способна сохранить свое материальное, финансово-экономическое лидерство. У нее нет для этого ни технологий, ни денег. К тому же у соседей появились альтернативы — Европа, Америка, Китай,

мусульманские страны. Так что жить исключительно под российским зонтиком перестало быть прерогативой их политики. Про Грузию и Украину — молчок.

Причина четвертая: «единое пространство» сотрясается войнами. Кто виноват — думайте сами. Но поглядите на карту: между отдельными частями нашей бывшей советской родины сложились враждебные отношения. Недавно в каком-то шоу я видел министра иностранных дел Донецкой народной республики! Откуда он взялся? Кто его сделал? Вот в Казахстане сейчас сидят и думают: что, если у нас в Усть-Каменогорске появится свой МИД? В Астане к нему никогда не привыкнут. Кстати, кое-кому на заметку: в Пекине тоже не привыкнут.

Привычка, тем более советско-имперская полноценная традиция, в России не сложилась. Судите сами: после Британской империи за «постбританское», а после французской — за «постфранцузское» пространство сражаться не приходилось. Оно в обоих случаях осталось само по себе, как нечто само собой разумеющееся. Бывшие метрополии там ругают, но все-таки к ним тяготеют.

Превратить постсоветское пространство в евразийское и приучить к нему — дело безнадежное. Конечно, на вербально-идеологическом уровне это может показаться достижимым. Но такое пространство не существует как цивилизация. Точно так же нет и не может быть традиции жить по-евразийски. Найдите хоть одну евразийскую привычку (любви к пельменям, бузам и мантам недостаточно). Дайте мне почитать евразийскую литературу, послушать евразийскую музыку. Покажите мне евразийский автомобиль, самолет, ботинки, наконец. Есть евроокна, привычка к Европе, но нет окон евразийских. И вряд ли вы захотите установить такие окна в своем жилище — их качество сомнительно.

Теперь личное. Когда я приезжаю в бывшие советские республики, то по-прежнему приезжаю к своим. От этой привычки я не избавлюсь никогда. В городе Фрунзе (простите, Бишкеке), в Алма-Ате (простите, в Алматы), в Ленинабаде (простите, Ходженте) я пью водку с друзьями. Это больше, чем привычка, это — моя личная традиция.

В 1992 году мы — таджики, узбеки, украинцы, киргизы, москвичи — после очередной конференции сидели в гостинице в Чимкенте (он тогда еще не назвался Шимкентом) вокруг низкого гостиничного столика и пели Высоцкого, и про то, что «наш адрес Советский Союз», пели про нашу молодость и чувствовали, что прощаемся, нет, не друг с другом, а с нашими, скажем так, политическими привычками, если угодно, с образом мышления. Мы начинали понимать, что теперь живем в разных государствах. Чудилось что-то новое, но тягостное. Года четыре тому назад в Кабуле я встретился с таджикским послом в Афганистане Шарафом Имомовым, с которым мы в 1980 году в Рузском районе Московской области грузили на тракторный прицеп мешки с минеральными удобрениями. Мы почувствовали себя родственниками. В моем, нашем кругу привычка к взаимному притяжению осталась традицией. Традицией, которая после нас оборвется.

Не любил я советскую власть, но все-таки на затянувшихся похоронах СССР иногда могу и всплакнуть.

Превосходство российских ценностей над иными сопровождается милитаризацией сознания. Всухую проигрывая им экономическое соревнование, мы остаемся достойным соперником (противником) в военной сфере. Об этом обстоятельстве обывателю напоминают каждый день. Главным и по сути единственным национальным праздником было назначено 9 мая. Семидесятилетней давности победа навеки стала основным символом нашей успешности и превосходства. Раньше такого не было. До 1965 года 9 мая было рабочим днем. Война была негромкой, интимной памятью. Власть ее даже «гасила», возможно, не желая лишний раз напоминать о «разоблаченном» Верховном главнокомандующем Сталине, а возможно, из-за боязни амбиций военного истеблишмента. Великая Отечественная осторожно отодвигалась в исто-

рию. Ей коммунистические бюрократы даже аббревиатуру придумали — «ВОВ». Был другой единственный и неповторимый нацпраздник — 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, день создания нового Советского государства. Бабушка рассказывала, как его поначалу и не праздновали вовсе, но потом привыкли и пекли по этому случаю пирожки. На 7 ноября приглашали гостей. Мне всегда казалось, что я, родившийся аккурат посередине прошлого века, от 7 ноября не отвыкну никогда. Отвык. В 1993 году в Киргизии, куда приехал на конференцию, я про этот праздник забыл и вспомнил, что он прошел, только на следующее утро. Так значит, не традиция, а привычка? Пасху-то нигде не забудешь — что в туркменских Марах, что в Алжире, что в городе Вашингтоне.

Праздновать победу приучают так, словно с нее и началось государство. Войну удерживают в нашей жизни, делают ее частью современности. (Как «запасной вариант», в нацпраздник одно время пытались превратить победу над поляками в начале XVII века. О том, что тогда случилось на самом деле, историки судачат до сей поры.) Для внедрения войны в идеологический оборот и, что особенно важно, в психологию ни сил, ни средств не жалеют. Здесь и военные парады, и несчетное количество военных фильмов, насквозь фальшивых (с немыслимыми ошибками), а заодно — «про Афганистан» и «про Чечню».

Могу поспорить, что вот-вот пойдут фильмы «про Сирию». Вопрос в том, что рано или поздно эта тематика обесценится, поднадоеет, как надоела непрекращающаяся ни зимой, ни летом тусовка звезд. Милитаристский дух можно сделать привычкой, но временной. В традицию его не обратить. Если, конечно, не материализовать его в настоящую, *большую* войну. К реальности такой войны приучить нелегко.

И здесь интересно взглянуть, как, например, трансформировалось восприятие ядерной угрозы. Угроза эта изначально представлялась реальной, подпитываясь формированием блоковой системы, корейской войной 1950—1953 годов, конфликтами в Восточной Германии в 1953-м, в Польше и Венгрии — в 1956-м. Она стала частью людского страха. Человек привык бояться атомной бомбы, но в то же время уже не мыслил без нее своего существования. Переломным моментом стал Карибский кризис 1962 года, когда две державы подошли (или казалось, что подошли) к порогу прямого военного столкновения. Этого, однако, не произошло. А затем ядерное оружие стало восприниматься не как угроза мировой войны, но как гарантия против нее. В 1963 году на полигоне в Кубинке советский вождь Хрущёв сказал: «Война может быть только ядерной, однако ядерная война невозможна»¹. Привычка к ядерному оружию становилась антимилитаристской, вносила успокоение в человеческие души. Известный анекдот: «Что делать в случае ядерной войны? — Завернуться в простыню и ползти на кладбище» — был антивоенным, ибо подчеркивал ее нереальность.

В доядерную эпоху с уверенностью в том, что мировой войны не избежать, люди жили столетиями — от одной войны до другой. Каждую тогдашнюю европейскую войну или хотя бы противостояние с Османской империей возле Вены в 1683-м можно считать мировой. Может, оттого Толстой так просто и понятно назвал свою Книгу — «Война и мир». И то, и другое в равной степени было естественным и неизбежным.

Сформировавшаяся во втором десятилетии нашего века милитаристская тенденция в российской идеологии «идет против течения». Разговоры о третьей мировой, чаще всего ведущиеся политиками второго и третьего ранга и некоторыми заливастскими экспертами, впечатляют не самую грамотную часть граждан, а у более продвинутых вызывают не страх, а раздражение.

Впрочем, надо признать, что и некоторые серьезные политики, например, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, возможность большой войны полностью не исключают. Допускает ее и известнейший специалист по проблемам

¹ Таубман У. Хрущёв. Серия «ЖЗЛ», М.: 2008. С. 867.

разоружения Алексей Арбатов, который приводит жуткую цифру — один миллиард человек, которые погибнут в случае ядерной войны между Индией и Пакистаном¹. Но даже этот кошмар еще не третья мировая, и, думается, угроза такого локального ядерного столкновения — лишний повод для взаимодействия остальных держав ради предотвращения большой войны.

Приучить к мысли о вероятности войны непросто, тем более что всякий раз срабатывает все тот же механизм самозащиты — ну, какой псих дерзнет ее развязать? Конечно, можно возразить, что в США, по неким опросам 2016 года, 64 процента американцев, а в Великобритании 61 процент населения в вероятность «большой войны» якобы верят. «Открыто говорят о возможности такой войны 52 процента россиян»² (особенно когда хорошенько поддадут. — А.М.). Но что это за война — кого и с кем — неясно. Да, в странах Балтии, в Польше многие продолжают бояться, но не третьей мировой, а России. После Грузии 2008 года, после Крыма, Донбасса этот страх понятен. Но, повторяю, речь все же не о страхе перед всеобщей войной.

Привычка не бояться всеобщей войны прочнее, чем мы думаем. Эта «небоязнь» выросла в традицию.

А вот российскому правящему классу выгодно пугать население войной, в которую он сам не верит, которой не хочет и боится. Это понятно, поскольку верхушка от нее ничего не выиграет, а только проиграет, ибо лишится накопленных и хранимых на территории противника богатств, включая бизнес собственных детей. Во что превратит эта война Россию, не говорит ни один телеведущий — мы же все равно победим!

Да, психологическая готовность к большой войне ушла в прошлое. Зато, как компенсация, осталась, даже окрепла привычка постоянного ожидания малых войн, этаких «междусобойчиков», которые, хотя в одну глобальную и не сольются, все равно ведут к исчисляемым сотнями тысяч человеческим жертвам.

С недавнего времени появляется привычка к терроризму. Раньше тоже были террористы — то народовольцы и социалисты-революционеры в России, то ирландские католики, то «красные бригады», то палестинские борцы с Израилем, то курды... Но к ним относились как к «кровавым шалунам», а то и просто как к ненормальным. После 11 сентября, а в России еще до того, во времена чеченской войны, стало ясно — шутки кончились. Терроризм из цепочки «инцидентов» превратился в глобальный феномен.

Поначалу, что в Европе, что у нас, казалось: *этот новый терроризм* — отклонение от нормы, он пройдет, как болезнь. А болезнь не прошла, и не проходит. Более того, она усугубляется и не излечивается даже с помощью хирургического вмешательства, в том числе военно-космическими операциями.

Люди с удивлением обнаруживают, что убить *могут*, причем где и за что угодно: за карикатуру на знаменитого религиозного деятеля, за нелюбовь к платку на женской головке, за то, что ходишь в свой, а не иной храм, наконец, просто за то, что ты не из той привычки и традиции, к которой принадлежит твой убийца. На Ближнем Востоке к этому привыкли давно, но чтобы вот так, в Париже, Мадриде, Лондоне, Москве... Попасть под «террористический» грузовик в Ницце или Берлине, взорваться в европейском метро или в самолете...

Терроризм стал трендом мировой политики, одной из ее «традиций». Мы перестаем ему удивляться. Кто-то скажет, что я драматизирую. Пусть так, но и я, в свою очередь, имею право возразить, что упрекать за такую драматизацию станет прежде всего тот, кто, незаметно для самого себя, сам *привык* к терроризму и подсознательно не воспринимает его как нечто из ряда вон выходящее. И... «если

¹ Млечин Л. Позвольте превратить вас в пепел. «Новая газета», 11.01.2017.

² Кащеев Н. Вероятность войны. «Ведомости», 24.01.2017.

однажды вы поймете их (террористов. — А.М.) философию, ни один из их поступков даже не удивит вас»¹. Разве не так?

Плохо то, что к терроризму, к систематическому совершению терактов, привыкают сами террористы — и те, которые уже сотворили свое черное дело, и те, кто к нему еще только готовится. Получается, что у нас с террористами появилась общая привычка.

Страх перед ним в чем-то схож с угрозой ядерной войны. Но есть и существенная разница: те, кто раньше пугали и сейчас пугают ядерной войной, что на Западе, что в России (раньше — в СССР), сами в нее не верят. А террористы — как раз наоборот. В отличие от Хрущёва с Кеннеди или Путина с Трампом они в нее верят. Использовать «бомбу» они готовы, лишь бы ее достать. А если на самом деле достанут?.. Они иррациональны, они несут ответственность только перед «высшей небесной силой». У нас разная традиция мировосприятия. Они готовятся к смерти *профессионально*, они к ней *приучены*.

Заключение

«Привычка свыше нам дана», — уверял Пушкин. С этим можно согласиться. А вот дальше, что «замена счастию она», — сомнительно. Строфу можно было бы закончить и так: «Она полезна и вредна». О значении «привычек души и привычек ума» рассуждали многие, например, в середине позапрошлого века об этом в книге «Демократия в Америке» задумался почти ровесник Пушкина, небезызвестный «политолог» Алексис де Токвиль (1805—1859).

Из привычек складывается образ жизни, однако тот же образ жизни одни привычки утверждает, другие, напротив, отвергает. Скорость изменения привычек, что в быту, что в политике, нарастает по ходу всей человеческой истории. Сейчас это стало особенно заметно. В чем-то это даже опасно. Пропала привычка писать письма, исчезла привычка к двуполярному миру. Может, скоро придется отвыкать от электронной почты и пересылать депеши непосредственно от мозга к мозгу, а мир, вопреки нынешним сумбурным разглагольствованиям, вообще станет таким «бесполярным» — кто его знает?

Похоже, мы не поспеваем за собственными привычками. Успеют ли при такой смене привычек появляться традиции? За последние два десятилетия они, если и появляются, то выглядят зыбкими и какими-то искусственными.

Человечество, конечно, меняется. Но даже в нашем сверхскоростном времени от главной своей привычки — делить мир на нас и их — оно отказываться не намерено. Привычка эта перетекает из одного тысячелетия в другое. Она стала самой прочной традицией. Избавить людей от нее не могут даже невероятно расширившиеся контакты — между людьми, между цивилизациями. Более того, именно эти контакты, в том числе через интернет, нередко способствует взаимной подозрительности и отторжению.

Отсюда непреходящее значение Диалога, необходимость которого признают все, но честно участвовать в нем с тем, чтобы понять другого, а не только слышать самого себя, никто не готов. До такого Диалога мы (и они) все еще не доросли. Привычка — действительно вторая натура.

Когда же мы наконец-то сообразим, что в первую очередь мы не христиане, не мусульмане, не китайцы с русскими и не американцы, а прежде всего — люди с одной головой и четырьмя конечностями? Неужели только тогда, когда встретим свалившихся на нас с небес двухголовых и десятиногих? И как мы к ним, да и они к нам, будем привыкать?

¹ Mark A. Gabriel, ph.d. Islam and Terrorism. Published by Front Line. A Strange Company 600 Rinechard Road. Lake Mary, Florida 32746. www.charismahouse.com

О ПОШЛОСТИ

Три письма на одну тему

Алексей Буров

Добрый день, Геннадий Мартович!

Слово «пошлость» употребляли Гоголь и Чехов, его разъяснял Набоков, слово «poshlost» есть в английской википедии. Наиболее подробно разъяснено у Набокова: отмечается безвкусице, ханжество, напыщенность, низости всякого рода. Но на мой взгляд, все эти дефиниции — только скольжение по поверхности: пошлость, конечно, влечет все эти качества, но никакое из них пошлости не покрывает. Перечисление разных качеств говорит только о том, что не ухвачено некое ядро, их объединяющее. Дерзну дать свое определение, которое, может быть, где-то и написано уже — не знаю.

Вот мое определение: пошлость есть глухота к священному, неспособность к благоговению, которое и есть переживание священного, запредельного человеку. У пошлого человека нет высот и бездн, он не знает священного ужаса и восторга, у него все земное, все меряется удовольствиями и неприятностями. Поэтому, когда он пытается изобразить нечто священное, приличествующее обстоятельствам, он невыносимо фальшив, он ханжа. Совершать низости — например, воздавать кесарю Божово — может и не пошлый человек, но тогда он знает, что совершает грех, и мучим грехом. Пошляк же считает таковое в порядке вещей, а еще, пожалуй, возведет это себе в заслугу, как некий особый патриотизм. Пошлость может выражаться так же в засилии иронии, в тотальности подмигиваний и подхихикиваний, что даже более органично для пошлости, чем ханжество. У Блока есть на эту тему замечательная статья «Ирония», 1908 года. В любви пошлость может выражаться как донжуанство — обольщение как вид спорта, при полной уверенности в правоте.

Пошлость — антоним благородства. Именно переживание священного возвышает человека, свидетельствуя о достоинстве его натуры, которой открывается высота святыни. Чувство собственного достоинства, о котором много стали говорить в последнее время, тем и отличается от своих фальшивых копий — напыщенности и гордыни: первое опирается на переживание святыни, на долг перед ней, последние же есть виды пошлости. Святыни могут быть и ложными, и тогда речь идет об идолопоклонстве, которое не есть пошлость. А вот когда падают всенародные

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им.Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик, работающий главным образом в жанре научной фантастики.

Публикации в «ДН» в соавторстве: эссе «О красоте» (2016, №1); «О молчании» (2016, №6); «О понимании» (2017, №4).

идолы, долго изничтожавшие подлинные святыни, а потом сами опошлившиеся и рухнувшие — вот тогда наступает эпоха торжества пошлости. Подлинные святыни вырабатываются долгим историческим временем и соответственно требуют долгого же времени для восстановления. Сорная же трава пошлости прет на перегное идолов, как на дрожжах.

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей! Вы, конечно, правы. Пошлость — это изобретение чисто человеческое. В природе мы ничего подобного не наблюдаем. Обрубистые мысы, прибой, водовороты, мертвый сухой жар песков, наконец, ледяной ветер могут казаться злобными, грозными, убивающими, но никогда не пошлыми. Нежнейший морозный рисунок на стекле, след рассеявшегося облачка, выстриженные мышами лесные поляны, обрывки тумана, зеленая голотурия, запутавшаяся в водорослях, солнце, тонущее в океане, — в голову не придет увидеть за этим что-то нечистое, скрытное.

Мир огромен. Мир необъятен.

Мир лишен пошлости — физический мир.

Откуда же в нас, в людях, прямом продолжении этого необъятного прекрасного мира, прорастает вдруг то, что мы, в конце концов, и определяем понятием, обозначенным в заголовке этого эссе?

Приведу пример. Из собственной жизни.

Осенью 1968 года я работал в поле на мысе Марии (Северный Сахалин).

Охотское море, обрывистые пустынные берега. Долгие дни, долгие маршруты. Тихая речка, в устье которой океан лениво валял по песку алые поплавки, расписанные хищными иероглифами, заросли черники. Время тянулось медленно, тем приятнее было думать о возвращении. Вот, думал я, с первыми затяжными дождями вернусь, а в Южно-Сахалинске как раз выйдет моя первая книга — книга стихов! И я буду дарить ее своим друзьям, девушкам, коллегам, всем будет счастье.

Понятно, что, вернувшись с полевых работ, я отправился в издательство.

К моему удивлению, настроение там царило совсем не праздничное, а Толя Кириченко, редактор, и без того невеселый человек, сказал, мрачно оглядываясь на закрытую дверь кабинета: «Понимаешь (мать твою), — он не умел говорить без таких вот вводных слов, — эта твоя книжка (мать твою) давно уже готова, осталось только (мать твою) подписать ее в свет, но у цензора (мать твою) возникли какие-то вопросы». Он посмотрел на меня серыми немигающими глазами и добавил: «Ты бы сам (мать твою) поговорил с цензором».

Конечно, Толя сказал это, не подумав.

До работы в книжном издательстве он лет десять ходил по морю на рыбацком сейнере — замом по политработе, свято верил в политморсос, вот и запомнил, наверное, что в СССР никакой цензуры не существовало и цензоров не существовало. Просто работали во благо соблюдения важных государственных тайн некие молчаливые сотрудники Лито — невидимки, общаться с которыми имели право исключительно редакторы, но ни в коем случае не авторы. Но что мне до того? Я был молод, верил в свою звезду и легко отыскал в Южно-Сахалинске нужное здание. Поднялся на нужный этаж, вошел в нужный кабинет. Женщина за столом сидела — молодая, привлекательная, умные, всё понимающие глаза. А главное, как выяснилось, ей чрезвычайно — очень и очень — нравились мои стихи. Она так и произнесла вслух:

«Давно я не читала ничего такого свежего». Словечко — *свежего* — резануло мне слух, но я обрадовался сказанному, даже удивился: как это наш Толя (мать твою) не сумел договориться с такой умной, с такой понимающей женщиной?

«Но есть, есть некоторые мелочи, — пояснила Лилия Александровна, так звали мою визави. Она шурилась, улыбалась чуть-чуть виновато, будто втайне немного все же стыдилась за меня, как бы подмигивала потаенно. — Вот тут, взгляните. В общем-то, чепуха, мелочь, дребнь, как говорят болгары. Вы ведь знаете болгарский язык? — Непонятно было, гордится она моими знаниями или их осуждает. — Интересная получилась книжка, этакие интересные стихи с этаким историческим уклоном. Вы, наверное, зачитываетесь Замятиным? Нет? — удивилась она, и я тоже удивился: при чем тут Замятин? — Солженицыным, наверное, зачитываетесь. — В голосе ее что-то пряталось. Будто она не знала, чем в то время чтение Солженицына грозило читателям. — Как? И Солженицына не читали? Ну, ну. — Она мне совсем не верила, ее глаза подозрительно поблескивали. — Скажете, что вы и Оруэлл не читали? Вот и ясно. Вот и вкрался в вашу книжку недостойный стишок. Тоже с историческим уклоном. «Путь на Бургас». Вот какое хорошее название, но только что вы тут пишете? «Где Кормчая книга? Куда нам направить стопы?» — процитировала она, как бы затаенно, понимающе, подмигнув мне. — Между нами говоря, товарищ Прашкевич, программа построения социализма выработана. — Ее глаза строго сверкнули. — «Сократу дан яд, и прикован к скале Прометей». Ну что вы, в самом деле, зачем так сразу? Все знают, что в мировой истории всякое бывало. «Болгары бегут. Их преследует Святослав». Почему же сразу — преследует? Это в братской-то стране. «Сквозь выжженный Пловдив дружины идут на Бургас. Хватайте овец! Выжигайте поля Сухиндола!» Как такое может быть? Что у вас за странные призывы? Вы же, товарищ Прашкевич, — она наконец определила дистанцию между нами, — пишете о нашем (советском) князе Святославе. — Разумеется, она не произнесла вслух этого определения, но оно явственно угадывалось в ее тоне. — Якобы в девятьсот шестьдесят восьмом году, ровно тысячу лет назад, наш (советский) князь Святослав застиг врасплох мирные (братские) болгарские города, выжег Сухиндол и все такое прочее, многих болгарок изнасиловал... — голос Лилии Александровны сладко и страшно дрогнул. — А где тому доказательства? Как такое могло произойти? Разве мог наш (советский) князь вести себя подобным образом в нашей солнечной (братской) стране?»

Мне чрезвычайно понравилась открытость Лилии Александровны.

«В работах известного советского болгароведа академика Н.С.Державина...»

Но она понимала. Она без всяких слов всё понимала. Она даже договорить не дала мне. «Вот и представьте мне труды названного академика».

Я обрадовался и на другой день принес умной бдительной сотруднице Лито второй том «Истории Болгарии» академика Н.С.Державина. То есть в своей жизни мне, как автору, дважды удалось побывать в кабинете советского цензора.

И вот что было напечатано на странице тринадцатой.

«В конце весны или в начале лета 968 года Святослав Игоревич во главе 60-тысячной армии спустился в лодках вниз по Дунаю и двинулся по Черному морю в устье Дуная. Болгария была застигнута врасплох, выставленная ею против Святослава 30-тысячная армия была разбита русским князем и заперлась в Доростоле (теперь Силистра). Центром своих болгарских владений Святослав сделал город Преславец, т.е. Малый Преслав, расположенный на правом болгарском берегу Дуная. Чтобы спастись от непрошеного гостя, болгарское правительство вступило в переговоры с Византией, одновременно предложив печенегам напасть на Русь и тем самым заставить русских с их князем очистить Болгарию. Печенеги на это согласились и осадили Киев. Это заставило Святослава поспешить в Киев, но значительную часть своей армии он все же оставил в Преславце. Впрочем, ликвидировав в Киеве

угрожавшую ему со стороны печенегов опасность, в следующем 969 году Святослав вновь направился в свою болгарскую область».

Внимательно дочитав отмеченную мною страницу, Лилия Александровна долго рассматривала меня своими умными всё понимающими глазами. «Откуда же эта печаль, Диотима?» Я даже встревожился. Да снимем мы с вами, Лилия Александровна, подумал я, снимем мы с вами этот вредоносный стишок, посвященный нашему (советскому) князю Святославу, и пусть книга поскорее отправляется в типографию!

«В каком году издан том академика Державина?»

«В одна тысяча девятьсот сорок седьмом».

«А какое, миленький, сейчас тысячелетье на дворе?» — Лилия Александровна, несомненно, хорошо знала русскую советскую поэзию.

«От рождества Христова — второе, — ответил я, стараясь быть понятым правильно. — А если уж совсем точно, — пояснил я, — то сейчас идет одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год».

Наступило молчание.

Потом Лилия Александровна вздохнула.

Потом она вздохнула и произнесла слова, которые я помню до сих пор.

«В девятьсот шестьдесят восьмом году, то есть ровно тысячу лет назад, — произнесла она ясным и четким голосом (и как бы заговорщически подмигнула мне), — и даже в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году наш (советский) князь Святослав мог делать в солнечной (братской) стране Болгарии все, что ему заблагорассудится. — Она сделала небольшую, хорошо продуманную паузу. — Но в одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году мы ему этого не позволим!»

И моя первая в жизни книга ушла под нож.

И долгие годы после этого я нигде не мог печататься.

И долгое время после моей встречи с цензоршей привкус чего-то неясного, невыразимого словами жил в моей голове на уровне подсознания. Чужие слова высвечивались иначе, незнакомые тексты начинали казаться *не понятыми правильно*. Как же это? Почему я читал академика Державина совсем не так, как читала его Лилия Александровна? Что такое сидело во мне, мешающее правильному пониманию действительности? Почему я долго-долго чувствовал непонятную неловкость за свои стихи? Что за странная горькая муть клубилась в душе, почему вдруг начинало казаться, что, возможно, они правы — редакторы, цензоры, бдительные рецензенты, и многие-многие другие чиновники, ревностно блюдущие нашу чистоту? Боже мой, они, оказывается, лучше меня знали: зачем рыбы? зачем острова в океане? зачем мораль? зачем Репин и Фальк? зачем Пушкин и Даниил Хармс? Они умели так доверительно, так понимающе намекать и даже заговорщически подмигивать.

Я не понимал. Я тонул в этих своих сомнениях. Я с ума сходил (мать твою), но однажды прекрасный (к сожалению, забываемый в нынешней суете) писатель Георгий Гуревич написал мне: «В литературе, Геннадий, видите ли, в отличие от тех же шахмат, переход из мастеров в гроссмейстеры зависит не только от мастерства. Тут надо явиться в мир с каким-то своим личным откровением. Что-то сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) — тоже люди. Толстой объявил, что мужики — соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители — пена, они только играют в управление. Что же делать? Бунтовать — объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек слишком сложен, нет для всех одного счастья. Каждому нужен свой собственный ключик, свое сочувствие. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк — мужскую дружбу, и т.д. А что, собственно, скажете миру вы?»

А что я мог сказать миру? Как мне было понять, кто прав, кто виноват? Как мне было понять, победить мелкие страсти, которыми мы живем? Как осознать странный,

скрытый от глаз процесс перерождения наших мелких смутных желаний в темный, тщательно скрываемый страх — потерять то малое, что мы уже имеем.

Я убежден, что спасло меня только, и именно, общение с природой.

Вот солнце ставит над водопадом крутую яркую радугу. Вот ночной камнепад прочерчивает в ночной тьме блистающие огненные дорожки. Вот океан медленно выкатывает на влажный песок языки пузырящейся пены, а волны вдали бегут мелкие, кудрявые, как овечки. Вот валяется белый скелет сельдяной акулы, а там, один за другим, уходят в неведомое будущее океана и неба голубые очертания мысов. Рощицы бамбуков сменяются рощами берез, с тяжелых ветвей свисают серые пыльные бороды лишайников. Плавают плети лиан, кровавыми сердечками узких листьев украшая стволы ими же задушенных деревьев. Гигантские лопухи, запах запустения, запах палой листвы. Мелькнет на солнце в песке древний обсидиановый наконечник, но только океан, один океан вновь и вновь выкатывается из марева — посмотреть на мою тоску.

В живой природе нет даже намека на пошлость.

Накат выбрасывает на берег водоросли, рыбу, погибших крабов. Все это смешивается, гниет, перемалывается временем, заносится тяжелым песком и илом, но в этом нет никакого подтекста. В живой природе коршун бьет птицу, голодный медведь давит нерпу, лисы выслеживают юрких мышей — не утверждая какие-то свои личные принципы, а просто потому, что им хочется есть. Смущенный этими простыми чудесными открытиями, я старался как можно внимательнее всматриваться в окружающее и все равно никак не мог (да и сейчас не могу) понять, почему присутствие человека так сильно меняет окружающий мир, почему наше умение (или неумение) мыслить рано или поздно приводит к духовному насилию? Почему в словах людей умных, известных, нестандартных время от времени проскальзывает вся та же неумолимая пошловатая нотка? Ну да, в мире тесно. Одних толкают, другие сами толкаются. И вот почему-то те, кто подолгу отделен от живой природы, часто оказываются слабее тех, кто (как я) видел мир не только из окна квартиры, но и со склона вулкана, с палубы дрейфующего между островов корабля, с обрывистых берегов.

Вечный океан, вечные облака, вечный накат.

Природа — всегда творец. Она — истинный творец.

Природа создает все, что угодно — уродливое и смешное, грозное и прекрасное.

К этому привыкаешь, но однажды каждому приходится возвращаться домой. И там, в городах, дома, включив телевизор, взяв в руки газету или журнал, ты сразу попадаешь в черное пошловатое облако...

«Что читаете, принц?» — «Слова, слова, слова».

Но все эти размазанные слова, несущиеся с мерцающего экрана, доходящие до тебя со страниц газет и журналов, это даже не игра разума, как заметил один известный чиновник, это даже не сон разума, даже не сон. В отчаянии начинаешь думать, что, наверное, только «Философский словарь» М.М.Розенталя еще не опустился до откровенной пошлости. Ну и, конечно, поэзия. Та высокая и сложная поэзия, о которой может судить любой человек. Не лукавый подмигивающий и подхихикивающий постмодернизм, а поэзия.

«Расцветают, горят на железном морозе несытые Волчьи, божьи глаза»¹.

Вот оно. Вот чего я ищу. Вот они сверкнули, расцвели на морозе — «несытые Волчьи, божьи глаза». Вот наконец я начинаю забывать о Лилии Александровне и прощаю ей все, что там было — в прошлом. Да, прощаю. Я, выдержавший столько, — маленький растерянный человек.

«Расцветают, горят на железном морозе несытые Волчьи, божьи глаза».

Как по-разному звучит это в устах поэта и в устах цензора.

¹ Иван Бунин. «Сказка о козе».

Алексей Буров

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». (Мф. 7:6) Как только я выложил жемчуг псам и свиньям — так и быть мне терзаемым ими, Геннадий Мартович. Сколько раз я проходил через этот опыт, сколько раз клял себя за неисправимую глупость. Крохи мудрости добываются ценой боли, стыда, тошноты и подобных не слишком приятных вещей. Да, в природе нет грязи, «мерзким животным» может быть только человек. Вот тут еще одна радикальная черта, отделяющая нас от всех прочих земных созданий.

Что же противостоит этой грязи?

Исток человеческого достоинства — в переживании священного, в служении ему. Священное здесь — совсем не обязательно формально-религиозное, но сверхценное, сверхважное, гораздо большее, чем сама моя жизнь. Священной может стать семья, нация, империя, справедливость, светлое будущее, любимое дело, искусство, наука, природа, церковь. И конечно же, Бог. Все, что может восприниматься человеком, как большее его самого, как, с одной стороны, то, что важнее его жизни, а с другой — то, что доступно для служения всей жизнью, — все такие сущности могут становиться, становились и становятся священными в указанном смысле. Впрочем, слова «ценность» и даже «сверхценность» для обозначения этого смысла мне представляются не очень удачными из-за неких меркантильных ассоциаций; а «сакральное» звучит слишком академично; так что слово «священное» представляется наиболее подходящим.

Вспомним Пушкина:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Священная жертва, в ядре своем — самопожертвование, выявляет сияющее сокровище жертвующего и тем самым обнаруживает и зримо дает достоинство, значение и смысл его жизни; да ведь только она и может их дать. Мать, жертвующая всем ради ребенка. Воин-доброволец, идущий на священную войну. Жертвующий другими, но и собой революционер. Художники, философы, ученые, изобретатели, первопроходцы, педагоги, врачи, святые подвижники. Всех возможностей высоких служений не перечислить. Разумеется, я не хочу сказать, что все эти служения равны в благе или истине. Напротив, не равны, и каждое чревато и часто искажено заблуждениями абсолютизации, идолизации, кумиротворения. Священное есть громадное пространство ценностей и смыслов, так или иначе выстраиваемое и обустройстваемое культурами, цивилизациями, личностями.

Среди всевозможных сущностей, могущих становиться священными, есть лишь одна, не являющаяся частной, особенной и неполной, но составляющая центр, исток и смысл всего Бытия — автор этого Бытия, Единый Предвечный Бог. Если в центре человеческой святыни не Он, а нечто иное, то такая святыня, как бы хороша она ни была сама по себе, в силу неадекватности статуса оборачивается лживым и злым идолом. Мать, для которой нет ничего выше служения своему ребенку, становится вздорной бабой для всех остальных. Фанатичный борец за справедливость оказывается безжалостным мстителем, губителем невинных и душителем свобод. Абсолютизация науки или искусства ведет к утрате широты познания и снятию этических ограничений, эксперименту или зрелищу. Абсолютизация той или иной особенной церкви ведет к сужению и омертвлению религиозного духа, подавлению свободомыслия, ко лжи, ксенофобии и войнам. Все особенное, все, что может быть дорого, когда-то появилось

в этом мире и когда-то исчезнет. Сама Вселенная родилась из загадочного Большого Взрыва около 14 миллиардов лет тому назад; спустя 10 миллиардов появилась известная нам жизнь. По всем имеющимся в распоряжении науки сценариям, еще через сколько-то десятков миллиардов лет никакая жизнь во Вселенной уже не будет возможной: звезды не могут гореть вечно. И тогда все люди со всеми своими святынями уйдут с этой сцены. Останется лишь Запредельный Творец да все то, что угодно Ему сберечь для вечности и дать, может быть, новую жизнь в иных мирах.

Каков же в таком случае смысл наших скромных усилий к лучшему? Не пропадают ли они все в бесконечности времен и творений?

В качестве ответа, Геннадий Мартович, процитирую и я, вслед за вами, Ивана Алексеевича Бунина, один из его последних рассказов «Бернар».

«Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный, верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. /.../

Он сказал это, умирая, — это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на "Бель Ами" 6 апреля 1888 года. /.../

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире "было хорошо", и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? "Ныне отпускаеши, Владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк". /.../ Но ведь сам Бог любит, чтобы все было "хорошо". Он сам радовался, видя, что его творения "весьма хороши". Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар».

Истина не дана человеку в готовом виде; всякая святыня имеет в мире свои тени, свои извращения и опошления. С другой стороны, всякое зловерие имеет силу только за счет примешавшегося к нему добра. Романтики коммунизма бросали на алтарь революции не только жизни других, но и свои собственные — во всяком случае, таковыми были лучшие, наиболее вдохновенные из них. Идеологические работники эпохи застоя были уже по преимуществу циниками и пошляками, для которых марксистская идеология служила полезную роль оправдания и возвеличивания их статуса, их права определять литературные судьбы и состоять на спецобеспечении; ни о каких самопожертвованиях там не могло быть и речи. Когда банкротство идеологии стало настолько вопиющим, что ее оставалось лишь выбросить на свалку, ровно это и произошло. Тогда партработники вроде Лилии Александровны массово перекрасились в демократов, а спустя какое-то время — и в патриотов. Реально же ничего священного для этой черни как не было, так и не появилось. Мне трудно предположить, что эта труженица цензуры могла быть доброй матерью или хорошей женой, что в свободное время она могла служить музам, или что эта цепная сука была энтузиасткой турпоходов, покорения перевалов и пения у костра. Видимо, она была просто одинокой, несчастной — не хлебом единым жив человек, и даже не спецобеспечением. Интересно, как бы отреагировала указанная мадам, скажи вы ей нечто вроде: «твоя жизнь скучна, игемон»? Не будем гадать. Что сделало ее жизненный путь пустым, какая сила закрыла ей варианты содержательной жизни? Почему вообще возможны унылые души чуждых священному людей, вроде, скажем, Адольфа Эйхмана, этого воплощения пошлости, арендтовской «банальности зла»?

Нет, видимо, такого опыта, от которого Господь оградил бы нас.

И не на все воля Божья. Многое оставлено на свободную волю человека.

Марк Амусин

Революция: флаги в пыли

Наступил год столетия Октябрьской революции. Разумеется, это была революция, а не переворот, если судить — совершенно безоценочно — по масштабу влияния данного события на судьбы России и мира. Лет десять-пятнадцать назад казалось, что исторический этот катаклизм перестал волновать умы и сердца, ушел под землю и порос травой забвения. Однако в последнее время споры о революции и советском опыте заметно оживились. Это связано и с поисками «консолидированного прошлого» в российском обществе, и с тем, что слово «революция» снова стало актуальным в мировом медиа-пространстве. Однако в культурном сознании по-прежнему преобладают формулы о террористическом характере «большевистского режима», о перманентном насилии по отношению к населению, о злодействе или идиотизме партийно-советской верхушки (от Ленина до Андропова) — хотя самый ангажированный аналитик признает, что к одному лишь этому советский опыт не сводится. Оппонирующий же подход, как правило, беден и изрядно плакатен: победа в Великой Отечественной войне, гениальность Сталина, ядерная мощь да космические успехи — в лучшем случае к этому перечню добавляют неизменный героический дух советского народа.

Так или иначе, а литература в последние два десятилетия нечасто разрабатывает тему революции и ранней пореволюционной действительности. Это неудивительно. Времена славы «Железного потока» и «Тихого Дона», «Конармии» и «Разгрома», «Хмурого утра» и «Сокровенного человека» давно прошли. Уже в период «зрелого социализма» к событиям революции и гражданской войны обращались чаще всего в кино — в приключенческом жанре. В серьезной же прозе на памяти у меня всего два примера: «Старик» Трифонова и «Уже написан Вертер» Катаева.

Чего же требовать от литературы постсоветской? Другие песни, другие горизонты и интересы. И все же сегодня, накануне круглой даты (невольно вспоминается «2017» Ольги Славниковой) хочется взглянуть на современные опыты (пусть немногочисленные) возвращения в ту эпоху. При этом нужно непременно иметь в виду, что подобные путешествия во времени могут рассказать намного больше о сегодняшнем дне, о нас самих, чем о прошлом...

В 90-е годы, когда потрепанный временем коммунистический кумир окончательно рухнул и разлетелся вдребезги, популярность обрел стебовый, обнуляющий взгляд на революцию. Самый яркий его образец — «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина. Замысловатый этот роман даже не развенчивает революционный миф, метонимически представленный мифом о Чапаеве, даже не сводит его в плоскость анекдота. Обратим внимание — в книге очень мало отсылок к разливанному морю фольклорного балагурства о Василии Иваныче, Петьке, Анке-пулеметчице. Пафос, ярость, плоть и кровь той титанической борьбы просто окутываются дымкой миража, развоплощаются.

Могут сказать, что Пелевин и все наличное бытие помещает под усмешливый знак буддистского отрицания, «ничто». Но фактура гражданской войны подвергается у него особо тщательной дезинтеграции. При этом первоначально протагонист, поэт

Петр Пустота не сомневается во вполне реальной, пусть и inferнальной природе революционных событий: «...за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном». Или: «Многие декаденты вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги».

Затем, однако, воцаряется фантазмагория: карикатурные революционные матросы-кокаинисты Барболин и Жербунов, скандал со стрельбой в литературном кабаре «Музыкальная табакерка» и, наконец, встреча с Чапаевым, который перед отъездом на фронт играет на рояле фугу фа-минор Моцарта.

Похождения и приключения Петра Пустоты, командующего эскадрой в дивизии «матерого мистика» Чапаева, становятся все более и более экстравагантными и миражными. Ситуация на фронтах неясна: «Берут и отдают какие-то непонятные города с дикими названиями — Бугуруслан, Бугульма... А где это все, кто берет, кто отдает — не очень ясно, и главное, не особо интересно». На горизонте появляется Григорий Котовский, озабоченный метафизикой сна и поисками кокаина, потом «черный барон» Юнгерн, выступающий в роли экскурсовода по загробному миру в формате Валгаллы...

Потом следуют несколько повторяющиеся (и сопровождаемые наглядными примерами) рассуждения о том, что мир — всего лишь калейдоскоп постоянно меняющихся форм, а сокровенной сутью его является Внутренняя Монголия, она же пустота. Дальше остается только глиняный пулемет, претворяющий любое бытие в ничто...

Неудивительно, что на этом солипсистском фоне все реалии революции и гражданской войны, все идеологические и ценностные различия между красными и белыми, намеченные вроде бы в начале повествования, обнаруживают свою истинную и общую природу — мнимость: «Сила ночи, сила дня — одинакова х...я».

С чем-то подобным мы сталкиваемся и в романе Владимира Сорокина «Голубое сало». Сорокин, правда, акцентирует радикально постмодернистский характер своего повествования, смешивая в нем фантастическое будущее (середины двадцать первого века) и абсолютно абсурдистское прошлое, описания изощренных садомазохистских процедур и замысловатый русско-китайский сленг геной инженерии, порнографические фантазии и охальный исторический пастиш. Главная цель автора — превратить в винегрет, круто заправленный кровью, спермой и «голубым салом», советский канон с его центральными событиями, фигурами и культурными символами. Поэтому здесь в одном «хронотопе» действуют Молотов с его женой, княгиней Воронцовой, и «золотопромышленник Рябушинский», интеллигентнейший Берия и Мика Саввич Морозов, поэтому Сталин и граф Хрущёв — любовники, поэтому эти двое братаются с Гитлером и его командой на торжественном приеме в Бергхофе.

Однако не забывает Сорокин и собственно революционный аспект советского мифа, расправляясь с ним через пародирование творческой манеры и мысли Андрея Платонова, сосредоточенной на грани между живым и мертвым. Вместо паровоза здесь ломтевоз, топка которого питается «проявленными трупами врагов революции», точнее, их отделенной от костей плотью. Топливо это, впрочем, тоже бывает разного качества:

«— На чьих ломтях идем? — поинтересовался другой безногий. — Чай, на каппелевцах?»

— На офицерье нынче далеко не угонишь! — урезонил его Бубнов. — Они свой белый жир на лютом страхе сожгли! С их костей срезать нечего!

— Стало быть, на буржуях прем? — оживился инвалид.

— На них, — крикнул Бубнов».

А вот — картина боя защитников пролетарского ломтевоза с наседающими беляками: «Загогин открыл инструментальный ящик и вытянул два обреза с не умеющими удивляться дулами. Бубнов передернул затвор обреза, посылая в ствол сонный патрон, и, высунувшись из кабины, стал крупно садить по белым... Одноглазый исчез в быстром пространстве. Двое других навалились на Загогина, уставшего

ждать врага с честной стороны... Зажогин закричал в свое нутро, и крик его, как перегретый пар в закрытом котле, утроил силы разрушаемого организма...» Впрочем, по сравнению с запредельно глумливыми эпизодами, в которых действуют фигуры, «напоминающие» Ахматову и Мандельштама, — эта стилизация выглядит почти невинной.

Понятно, что революция как исторический феномен мало интересует как Пелевина, так и Сорокина. Резвость обоих стимулируется с одной стороны — общим постмодернистским духом времени, располагающим к тотальному осмеянию всего, а с другой — естественным, хоть и не вполне безобидным желанием поплясать на развалинах культовых храмов и дворцов, воздвигнутых советской властью. Эйфория от самой возможности совершить это освобождающее действие в 90-е годы еще кружила головы.

Вскоре, однако, литераторы, обращающие свои взоры к революции, стали использовать не столь ернические, более вдумчивые ходы и приемы. Вот роман Дмитрия Быкова «Орфография», впервые опубликованный в 2003 году. В нем плодовитый писатель прикоснулся к раннеревolutionному периоду советской истории в двух ракурсах: в гротесковых зарисовках людей, быта, психологии того времени — и через рефлексию о причинах, ближайших последствиях и тенденциях происходившего в ту пору.

Быков, в том числе устами своих героев, признает, что к «моменту октября» Россия пребывала в разобранном и помраченном состоянии. И дело не только в застарелых социальных проблемах, резко усугубленных неудачной войной. Главным фактором катастрофы, по Быкову, было моральное банкротство общества, в первую очередь — интеллигенции, с разными ее слоями и фракциями, от твердолобых монархистов до эсдеков и «декадентов». Впрочем, не пренебрегает автор и мистической парадигмой: «...не в безвластии было дело, а в размытости зрения, внезапно постигшей всех. Словно пелена опустилась на мир, чтобы главное и страшное свершилось втайне».

Главный герой романа, литератор и журналист, пишущий под псевдонимом Ять, — человек совестливый, ясный, разумный. Именно его глазами смотрит автор на события первого послереволюционного, 1918 года в Петрограде. Изначально он не так уж враждебен новому строю, понимает обусловленность событий и даже оппонирует самым замшелым врагам советов: «Ошибкой было сводить все к воцарению татарских нравов — это значило игнорировать здоровую и свежую силу, которая иногда угадывалась даже за простотой матросиков и их вождей-агитаторов: не все были *темные*, и Ять это знал».

Но постепенно, по воле автора, Ять начинает прозревать глубинную, подспудную суть происходящего. Он видит, как из сумятицы, нелепицы, утопических прожектов власти и выплесков стихийной жестокости масс — характерных для любых переворотов — выкристаллизовывается система безжалостного подавления несогласных, отвержения и уничтожения всех, «кто не с нами».

Все вроде бы правильно, да только вот — слишком ясно и логично. Суть происходящего интерпретируется здесь с помощью очень простой схемы. Революция — это столкновение хаоса с порядком, обнаглевшей черни и авантюристов-агитаторов с людьми образованными, мыслящими, ответственными — с «лучшими людьми». Автор словно бы говорит нам: да, представители высших классов и культурной элиты — тоже не ангелы. Да, они отягощены недостатками, грехами, даже пороками. Но ведь сами их слабости и недостатки пребывают на недостижимой высоте для плебса и его самозванных вождей. (Кстати, доказывая человеческие достоинства, индивидуальные и коллективные, «бывших», Быков временами впадает в совсем уж умиленный тон.)

Этот тезис, однако, в немалой степени дезавуируется самим повествованием. Вымышленная история Елагинской коммуны, куда новая власть решила собрать цвет петроградской интеллигенции, служит сюжетным стержнем и главной модельной ситуацией романа. Через этот опыт Быков демонстрирует быструю эволюцию молодой

советской власти от взбалмошной, вздорной, но все же «проективности» к истребительному насилию и тоталитарности. Финал коммуны трагичен: науськанная начальниками-чекистами банда inferнальных люмпенов разгоняет эту пародию на «телемскую обитель», а некоторых ее членов убивает.

Однако перед этим сотни страниц посвящены изображению отношений внутри коммуны, портретам ее участников, за которыми просвечивают реальные исторические фигуры. Отношения — это непрерывный спор (периодически переходящий в склоку) на идеологические, политические, философские, бытовые темы, а также борьба за самоутверждение. Перед нами мелькают силуэты властителей тогдашних дум: Горького и Блока, Ходасевича и Горнфельда, Маяковского и Хлебникова, Чуковского и Шкловского — и все они набросаны живым, быстрым, пристрастным росчерком пера. Автор не щадит своих персонажей — даром, что все они реальные или потенциальные «жертвы режима», — находя в каждом свою червоточинку, порок, слабость. А главное — они ни при каких обстоятельствах не могут согласиться между собой о сущем и должном, о причинах и смысле революционного катаклизма, о совместной линии противостояния или приятия новой власти.

Это, собственно, и есть одна из целей Быкова — показать мозаичность тогдашней (всегдашней) российской интеллигенции с ее родовой чертой: неспособностью к сотрудничеству внутри себя или с любым правительством. Но изображение носит слишком уж обвинительный уклон. Хламида (Горький) совмещает фарисейство с недобрым интересом к самому темному в жизни; Блок, данный мельком, — человек с давней и безнадежной душевной патологией; Корабельников (Маяковский) — беспринципный властолюбец от поэзии.

Особенно обильно подмешивает автор желчи в чернильницу, показывая большевистских вождей. Чарнолуский (Луначарский) — напыщенный и неумный, хоть и почти безвредный говорун, не способный ни к какому делу. Даже мысль об организации той самой коммуны ему подбрасывает Ятя: «Он [Чарнолуский] потому так ухватился за эту идею, что обнаружил наконец истинное направление своей политики. Прежде он так и не знал, с какого конца подступиться к просвещению, — теперь же все вставало на свои места. Профессура будет на него молиться». И в таком карикатурном виде нарком просвещения шествует по всему роману.

То же относится и к Апфельбауму (Зиновьеву) — неразборчивому в средствах карьеристу и демагогу, к Воронову, Бродскому — патологически жестоким функционерам ЧК. Все эти образы нарисованы в эстетике мрачного шаржа и совершенно не претендуют на историческую достоверность. В подзаголовке «Орфографии» значится жанровое определение: «Опера в трех действиях». Уместнее, однако, сравнить этот опус Быкова с объемистым «каприччио», вариацией (слишком вольной) на вечные российские темы: власть, народ, интеллигенция, цели и средства, вечная потребность в единении и вечный раскол.

В романе «Остромов» писатель продолжил живописание российской жизни в условиях большевистской власти, теперь уже укрепившейся, отлившейся в определенные формы. В новый роман переместились некоторые персонажи «Орфографии», а кроме того там сохранилась атмосфера полумистического, полутриллерного карнавала.

Еще более последовательно, чем в «Орфографии», Быков занимается риторическим поношением нового строя, отрицанием его духа и буквы. Представители большевистской элиты, обобщенный «пролетарий», низовая населенческая масса — все это вместе Быков удостоивает презрительно-нерасчлененного обозначения «они». После революции настало «их» время.

Получается — все сводится к тому, что в 1917 году в России к власти пришли крайне несимпатичные люди, чтобы не сказать — дьявольские отродья. А пострадали от революции люди хорошие, честные и чистые — вроде главного героя «Остромова» Дани, идеализированной версии Ятя. Даня, «невинный отрок», личность серафического склада, много размышляет о наступившем новом эоне, в котором человеческая цивилизация соскользнула с рельсовой колеи гуманизма и начала движение по голой почве, по глине. В романе есть довольно радикальная догадка на этот счет, данная,

правда, устами повествователя: «Истина же заключалась в том, что... к 1915 году вся развесистая конструкция, называвшаяся Россия, с ее самодержавной властью, темным народом, гигантским пространством... была нежизнеспособна, то есть мертва». Большевицкая же революция — трагифарсовая попытка гальванизировать труп.

Все в этом романном мире неясно, мерцает, колеблется — все кроме стойкой, даже форсированной эмоции личного авторского отвращения к советскому строю. Быков демонстративно и весело отвергает всякие попытки рационального осмысления тех событий, всякий социальный анализ: почва, корни, генезис, закономерности. Что ни говорите, а есть в этом инфантилизм, пусть изобретательный и по-своему обаятельный. Писатель безудержно увлечен своей творческой игрой, бросая в топку воображения огромные куски реальности.

Если сопоставить объемистые романы Быкова с книгой (трудно определить точно жанр этого текста) «Аристонмия» Б.Акунина, то впечатление возникает двойственное. В художественном плане проза Быкова, при всех ее дефектах, излишествах и провалах вкуса, намного привлекательнее мастеровитой гладкописи создателя Фандорина и Пелагии. Есть у Быкова взлеты фантазии и психологические проникновения, которые для Б.Акунина недостижимы, — это надо принять как данность. С другой стороны, в «Аристонмии» феномен революции рассмотрен, конечно, гораздо более обстоятельно. При том, что исходная сюжетно-психологическая ситуация тут однотипна с использованной Быковым: нормальный, чистый молодой человек из «бывших» — в гуще кровавых революционных и постреволюционных событий.

Б.Акунин декларирует в своем опусе установку на объективность. Начинает он повествование с «хорового диалога» о России, ее проблемах, бедах и перспективах, ведущегося интеллигентами в последнюю предреволюционную зиму. И в этом хоре различимы голоса монархистов-традиционалистов, сторонников «железной руки», либерал-демократов. Хорист-большевик (будущий комиссар Рогачёв) тоже присутствует, но слова ему не дано — только оппонирующая усмешка.

А дальше, по ходу сюжета, автор как бы взвешенно оценивает субъективную истину каждой из спорящих сторон, соотносит ее с исторической реальностью. Однако в целом изобразительная и оценочная перспектива у Акунина схожа с быковской: преобладают в ней смачные описания террора, разгула черни, культурно-нравственного упадка и прочих безобразий, воцарившихся на просторах России после переворота. Различим тут и постоянный рефрен, подспудно обращенный к интеллигенции: «При царе вам плохо было? Ну, так получите». И, как принято, довольно едкий разбор грехов и слабостей «образованного класса», способствовавших катастрофе.

Главный герой, Антон Клобуков, проделывает извилистый сюжетный путь, оказывается то в «чрезвычайке», то в Швейцарии, то у белых, то у красных, обольщается то одной теорией, то другой — но в итоге этот мятущийся юноша решает отказаться от позиции в российской междоусобице, вообще от всякой активности и выбирает «неделание». Характерно, однако, при каких обстоятельствах он окончательно оставляет попытки интегрироваться в строй советской жизни. Кавалерийский полк красных учиняет погром в одном из местечек Западной Украины (немного, правда, странно — еврейские погромы статистически чаще совершались сторонниками Белого движения, не говоря уже о петлюровцах и «зеленых»). Физиологические подробности насилия и убийств еврейских девушек даются автором вполне бестрепетно. И вот когда прибывший на место преступления комиссар Рогачёв объявляет жестокую, но объяснимую карательную меру — расстрел каждого десятого в провинившихся эскадронах, Антон окончательно надрывается и решает принять «социальную схиму». Хотя по ходу романного сюжета ему приходилось сталкиваться с куда более страшными в житейском и моральном плане ситуациями.

И пусть Б.Акунин скрупулезно раздает всем сестрам по серьгам, пусть педантично взвешивает и распределяет ответственность, пусть отмечает, что у «народа» были, безусловно, причины роптать против власти и даже ненавидеть образованных и имущих — все равно историософский итог его построений не просто однозначен (это бы еще ничего), но известен заранее. Революция берется здесь только в ее энтропий-

ном, деградантном аспекте, показана стихией деструктивной, отбрасывающей общество назад, в прошлое. Цели и мотивы ее стойких, принципиальных приверженцев не только тонут в потоках демагогии, в разгуле низших инстинктов толпы, но и сами по себе оборачиваются жестокими и бессмысленными утопическими прожекторами.

Что же касается художественных достоинств романа — приходится признать, что перед нами не более чем иллюстрированная моральная дидактика (собственно, это и было намерением Акунина — ведь половину этого нестандартного текста составляет изложение авторских взглядов на человеческую природу, человеческое достоинство, на пути и цели антропологической эволюции). Объемность, живость, убедительность изображения не обеспечиваются последовательным помещением в фокус нескольких сменяющих друг друга плоскостных картинок.

После прочтения опуса Б.Акунина, как и романов Быкова, невольно задаешься вопросом: каким образом уже через несколько лет после окончания действительно катастрофического периода жизнь в стране смогла войти в некие нормальные рамки — и стала развиваться в новом русле? Тут стоит вспомнить пристального и пронизательного, к тому же остро критичного к революции наблюдателя и аналитика — Георгия Федотова, бывшего свидетелем самых драматических событий в России, а с середины 20-х годов жившего в эмиграции. Поначалу Федотов был абсолютно непримирим к большевистскому режиму и тому, что он нес его родной стране: «Имморализм присущ самой душе большевизма, зачатого в холодной, ненавидящей улыбке Ленина. Его система — действовать на подлость, подкупать, развращать, обращать в слякоть людей, чтобы властвовать над ними...» Нетрудно заметить, что это его суждение очень хорошо гармонирует с духом и буквой инвектив, адресуемых советской власти и Быковым, и Акуниным.

Федотов, однако, никогда не позволял себе последней горькой отрады эмигранта: предать безудержной анафеме все, что происходит на покинутой не по своей воле родине. Он, полностью сохраняя верность своим политическим и нравственно-религиозным убеждениям, через несколько лет стал признавать, что влияние революции на строй жизни в России было не только негативным.

Федотов писал: «Ни в чем так не выразилась грандиозность русской революции, как в произведенных ею социальных сдвигах». Он отмечал — как неоспоримо позитивные — следующие моменты: широкое распространение грамотности, пробудившее в рабочих и крестьянских массах еще большую жажду знаний; разрушение сословных перегородок и «потолков», давшее стране новую социальную мобильность; появление в Советской России широкой прослойки людей, нацеленных на действие, достижение, преобразование действительности.

В статье 30-х годов «Тяжба о России» Федотов набрасывает двоящуюся картину современной советской реальности. В одном ракурсе — преобладают «трупный воздух», «система всеобщего полицейского сыска и провокации», «удушье застенка», «подражание Иуде». В другом — «образы здоровья, кипучей жизни, бодрого труда и творчества... Россия, несомненно, возрождается материально, технически, культурно». А потом он задается вопросом: «Как согласовать эти два портрета Советской России, которые оба зарисованы множеством надежных свидетелей?» И — пытается, анализируя разнонаправленные и даже взаимоисключающие явления и тенденции, вывести равнодействующую — «моральный баланс России».

Вот этого-то поиска равнодействующей, моральной и социально-культурной, зачастую не достает современной литературе, говорящей о революции и послереволюционных путях страны. Дело ведь не в том, чтобы быть «за белых» или «за красных», чтобы признать один — состоявшийся — исторический выбор ошибочным, а другой, оставшийся в потенции, правильным, или наоборот. Сейчас даже самые левонастроенные писатели и публицисты (например, Сергей Шаргунов, посвятивший революционному периоду много страниц своей книги «Катаев. Погоня за вечной весной») затрудняются однозначно стать на сторону большевиков. Но вот Быков в «Остромове» сам предложил некую историософскую дихотомию, противопоставив «самоценное зверство» Ивана Грозного «созидательной ярости» Петра. К какому полюсу ближе был

революционный российский проект XX века? Таким вопросом по меньшей мере уместно задаться.

...В романе Прилепина «Обитель» как будто есть попытка пристальнее взглянуть в реальность 20-х годов, пусть и сквозь весьма специфическую призму — призму печально знаменитого Соловецкого лагеря особого назначения (СЛООН). В отличие от рассмотренных только что произведений Прилепин делает сильную заявку на фактографичность, на документальную обеспеченность текста. (Потом, правда, выясняется, что заявка эта довольно лукавая, игровая, полагаться на историческую подлинность имен и событий не стоит.)

По замыслу автора соловецкий микрокосм в романе должен представить пореволюционную Россию в миниатюре, да еще и в лабораторных условиях замкнутого пространства, повышенного давления и постоянного пребывания человека на грани между жизнью и смертью. В центре повествования — история мытарств Артёма Горяинова, попавшего в лагерь не за «политику», а за отцеубийство. Перед нами снова, как и у Быкова, и у Акунина, своего рода роман воспитания (интересно, что именно эта жанровая модель столь явно преобладает в сегодняшнем разговоре о революции). Артём — своего рода «человек без свойств», во всяком случае, без определенной идеологии, без устойчивой политической позиции или нравственных убеждений. Он молод, крепок, хочет жить, есть, любить.

В «Обители» упор сделан на «весомость, грубость и зримость» изображения. В фокусе — «фактура» существования Артёма в лагере, его телесные и ментальные переживания. Тут Прилепин в своей стихии, насыщая текст экспрессивными описаниями вкусовых, обонятельных, осязательных ощущений, приступов голода, холода, боли, вожделения. Общий жизненный фон — устрашающий: героя, как и других, на каждом шагу ожидают насилие, издевательства, а то и смерть от руки того или иного садиста — из официальной охраны или из местных заключенных. Вот, навскидку, состояние героя, в очередной раз избитого сокамерниками: «Вся морда была в кровавой каше, в грудь словно кол забили, рот съехал набок и слипся... В виске пульсировало так, что, казалось: голова расколота, и мозг вываливается понемногу, как горячая каша из опрокинутой миски».

При этом Артём в лагере испытывает взлеты и падения, оказываясь то посреди кошмара, то почти в нормальных условиях. Вплетается в фабульную ткань и любовная история...

Разговор о России здесь, конечно, присутствует. Его ведут между собой заключенные из «бывших». Они обсуждают нынешнюю ситуацию в стране, причины и корни революции, ответственность разных слоев дореволюционного общества за случившееся. Дискурс этот играет в романе подчиненную роль — по сравнению с перипетиями сюжета и анализом внутренних состояний героя, — но по ходу его попадаются довольно меткие и самокритичные — со стороны противников нового режима — суждения, вроде следующего: «Была империя, вся лоснилась... А вот Соловки. И всем тут кажется, что это большевики — большевики все напортачили... А это империю вывернули наизнанку, всю ее шубу! А там вши, гниды всякие, клопы — все там было! Просто шубу носят подкладкой наверх теперь! Это и есть Соловки!» Или, например, такое высказывание: «...учтите, с 20 года я абсолютно аполитичен. Командование Белой армии своей глупостью и подлостью примирило меня с большевиками раз и навсегда... Соловки — это отражение России, где все как в увеличительном стекле — натурально, неприятно, наглядно».

Прилепин делает попытку проникнуть в строй мотивов и побуждений вершителей революции. Но и он, живописуя фигуру начальника лагеря «железного чекиста» Эйхманиса, идет изрядно стандартным путем, подчеркивая разрыв между намерениями и результатами. Правда, по сравнению с Рогачёвым из «Аристомии» образ получился более живым, разнокачественным. Эйхманис предан делу, «сурово-справедлив», искренне стремится превратить подчиненный ему лагерь в цех перековки-переплавки контрреволюционеров и «темного элемента» в полезных членов обще-

ства. Однако власть над людьми и их судьбами разлагает и его — по ходу сюжета в Эйхманисе все чаще прорываются жестокость, своеволие, презрение к людям.

Один из ключевых моментов в смысловом развитии повествования — эпизод, в котором Эйхманис объясняет, что Соловки — лаборатория, в которой проверяется способность советской власти изменить — к лучшему — человеческую природу. Одновременно он защищается от обвинений в царящей в лагере жестокости, ссылаясь на то, с каким «человеческим материалом» ему приходится иметь дело. Весь строй повествования показывает, что в его аргументах есть доля правды, но сути дела это не меняет. Жестокость, насилие — главные параметры жизни в Соловках, а перековки людей по новому социальному шаблону не происходит. Ближе к концу романа Эйхмана отзывают, после этого в лагере воцаряется беспредел, а жестокость чекистов, явившихся навести здесь порядок, изображается автором как «лекарство, которое хуже болезни» (отмечу параллелизм этого эпизода с аналогичным в «Аристономии»).

В итоге нужно сказать, что для «идеологического романа», на что, похоже, претендовал Прилепин, в его произведении слишком мало идеологии (в широком понимании) и слишком много «романа».

От «Обители» — к другому «блокбастеру»: «Зимней дороге» Леонида Юзефовича. Эта книга имеет жанровое обозначение «документальный роман» и тем самым сближается с опусом Прилепина — при том, что документализм здесь подлинный, а не имитированный, как в «Обители». Есть еще один момент типологического сходства между этими текстами: Юзефович тоже стремится показать «большое в малом», представить образ гражданской войны через ее запоздалый и периферийный эпизод, разыгравшийся в Якутии в 1923—1924 годах.

Впрочем, автор, вероятно, сказал бы, что никаких моделей он выстраивать не хотел, что попытка бывшего белого генерала Пепеляева отвоевать у большевиков Якутский край, а возможно и весь Дальний Восток, привлекла его сама по себе, своим уникальным драматизмом и экзотичностью декораций. Действительно, обстоятельства противостояния дружин Пепеляева и отрядов под водительством красного командира анархо-коммуниста Строда впечатляют своей неординарностью. И все же — в этих событиях, и не без «подахи» автора, отразились многие параметры и особенности эпохального революционного противостояния.

Место действия — север Дальнего Востока с его малолюдьем, громадными пространствами, суровыми и величественными пейзажами, делающими человеческое присутствие необязательным, даже случайным. И на этом фоне Юзефович рисует картину эпическую, отсылающую чуть ли не к «Илиаде» и «Одиссее» — со множеством персонажей, обилием кровавых схваток, героизмом и предательством, долгими и опасными путешествиями по суше и воде.

Манера изложения здесь подчеркнута нейтральная, беспартийная. Описания скупы и функциональны. Зато отдельные отобранные детали, характеризующие специфику полупартизанской войны на этих бледно-сумрачных пространствах, создают по-настоящему мощные эффекты. Вот пепеляевцы взяли в кольцо отряд Строда в местечке Сасыл-Сарсы. Обороняющиеся возводят вокруг своего лагеря укрепления, используя для этого мерзлый конский навоз, а также трупы лошадей и людей — своих и чужих: «В центре небольшой земляной площадки, буро-красной среди окружающих усадьбу снегов, чернели продырявленные пулями юрта и хотон с девятью десятками раненых, а вокруг этого кишящего вшами ада громоздились чудовищные, как в апокалиптическом видении, стены из человеческих и конских трупов...» И далее: «Звякали пули о мерзлые тела, отрывали пальцы, куски мяса, попадали в голову. От удара пули голова раскалывалась, и внутри был виден серый окостеневший мозг. Труп вздрагивал, некоторые падали наземь. Их клали обратно. Казалось, мертвые не выдержат сыпавшихся на них ударов и закричат: "Ой, больно нам, больно!"».

Юзефович строит книгу как некое «параллельное жизнеописание» Пепеляева и Строда — конечно, с включением эскизных портретов других участников тех событий. Итогом такого сопоставления становится мысль об известной личностной и даже идейной близости этих непримиримых врагов. Строду, по Юзефовичу, чужды демаго-

гия, жестокость и фанатизм многих других большевистских лидеров (с подспудным объяснением — он же не большевик); Пепеляев же изображен как «мужицкий генерал», как человек, еще с дореволюционной поры разделявший идеалы народовластия и социальной справедливости. В том, что этим людям пришлось сойтись в смертельной схватке — жестокая ирония времени. Впрочем, и обычных жестокостей, творимых с обеих сторон, в «Зимней дороге» хватает.

Юзефович в своем повествовании выдерживает роль беспристрастного наблюдателя-аналитика, знакомящего читателей с тем, как было «на самом деле». Правда, симпатии и антипатии его проявляются в том, что любое «сомнение» он трактует не в пользу красных, предполагая в их действиях мотивы, более низменные, чем у их противников. И все же «Зимняя дорога» выгодно отличается от рассмотренных раньше книг своей реальной, а не показной приверженностью фактам, документальным свидетельствам, подлинным интересом к побуждениям людей, отстаивавших свои убеждения, свою правду в том свирепом противостоянии.

И все же самым интересным «сочинением на тему революции» мне кажется другое произведение того же Юзефовича — его роман «Казароза», опубликованный в начале этого века (правда, исходный вариант, повесть «Клуб "Эсперо"», был создан много раньше). «Казароза» — книга небольшого объема, к тому же принадлежит формально к жанру детектива, что было резко подчеркнуто в телесериале по мотивам этого романа. Однако как ни странно, именно в этом, непритязательном на первый взгляд, произведении есть качества, столь прискорбно отсутствующие во многих книгах, о которых здесь шла речь.

Сюжет «Казарозы» разворачивается в 1920 году в неназванном уральском городе, предположительно Перми, но он перебивается хронологическими врезками эпохи 70-х: постаревшие герои, обитая в повседневности зрелого социализма, вспоминают о бурных событиях и переживаниях молодости — своей и «советской страны»...

Город совсем недавно занят красными, здесь царят неустроенность, разруха, идеологическая истерия. И наряду с этим — бурное оживление культурной жизни, пусть и в своеобразных формах. Главные герои романа, коммунист Свечников и юный газетчик Вагин — участники эсперантистского движения, расцветшего в Советской России, — ведь общемировой язык как будто соответствует интернационалистским устремлениям новой власти. Они пытаются распутать клубок загадок, связанных с убийством петроградской певицы Казарозы во время концерта в клубе эсперантистов.

Вьется традиционный детективный сюжет, подозрения перебрасываются с одного на другого, объяснения возникают и рушатся, мотивы мерцают. По ходу дела сталкиваются амбиции, идейные установки, карьерные или «пайковые» (кругом скудость, голодуха!) интересы, любовь и ревность. Кипят фракционные страсти и свары в среде эсперантистов, следит за ними зоркий глаз ГПУ...

Колорит времени передается многочисленными деталями, неброскими, но значимыми. Трогательно обрисован образ Казарозы, певчей птицы, запертой в железной клетке военного коммунизма. Возникают — в духе Умберто Эко — тени тайных обществ, эзотерических конспираций, чтобы тут же растаять. Детективная фабула разрешается прозаически и социологически — попали в Казарозу, а стреляли в самого Свечникова, чтобы отомстить за его выступление в губсуде, усугубившее приговор обвиняемому.

Юзефович и здесь берет на себя роль чуть отстраненного, чуть ироничного наблюдателя. Ему близка скептическая экклезиастова мудрость: «Все суета сует...» Большого исторического смысла в деяниях революционной эпохи он не видит — ведь и ему ведом конечный результат. Миропотрясающих изменений, на которые надеялись творцы и бойцы революции, не произошло, с течением времени все стареют и устают — люди, боги, идеологии, принципы. В этом, очевидно, смысл столкновения разных временных планов — в демонстрации мощи «всепожирающего времени».

И при всем при том — автор улавливает и передает существенную характеристику той эпохи: владеющую людьми яростную волю к небывалому, к скачку в иное бытийное измерение, к штурму небес. И он принимает это, по меньшей мере, как

данность. Юзефович показывает, что благородная утопия всемирного языка и восторженная, воспаленная, порой пугающая «проективность» большевизма растут из одного корня. Вектор устремленности «вперед и вверх» ясно проступает в романе сквозь сумерки нищеты, бестолковщины, сквозь шелуху лозунгов и догм, столь характерных для постреволюционного периода.

К чему все это пространное обсуждение? Я не собираюсь укорять кого-либо в предвзятости, несправедливости оценок, в односторонней идейной позиции. Авторы наших дней пребывают внутри нынешней социально-культурной парадигмы — парадигмы либерального гуманизма, индивидуализма, толерантности и «новой телесности». Изнутри этих рамок революция — с ее самозабвенным фанатизмом и гекатомбами, обобществлением и мобилизациями — выглядит явлением чуждым и устрашающим.

Вполне естественно с культурологической точки зрения и то, что современные писатели по большей части смотрят на феномен революции глазами представителей тогдашнего «образованного класса». Не с пролетариями же и не с «пьяной матросней» — которая и впрямь понаделала тогда дел — самоотождествляться. И, конечно, не с «кремлевскими мечтателями», которые вздернули Россию на экспериментальную дыбу. Социально и психологически им ближе тогдашние интеллигенты и выходцы из имущих классов.

И все же... Речь у нас о художественной литературе, а не об академических штудиях. А раз так — авторы, с одной стороны, имеют полное право насыщать повествования своими симпатиями и антипатиями. С другой же — они не должны быть до такой степени рабами «конечного результата». Ведь их герои этого результата не знают, ими владеют страсти, надежды, заблуждения, верования текущего момента!

Не были всеведущими и писатели, изображавшие революцию с нулевой хронологической дистанции. Конечно, Алексей Толстой и Шолохов, Леонов и Платонов, Бабель и Фадеев, Булгаков и Лавренёв были отчасти ослеплены и оглушены грандиозностью событий, да и давление социального заказа было неслабым. И все же они сумели передать в своих книгах и ужас, и величие времени, а главное — живую боль разлома, прошедшего через умы и сердца, через поколения, семьи, интимнейшие человеческие отношения.

Сегодняшние прозаики не способны переживать те события с такой же эмоциональной интенсивностью. Что ж, значит, им нужно бы компенсировать это особым упором на историзм, стремлением «влезть в шкуру» тех людей, проникнуться их настроениями, их чувством жизни. На деле же они по большей части довольствуются тем, что читают прошлому моральные нотации, сформулированные задним числом.

Но, может быть, вообще нет особой нужды обращаться к тем жестоким и явно неактуальным материям? Тут два момента. Во-первых, советская эпоха сохраняется на дне коллективного российского сознания неким нерастворимым осадком. И обществу, чтобы справиться с этой «занозой», следует выработать взвешенную, может быть даже компромиссную оценку этого прошлого, в первую очередь его исторического ядра — революции и гражданской войны. У литературы есть своя функция в этом процессе.

И второе. При всей «центробежности» и калейдоскопичности сегодняшней жизни потребность в общих убеждениях и ценностях смутно ощущается. Многие, многие тоскуют по целям и смыслам, возвышающимся над плоскостью единичного повседневного существования. Одна религия не может удовлетворить этот подспудный запрос. Так может быть, стоит поискать в запасниках истории, в том числе и советского периода, какие-то «артефакты», способные сегодня привнести импульсы альтруизма и солидарности в нашу реальность полураспада?

Ольга Балла

Потому и обжигает

Алексей МИЛЛЕР. Нация, или Могущество мифа. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016.

Понятие «нация», может быть, одно из наиболее парадоксальных в современном мышлении. Сказать, что соответствующее явление недопонято как будто и язык не поворачивается: оно как раз из тех, которые, скорее, обременены избытком толкований, гиперинтерпретированы — о сущности нации и национального с разных позиций сегодня говорят и пишут очень даже охотно. Запрос в интернете на один только английский вариант этого слова, *nation*, дает, по свидетельству автора, 700 миллионов ссылок. В русском сегменте интернета — по его же свидетельству — всего 8 миллионов, но уж и того хватает. (Отдельный вопрос, что такая заговоренность, безусловно, принадлежит к числу тех факторов, которые ясности понимания, скорее, препятствуют.) Более того, в течение последних полутора веков, как говорит сам Алексей Миллер, «нация» вообще представляет собой одно из ключевых понятий наук об обществе. (Далее он еще уточнит: не столько последние полтора века, сколько последние, примерно, три десятилетия.)

Штука, однако, в том, что это ключевое понятие — как сам же автор нам вскоре и покажет — если и применимо как аналитический инструмент, то лишь в весьма ограниченной степени и с большой осторожностью. (Кстати, необходимость такой осторожности, обоснование этой необходимости и составляет в книге один из основных предметов внимания академически сдержанного автора.)

Самое же главное: это понятие, похоже, неустранимо конфликтно, по крайней мере — в его нынешнем состоянии, с чем, собственно, и связана ограниченная его применимость в качестве аналитического инструмента. Именно потому о нем, особенно в последнее время, так много и говорят, что оно — сплошная болевая точка. Беспристрастно говорить на эту тему, оказывается, (почти) невозможно.

Или все-таки хоть как-то возможно? — тем более, что в задачи науки — а именно с ее позиций говорит с нами автор — вообще-то входит именно это. Алексей Миллер — профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Центрально-Европейского университета в Будапеште, ведущий российский специалист по истории наций и национализма (то есть — знающий предмет, как мало кто), по крайней мере, попытался.

Во всяком случае, чтобы помочь читателю разобраться в предмете, Миллер выбрал, пожалуй, наиболее разумный из способов говорить о нем.

Может быть, важнее всего (и мне кажется, труднее всего для автора) то, что он с самого начала — насколько вообще возможно — исключил из обсуждения «нации»

тему столь же взрывчатую, сколь неразрывно, казалось бы, с нею связанную: тему национализма (изучению которого как исторического феномена он, кстати сказать, отдал много усилий), и это при том, что даже среди исследователей более прочих распространен такой подход к проблеме, который рассматривает нацию и национализм в их глубокой взаимосвязи. Дело даже не в том, что национализм — тема сама по себе до губительного разросшаяся: достаточно сказать, что, снова цитирую автора, «только первый том «Энциклопедии национализма» насчитывает более 900 страниц формата А3», а в небольшую карманную книжечку всего не уместить (насколько компактным умеет быть Миллер при описании большого и сложного, нам еще не раз предстоит убедиться). Беда, скорее, в том, что «в этой паре национализм, как правило, выходит на первый план и существенно сдвигает исследовательский фокус». Вот этого Миллер намерен избежать — и успешно избегает.

Автор извлекает из темы ее наиболее язвящее жало — хотя следы капелек яда, этим жалом источаемого, внимательный читатель на этих страницах заметит.

Сложившееся к нашему времени понятие «нации» (не уместнее было бы тут, впрочем, множественное число? — ныне действующие понятия изрядно расходятся) Миллер представляет через его историю — начиная прямо от Древнего Рима, которому мы обязаны самим словом *patio* — обладавшим, что важно, совершенно отличным от привычного нам значением.

Тема энциклопедически широка, тем не менее Миллеру удается вполне виртуозно уложить ее во внятную, обозримую формулу. Он прочерчивает траекторию развития связанного со словом «нация» смыслового комплекса, обозначив ключевые точки, в которых эта траектория меняла свое направление. Означавши в устах римлян «различные группы проживавших в империи пришельцев, которые не имели статуса граждан», слово *patio* в обиходе средневековых латиноговорящих европейцев стало, начиная с XIII века, относиться к студенческим корпорациям в университетах; к началу века XVIII этим словом уже называли дворянскую корпорацию (в этом смысле употреблял слово «нация», между прочим, и наш Денис Иванович Фонвизин, рассуждая о русском дворянстве), и лишь в конце того же столетия Великая Французская революция придала слову новое, небывалое прежде значение (легшее так или иначе в основу всех нынешних): нация как третье сословие, как суверенный народ.

Вместе с тем Миллер позволяет читателю рассмотреть и то, откуда, собственно, в понятии взялась — и как устроена — та самая его конфликтность, которая сегодня кажется такой неустраимой. Он прослеживает, с каких пор тема вообще приобрела известную нам жгучесть — оказывается, это случилось совсем недавно: «Вплоть до 80-х годов XX века тема нации и национализма не занимала центрального места в поле интересов наук об обществе».

Главы в книге — три, и все — исторические. Первая — собственно о накоплении смыслов слова «нация» на (изрядно неровной) европейской почве. Алексей Миллер показывает историю «нации» в европейских умах как постепенное накопление, напластование смыслов — вытеснение на дальнюю периферию одних, включение других; показывает, насколько ситуативно обусловленной всякий раз бывала такая перемена содержаний понятия и перераспределение в нем акцентов.

Вторая глава повествует о захватывающих приключениях понятия «нации» и производного от него — «национальности» — в нашем отечестве и о запутанных отношениях, в которые оно вступало в здешних головах со своими, вроде бы, аналогами — «народом» и «народностью». История его здесь оказалась тем более своеобразной, что мы понятие «нации», вместе с самим словом, не просто заимствовали из европейского обихода: мы заимствовали его — из разных источников и по разным каналам — неоднократно, по меньшей мере трижды (пусть того, само понятие «народ», верный соперник «нации», тоже было заимствовано — хотя и раньше).

Третья — о том, что случилось с понятием с тех пор, как — тоже, в сущности, совсем

недавно, на рубеже XIX и XX веков — оно попало в руки создателям современных наук об обществе, классикам социологии — Макс Веберу и Эмилю Дюркгейму и обрело, таким образом, статус научного. Нация, не особенно волновавшая умы вплоть до последней трети минувшего столетия, «не была приоритетной темой» и для классиков — однако оба они сформулировали важные тезисы, которые во многом определили последующую судьбу понятия.

Что особенно примечательно, в своем определении нации оба отца-основателя социологии обошлись без этнического, «кровного» компонента, который многим сегодня мнится не просто неотъемлемым, но вообще центральным. «Вебер понимал нацию как территориально укорененную статусную группу, которую объединяют общие представления о прошлом и общий политический опыт», видел в ней «сообщество политической судьбы», «общность, опирающуюся на культурную солидарность, единый исторический и политический опыт». Словом — то, что Фердинанд Теннис называл словом *Gemeinschaft*: сообщество, имеющее в основе «общий экзистенциальный опыт», в отличие от — не тождественного нации — государства, которое для Вебера было типичным примером теннисовского *Gesellschaft*, «политической ассоциации, опирающейся на формальные правила и рациональный договор». Дюркгейм, в свою очередь, «считал нацию, прежде всего, сообществом граждан, но подчеркивал, что эмоциональный аспект принадлежности к нации является равно необходимым. <...> В отличие от своих немецких современников Дюркгейм не обнаруживал в нации элементов, которые бы неизбежно вели к столкновению с другими нациями, и приписывал эту агрессивность немецкому ложному пониманию нации».

Коротко описав также концепцию современника Дюркгейма и Вебера, немецкого историка Фридриха Майнеке, предложившего в начале XX века оппозицию «культурной нации» и «государственной нации», автор приходит к выводу, согласно которому уже на предшествующем рубеже столетий «обозначились два подхода к проблеме нации, которые используются до сих пор. Один предлагает смотреть на сочетание *Gemeinschaft* и *Gesellschaft* в каждом конкретном случае, а другой вводит жесткие оппозиции «культурной» и «государственной», «этнической» и «гражданской» нации».

Так начинается разговор о ближайшей предыстории сегодняшних споров, которой посвящена оставшаяся часть главы. Здесь показано, какую судьбу имело понятие нации в руках трех главных идеологических сил ушедшего столетия: либералов, консерваторов и марксистов и, наконец, что с ним произошло, когда в 1980-1990-е годы оно оказалось в самом фокусе наук об обществе. А произошло с ним следующее: попав в этот фокус, «нация» «постепенно перестала выполнять функцию «объясняющего» понятия» — и сама превратилась в проблему, требующую объяснения.

Такая ситуация, впрочем, видится автору скорее обнадеживающей — по крайней мере, наиболее продуктивной в интеллектуальном смысле. Миллер обзревает наиболее влиятельные из множества существующих концепций нации; обсуждает, в частности, предлагаемые исследователями сценарии возникновения наций-государств (Миллер насчитывает четыре их типа) и то, как видится ученым соотношение процессов имперской экспансии и национального строительства. Тут, между прочим, он обращает наше внимание на довольно любопытные вещи. На протяжении многих десятилетий в историографии, говорит он, доминировало «жесткое противопоставление империи и нации-государства как двух принципиально различных и несовместимых типов политической организации общества и пространства». «Если историки говорили об империях в связи со строительством наций, то только как о препятствии в нациестроительстве, как о заведомо устаревшей политической форме». Далее он показывает несостоятельность этого стереотипа: «В действительности большинство процессов, которые подготовили создание современного государства, происходили в имперских метрополиях. <...> Ключевые для формирования наций процессы самым тесным

образом связаны с империей и межимперским соревнованием. Многие институты — от армии до научных обществ, игравшие важную роль в строительстве нации, были прежде всего имперскими институтами. Развитие коммуникаций: от систем связи (телеграф) до транспортных систем (железные дороги); развитие городов, особенно столиц и крупных портов, сочетавших роль имперских и национальных центров, — все это обслуживало интересы империи и рождалось из имперских нужд».

Без обсуждения того, как используется понятие в современной политике, разумеется, не обойтись. Но этой теме отводится даже не глава, а заключение — плотная пометка на полях, своего рода открытый итог многовековых европейских прений на эту тему, совмещенный с рассуждениями о том, какое у понятия «нации» возможно будущее.

Говорить о предмете «беспристрастно» ничуть не означает обсуждать его помимо собственных политических и ценностных позиций. У Миллера они, несомненно, имеются и, безусловно, сказываются в предлагаемом им видении предмета и его истории. К важным достоинствам книги относится, однако, и то, что автор не предлагает собственного понимания в качестве единственно истинного или наиболее правильного. Нет, он не представляет историю «нации», как можно подумать, в качестве истории слепот, тупиков и заблуждений (как, впрочем, и в качестве прогресса на пути приближения к истине) — хотя и показывает, в чем иные из них неверны или неполны и в каких ситуациях иные из них не работают. Это, напротив, история о понимании — о его историчности, о «встроенности» невидения во всякое видение.

Но и еще того более: Миллер показывает, почему такого определения нации, которое устроило бы все заинтересованные стороны, не только нет, но и не может быть. (Эта часть книги представляется мне одной из наиболее ценных.)

Думаю, помимо того, что книжечка Миллера очень неплохо ориентирует нас во внутреннем устройстве представляемого ею понятия, она еще может (да и должна) быть прочитана как пособие по историчности и объемности подхода к проблематичным вопросам, а тем самым — и по необходимо связанной с ними свободе мышления, которое не позволяет себя уловить инерциям и стереотипам и отдает себе, насколько возможно, отчет в собственных корнях. «Нация», как мы видим, несмотря на свои античные корни, — понятие молодое, горячее, плавающее (потому и обжигает). Прочитав его историю, мы можем составить себе представление и о том, что и нынешнее состояние — всего лишь часть этой большой истории, и оно, несомненно, будет преодолено.

Дмитрий Володихин

«Мало избранных...»

Алексей Иванов назвал свое новое детище, «Тобол», романом-пеплумом. Действительно, это пеплум и по объему, и по евангельской притче, заложенной в сюжетную конструкцию книги.

Помимо названия у романа есть еще и подзаголовок: «Много званных». Поэтому, думается, ключом к роману следует считать евангельскую притчу о пире: царь приготовил брачный пир для сына своего и послал рабов за всеми, кого заранее пригласили на пир, но некоторые уклонились по ошибке, иные — по лукавому умыслу, а третьи со злобою оскорбили и убили посланных за ними рабов; тогда царь через слуг своих призвал на пир случайных людей, встреченных на распустьях; в их числе нашелся человек, не пожелавший облечься в подобающую торжеству одежду, и его, по распоряжению царя, связав, бросили «во тьму внешнюю». Христианский смысл ее хорошо известен, и нет нужды растолковывать давно растолкованное. В новом романе Алексея Иванова, помимо этого, традиционного, христианского значения, есть еще и другое — культурное, историческое.

Драма «брачного пира» разыгрывается в громадном «зале», простершемся на тысячи верст в длину и ширину, «зале», населенном многими народами, разделенном многими верами. Такова широкая панорама исторической Сибири 1710-х годов, владения русского царя. «Стол», за который приглашены громадные массы людей, представляет собой своего рода миссию, выполнять же ее призвал царских подданных сам Царь Небесный.

Но кто-то из «приглашенных» уклонился от миссии, кто-то повел себя с древней злобою, а кто-то утратил любовь, веру и честь, оказавшись недостойным «пира». Вот и оказались персонажи «Тобола» разделены на две группы: «званных» и «избранных»...

Две самые светлые фигуры романа — тобольский «архитектон» Семён Ульянович Ремезов и бывший митрополит Тобольский Филофей, сошедший с кафедры на покой. Первый из них — творец по натуре. Он строит храмы, пишет иконы, создает книги, собирает сведения о Сибири. Всегда в работе, всегда в замыслах о той работе, которая, как дар Божий, еще свалится ему в руки через день, через год, через десять лет... Второй — плавает по рекам сибирским и крестит язычников, рискуя жизнью, забыв о здоровье. Он дает им новую веру не потому, что «так надо», и не потому, что из этого может проистечь некая польза Церкви, государству, его соотечественникам, а потому, что вера, которую он приносит, — дар небесный, истина и спасение.

Господь позволяет творить чудеса старику, прошедшему через полное самоотречение. Так, через святителя Филофея, забравшегося в глушь таежную, к язычникам, явлено большое христианское чудо: изгнан древний бес, живший в медном гусе. Для понимания книги очень важно, как воспринимает произошедшее новокрещен — остяцкий князь Пантила Алчеев, которому христианство давалось тяжело, чей путь наполнен был страданиями и сомнениями: «Пантила... тяжело дышал, не зная, что делать. В его душе все ворочалось и переваливалось, перекладывалось как-то по-другому. Ему случалось встречать таежных богов: такое бывает — редко, но бывает. Но не бывает, чтобы таежный бог отступил перед человеком. Можно разрубить на части или сжечь идола, но отогнать бога человек не в силах. А сейчас бог

Алексей Иванов. Тобол. Роман-пеплум: Кн.1. Много званных. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016; Кн.2. Мало избранных. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.

бежал. Это чудо. И оно явлено ему, князю Пантале Алчееву. Явлено так, чтобы он понял. И явлено новое не Филофеем, ведь старик — не шаман.

Пантила подошел к Филофею, словно проваливаясь при каждом шаге.

— Это был сатана? — робко спросил он.

— Подручный его, — спокойно пояснил Филофей.

Иванов и прежде рисовал жизнь русского человека на Урале, в Сибири как часть мистического столкновения между требовательным светом христианства и вольготной теменью бесовщины. Притом столкновение это на страницах его книг раз от разу принимает вполне материальные формы. Оно не угадываемо, оно ощутимо.

Языческой черноты — приворотной и вредоносной магии, например, и в этом романе хватает. Так, остяцкий шаман Хемьюга, защищающий свое капище от разграбления русскими воинскими служилыми во главе с есаулом Полтинычем, приводит в действие тайные силы: «Всё уже было неладно. Края поляны и глубину леса затягивала какая-то слепота. В непонятном тоскливом мороке деревья в чаще, кажется, медленно шевелились, колыхались — то ли сами оживали, то ли их трясли: похоже было, что из бездны тайги что-то огромное и невидимое приближалось к капищу, по пути натыкаясь на ели и кедры. Ряска на болотине задрожала, из черной воды тихо всплывали какие-то облепленные травой бугры... В тесном лабазе Полтиныча внезапно повалило на пол, будто избушка наклонилась набок, подобно лодке. Полтиныч выронил нож и, ругаясь, бешено заворочался, цепляясь за короб и за идола... Его катало по каморке в ворохе шкур и тряпья, и он пытался удержаться враспор. В проеме входа он увидел, как мимо проплывают деревья, точно по берегу реки...»

Но раньше автор «Тобола» не выводил на сцену христианскую мистику. При всем положительном отношении к христианству Алексей Иванов никогда не показывал действие его тайной, мистической стороны. Работа души? Да. Благочестие лучших пастырей? Да. Это есть и в «Сердце Пармы», и в «Золоте бунта». Но чудеса, совершаемые открыто, перед всеми, притом неоднократно (а чудом о медном гусе христианское чудотворение в романе далеко не ограничилось), — ничем подобным прежние его тексты не отмечены. «Тобол» — не

просто яркое произведение историко-мистического жанра, это образец христианского реализма.

Похоже, писатель-интеллигент постепенно дрейфует в сторону православной ортодоксии. Слово «Бог» с большой буквы еще не пишет, но святым в чудесах уже не отказывает. Что ж, такое движение души естественно: где вера сильнее, там душа веселится. Когда-то Иван Шмелёв открыл для русской литературы эту дорогу повестью «Куликово поле». С тех пор на нее вступило множество писателей... Найдется место и для Алексея Иванова.

Более того, чудо светлое, христианское, под его пером получает смысл своего рода знака, которым отмечены «избранные». То есть те, кому, без сомнения, дано право сидеть за столом «русского пира» в Сибири.

Но помимо очевидных «избранных» в романе есть фигуры колеблющиеся, не столь однозначные, как Ремезов и Филофей: князь Матвей Петрович Гагарин, первый губернатор Сибири, и владыка Тобольский Иоанн.

В начальных главах романа Гагарин предстает как многообещающая личность: умен, имеет крепкую хозяйскую хватку, готов к масштабным проектам, говорит правильные вещи и вроде бы желает добра Сибирской земле. Но — самовластец. Ему и государь не указ, когда правда губернатора вступает в противоречие с правдой царя.

Напротив, Иоанн, при великом благочестии, робок. Царь Пётр в деле об измене гетмана Мазепы принудил архиерея поступить против совести. Тогда «...Иоанн впервые ощутил на собственной вые руку той бесчеловечной силы, которая двигала народы и царства. И разумом Иоанн соглашался, что сила права, но совесть восставала против несправедливости, потому что в той воле не было благодати, и те, кто ее исполнял, рушили Божий порядок».

Ближе к концу книги оба изменяются.

Гагарин упивается властью и, в конечном итоге, заболевает диковинной формой властолюбия. Губернатор, передвигая «огромные пласты жизни так, как считал нужным, а не так, как того желали владыки народов и государств», обретал наслаждение от «подлинного земного величия», которое только умножалось секретной своей природой, невидимостью для глаз окружающих.

А митрополит Тобольский, надолго испуганный мощью и беспощадностью Петровс-

кого государства, в трепете склонивший перед ним голову, постепенно «отмирает»: душа его сбрасывает свинцовые оковы страха. И в одной из финальных сцен книги, сцене глубоко символической, Иоанн прогоняет из-за стола самого губернатора, заподозренного в тайном убийстве и тяжело грешного гордыней, воровством, жестокостью, опьянением тайной властью: «Владыка видел Гагарина прямо напротив себя и понимал, что больше не боится его. И никого, кроме Бога, не боится. То, что раньше ужасало его, нынче стало всего лишь омерзительным. Стозевные чудища превратились в клубки червей. Демоны в серном дыму оказались смрадными козлами».

— Напрасно ты пришел, Матвей Петрович, — негромко сказал Иоанн, но все его услышали, и разговоры затихли.

— Почему? — удивился Матвей Петрович, не успев сесть на лавку.

— Напрасно, — в тишине повторил Иоанн. — Не место тебе в этом кругу.

Матвей Петрович окинул взглядом застолье. Все смотрели на него, но почему-то никто не возражал митрополиту...

— Ну, поминайте без меня, — с усмешкой сказал Матвей Петрович. — Бог всех рассудит».

По замыслу Алексея Иванова, именно так и должно произойти: когда-нибудь всех «званных» рассудит Царь Небесный, пригласивший их на «пир». А пока жизнь земная не дает никаких явных свидетельств, кто избран, а кто нет. Разве что писатель, разматывающий клубок судеб, по-свойски подсказывает читателю, кому из персонажей досталось место за столом, а кому пора отправляться «во тьму внешнюю».

Губернатор, уходя, не гневается, не оправдывается, и это странно и страшно. Будь он менее жестоковыйным человеком, попытался бы, презрев аристократическую спесь, сообщить людям хотя бы то, что он не убийца. Во всяком случае, не убийца в прямом смысле этого слова. Будь он человеком чести, проявил бы дурную, но уж хотя бы человеческую эмоцию: крепко рассердился бы. Но князь столь высоко в думах своих воспарил от грешной земли, что уже и мнение людское ему нипочем, и сам он чуть ли не сверхчеловек, оторвавшийся от простецов...

Между тем митрополит, преодолев слабость душевную, выполняет долг пастыря: не боится пасти порченую овцу посохом желез-

ным. Иными словами, следует тому пути, который ему назначен свыше, стоит в своей правде, не искривляется.

Вот он каков, русский стол в Сибири, куда позвали всех, от высших властей до последнего нищего, от святителей до колодников! Да мало кто явился, а из тех, кто пришел на пир, не все допущены к столу.

Мало избранных...

Иоанн, Феофил, Ремезов, множество второстепенных персонажей — храбрых ратников, простых тружеников — по праву восседают за столом. Они честно делают свое дело. Работают, сражаются, творят (как Ремезов), крещают язычников (как Феофил), бесстрашно пастырствуют (как Иоанн). Все это — «прямые» личности, в них кривизны нет, а если была, так самой жизнью и душевными усилиями выправлена. Они далеко не идеальны, у них свои ошибки, свои мелкие грешки, однако образ Божий не искажен в них, а души не проиграны преисподней.

Они посажены за стол, где пируют те русские, чья жизнь и труды оправдали власть русского народа в целом над Сибирью. Те, кому следует по сию пору воздавать добрую память. Те, кто придал смысл «половодью», ревущей стихии, которую увидели местные народы в пришествии Русской цивилизации на игровую доску сибирской бескрайности.

А кому-то нет места среди них: корыстолюбивым служильцам, обдиравшим местных жителей, бессовестно жестоким приказным, себялюбивому начальству, забывшему о том, что оно тоже кому-то служит: Богу, царю, земле.

Конечно, Алексей Иванов, никогда не проявлявший любви к государственничеству, в «Тоболе» выказывает державным людям столько же (если не больше!) неприязни, сколько досталось ее Ивану III в «Сердце Пармы» и современным хозяевам жизни в «Ненастье». В его же недавно вышедшей научно-популярной книге «Вилы» подробно освещена Пугачевщина, которой автор придает смысл некоего движения за иную Россию, за страну, построенную в соответствии с идеалами регулярного казачества, например, яицкого. В трактовке Иванова Российская империя — несвобода, осуществляемая на уровне государственного строя бесчестной дворянской элитой и в то же время сплывающая миры множества идентичностей в громадное имперское единство. А вот пугачевская казачья Рос-

сия могла бы дать свободу и даже, по Иванову, начала давать ее, да вот несколько запнулась. Иррегулярное казачество в массовом социальном действии (не донцы времен Платова, а пакостники времен Смуты, буйная Сечь или, например, Яицкое войско XVIII столетия) — это, в сущности, разрушение всего скольконбудь сложного, приведение разнообразия жизни к архаичной сумме свободы, простоты и жестокости. Автор и сам замечает, что горнозаводские рабочие, горожане из купцов и ремесленников, регулярное казачество — все! — не приняли Пугачева с его разрушительной «свободой». Но почему-то упрямо украшает его буйную голову венчиком «святой» правды. Автор прекрасно видит и то, в какую цену, в какую лютую цену обошлась «волюшка» пугачевская стране, сколько народу в могилы легло, сколько и без могил-то осталось, но все же красит Пугачева со товарищи в цвета героизма, ставит их под знамена некой высокой и прогрессивной парадигмы.

Не соглашаясь, не мирясь со странными историософскими приоритетами Алексея Иванова, стоит все же приглядеться к его позиции относительно государственного строя Российской империи. Петровская эпоха, словно каменная буря, разрушила старомосковское общество с его древними идеалами. Автор «Тобола» отнюдь не выражает восторга в отношении допетровской Русской цивилизации, но считает ее, видимо, более человеческой, нежели победившее «петербургское имперство». Эту громадную, всесокрушающую силу олицетворяют в романе четыре персонажа: сам Пётр I, поданный так, что читатель, сопереживая прочим персонажам, не получит в душу свою ни крупинцы сочувствия к царю, а один только страх перед его ломящей мощью, жестокостью, нравственной неразборчивостью; полковник Бухгольц — служилец, как будто имеющий в голове «органчик», где записаны воинский устав, правила строевой подготовки да боевые команды, а более ничего нет; обучавшийся в Европе молодой офицер Ванька

Демарин — чуть смягченный вариант Бухгольца; губернатор Гагарин, о котором выше сказано, что он за человек. Человеческие чувства, отношения, идеалы у Бухгольца и Демарина заменены на одну высшую ценность — идеальное выполнение служебного долга. Пётр I обуян безумием государственного регулярства, но детище его сплошь и рядом наталкивается на персональное корыстолюбие служилыцев, которые в исполнении этого долга никакой чести не видят. Самый яркий пример — Гагарин.

Государство и государственные люди, таким образом, поданы Алексеем Ивановым несимпатично. Получается, что всему имперскому государственному порядку, введенному Петром I, не место за столом «избранных». Не ведет его конструкция ни к созиданию, ни к духовному просвещению (а значит, приближению к истине). Этот строй, как рисует его автор романа, — тупиковое отклонение; он победил, но это вовсе не значит, что за ним правда.

И трудно понять: из-за того ли скверною наполнено государственное устройство новой России, что люди, его представляющие, темны и страшны, или, может быть, людям этим придан по авторской воле столь отталкивающий облик, что общий порядок петровской империи не нравится писателю? Писатель, он ведь не историк, ему позволительно относиться к фактам как к глине, которая подчинена изменчивой художественной истине, а не строгой правде истории...

За читателем же остается право выбора: признать ту разновидность художественной истины, которой ныне предан творец литературного произведения, или же отвергнуть ее. В данном случае выбор будет куда как сложнее, чем традиционная альтернатива между западническими идеями и славянофильскими...

Алексей Иванов, как обычно, — мастер, мистик, певец сложности.

От него простоты не дожدهшься.

Александр Котюсов

Бог не простит

Читающего человека сегодня удивить сложно. Но Дмитрию Новикову это удалось — он написал роман с названием непонятым, но почему-то еще с обложки внушающим догадку, что кроется на его страницах какое-то простое русское величие, необузданная сила, небывалая красота: «Голомяное пламя». Только в середине романа проясняется: «голомя» — слово старое, северное, поморское — означает открытое море, а пламя то — радуга, опустившаяся в его объятия.

«Голомяное пламя» — роман, главным героем которого выступает природа, на первый, поверхностный взгляд холодная, порою серая и сердитая, а на деле теплая, добрая и яркая. «Нет ничего в мире красивее, чем берег Белого моря. Словно медленный сладкий яд вливается в душу любого, увидевшего это светло-белесое небо, эту прозрачную, как из родника, воду. Это серое каменное щельё, покорно подставляющее волнам свое пологое тело и благодарно принимающее лестную ласку воды. Эти громыхающие пляжи, усыпанные сплошь арешником — круглым камнем, который море катает беспрестанно, шутит с ним, играет, и в результате — не смолкаемый ни на минуту грохот, и думаешь невольно — ну и шутки у тебя, батюшко. Эти подводные царства, колышущийся рай, пронизанный солнцем, как светлый женский ситец — весенним взглядом. Этот легкий ветер с запахом неземной, водной свежести и отваги...» Описания поморской природы у Новикова многократны, их можно читать бесконечно — и бесконечно же восхищаться красотой недоступных для массового созерцания мест. Впрочем, наверное, и к лучшему, что раскрыться поморский Север не готов каждому, кто приезжает посмотреть на

него туристом. Большинству не увидеть этой красоты: будет ежиться он от скупого солнца, моросящего дождя, пронзительного ветра. И старых-то друзей северная природа с недоверчивостью принимает, ту же семгу дает поймать лишь на пятый год, а уж к новым — недоверия хоть отбавляй. «На Севере всегда так — никто не кинется к тебе с распростертыми объятиями. Но и не отвергнет напрочь».

И все же это только на первый взгляд кажется, что «Голомяное пламя» — объяснение автора книги в любви к поморской карельской природе, к Белому морю, к ветрам его, волнам, к людям, населяющим край тот, к жизненной их силе. По мере чтения, от страницы к странице, понимаешь — главная идея романа все же в ином. Идея эта одна, самая важная, она же и сюжет, и смысл произведения, и дыхание северного ветра, и всплеск холодной волны, и рык дикого зверя и многое другое — и суть ее в вопросе, заданном самому себе: правильно ли мы живем на земле, которая дала нам миллионы лет назад приют в надежде, что поумнеем мы и будем вести себя не как незваные гости, жители на одну короткую жизнь, а как рачительные хозяева, думающие о будущем, только не о своем личном, а окружающего нас мира. И не позволяет усомниться в ответе на этот вопрос Дмитрий Новиков своею книгой. Потому как ответ понятен, увы, с первых строк романа.

То ли просто суров у поморского Севера характер, строг, недоверчив с рождения, то ли таким он стал в тридцатых годах, когда дошел и до него черед, когда ворвались в отстроенную многими поколениями жизнь его, налаженный порядок, который чтился испокон веков, от деда к отцу передавался, от отца к внуку, и вдруг сломался неожиданно и просто, раздавленный сапогом Советской власти, которой все равно было, ибо весь этот порядок суть предрассудки, а традиции — так и просто

Дмитрий Новиков. Голомяное пламя: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.

запрещенный товар, как и исчезающий древний язык. «Люди уходят, а вместе с ними и язык теряется». И тот, который устаревший и за соби́рание слов которого давали срок, и тот, живущий еще, карельский — «почти что финны». «Антисоветская агитация... не интересуется он новой жизнью, все по старым словам шурудит», — приходят люди в черных кожаных куртках, увозят в воронке собирателя древнего наречия. За что? За то лишь, что хотел сохранить память о прошлом. За карельский язык и муж жене пулю может всадить, потому как по-русски, по-русски на земле русской надо говорить. А все, кто не по-русски, те враги народа. А с врагами известно какой разговор в те годы — лагеря, Беломорканал, а для особо упорных — расстрел. По приговору несправедливому — или просто автоматная очередь в спину, чтобы белая рубашка окрасилась кровью, и кровь та окрасила Белое море. То ли семга умирает навсегда, то ли карельские мужики. И только Варлааму Керетскому дано знать, одно это и то же или нет.

«Голомяное пламя» — роман о русском поморском языке, слышать который дано не всем и понять тоже не всем, так же как не дано слышать и понять пение певчих птиц в лесу по утрам, музыку ветра, стон скал и камней. Язык — главный герой романа. Дмитрий Новиков в совершенстве владеет им и дает читателю своему прочувствовать эту красоту, восхищаться ею. В помощь автору тут и «Словарь живого поморского языка» Ивана Дурова — нет-нет, а вставит в текст Новиков незнакомое нам, городским, слово, а мы восхищаемся — сколько красоты в поморском наречии. «Ульнуть в няшу» — увязнуть в тине. «Баинка» — баня. «Тоня» — рыбацкая избушка. «Корга» — отмель. «Шкерать» — разрезать рыбу ножом. Хотя... И тут действительно хочется подчеркнуть это «хотя»: говор северный меня лично восхищает, но все же Новиков, понимая его красоту, излишне украшает и без того красивое — как тот парень в спортзале, что, желая понравиться девушке, переигрывает мускулами. У него не «беломорский канал», а «канал беломорский», не «мучительные расспросы», а «расспросы мучительные», не «разрезая ножом», а «ножом разрезая». «Это все красивизмы», — говорил в институте руководитель моей курсовой работы, когда я «играл» разными данными, подставляя их в полученные формулы, забывая за цифрами о сути. А «кра-

сивизмы», они что в физике, что в литературе — важно, чтобы в меру.

«Голомяное пламя» — почти что притча. Сюжет вертится вокруг древней (можно сказать — библейской) истории. Жил да был в семнадцатом веке священник Варлаам. На севере жил, в карельском селе. В храме служил, любил жену свою Варвару. И все бы ничего, прожили бы так до самой смерти, да что-то поменялось в Варваре той, может, бес вселился, может, ветер карельский шальную мысль пригнал. Только мысль та запала в душу Варваре, дала ростки и выросла блудом. Ушла раз Варвара в соседнее село за продуктами, а там на корабль к норвегам и давай развлекаться с ними, как самая настоящая блудница, пока муж в неведении. Там и нашел ее Варлаам, обеспокоенный долгим отсутствием любимой жены. И в ярости убил, завернул в холст, положил тело в лодку и поплыл, влекомый волнами, с одной лишь целью — умереть, погибнуть в суровом море, налететь лодкой утлой на скалы, перевернуться на высоких волнах, сгинуть от голода, жажды, да мало ли что подстерегает одинокого путника в северном недружелюбном море. Вот только не захотело море его смерти, мотало его не одну неделю и прибило в конце концов к берегу, в красивейшем месте, в устье реки Кереть, где и стал он жить, помогая всем морякам, которые отважились в тех краях в поход ходить. И пока живой был, добро делал, а как не стало его, еще больше помогать начал, ибо святые всегда на помощь прийти готовы, главное — верить в них и молиться. А еще позвать с верой в тот самый момент, когда кажется, что больше не поможет тебе никто. Всего-то и надо произнести: «Преподобный Варлаам, защити!» Является в трудный момент Варлаам туристам-байдарочникам, застигнутым страшнейшим штормом в открытом море и уже готовым попрощаться с жизнью, спасает одинокого рыбака, что, пытаясь вытащить многокилограммового налима из проруби, сам попался на крючок... Защищает многих — на то и святой. Главное — верить в него искренне.

«Голомяное пламя» — роман-бесовщина. «Сказки Белого моря начинаются страшно». Новиков умело держит читателя в напряжении. Медвежьи следы вокруг палатки, странные шумы, подозрительные люди, знаки... Автор словно подключает свою книгу к высоковольтной сети, и читатель не способен оторваться. У рук лишь одна осталась возмож-

ность — перелистывать страницы. У глаз — читать, не отрываясь. И ждать, когда кончится роман, и выключит Новиков это напряжение, и можно будет встряхнуть уставшей головой, растереть застывшие руки, выпрямить затекшую спину... Но вот и последняя страница перелистнута, а хэппи-энда у романа нет... и уже, разумеется, не будет.

Гриша. Формально — главный герой романа. Гришина дорога проложена сквозь все произведение. Маленький мальчик в начале книги, дедов внучок, приезжий в поморский край, сам уже городской, из Петрозаводска, как и родители. Вспоминает свою первую детскую любовь, учится ловить рыбу, топит баню для взрослых, нянчит младших братьев, хулиганит, как все подростки, бросая порох в горящую печь. Вот повзрослей он, в поисках себя, стремящийся залить горе водкой — любовь, женщина, разлука. Гришу зовет Белое море, в нем он находит покой, словно выдувает северным ветром любую печаль, горе, тоску. А может, и наоборот — надувает, заставляя любого вставшего у берега задуматься над тем, правилен ли его путь. Тяжек Гришин путь по морю, по маршруту Варлаама Керетского. Много опасностей ждет на пути, ибо «нет в мире ничего страшнее, чем берег Белого моря. Бесстыжими пощечинами наотмашь бьет в лицо холодный ветер, несущий злые брызги дрызг и неудач. Мутная вода орет в глаза и душу о скором хаосе и бесполезности всего. До горизонта стлань полей из черной вязкой грязи — и если в няшу ступишь, будет сложно жить». Идет Гриша на байдарке по морю, вместе с двумя друзьями. Ищет корни свои — и не может найти. Не знает, почему у деда, уже ушедшего из жизни, три дырки в спине. Дыры от автоматной очереди. Знал бы судьбу деда, понимал бы себя лучше... Читает море Гриша, пытается разобраться. Осознать, почему обезлюдело все вокруг, почему на карте, что держит он в руках, «имена деревень припечатаны... одним словом — нежилая, нежилая, нежилая». И снятся ему и друзьям его в походе то черная вода, то могилы с их именами, то собственные тела, а то и бес видится.

Где вы? — спрашивает он у Белого моря, неба, прибрежных скал. — «Где вы, полярные капитаны, корщики, купцы, строители кораблей и домов? Где вы, рыбаки и солевары, белоголовое братство, воины, вдовы, отважная ребятня? Где вы, виноград земли русской?»

Кому поверили, стойкие? Куда ушли? Каких бесов пустили себе в светлые души?»

Известно, каких. Тех, что в семнадцатом году взяли винтовки в руки. Ждет Гришу бес, сидит на камне у берега, смотрит, прищутив глаза, думает извести ли очередного человека, пришедшего на Белое море, или нет. У беса того прописка карельская, советская власть у моря поселила, он сам тут не родной совсем, хотя и обжился. А может, привиделся он — просто солнце так на камень легло... Или все же не солнце, и бесу тому не один век — может, это тот, что вселился в Варвару и заставил Варлаама на преступление пойти, жизни жену любимую лишить. Как бы то ни было — ждет бес своего часа, чтобы вселиться в нужного человека. Может, он и в Федьку того, Гришиного деда, вселился, который кричал — ловите семгу, ловите. В тридцатые годы дала Советская власть указ: народу рыба нужна, много рыбы. Семга — рыба царская. Сотни лет на севере порядок был: брать у моря столько, сколько само дает, не больше. Когда время семге нереститься, не дай бог кому сеть поставить. Играет рыба в реке — значит, будет улов и на будущий год, и через десять лет, и через сто. Не одной жизнью мужики тогда жили. Кто ж мог подумать, что и до семги бес доберется, потребует кидать сеть в реку во время нереста. «Рыбы в реке много. А мы все по морям за ней гоняемся. Нужно сетью перегородить — уловистее будет», — кричит Федор. «Наутро рота солдат пришла, красных армейцев. Мужиков двух третей не вышло сети ставить. А которые вышли — хмурые, в глаза друг другу не смотрят». И закинули сети мужики, и начали вытаскивать на берег семгу. И стали убивать ее и бросать на подводы. «С подвод ручьями кровь лилась и впитывалась в равнодушную землю. Так проходил сезон, другой и третий. Потом рыба кончилась».

И поморский мужик следом почти сразу кончился, исчез. То не рыбы кровь текла, а его. Кого расстреляли за нежелание помогать Советской власти, кто сам от режима такого ушел, кто помер от тоски и осознания беды. Заросли деревни бурьяном, вросли в землю нежилые избы, повалились кладбищенские кресты, сторела церковь. Опустил руки Варлаам Керетский.

Жизнь, впрочем, не закончилась. На место семги горбуша пришла. Та, что живет лишь

один раз. Нерестится и умирает, заполняя разлагающимися телами северные чистые реки, заставляя умирать чистый карельский воздух. Была семга, голубая кость, пришла горбуша, гнилая рыба. Были мужики умные, хваткие, смекалистые, трудолюбивые. Спорилась в селах на берегу Белого моря работа, играла гармонь, пелись песни, колокольный звон в церквях раздавался. На место поморского мужика пришли другие люди, те, что на одну жизнь только, без будущего, без любви, без света в глазах. Темные люди пришли, «злые все друг к другу, как звери дикие. ...Кипит внутри яростное бешенство, в момент наружу выплеснуться готово, то горячей ненавистью, а то холодной расчетливой завистью».

Хотело когда-то давно Белое море заткнуть островами устья рек, защитить себя и свой север. Помешал ему Варлаам Кретский. Кто знает, может быть, и зря. Святые тоже порою ошибаются. «Здесь главная русская свобода, обещанием свободы поправная. Здесь смертельная красота. Здесь радость отчаянья. Здесь надежда. Здесь вера. Здесь любовь». Все было когда-то. Закончилось. Извели поморского мужика. Сетями, баграми, дубинами, авто-

матными очередями, лагерями, пулями. Нельзя вернуть того мужика в мир. Нельзя вернуть в море семгу. Плачет Белое море об утрате. Помоги, Святой Варлаам! Не поможет. Норвеги выращивают рыбу в садках. Но разве это рыба? Она — как мужик, выращенный в тюрьме. С девяти до восемнадцати рабочий день, два выходных, продукты по талонам, водка по дешевке, по телевизору бесконечное Политбюро и Лебединое озеро ...или сериалы сегодня... или новости на первом канале. Не меняется ничего.

«Бог простит», — машет рукой старик Саввин, то ли однофамилец того самого расстрелянного купца, который всю жизнь отдал Белому морю, давал деревням поморским жизнь, мужикам — работу, то ли сын его.

Не простит Бог. Вон сколько лет прошло. Если б хотел, давно бы простил. А может, и Бога самого нет? Есть только Святой Варлаам Керетский. Ходит по поморской земле неприкаянный, не знает, чем ей помочь. Потому, что потерпела лодка его кораблекрушение, а доску последнюю уцелевшую, с именем его на корме, Гриша на костре сжег. В голомяном пламени...

Владимир Шнаков

Связь времен

Исторические события зачастую переключаются или, если угодно, рифмуются. Иногда рифма бывает столь точной, что поневоле возникают мистические интерпретации истории. Смотрите сами: утром 17 августа 1914 года 1-я русская армия генерала Ренненкампа перешла границу Восточной Пруссии, вступив в бой с германскими войсками. И точно в этом же месте советские войска вышли к

границам гитлеровской Германии утром 17 августа 1944 года. Понятно, что последствия этих событий были разными, но совпадение, согласитесь, вполне символическое.

Надо сказать, что Первая мировая война существует в сознании современников неким неотчетливым фантомом. Грандиозные события Второй мировой, каковая для нас — Великая Отечественная, заслонили в общественном сознании те далекие времена, когда на европейском театре военных действий сошлись сразу несколько могучих военных машин. Две

Борис Бартфельд. Возвращение на Голгофу: Роман. — М.: Эксмо, 2016.

из них — немецкая и российская — уж точно были могучими, и сражения на восточном плацдарме мировой войны были крайне жестокими, но все это как-то ускользает за границы восприятия. Вроде как Первая (по номеру) мировая на самом деле — десятая или шестнадцатая.

Борис Бартфельд возвращает читателя в ту эпоху, когда в Восточной Пруссии столкнулись армии кайзера и российского императора. Сошлись, что называется, не на жизнь, а на смерть. Причем в самом начале четырехлетней (как оказалось) военной эпопеи, буквально в первые недели войны, когда русскому оружию споспешествовала удача и ряд успешных и умелых операций создали предпосылки для весьма скорой победы России. Но события, увы, повернулись иным образом: внезапный разгром армии Самсонова, самоубийство генерала, отступление русских войск и т.п. Впрочем, не будем устраивать исторический ликбез, кому захочется — может заглянуть в официальные хроники, они давно в открытом доступе. Писатель же — не хроникер, у него другие задачи. Ему нужно пропустить события исторического масштаба через души своих персонажей, снизить общезначимое, «надчеловеческое», до «человеческого, слишком человеческого», а затем опять подняться вверх, до уровня символа. И, не побоимся этих слов, разглядеть и предъявить читателю пресловутую *связь времен*, каковая всегда норовит прерваться и распасться.

Именно этим, на наш взгляд, занимается прозаик Борис Бартфельд. Повествование в книге развивается в двух параллельных временных пластах, но в одной и той же точке пространства, на границах восточной Пруссии, вблизи литовской Кальварии, что по латыни означает: Голгофа. Тоже своего рода символ. Для русских солдат, отправившихся на войну из Кальварии и погибших на полях Пруссии в боях Первой мировой, это действительно была Голгофа. Причем, несмотря на их мужество и жертвенность — бесславная, повлекшая за собой поражение в войне в целом и приведшая к двум революциям. Поэтому и забытая на долгих 100 лет. Любая литературная символика, однако, должна возникать из человеческих отношений, из судеб персонажей. Поэтому автор и помещает в центр повествования русского офицера Николая Николаевича Орловцева, чья судьба оказалась намертво связана с войной и этой самой

Кальварией-Голгофой. В 1914-м Орловцев в полной мере испытал горечь поражения в этом месте, будучи тогда штабс-капитаном царской армии. В 1944-м он — штабной офицер в штабе 3-го Белорусского фронта, которому предстоит освободить Восточную Пруссию от нацистского зверя.

«И вот новая война, и судьба с роковой неизбежностью привела его к тем же рубежам. Теперь, с выходом к границам Пруссии, эти воспоминания обретали какую-то свою, особенную фантастическую реальность, причудливо перемешиваясь с текущими событиями фронтовой жизни». Среди персонажей книги он единственный, в чьем сознании эти два временных пласта соединяются естественным образом, поскольку в основе тут — личный военный и трагический жизненный опыт.

Впрочем, и других героев в книге предостаточно, причем каждый имеет «лица необщее выражение», свою особую судьбу и сразу запоминается. Брянский мужик, ездовой Колька Чивиков, совсем молодой сержант-связист Ефим, лихой вояка комбат Марк, заряжающий Иосиф... Бойцы и офицеры артиллерийского полка готовятся к наступлению, и каждый из них переживает это по-своему. Это те самые «Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, — Внуки, братики, сыновья!», о которых писала Ахматова, те самые «рабочие войны», чьим каждодневным трудом и ковалась победа. Но чтобы их понять, заглянуть в их души, они должны быть выписаны автором в виде неповторимых характеров. Мы видим в книге и тех людей, кто воевал тридцатью годами раньше, в Первую мировую. Причем не только воевал, но и отдавал свои жизни. «Страшное зрелище представляло поле у фольварка, где накануне был атакован Оренбургский полк. Здесь вперемешку лежали русские и немцы. Здесь же полегли офицеры полка во главе со своим храбрым и несчастным командиром Комаровым!» Война есть война, и даже когда она движется к завершению, жертвы все равно неизбежны.

Но этим реестр персонажей далеко не исчерпывается. Особенностью романа является то, что выписаны еще и представители *той* стороны, вроде бы злейшие враги. Вроде бы — потому что автор не делает здесь разделения на «наших» и «не наших», по признаку — однозначное добро и бесспорное зло. Да, в высшем смысле правда — на стороне тех, кто ведет освободительную, а не захватническую вой-

ну, то есть на стороне Красной армии. Но тут уже, во-первых, не наша территория (в те времена Восточная Пруссия еще не была Калининградской областью, там жили этнические немцы), а у каждого защищающего свой дом есть своя правда; во-вторых, даже во вражеском окопе все равно находятся люди, а не черти с рогами. И эти люди ведут себя по-разному. Одни жестоки, безжалостны, их души, можно сказать, сторели в топке войны. Другие — сохраняют человечность, здравость, им не чуждо сострадание, они хотят не воевать, а жить, любить, воспитывать детей...

И уж вовсе не принадлежат к числу врагов мирные жители, которым, увы, зачастую приходится платить самую высокую цену за преступления тех, кто развязывает мировые войны. Трагедия немецкого семейства, оказавшегося в зоне боевых действий, трогает душу не меньше, чем сцены гибели русских солдат. Вначале нелепо погибает юный фольксштурмовец Пауль, один из сыновей немки Анны, затем сержант Романенко насилует саму Анну чуть ли не на глазах двух оставшихся детей. После чего младший сын, Христиан, не выдержав позора и унижения, вешается на дереве в саду. Кошмар и ужас, который тоже имел место, потому что война высвобождает в людях звериное начало, самое темное и отвратительное, что есть в человеческой натуре, и мы тут не были исключением. В русской литературе подобное уже было описано, новым здесь является то, что именно среди наших солдат находятся те, кто противостоят злу, не только осуждают, но и решительно борются с ним. Центральное место в этом дискурсе добра и зла занимает образ Кольки Чивика. Природный крестьянин, мастеровитый и неунывающий, из брянских мужиков, носитель лучших черт широкого русского характера, во многом смягчающий отношения в артиллерийской батарее среди ожесточения войны.

Подобный показ событий создает объем и масштаб, дает возможность взглянуть на войну с разных сторон. И в конечном итоге — пробудить в читателе неприятие войны, понимание тотальности страдания, которую она несет. При этом вина вовсе не распределяется поровну между воюющими сторонами, это было бы крайне несправедливо. Просто автор

сумел подняться выше вполне объяснимой упрощенной патриотической позиции, сумел встать на общечеловеческую точку зрения и, соответственно, возвыситься до нее читателя. И создать настоящий русский гуманистический роман патриотической направленности.

Бесспорное достоинство книги — великолепное знание автором материала. Борис Бартфельд — калининградский писатель, в пространственном смысле он родился, живет и работает именно в тех местах, которые описывает. Но есть ведь еще безжалостное время, которое хоронит детали и подробности, так что требуется немало сил и энергии, чтобы их раскопать, а затем осмыслить и использовать в повествовании. Автор взял на себя этот труд, поднял из глубины времени события той первой великой войны, осмыслил их, что в итоге позволило выстроить очень убедительный текст. Детали быта, особенности воинской жизни, атмосфера времени — все здесь вызывает доверие.

Однако, как говорилось выше, писатель не фиксирует бесстрастно время, он дает его образ, символический слепок. Война в романе предстает гигантским жертвенником, текатомбой. На последних страницах погибают и комбат Марк, которому взрывом отрывает голову, и заряжающий Иосиф, что сам искал смерти, и главный герой Орловцев. Но жертвы все-таки оправданны, это своего рода искупление, и война в итоге не предстает абсурдной и бессмысленной бойней. «Тридцать лет назад мы отсюда, из Кальварии, тронулись в поход, который оказался долгим и тяжким восхождением на Голгофу. Мы вззошли на эту Лобную гору. Каждый из нас, как Симон Кириянин, нес свой крест. И все мы, как и он, рассеялись затем по полям и временам, а Воскрешения так и не случилось. Не случилось среди нас Иисуса Назаретянина. Поэтому и Родина наша рухнула в бездну. А теперь через треть века судьба снова привела нас сюда, на Голгофу и наш долг на этот раз спасти, воскресить страну. А для этого надо выиграть войну, добить зверя и тогда воскреснет Россия». Без Воскрешения жертва напрасна, без любви напрасна смерть, и даже в страшных обстоятельствах войны эти истины не рассыпаются в прах.

Былое и дым. Читая Овчинникова

Рубрику ведет Лев Аннинский

Виктор Овчинников — проницательный историк и сведущий краевед, высветивший события четвертьвековой давности, когда «из далекой Персии» прибыло к русскому царю и патриарху посольство от Шаха Аббаса. Картины истории Московского царства от 1625 года собраны в книгу «Риза Господня» и изданы в Белгороде. Я думаю, что оценить этот труд должны историки (прежде всего белгородского призыва, но не только).

Я же сосредоточусь на другом историческом повествовании Овчинникова: на его книге «Вровень с «золотым» и «серебряным» веками», где речь идет о близком и дорогом мне Московском университете. Собственно, Овчинникова интересовала биография уроженца города Корочи Белгородской губернии Ивана Двигубского, знаменитого ученого-медика, который был в Московском университете ректором в 1826—1833 годах. Как раз в ту пору, когда там воспитывались молоденький Михаил ЛермАнтов (так писалась тогда его фамилия) и Александр Гончаров (вспомнивший впоследствии, что с появлением в университете Пушкина «точно солнце озарило всю аудиторию»)... Сам Пушкин (которого на встречу со студентами привел в университет Уваров) не был настроен так солнечно и писал жене 27 октября 1832 года:

«Сегодня еду слушать Давыдова, не твоего супиранта, а профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник — а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие».

«Щекотит» Овчинникова не только озорство великого поэта, но общее настроение тогдашних «умников»: веселая злость их эпиграмм и упоение тем, как бы побольше «насолить» начальству.

Ректор Двигубский был обязан держать это соленое упоение в рамках.

И держал! Студенты, непримиримые в своих заоблачных прениях, сохраняли относительную сдержанность в университетском кругу — под спасительным попечением ректора. И общались в этом кругу, и сохраняли связи... Например, Герцен и актер Щепкин, принимавший участие в спектаклях по подписке в Московском университете. Эта связь продолжалась... хотя и уперлась в конце концов в фатальный финиш:

«Спустя годы Михаил Семёнович Щепкин ездил за границу, чтобы убедить А.И.Герцена вернуться на родину и уже в России пытаться отстаивать свои взгляды,

вести борьбу с крепостничеством, за переустройство российской жизни. Поездка оказалась неудачной, но не бесполезной для А.И.Герцена и М.С.Щепкина».

Почему — Овчинников не уточняет. Желаящие могут выяснить подробности по биографиям Герцена и Щепкина, Овчинников на это не тратит слов, потому что для него «переустройство российской жизни» — лейтмотив повествования, круто и остро выясненный на примере Герцена.

«Как хорошо, — пишет он, — что А.И.Герцен не дожил до того дня, когда университеты и Московский университет в том числе, оказались в ведении «большевистских смотрителей» — наследников дела декабристов, которому поклялся на Воробьёвых горах служить Герцен вместе с Огарёвым в 1828 году. За такую выходку с «изгнанием профессора Малова» он бы не ликер под сигары принимал в карцере, а в лучшем случае десяток лет рубил бы лес на стройках социализма, в худшем — схлопотал «вышку». А тут, видите ли, ему ректор, кстати, в нарушение правил содержания в карцере, присылает «какой-то суп»! А надеющийся на ликер к вечеру Александр Иванович нос воротит... Ему ли, внебрачному сыну богатого помещика И.А.Яковлева и молоденькой немецкой мещанки Генриетты Луизы Гааг, приехавшей в Россию из Штутгарта «хлебать щи». Нет, ему подавай ликеру, дичи, сыру да под сигары. Незаконнорожденному дали фамилию немецкую от слова «сердце» — «Херц», а он туда же, делить профессоров на немцев и на не-немцев... Что тут скажешь!..»

Скажу, что это рассуждение Овчинникова потрясло меня — стыком заоблачной фантазии и наличной реальности. Пока «потрясатели» обретались в облаках доктрин, они могли приговаривать к ликвидации и классы, и целые народы. Но когда судьба обрушивала их в реальность, их ожидала в лучшем случае «рубка леса на стройках социализма», а чаще и проще — вышка в ГУЛАГовской Зоне.

Замечательный спуск на землю (в Зону) из заоблачных высот.

А ведь никто из мечтателей-фантазеров и не собирался идти работать!

«Россия нуждалась в химиках, технологах, организаторах производства... Но это был долгий и трудный путь преобразования страны. Куда проще, увлекшись революционной деятельностью, попытаться навязать родине гражданскую войну и на реках крови предпринять усилия перестроить общество на основе манифестов, программ и прожектов!»

Ректор Двигубский, как мог, оберегал непокорных универсантов от репрессий (на которые они явно нарывались), он все надеялся переключить их энергию в позитивное русло.

История взяла свое. Из заоблачных дум обрушила в реальность, где надо было рубить лес на стройках социализма...

И что же, ситуация и теперь такая же; мечтательный и кровавый XX век остался в былом, а загадочный XXI-й от заоблачных высот разворачивает мечтателей к новой реальности с ее неизбывным террором?..

Боюсь, что так. Природа людей агрессивна и неустраима; человека нельзя улучшить, его можно только на время умиротворить...

И Россия по-прежнему — на стыке геополитических сил: то с Запада, то с Востока соседи норовят отщепить от нее «куски», поставив под вопрос границы ее государственности.

Это так, увы.

Значит, надо быть готовыми ко всему.

Summary

Maria ANUFRIEVA. Doctor X and His Children

This is a poignant novel about the lives which bring adults and children to the thoughts of the death. Cruel, dull, advanced intellectuals, vulnerable, naive, reserved, hereditary ill, lonely, spoiled with excessive love, unbalanced teenagers... The child psychiatrist Christophorov tries to solve one of the most disturbing and being discussed lately problems and to find for each of his patients — and for himself — a safe path through the life.

Poetry

Philosophical lyrics by Gennadij RUSAKOV and deeply significant miniatures by Larisa MILLER touch upon the most vital problems of existence. Young poets Maria MARKOVA and the winners of the International Competition in Russian poetry Lubov KOLESNIK and Nika BATHEN who make their debut in our magazine are in the course of interesting creative search.

Alexej Malashenko. About the Harm of Tradition and the Good of Habit

«When at last shall we comprehend that first of all we are not Christians or Muslims, not Chinese, Russians or Americans but human beings with one head and four extremities?» Thus is the pathos of the article by A. Malashenko.

Gennadij PRASHKEVICH, Alexej BUROV. About Banality

«Banality is deafness to the sacred, inability to revere, meanwhile it's the reverence that is the emotional experience of the sacred, exorbitant for the human being». The writer G. Prashkevich and physicist A. Burov are meditating over the «eternal questions» in their dialogue-essay.

Mark AMUSIN. Revolution: Flags In the Dust

In the year of the centenary of the October Revolution analyzing the books by V. Pelevin, V. Sorokin, D. Bikov, S. Shargunov, Z. Prilepin, L. Usefovich dedicated to the postrevolutionary reality literary critic M. Amusin asks: «Maybe it is worth to look in the store-rooms of the Soviet History for some artifacts which can introduce impulses of altruism and solidarity into our today's reality of half-decay?»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

и на сайте **vipishi.ru**

<http://vipishi.ru/internet-catalog-podpiski/item/inet/330/32/35335/druzhba-narodov/>

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

«ДН» — 2017

Романы, повести:

Севак АРАМАЗД. Гора солнца. *Роман. С армянского*

Игорь БУЛКАТЫ. Цорион. *Повесть*

Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. *Роман*

Керен КЛИМОВСКИ. Дорога. Скорость. Высоцкий. *Повесть*

Александр МЕЛИХОВ. Воскрешение Лаэрта. *Повесть*

Владимир ЛИДСКИЙ. Эскимосско-чукчанская война. *Повесть*

Марина МОСКВИНА. КРИО. *Роман. Книга вторая*

Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. *Документальная повесть об Алексее Аджубее*

Сергей РЯЗАНЦЕВ. Кочевники проспекта Возрождения. *Повесть*

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Небесная Call of Duty. *Повесть*

Ася УМАРОВА. Приходи свободной. *Повесть*

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. *Роман. С армянского*

Отар ЧХЕИДЗЕ. Артистический переворот. *Роман. С грузинского*

Владимир ШПАКОВ. Формула Атлантиды. *Роман*

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.

Ольга КЛЮКИНА. Муравей на мониторе. *Как мы жили*

с Инной Львовной ЛИСНЯНСКОЙ летом на даче

Новые сочинения: Василия АВЧЕНКО, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Алисы ГАНИЕВОЙ, Валерия БЫЛИНСКОГО, Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фарида НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Ульи НОВЫ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Вадима МУРАТХАНОВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Ильи ФАЛИКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»

«ПЕРВЫЕ СТИХИ» *Сергея НАДЕЕВА*

«БИБЛИОНАВТИКА» *Ольги БАЛЛА*

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» *Евгения АБДУЛЛАЕВА*